

Н О В Ы Й
М И Р

10

Н О В Ы Й
М И Р

1973

10



1973

ИЗВЕСТИЯ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ XLIX

№ 10

ОКТАБРЬ, 1973 Г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АФАНАСИЙ САЛЫНСКИЙ — Летние прогулки, пьеса	3
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Явление слова, поэма. Перевела с калмыцкого Юлия Нейман	43
МАКСУД ИБРАГИМБЕКОВ — И не было лучше брата, повесть	49
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Сандро из Чегема, роман. Продолжение	100
ЕВДОКИЯ МУХИНА — Восемь сантиметров. Из воспоминаний радистки-разведчицы. Книга вторая	133
В. КАРДИН — Открытый фланг, документальные записки. Окончание	173
ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ. Многооконный дом. Предисловие В. С. Муравьева. Перевели Андрей Сергеев, Петр Вегин, И. Попов, Андрей Кистяковский, Александр Жуков и В. Глоzman	187

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. КУЗОВЛЕВ — Заботы селянина. Полемиические размышления	201
ФЕЛИКС НОВИКОВ — Дома и люди	213

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ — Дело всей жизни. Продолжение	229
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛИТВИНОВ — Постыжение. Нравственный аспект рабочей темы	247
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	264
Л. Финк. Решающий фактор. — Игорь Золотусский. Монолог с вариациями. — Леонид Зорин. Вторая жизнь Михаила Светлова. — Ю. Манн. Двухтомник ученого.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	278
А. Пархоменко. Наука, техника, общественный прогресс. — О. Орестов. Фабриканты лжи.	
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Крамов. — Е. Герасимов. Весна в Дубках. Повести конца шестидесятих годов. ♦ Л. Быков. — Сергей Дрофенко. Зимнее солнце. Сергей Дрофенко. Избранная лирика. ♦ Георгий Кубатьян. — Наири Зарьян. Давид Сасунский. Повесть по мотивам армянского эпоса. ♦ М. Яхонтова. — Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы 1939—1945	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

АФАНАСИЙ САЛЫНСКИЙ

★

ЛЕТНИЕ ПРОГУЛКИ

Пьеса в двух частях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

КУЛИКОВ БОРИС
АНТИПОВ СЕРГЕЙ, его друг
ОЛЬХОВЦЕВА НАДЯ
ОЛЬХОВЦЕВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ
ЗЕВИН МИШКА
ВАРВАРА, его мать
ЗЕВИН ЕГОР ПЕТРОВИЧ
МАРЯГИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
ЛЕРА, его дочь
ЛУКАШОВ ВИКТОР САВЕЛЬЕВИЧ
КУЛИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ПЯТИЩЕВ, сотрудник милиции
Парень с гитарой
Туристы
Женщина-гид.

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

Дебаркадер Кардымовской пристани. Стоит он по диагонали, открывая две палубы, лестницы-трапы, широкий настил, по которому пассажиры переходят на берег. Нижняя палуба разделена переходом. В левой стороне нижней палубы как бы в срезе — небольшая комната, где жил начальник пристани, в правой — буфет. Справа же, поближе, крыльцо дома Ольховцева, бревенчатая стена сеной и часть горницы. Из-за дома Ольховцева выглядывают купола старинной церкви.

Слева, удаленная, калитка, ведущая во двор Зевиных.

От дебаркадера, а также от дома Ольховцева тропинки ведут к замшелым сплюснутым валунам. Люди, сошедшие с корабля или же идущие на пристань, иногда проходят мимо этих валунов.

Река Вержа здесь, в Кардымовке, делает изгиб, и если стоять возле камней лицом к зрителю, то можно видеть перед собой реку и полет чаек над водой.

Протяжно рыкнув, от пристани отвалил катер, речной автобус. В проходе, разделяющем надвое палубу дебаркадера, появляется Борис Куликов. Долговязый, широкоплечий, идет, раскачивая в руке рюкзак. Вязаная белая тенниска, выцветшие спортивные брюки, изрядно разбитые кеды. Борис с улыбкой надежды оглядывает дебаркадер. Положил рюкзак возле стенки. Стоит, еще ощущая во всем теле гул и вибрацию, переданную катером.

Слева появляется Мишка Зевин, рослый, неуклюжий парень в джинсах с множеством карманов и кармашков, оснащенных яркими клеймами.

Б о р и с. Эй, послушай, кто такой Карлейль?

Мишка пятится от Бориса.

Здесь всегда так безлюдно?

М и ш к а. Бывают и туристы... Иностранцы даже подваливают. А ты чего это меня спрашивал?

Б о р и с. Да на катере двое за спиной разговаривали, и все: Карлейль, Карлейль... *(Протянул Мишке сигареты.)*

М и ш к а *(качнул головой)*. Не.

Б о р и с *(закурил)*. Тебя как зовут?

М и ш к а. Обыкновенно. Мишка.

Из дома Ольховцева вышла на крыльцо внучка хозяина, На д я. Вытряхнула половичок. Одета в легкое сиреневое платьице, босая, волосы разбросаны по плечам.

Б о р и с. А я — Борис. *(Озорно махнул Наде рукой.)* Эй! Привет!

Надя взглянула, улыбнулась, возвращается в дом.

М и ш к а *(мрачно)*. Ты что, знаком с ней?

Б о р и с. Откуда?

М и ш к а. Тогда и рукой махать нечего. Зачем приехал?

Б о р и с. Да так, погулять.

М и ш к а. Надолго?

Б о р и с. Отпуск. *(Прикоснулся к значку на Мишкиной рубашке.)* Какой значок?

М и ш к а. Медаль! За спасение утопающих.

Слева, от калитки Зевиных, появляется Сергей Антипов. Худошавый, с бородкой. Значительность во взгляде, походке, жестах. Борис увидел его, бросился к нему.

Б о р и с. Сережка!

А н т и п о в. Боб!..

Друзья обнялись.

Б о р и с. Смотри-ка, где встретились!.. *(Неожиданно подстроил хитрую подножку другу, но сам же удержал от падения.)*

А н т и п о в *(шокирован мальчишеством)*. Ну-ну... Ты все такой же, Куличок.

Б о р и с. Долго ли умеючи! *(С радостной нежностью смотрит на друга.)* Серьезный мужик... Или это от бороды? Где ты мотался?! Ведь четыре года...

А н т и п о в *(картинно разбросал руки)*. Мне белый свет стал комнатой уютной...

Б о р и с *(Мишке)*. Мы с ним вместе пыхтели на истфаке. А потом нас, гавриков, вышвырнули из университета.

М и ш к а. За что вышвырнули?

Б о р и с. Опоздали мы к началу учебного года — на целых три месяца. Задержались на Севере, деньгу зашибали. *(Антипову.)* Ты учился потом?

А н т и п о в. В Москве. Окончил Плехановский институт.

Б о р и с. И-го-го! А я снова в университете и на том же истфаке, только заочник. Где вкальваешь?

А н т и п о в. Жалкий клерк! А ты?

Б о р и с. На машиностроительном.

М и ш к а. Директором?

Б о р и с. Одного станка. Станочек ничего, работать можно.

М и ш к а. Клерк, а ты мамкин утюг не сожгешь?

А н т и п о в. Забыл. Извини, Боб. *(Бежит к калитке Зевиных.)*

Б о р и с *(Мишке)*. Где найти начальника пристани Бунеева?

Мишка. Бунеева?

Борис. Письмо у меня к нему.

Мишка (*затаенно улыбнулся*). А ну, давай письмо. Передам Бунееву. (*Выхватил из руки Бориса конверт.*)

Борис. Да я сам... Эй!

Мишка помчался в ту сторону, откуда виднеются купола церкви. Появляется Евгений Степанович Ольховцев, старик с рыжевато-серой бородкой. Он шаркает черными длинномысыми ботинками. В руке у него нет палки, которая могла бы служить ему опорой, он как-то забавно балансирует руками, как бы опираясь на воздух.

Борис. Добрый день.

Ольховцев. Вы здесь бывали?

Борис. Нет...

Возвращается Антипов.

Я к начальнику пристани приехал, к Бунееву.

Ольховцев. Опоздали, молодой человек. Андрей Семенович Бунеев помер.

Борис. Как помер?! Давно?

Ольховцев. Помер Андрей Семенович в среду.

Антипов. Сегодня хоронят.

Ольховцев. Видите церковь? Там и кладбище. (*Пошел по дебаркадеру, подергал дверь, ведущую в комнату, где жил Бунеев.*)

Со стороны кладбища появляются Варвара Зевина, ее муж Егор Петрович. Варвара — красивая, моложавая, лет за сорок, с опечаленным смуглым лицом. Деревенская речь с характерным для здешних мест мягким и протяжным произношением «г». Зевину лет за пятьдесят. Высокий, грузный, обветренные щеки, решительный и деловитый. Яркий заграничный пуловер и кирзовые сапоги.

Зевин. Буфет надо открывать.

Антипов. Вот, к Бунееву мой друг приехал.

Варвара. Родственник или знакомый?

Борис. Думал, познакомлюсь... От чего он умер?

Зевин. От чего смертная статистика в двадцатом веке? Сердце хватило, в бане.

Борис. Кто-либо из близких у него остался?

Зевин. Какие там близкие! Одиночкой жил, как камень на берегу. Вон комнатенка у него на дебаркадере была, вроде каюта.

Появляется Мишка.

Мишка (*одному Борису с тихим смешком*). Пристроил я твое письмо. В гроб, под крышку! (*Поднимает загорелые руки.*) Зато по адресу.

Борис молчит.

Ольховцев (*подошел к Варваре*). Варвара Антоновна, ты бы мне дала ключ от комнаты Андрея Семеновича...

Варвара пошарила в кармане, подает Ольховцеву ключ. Ольховцев вошел в комнату Бунеева.

Что поспешила убраться-то?

Зевин. Так попробуй оставь — тут же разворуют. (*Борису.*) Я до Антарктиды плавал, а такой пристани, как наша Кардымовка, не-е, такой нигде не встречал! Посмотришь — вроде и никого не было на дебаркадере, а если что плохо лежало, то уж, извините, не лежит. Все едут. Кому надо и кому не надо.

Варвара (Ольховцеву). Вещи Андрея Семеновича я у себя дома сложила. Возьми, Степаныч, ежели что приглянется.

Борис. Где бы здесь пожечь немножко?

Варвара. В деревне поищи.

Зевин. Варя, а в Бунееву комнату его поместить?

Варвара. Вот еще! Служебное помещение.

Зевин (поднимается по лестнице-трапу на верхнюю палубу). Подымись-ка сюда, подыши далью!

Борис и Антипов вслед за Зевиним поднимаются по трапу. Ольховцев присел в стороне на бревне деревянного настила.

Мишка (понизив голос). Мам, ты новенького этого гони отсюда. Наглый... Сразу под Надьку начал клинья подбивать... А я ему тут же — финта! Письмецо он Бунееву привез.

Варвара. От кого?

Мишка (показывает матери письмо). От Куликовой Т. В.

Варвара. Дай-ка мне это письмо... (Взглянула на конверт.) Вот что... нехай поживет.

Мишка. Мам?!

Варвара (настойчиво). Притащи ему бунеевскую постель из дома да раскладушку. И бородатого от нас туда же пересели. Я пойду буфет открывать. (Отомкнула дверь, вошла в буфет, села, уронив голову на буфетную стойку.)

Мишка уходит к своей калитке. Из дома Ольховцева выходят Надя и Лера. Наде двадцать четыре года. Знает свою красоту и в общении с мужчинами чуть кокетливо отталкивает от себя глазами. Сейчас она в том же сиреновом платьице и в босоножках. Лере двадцать один год, ее головку венчает жалкий пучок волос неопределенного цвета. Она в кофточке и брюках.

Антипов (спускается с Борисом на палубу гебаркагера). Взгляни, кадры.

Надя (обращается к Ольховцеву). Дед, все готово.

Ольховцев. Надя, а позови-ка ты к нам на поминки вон того парня, что сегодня приехал.

Надя. Зачем, дед?

Ольховцев (после паузы). Все-таки он к Бунееву ехал... (Уходит в свой дом.)

Надя (погошла к Борису). Здравствуйте.

Борис. Здравствуйте.

Надя. Меня зовут Надя. А это моя подруга, Лера.

Лера, слегка комикуя, приседает.

Антипов. Мой старый друг, Боб Куликов. Всегда теряется, когда видит хорошеньких девушек.

Надя. Хорошенькие девушки исчезли в далеком прошлом вместе с хорошенькими романами. Мой дед дружил с Андреем Семеновичем Бунеевым. Теперь мы дома у себя поминки справляем. Приходите.

Борис молчит.

Антипов. А мне можно?

Надя. Приходите и вы.

Борис. Вы живете здесь?

Надя. Я всего на несколько дней.

Борис. Вы студентка, аспирантка?

Надя. Нет, я стенографистка.

Борис. Речи записываете?

На д я. Почему же только речи? Меня приглашают и журналисты и даже писатели.

Б о р и с. И как они — одобряют?

На д я. Да. Каждый раз духи мне дарят. Тайком от своих жен. Дома уже целая коллекция, сто флаконов «Только ты».

Б о р и с. Работенка!.. А если жены догадаются? Да в волосы вам вцепятся?

На д я. Профессиональный риск. Так вы придете?

Б о р и с. Никогда я не бывал на поминках... *(Смущенно улыбнулся и почему-то подпрыгнул раза два.)*

А н т и п о в. Солидный молодой человек, правда?

На д я. Ходите на чужие поминки, на свои уже не захочется.

Из своей калитки выходит Мишк а со свернутой постелью в руках. Проходит мимо Бориса, толкнул его локтем.

Мишк а. Топаи за мной! А ты, борода, валяй за своей постелью сам. Перетаскивайся в бунеевскую каюту. Девочки, мне за столом подготовьте место.

На д я. Самое почетное!

Мишк а. А кто вам рыбы натягал? А? То-то. Без Мишки Зевина вы все тут загнетесь, беспомощные!

Надя и Лера уходят в дом Ольховцева. Антипов скрывается за калиткой Зевиных. Мишка и Борис вошли в комнату, в которой жил Бунеев.

Варвара, в буфете, вынула из кармана письмо, взятое у Мишки, повертела в руках, вскрыла, читает.

Мишк а *(бросает матрац и постельное белье на койку, застилает)*. Мамка все перестирала, не брезгуй.

Б о р и с. Ты зачем проделал эту штуку с письмом?

Мишк а. Да ради смеху.

Б о р и с. А если я тебе ради смеху морду набью?

Мишк а. Ну-ну... Ты где? На моей пристани. Это тебе не город. Понял?

Б о р и с *(рассмеялся)*. Забавный ты мужик!

Мишк а. Забавный? А ну, глянь сюда... Стенка, да? А вот сдвинь-ка эту доску. *(Приналег на одну из досок стенной панели, ничем не отличающуюся от остальных, и открылось углубление.)* Засунь сюда руку. Видишь? Тайник! *(С подозрительностью косится на Бориса, стремясь понять, как тот реагирует на тайник.)* Вчера я этот бунеевский тайник обнаружил, когда помогал мамке убирать комнату. А как потом мамка ушла, я и давай шуровать.

Б о р и с. Что же он тут прятал?

Мишк а *(сложил на груди руки с видом превосходства)*. Так я тебе и сказал!..

Борис осматривает тайник. Варвара, прочитав письмо, швырнула его на буфетную стойку. Разрыдалась. Почувствовала, что ее могут услышать. Поднялась, бросила монетку в радиолу-автомат, нажала рычажок, пустила музыку. Села на прежнее место. Мы видим, как вздрагивают в рыдании ее плечи.

Б о р и с. Все-таки что же тут было?

Мишк а. Денег не было, не! Другое всякое.

В комнату вошел Зевин.

Зевин. Так, так... Дебаркадер всегда покачивает легонько, зыбь. А если волна, тогда еще заметней...

Б о р и с. Ничего.

Зевин. Андрей Семенович, считай, боле двадцати лет этак показивался. Дебаркадер, он такой... с виду он вроде корабль, а нукада не плывет... к берегу прикованный...

Мишка. Катер уже из Корабельщиков вертается.

Зевин (Борису). А у тебя мать, мама есть?

Борис. Есть. В речном порту работает кассиром, билеты продает. Может, и видели когда-нибудь? Татьяна Васильевна...

Зевин. Может, и видел. (Слохнулся.) Ах ты, Варвара еще буфет не открыла! А из Корабельщиков туристы приедут. (Торопливо покидает комнату.)

Борис вырвал из блокнота листок, пишет. Зевин рванул дверь буфета. Стучит. Варвара подняла голову, послушала, потом встала, утишила музыку, спрятала в карман письмо, сняла с двери крючок.

Зевин (зашел в буфет). Катер подходит.

Варвара вскинула на мужа заплаканные глаза, но Зевин, не дожидаясь ее слов, вышел из буфета, пошел по авансцене к реке. Варвара, справившись наконец с собой, начинает готовить буфет к приему пассажиров.

Рыкнул, подходя к пристани, катер. Борис выходит на палубу, бежит в проход, разделяющий дебаркадер. Высыпали на палубу туристы, бесшабашные, шумливые, с рюкзаками и гитарой. Варвара отпускает туристам газировку, лимонад, бутерброды. Парень с гитарой проходит по палубе в окружении девчат.

Парень с гитарой. Пойдем со мной!..
 Во тьме ночной
 Глаза мои остры...
 Ищу лесные маяки —
 Далекie костры...

Ватага ребят подхватила гитариста. Забросив рюкзаки на спину, туристы покидают дебаркадер, уходят по берегу. Мишка провожает их взглядом блюстителя порядка, скрывается за своей калиткой.

Возвращается Борис. В каюту входит Антипов со свернутой постелью.

Борис. Маме записку отправил. Попросил капитана, передаст ей в порту.

Антипов. Боб, пора на поминки.

Борис. Сережка, ну зачем нам эти поминки?

Антипов (помахивает подобранным с палубы обрывком железной цепи). Там будет один человек... Профессор Марягин.

Борис. Бывший наш декан? Здесь?

Антипов. Здесь! Отец этой пигалицы, Леры.

Борис. С ним та стенографистка и приехала?

Антипов. Да. А ты знаешь, что именно он настоял на том, чтобы нас выперли из университета?

Борис. Кто бы нас мог пощадить? Опоздали на целых три месяца.

Антипов. Точно знаю, это был только формальный предлог. А истинная причина была другая. Помнишь дискуссию — «Идеал современного человека»?..

Борис. А-а!

Антипов. Какой ор стоял тогда в актовом зале!.. Вылезли мы тогда с тобой, вякали что-то свое, не по шпаргалке... С деканом сцепились. Он нам и ответил — пинком под зад. Теперь у нас отличный случай выдать Марягину.

Борис. Да что ты ему сейчас можешь выдать?

Антипов. Слушай, я тебя не узнаю. Я хочу видеть, как этот демагог Марягин станет бледнеть, сделается жалким.

Борис. Злой ты, Серж.

Антипов. А что, слюни пускать? Наше время, знаешь, слабаков не терпит. Возьми пример с Марягина! Живет без комплексов. Давным-давно все понял. Берет от жизни... Владимир Павлович прибыли-с на собственной «Волге», со стенографисткой. *(Взмахнул обрывком цепи.)* Превратить бы этот профессорский автомобиль в груды железного лома!

Борис. И сдать.

Антипов. Ты не хохми, Боб, начиняй сердце взрывчаткой.

Борис. Расходился ты, старик.

Антипов. Да, тут еще... как всегда, серьезное и смешное рядом. Дочурка Марягина... Эта хамса глазеет на меня, как дитя на мороженое.

Борис. Приличная девочка.

Антипов. Интересно бы с ней заняться. На радость папаше. Скажешь, нехорошо, да? Вспомни-ка, что ты пережил, когда тебя шуганули из университета.

Борис. Паршиво было, конечно. Правда, в армии все это быстро выветрилось... Десантник!

Антипов. Ринемся, Боб, в атаку?

Борис. Серж, не трогай ты их, потом с ними на одном пляже валяться.

Антипов. Эх, Куличок, ты так и остался птенцом... Есть такие птенцы, знаешь, глазки торчком, озорные, сам подпрыгивает, пищит весело, щелкает клювом, ловит мух... Может, еще и настучишь на меня? Марягин отблагодарит.

Борис *(встряхнул Антипова, отпустил, смотрит на свои руки)*, Эх, рядовой Куликов...

Антипов. Вот это ты по-людски... Ладно, пойдём. Жизнь нас еще рассудит.

Уходит с Борисом в дом Ольховцева.

Из буфета выходит Варвара. Вынула из кармана зеркальце, подкрасила губы. С верхней палубы по лестнице-трапу спускается Зевин. В руке у него ящик с плотничьим инструментом.

Зевин. Смотрю я сейчас — весь дебаркадер моими руками сделан. От старого единой доски не осталось...

Варвара. Егор, этот парень, что сёдни приехал, Андрей Семеновича сын родной. Письмо он привез... *(Читает вслух, иногда проборматывая текст.)* «Андрей...» М-м... Вот! «Учти, что Борис не знает, к кому он приехал». Тут подчеркнуто слово «к кому»... «Я ему не сказала. Ведь когда ты бросил нас, лишил Борю отца, а себя сына, ты это сделал сам, один. Так и теперь сам думай, рассказать ли ему обо всем. А я, чтобы не тревожить его понапрасну, сказала, что ты мой давний знакомый». *(Проборматывает текст. Дальше читает с язвительной усмешкой.)* Еще: «Оба мы уже немолоды, Андрей, не пришла ли тебе пора хотя бы к старости вспомнить, что у тебя есть твоя законная жена, которая тебя не забыла...»

Зевин *(после паузы, игнорируя пристрастные интонации Варвары)*. Выходит, сам-то парень не знал, к кому он едет...

Варвара *(спрятала письмо)*. Мы с тобой на поминки пойдём?

Зевин. Только ты там, при всех-то, не плачь.

Варвара. Зачем ты меня жалеешь?! *(Сорвалась.)* Другой бы исколотил меня!..

Зевин. Теперь чего ж тебя колотить?.. Был у меня в Антарктиде знакомый американец, водитель вездехода, Эдди звали. «Ты, рашен, ол райт, самый большой мороз терпишь». А я ему, значит, отвечаю: «Дома к морозу привык... Привык я, Эдди»... Кофточка эта к лицу тебе, Варя... все тебе к лицу!

Затемнение. Сцена медленно выходит из затемнения, и мы видим старика Ольховцева. Ольховцев сидит на нижней ступеньке своего крыльца. Плетет лапти для продажи туристам. Со стороны церкви появляется Надя.

Надя. Церковь я подмела, пыль с икон смахнула.

Ольховцев. Сердце что-то тянет...

Надя. Говорила я тебе в пятницу на поминках: не пей!

Ольховцев. Сколько я выпил? Одну рюмку. А прошло уже три дня. Нет, не потому. Тоска... Даже лапти плести не хочется. А туристы спрашивают, почему это я лапти не продаю.

Надя. Зазнался ты, дед. Схожу накапаю капель.

Ольховцев. Еще успеешь, надаешься мне лекарств... надоест...

Надя. Дед, сплети мне лапти на платформе, будем на ты.

Ольховцев. Для свадьбы тебе лапти?

Надя. Я люблю его.

Ольховцев. А что, если я ему фотографию покажу? Андрея Семеновича...

Надя (не сразу). Покажи.

Ольховцев поднимается на крыльцо и скрывается в доме. Появляется Мишка с транзистором, включенным на полную мощность.

Мишка (кричит). Привет, Надежда Ильинишна!

Надя. Чаек перепугаешь.

Мишка (выключает транзистор). Надьк, знаешь, какие у тебя глаза?

Надя (буднично). Знаю.

Мишка (хочет взять руку Нади, та не дает). Давай поженимся?.. Я с отцом твоим, с матерью про все договорюсь. Дедов дом в порядок приведу. Иль, хочешь, построимся в Корабельщиках? Там не хуже, чем в городе. Там кино крутят каждый вечер. Там же универмаг, рыбзавод. Давай?

Надя молчит. Слышен крик чаек.

Хорошо, я и на город согласный. Только не тяни! Меня в бассейн зовут работать, инструктором по плаванию. Ревновать не будешь? Там такие купаются русалочки... Если возражаешь, могу наоборот: престарелых учить. Или детей. Жуть детишков люблю! Своих заведем. Четырнадцать штук хочешь? Орден матери-героини отхватишь. А хочешь, я сделаюсь чемпионом мира по плаванию? Включишь телевизор, а там — я. Слушай, слушай, может, ты сама уже на этого Бориса гребнулась? В лес-то к озеру с кем ходила? Думаешь, я не знаю? Я каждый твой шаг знаю.

Надя. Миш, а ты с чайками умеешь разговаривать?

Мишка. Чего, чего?

От реки появляются Борис, Сергей Антипов и Лера.

Антипов. Имей в виду, Лерочка, мой друг считает меня безнравственным типом...

Лера. Боря, не волнуйся, я напишу о нем фельетон.

Из дома выходят профессор Марягин и Ольховцев. Марягин прищурился, глядя на закатное солнце, потер утомленные глаза. Лет сорока пяти, высокого роста, седоватый, но с короткой юношеской стрижкой. В общении со студенческой аудиторией привык к полновзвучной речи, говорит как-то эффектно. Сейчас он раздражен неудачно сложившимся разговором с Ольховцевым.

Ольховцев. Библиотеку мы собирали вместе с Андреем Семеновичем... Обещал он вам или нет?

Марягин. Мы этой темы коснулись в день его смерти... Но он был слишком возбужден. Разговор не состоялся.

Антипов. Владимир Павлович, как вам работается?

Марягин. Спасибо, неплохо.

Антипов. Если не секрет, для печати или новую лекцию готовите?

Марягин. Обратились ко мне товарищи из областного отделения Союза художников. Молодой скульптор Евдокия Неврозова сделала скульптуру Матвея Черного, вождя восстания городской бедноты в семнадцатом веке.

Мишка. В семнадцатом году?

Надя. Веке!

Антипов. Миша, не напрягайся. Пожалуйста, Владимир Павлович.

Марягин. Так вот, наш пращур был смолокур. Смолил лодки купцам, которые плыли со своими товарами по реке Верже на юг.

Мишка. Из варяг в греки?

Марягин. Вокруг скульптуры Матвея Черного разгорелся спор. Дело в том, что скульптор изобразила нашего пращура эдаким мыслителем, почти в роденовском духе. Но ведь он был вождем народного бунта, удальцом, держал в руках меч!

Борис. Извините, я тоже видел эту скульптуру. По-моему, верное изображение. Матвей Черный был мастеровой, смолокур. Кроме того, на редкость грамотный человек для своей среды. Вы читали воззвания к жителям Привольска, которые он писал собственной рукой? Я откопал недавно в архиве... Его восприятие мироздания резко отличалось от канонического. И, судя по всему, своей программой он взял первоначальное христианство. Он скорее был бунтарь духа, чем силы.

Марягин. Простите, Боря, вы ведь, кажется, заочник истфака?

Борис кивнул.

Так вот, каждое историческое явление учитесь увязывать с текущим моментом...

Антипов (*нетерпеливо*). Хотите, я предскажу финал спора вокруг скульптуры?! Владимир Павлович обрушится на бедную художницу. Точно так же, как обрушился четыре года тому назад на двух молоденьких студентов.

Борис (*укоризненно*). Сергей... Завелся?

Марягин. Сережа, вы извращенно представляете то, что случилось с вами в университете... Даже если бы вы были моими детьми, я не смог бы поступить иначе.

Мишка. И на что тебе образование давали, а?! Ревизионисты!

Ольховцев (*Мишке*). Слышь, паря... Этак ежедень будешь гаркать, чего доброго, пуп надсадишь.

Мишка. Молчи уж, Евгений Степанович. Расплодились, паразиты!.. (*Уходит за свою калитку.*)

Надя. Боря, вы не жалеете, что мы ходили к озеру?

Борис. Теперь мы будем ходить туда каждый день.

Марягин. Надюша, у нас еще много работы и вряд ли у вас будет столько свободного времени.

Лера. Папочка, если бы ты хоть раз там побывал... (Ольховцеву.) Евгений Степанович, я все хочу вас спросить: почему вы иной раз говорите на каком-то дремучем языке?

Ольховцев. Легче вписываюсь в обстановку: экзотический старик, хранитель музея, древней церкви... Реклама! Иностранцы меня весьма охотно фотографируют.

Лера. А чем вы в своей жизни занимались?

Ольховцев. Ваш покорный слуга в тридцать лет управлял губернским коммерческим банком... (Беззвучно рассмеялся.) Работал я и после революции, до самой пенсии. Тоже в банке. Да ведь что ж наши банки! Из одного кармана в другой деньги перекалываются, скучные операции. А я-то помню игру страстей, банкротства...

Лера. А здесь, в Кардымовке, чем жили?

Ольховцев. Барышня, я неподходящий для вашей газеты герой. Книги собирал вместе с покойным Бунеевым. Андрей Семенович не мог их хранить у себя на дебаркадере. Каюточка маленькая. Все ко мне да ко мне в дом... Необыкновенный был человек.

Марягин. Да, да, чувствовал я — в здешнем начальнике пристани было что-то большое, что-то из другой жизни.

Антипов. Мне он, наоборот, показался каким-то неудачником.

Ольховцев. Это был талантливейший инженер! Вскоре после войны он создал проект моста через Вержу. Гениальный — по замыслу, по новизне. Годы были определенные... И в техническом авантюризме обвинили автора и в прочих грехах... Статья появилась в газете — истерическая, оскорбительная. А теперь пожалуйста — стройте мост, и по тем же идеям, за которые когда-то крыли Бунеева.

Борис. Что же он, не защищался?

Ольховцев. Андрей Семенович, конечно, боролся сколько мог со своими оппонентами. А потом — хлопнул дверью... Как никто он был полон достоинства. Переехал из города сюда, в Кардымовку. Остался один, но не изменил себе. Так мог поступить только сильный человек.

Борис. Сильный — так дрался бы!

Ольховцев. Драться? А что в том цены? Больше ли, чем в покое, который обрел он тут, в глуши?

Борис. Сколько ему было тогда лет?

Ольховцев. Тридцать два.

Борис. Рановато для покоя.

Ольховцев. Тем серьезней он наказал людей, которые его не поняли. Если вы не отличаете таланта, не считаете, что он нужен... Ходите по старым мостам, пережевывайте старые истины... Мы сошлись с ним в главном принципе: подальше от людей.

Антипов. Позвольте, на Западе это сплошь да рядом...

Марягин. Сережа, там социальная почва разобцает.

Ольховцев. Социальной почвой всего не объяснишь... Искон веков люди уходили от суеты жизни. Две с половиной тысячи лет назад один восточный принц ушел из своего дворца, стал проповедником и назвался Буддой... Или — отец Сергей. Помните, у Толстого?.. Отец Сергей на современной западной почве к-хе... к-хе... не маялся. Человек, заглушивший в себе инстинкт стадности, становится выше толпы.

Антипов (иронизируя). Евгений Степанович, при чем тут стадность?.. Наш родной, здоровый коллектив — толпа?..

Ольховцев. Андрей Семенович не был в полном смысле не-людимым. В дружбе он был необычайно щедр. Посмотрите, Борис, — его фотография... Хочу в Привольск отвезти сделать отпечаток на фарфоре для могильного камня. *(Отдал фото Борису.)* Вы сразу увидите: недюжинная личность...

Надя переглянулась с Ольховцевым понимающе, тот кивнул ей. Борис разглядывает фотографию.

Борис *(проникаясь волнением и интересом к человеку, фотографию которого он держит в руке)*. Лицо волевое...

Фотография Бунеева переходит из рук в руки.

Лера *(шепчет Антипову)*. Вылитый Борис Куликов...

Антипов *(тихо)*. Как же я раньше этого сходства не заметил?

Борис *(еще раз взглянул на фотографию, прежде чем вернуть ее Ольховцеву; закурил)*. Забавно...

Входит Варвара с кувшином и кружкой.

Варвара. Выпейте кваску. Это не буфетовский, сама варила. Из погреба, с холодком... Евгений Степанович, там, коло церкви, иностранцы толкуются. Итальянские, слышать. Из Корабельщиков на машине прибыли, с гидом.

Ольховцев. Иду, Варенька. *(Уходит.)*

Варвара направляется в свой буфет.

Лера. Сергей, погуляем по берегу?

Антипов. Можно и по берегу.

Уходит с Лерой. Марягин задержался, исподволь наблюдая за Борисом и Надей. Понял, что он им мешает, торопливо уходит.

Борис. Нет ли у вас или у вашего деда фотографии Сент-Экзюпери? Может быть, я похож на него еще больше?

Надя. Может быть.

Борис *(после паузы)*. С кем еще он тут дружил, Бунеев?

Надя. Еще? *(Замялась.)*

Борис. Вы не хотите говорить? Почему?

Надя *(неохотно)*. Это, возможно, только дед да я и замечали. Дружил он с Варварой Антоновной Зевиной.

Борис. Близко дружил?

Надя. Много лет. Боря, пойдемте, я вас покормлю. Пирогами с рыбой...

Борис идет на дебаркадер — в буфет, где за стойкой сидит Варвара Зевина. Надя уходит.

Борис. Скажите, где та баня?

Варвара. Какая баня?

Борис. Та, где умер Бунеев.

Варвара *(вышла из буфета, показывает)*. Во-он там, в нашем огороде, на бугорке... Любил он баниться. Зимой, бывало, прямо с пару в снег, в сугроб, а потом снова пару поддает... *(Вернулась в помещение буфета. Бросила монету в радиолу, пустила музыку.)*

С той стороны, где виднеется церковь, появляется мать Бориса Татьяна Васильевна. Ей лет под пятьдесят, одета она в черное платье. Заплаканные глаза.

Татьяна Васильевна *(еще издали увидела сына, окликнула)*. Боря!

Борис *(оглянувшись)*. Мама...

Татьяна Васильевна. Записку твою получила... Приехала на «кукушке». Знаешь, по узкоколейке леспромхозовской поезд ходит? Маленький такой паровозик... *(Сдерживает слезы.)*

Борис *(прикоснулся к материнской щеке)*. Выпачкалась ты в земле. *(Бросил сигарету.)*

Татьяна Васильевна. Могила еще свежая... *(Разрыдалась.)*

Борис обнял мать.

Так ты с отцом и не повидался...

Борис *(в смятении)*. Мы очень похожи... Мне показали его фотографию.

Татьяна Васильевна *(с настороженностью)*. Кто показал?

Борис. Его друзья, Ольховцевы. Хочешь, познакомлю тебя с ними?

Татьяна Васильевна. Нет, нет! Эта Кардымовка мне вся ненавистна... эта проклятая пристань!..

Борис *(мягко, со скрытой болью)*. Мама, почему ты мне не сказала? Об отце. Столько лет...

Татьяна Васильевна. Прости меня. Я боялась...

Борис. Чего, мама?

Татьяна Васильевна. Боялась остаться одна. Он мог бы оторвать тебя... от меня оторвать...

Борис. Мама, да разве я ушел бы от тебя?

Татьяна Васильевна. А с кем ты был бы душой — со мной или с ним?..

Борис. Все-таки... он отец...

Татьяна Васильевна. Ну и что отец! Он-то к тебе не рвался. Не зря я и фамилию тебе дала свою и отчество — по имени деда, моего отца. Меня он не любил... Здесь он нашел себе утешение! Буфетчица...

Борис. Мама, она страдает, плачет.

Татьяна Васильевна. Потаскухи тоже имеют слезы про запас. Муж-то при ней. Муж! Ты уверен, что твой отец сам умер? Мы еще дознаемся. Меня сам областной прокурор просит в летний период: оставьте кому там билет туда да сюда. Я ему прямо в прокуратуру позвоню.

Борис. Успокойся, мама.

Татьяна Васильевна. В конце концов, даже товарищ Стромов меня знает, председатель горсовета. Я с ним в одной школе училась. Редко к нему обращаюсь, а сейчас...

Борис. Мама... ты... хорошо понимала, что тогда происходило с отцом?

Татьяна Васильевна. А что понимать? Я тебе не зря говорила в детстве, что твой отец из-за проклятого моста погиб. Сначала переживания с этим проектом, то, се. Уедем куда, что ли? Ну, уедет — приедет, мне-то зачем с малым ребенком разрываться туда-сюда. Одни только нервы были у нас с ним. Также и поплачешь и покричишь. Из-за него же и расстраивалась... Забился в Кардымовку. А тут эта... женщина... Здоровущая, об тротуар не расшибешь. Чего тут не понять? Обыкновенно...

Татьяна Васильевна оборвала свою речь: увидела Антипова и Леру, идущих от реки.

Антипов. Здравствуйте, Татьяна Васильевна.

Татьяна Васильевна. Сережа?.. Мне Боря написал, что с тобой встретился...

Антипов. Живем в одной комнате.

Татьяна Васильевна. В той самой комнате, где жил его отец.

Антипов (*переглянулся с Лерой, опустил голову*). Примите мое сочувствие. До свидания, Татьяна Васильевна.

Антипов и Лера удаляются.

Татьяна Васильевна (*с бравадой*). А теперь хотя и жив был бы, хотя бы просился обратно — нет уж, не надо, как жила одна, так и буду одна! (*Вдруг разрыдалась*.)

Борис. Мамочка... успокойся...

Татьяна Васильевна. Ах, неприкаянный...

Борис. Мама, я поеду с тобой, домой поеду.

Татьяна Васильевна (*вытирает слезы, независимо*). И что это ты? Успокаивать еще меня!.. У тебя отпуск — отдыхай. Катер подходит... (*Поспешно целует сына. Направляется к дебаркадеру. Оглянулась на дверь буфета, махнула Борису прощально рукой*.)

Катер рыкнул. Ушел. Борис стоит на дебаркадере. С верхней палубы деловито спускается Зевин.

Зевин. Смотрю я, смотрю на воду, а картина в глазах совсем другая... Если тракторным поездом идти, вездеходом, от Мирного, через ледяное плато... Бураны в Антарктике не похожи на наши, не-е... Возьмут меня туда еще раз?.. Силы во мне на троих, а года... года!.. Когда мужику за пятьдесят и специальность не самая, сказать, научная... (*Сразу, почти без перехода*.) Мать приезжала?

Борис. Приезжала.

Зевин. Здесь и отпуск после навигации дают... А зачем плотнику на такой пристани отпуск? Дают — закон. Вот навигация кончится... зима... Капусту будем квасить. Дров надо запастись. Сушняк нынче навалом в лесу. Опять же ребры дебаркадере менять надо в подводной части. Это уж на будущий год. Зимой, стало быть, бревна заготовлю... (*Также без перехода*.) Теперь знаешь, к кому ты сюда ехал? Мать сказала?

Борис. Сказала.

Зевин. Дважды уезжал я отсюда. Экспедиция-то долгая. Задумаюсь, бывало, когда вздохнуть можно. Уж чего-чего в Кардымовке моей происходит?.. Все перевернулось. Вода вспять потекла. Вертаюсь домой — не, одно и то же. И река и жена. Как было, так и не сдвинулось. Ты пингвинов в зоопарке видал? Ну так вот. Река Вержа — совсем не то, что шестой материк!.. (*Проходит, скрывается за своей калиткой*.)

Темнеет. По берегу в высоких резиновых сапогах шагает Мишка.

Мишка. Во, сегодня всей бригадой хороший улов взяли... Премиальные обеспечены!

Борис. Мишка, а что там, в бунеевской каюте, было?

Мишка. Иди-ка, табань правым.

Борис. Слушай... Мне это нужно.

Мишка. Теперя оно государственный секрет.

Борис. Он отец мой был, Бунеев.

Мишка. Ты не колотись. Наследство он тебе не оставил. Кому нужно, и без тебя разберутся.

Борис (*схватил Мишку за ворот куртки*). По-хорошему сказать не хочешь?

Мишка. Дай дорогу.

Борис (*ловким броском швырнул Мишку на землю, пригавил*). Что из тайника достал? Куда спрятал?

Мишка (*хрипит*). Пусти...
 Борис. Лежи тихо... Говори, что в тайнике было?
 Мишка. Чертежи.
 Борис. Где они, чертежи?
 Мишка. Отвез я их.
 Борис. Куда отвез?
 Мишка. В город. Им.
 Борис. Кому?
 Мишка. Которые шпионов ловят.
 Борис. Это почему же ты им?
 Мишка. А почему он чертежи прятал?.. А? Спер? Кто так делает?..
 Борис. Эх ты!..
 Мишка. Там не приняли... направили...
 Борис. Куда? Вывеску хоть запомнил?
 Мишка. Запомнил... этот... институт... Улица Площадная, дом номер восемь.

Появляется Надя.

Борис. Вставай.

Мишка вскакивает, собирает свои снасти, весла.

Шпиона он нашел! Фильмов ты насмотрелся, парень...

Мишка (*тихо, с ненавистью*). Мотай отсюда. Ты здесь не отдохнешь, а последнее здоровье потеряешь. (*Скрывается в своем дворе.*)

Надя (*погошла ближе*). Борис... уехали бы вы, правда... Еще дня три — и я тоже домой, в город. Уезжайте, Боря...

Борис. Отсюда, из Кардымовки? Как он тут жил?.. На дебаркадере... один! Вержа перед ним... Двадцать лет... Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это быть в самом себе. Француз Монтень сказал эти слова три столетия назад...

Надя. Сердитый он был очень, Андрей Семенович.

Входят Антипов и Лера.

Антипов. Мать уехала? Слушай, Боб, говорят, сохранились какие-то чертежи.

Борис. Я знаю.

Лера (*как бы извиняясь*). Боря, я подрабатываю в нашей областной газете. Брала интервью недавно... Боря, мне давал интервью инженер, который строит новый мост через Вержу. (*Вспоминает.*) Фамилия такая простая... Толстяк, с одышкой... Он говорил, что у него с Бунеевым был какой-то конфликт.

Антипов. Ведь как бывает: повидергивал из старых чертежей все лучшее, подправил — уже и строит. Вот тебе и весь конфликт.

Лера. Сергей, ты же его не знаешь... и так плохо о человеке!

Антипов. Я не о человеке, я о человечестве, Лерочка.

Борис. Опять завелась.

Антипов. Боб, все-таки попробуй в этом разобраться. Живому не успел — помоги теперь. Дерзай, старик! Ты рожден для подвига. Если же доведется спорить... не забывай, у тебя всегда в запасе очень веский аргумент: тренированные кулаки десантника. (*Серьезно, даже чуть с нажимом.*) Время спросит потом не с кого-нибудь, а с нас: что вы сделали, чтобы пыль равнодушия не покрывала планету? Подумай, кто это сделает за нас? Кто, если не мы?! (*Взял за руку Леру.*) Ребенок, пойдём в лес собирать малину?

Лера. С одним условием: ты будешь патетически молчать. Так же, как говорил.

Уходит с Антиповым.

Борис. Я никогда не бывал в деревенской бане. Пойду посмотрю, как там...

Надя (*понимающе смотрит на Бориса*). Иди. Я тебя подожду.

Затемнение.

Прошла неделя. Та же обстановка. Часы предвечерья. Из дома Ольховцева выходят Надя и Марягин. Надя несет книги Марягина и свою тетрадь для стенографирования. Подходит к валунам. Здесь на скамейке, возле кольев с лаптями, развешанными для продажи туристам, сидит дремлет Ольховцев.

Надя. Не бойтесь вы свежего воздуха!

Марягин (*с намеком*). Вам-то здесь лучше: дебаркадер весь виден.

Надя. При чем тут дебаркадер?! Просто на воздухе работа свежей пойдет.

Марягин. Если уж не идет, так не идет... Эта скульптура Матвея Черного далеко не мелочь, Надюша... Вы читали мою книгу о Привольском восстании семнадцатого века? Вышла нынче весной.

Надя. Простите, не читала.

Марягин. Я убежден, что моя концепция Привольского восстания и Матвея Черного — единственно верная концепция. А споры вокруг скульптуры — просто мышинная возня. Почему же так трудно мне сегодня собраться с мыслями?

Надя. Чем вам помочь?

Марягин. Вы? Могли бы... Вы все, все могли бы...

Надя. Буду стараться, Владимир Павлович. Давайте здесь. Дед нам не помешает.

Ольховцев. Все-таки неудобно: вроде бы посторонний предмет. (*Встает.*)

Марягин (*отвел старика в сторону*). Дорогой Евгений Степанович, имейте в виду, ваша библиотека для меня бесценна. Я готов дать за нее любые деньги. Неужели ж не проснется ваша коммерческая жилка?..

Ольховцев. Если б можно было посоветоваться с Андреем Семеновичем... (*Уходит.*)

Марягин (*вслег*). Все-таки я не теряю надежды.

Надя. Сегодня в шестнадцать тридцать был катер?

Марягин. Был, кажется. (*Саркастически.*) Впрочем, нет, в бурных волнах Вержи произошло кораблекрушение. Пассажиров подобрало океанское судно, и только прекраснейший из них, Борис Куликов...

Надя (*сухо*). Я готова, Владимир Павлович.

Марягин. Последние фразы... прочтите, пожалуйста...

Надя. «Мне думается, обращение к материалу истории не должно связывать фантазию художника. Точка. И все же...»

Марягин. Та-ак... (*Диктует.*) «И все же те крупницы сведений относительно Матвея Черного, которыми располагает историческая наука о нашем крае, вряд ли дают художнику право трактовать...» (*Поморщился.*) Боже мой, какой суконный пошел слог... «право», «трактовать».

Надя (*привычно*). Право трактовать...

Марягин. Зачеркните. (*Диктует.*) «Современный взгляд художника на исторический материал предполагает прежде всего...»

Надя. Простите, вы заторопились. Повторите.

М а р я г и н. «Современный взгляд художника на исторический материал предполагает прежде всего объективную зоркость к главному, определяющему в данном отрезке истории. «Сотри случайные черты» — сказал поэт...» Нет, не идет. Жвачка. Солома какая-то. Вот вы скажете свое «повторите» — и все мысли сразу куда-то вылетают.

Н а д я. Обычное профессиональное выражение — «повторите».

М а р я г и н. Я не сплю уже несколько ночей.

Н а д я. Владимир Павлович, вы будете диктовать?

М а р я г и н. Хорошо, считайте, что я диктую.

Н а д я (*иронически*). Буду считать. Время стенографистки оплачивается.

М а р я г и н. Сегодня ночью я смотрел на себя вашими глазами..

Н а д я. Это не записывать?

М а р я г и н. Молодыми, беспощадными глазами.

Н а д я. Владимир Павлович, не надо.

М а р я г и н. Вы так спокойны...

Н а д я. Закалка, Владимир Павлович. Извините, профессиональная закалка. Мне примерно раз в месяц кто-нибудь обязательно объясняется в любви.

М а р я г и н. «Кто-нибудь»!

Н а д я. Вот я прихожу к вам домой и к другим. Сидишь, работаешь наедине. Скажешь раз-другой «повторите», а дядечка вдруг на колени бац! Или прямо целоваться лезет. Опасная профессия. Стюардессы, официантки, стенографистки — это в представлении некоторых легкая добыча. Лишь бы купить наше расположение, побольше дать на чай...

М а р я г и н. Безумец... Барабан с квасом.

Н а д я. Продолжим диктовку?

М а р я г и н. Нет. (*Увидел, что Надя нахмурилась.*) Но вы-то что нахохлились?

Н а д я. И не думала, Владимир Павлович.

М а р я г и н (*желая восстановить душевный контакт*). Помните, вы как-то похвалились, что у деда в сундуках сохранились старинные деревенские наряды? Показали бы мне... Я ведь свои исторические очерки всегда немножко беллетризирую. Очень хочется увидеть эти платья не в музее, а на живой прелестной женщине...

Н а д я. Владимир Павлович, я не манекенщица, я стенографистка.

Слышен шум причаливающего катера. На дебаркадере появляется Б о р и с К у л и к о в с тремя большими картонными папками в руках.

Я свободна? (*Спешит на дебаркадер.*)

Б о р и с (*очень устал, недоволен собой, мрачен. В его поведении ощущается скрытность*). Привет. (*Вошел в комнату, положил папки на свою койку.*)

Н а д я (*в комнате*). Это что у тебя?

Б о р и с. Большие картонные папки.

Н а д я. А что в них?

Борис не отвечает.

А н т и п о в (*встает со своей раскладушки*). И на челе его высоким отражалось... душевное смятение.

Б о р и с (*резко*). Откуда смятение?!

А н т и п о в. Отдых называется... Умчался в город, пропадал там целых три дня... Надя соскучилась.

Б о р и с. Вместе с Владимиром Павловичем скучала?

Надя (*увидела из окна появившегося на палубе дебаркадера Марягина*). Владимир Павлович! Хотите, сейчас буду вам платяг показывать? (*Выходя из комнаты, оглянулась на Бориса*.) Спешите на демонстрацию старинных женских нарядов, вход бесплатный — для всех! (*Бежит в дом гега*.)

Ольховцев выходит на крыльцо.

Ольховцев. Ох, шальная девка... (*Направляется к своей скамейке, что возле камней*.)

Антипов. Так чем же ты занимался в городе?

Борис (*закуривает, поглавляя раздражение*). Пойду посижу со стариком Ольховцевым... Ей-богу, в его равнодушии к окружающим есть и что-то джентльменское!

Антипов. Иди.

Борис. Нет, нет, и ты со мной.

Антипов. А! Боишься оставить меня наедине с этими огромными папками?

Борис. Смекалистый мужик. Вытряхивайся, я запру дверь на замок. (*Выпроводив Антипова, выходит сам и снаружи запирает дверь*.)

Антипов (*идет вслеп за Борисом*). Ты меня интригуешь, Куличок.

Появляются туристы, женщина и мужчина, нагруженные рюкзаками и спальными мешками. Входят в буфет дебаркадера, где Варвара делает уборку.

Туристка. Смотри, Юраша, бутерброды... и музыка!

Турист (*погошел к радиоле*). Разрешите монетку бросить?

Варвара. Перерыв.

Туристка. И музыка отдыхает?

Варвара. Мало ль чего вам под музыку схочется. А у меня в наличии одна вода с пузырьками.

Туристы покидают буфет и направляются к камням. Туда же идет и Марягин.

Туристка (*выбирает лапти*). Сколько за эту пару?

Ольховцев. Сколь не жалко.

Туристка. Три рубля.

Ольховцев. Забирай, шлепай по асфальту.

Турист. Бери, Лидусенька, бери, отличная дамская обувь. Мы к вечеру с маршрута вернемся, не скажете ли, где здесь можно переночевать?

Ольховцев (*указывает*). Эвон забор с калиткой, хозяева бескручинны, ночлег за деньги, а домовый даром.

Турист. Спасибо. (*Марягину, тихо*.) Колоритнейший деревенский дед.

Марягин. Monsieur Olkhovtsev, vous vender vos souvenirs tres bon marché, n'est-ce pas? Mais ce sont, comme on dit, articles d'artisanat¹.

Ольховцев. Si je les vends plus cher, monsieur Marjaginne, j'aurai moins de clients, et ma firme sera ruinéé².

Туристы уходят, забрав лапти.

Надя сбегает по ступенькам с крыльца в старинном русском женском наряде, на ногах сапожки с полувысоким каблуком, кокошник на голове. Вслед за ней вышла Лера.

¹ Мсье Ольховцев, не слишком ли дешево вы продаете свои сувениры? Это же, как говорится, изделия художественного промысла (*франц.*)..

² Если продавать их дороже, мсье Марягин, будет меньше покупателей и моя фирма разорится (*франц.*).

Л е р а. Смотрите, смотрите, жалкие брючки — и эта роскошь! На д я (*погражая гегу*). Бабы платья те же мешки, рукава завяжи да что хошь положи. Верно, дед? Балалайка твоя не пригодится?

Ольховцев идет, берет с крыльца балалайку. Ударил, пробуя, по струнам. Надя прохаживается в своем наряде. Из калитки появился Миш к а.

Вот, профессор истории, какие они были когда-то, бабы в роду Ольховцевых!..

Миш к а. Вековая отсталость... Евгений Степанович, кто ж теперь на этой тринкалке играет? У вас же магнитофон есть! (*Наде*.) Вырядилась!

На д я (*вызывающе глядит на Бориса*). Мише не нравится, что я вырядилась? А ну вдарь, Степаныч!

Ольховцев тронул струны балалайки.

(*Поет, идя по кругу.*)

Черна курочка с хохлом,
Кто не встренется — поклон...
Черна курочка с хохлом,
Кто не встренется — поклон!

Эй, вставайте-ка, ребята,
Пора завтракати,
Работушку работать,
Родну пашеньку пахать.

Марягин хлопает в ладоши, Антипов и Лера поддержали.

Миш к а. Хор Пятницкого.

На д я. Дед, давай в два голоса.

А твоя-то растопыра
Еще печку не топила...

Ольховцев (*вторит ей глуховатым баском, перебирая струны балалайки*).

Еще печку не топила,
Не варила, не пекла...

На д я (*идя по кругу, пританцовывает*).

Черна курочка с хохлом,
Кто не встренется — поклон...
Черна курочка с хохлом,
Кто не встренется — поклон!

Миш к а (*не выдержал*). Хороший концерт, да не те зрители. (*Уходит.*)

На д я. Владимир Павлович, я вам понравилась?!

Ма р я г и н. Очень.

Борис уходит на дебаркадер. Отпирает ключом свою комнату, входит в нее. Антипов увязался за ним. Надя потопталась в нерешительности и бегом устремилась на дебаркадер, поддерживая широкие юбки.

На д я (*ворвалась в комнату*). Артистка пришла за аплодисментами на дом! Для удобства публики.

Антипов. Публика не в духе. Боб, что же ты все-таки притащил в этих здоровенных папках? Можно развязать тесемки?

Борис не отвечает. Антипов раскрывает одну из папок.

Лера (*на скамейке собирает книги Марягина*). Папа, ты устал? Марягин. Очень.

Лера обнимает понуро молчащего Марягина, уходит с ним в дом. Туда же идет Ольховцев.

Антипов. Чертежи?..

Борис (*трепетно, как о святых вещах*). Это проект моста через реку Вержу в нашем Привольске. Автор проекта — инженер Бунеев Андрей Семенович.

Надя (*берет лист ватмана*). Чертежи твоего отца?! Пожелтели...

Из своей калитки выходит Мишка с метлой в руке. Проходит на дебаркадер. Принялся было подметать дощатый настил, однако, заметив Надю в комнате Бориса и Антипова, подкрался, лег под окном.

Антипов. Откуда они? Почему ты привез их сюда?

Борис. Выкрал и привез.

Антипов. Хо-хо!

Надя. Откуда выкрал?!

Борис. Есть у нас в Привольске проектный институт, филиал московского. А в том институте — отдел архивной документации. Оттуда.

Антипов. Ворвался в маске, с пистолетом? Вскрыл сейф?

Борис (*неторопливо*). Гораздо проще. Принял меня начальник отдела. Разрешил посмотреть чертежи... Сидит передо мной рано облысевший молодой человек. С нежностью этак поглядывает на меня. Спрашиваю товарища: «Совсем устарели эти листы или еще живые?» Товарищ отвечает: «Идея использована, а техническая разработка интереса уже не представляет. Все, что еще могло быть полезно, мы извлекли».

Антипов. Я тебе что говорил!..

Борис. Меня словно током шибануло... (*Приподнял с плитки чайник, поболтал.*) Водички бы... (*Сделал движение к двери.*)

Мишка быстро отполз от окна и отскочил в проход, разделяющий надвое нижнюю палубу дебаркадера.

Антипов. Погоди, доскажи!

Борис (*раздумчиво*). Отец жизнь потерял, а какой-нибудь «новатор» теперь выставит свою фамилию?.. Давал же Лере интервью строитель моста!.. Братцы, я прямо-таки задохнулся, ослеп... Только плавает перед глазами подпись отца на листах чертежей... «А. Бунеев... А. Бунеев... А. Бунеев»... А тут товарищ извинился и на минутку вышел из кабинета. Я собрал чертежи в папки, завязал бечевки... Очень спокойно, будто это не я делаю, взял папки, вышел. Прошел по коридору, спустился по лестнице. Вахтер старикашка чай пьет, взглянул на меня — и хлебает дальше... Я уже только на улице опомнился! Зачем же мне эти чертежи? Подумал-подумал и потащил их в горсовет.

Антипов. Почему в горсовет?

Борис. Вспомнил: председатель горсовета Стромов — старый знакомый моей мамы. Говорят, порядочный человек. Заинтересуется, сравнит два проекта — старый и новый... А Стромов в командировке — и привет! К кому еще толкнуться?.. Так я с этими пудовыми папками и мотался по городу. Ночевал у приятелей... (*Взял чайник.*) Вскипятим чайку... (*Вышел из комнаты, прошел через настил к реке и скрылся.*)

Антипов и Надя рассматривают чертежи. Мишка вошел в буфет, где за стойкой сидит Варвара.

Мишка. Мам, я в Корабельщики. Выйду на проселок, голосну. Авось попутная машина подкинет.

Варвара. Зачем тебе в Корабельщики?

Мишка. Серьезные люди зазря в район не ездят. Ты, мам, пока помалкивай.

Выходит из буфета и удаляется в левую сторону сцены, туда, где виднеется церковь и предполагается проселочная дорога. Борис возвращается в комнату с водой в чайнике. Ставит чайник на плитку.

Надя. Сколько же ты будешь так скрываться? Когда вернется из командировки Стромов?

Борис. Сказали — на днях.

Антипов. Милый Куличок, ты же украл чертежи! Никакой Стромов их от тебя не примет. Ты же не инстанция.

Борис. Думаешь, не примет?

Антипов. Ты совершил один из тех проступков, которые осуждают всякое организованное общество. А уж в том, что наше общество организованное, ты, лапушка, не сомневайся.

Надя. Записывала я речь одного оратора. Болтал-болтал он, а потом говорит: «Я болтаю, товарищи, но я безвредный». А ты, Сережа?.. Давайте-ка, друзья, я вас чаем напою из самовара, с вареньем или с медом. За чаем и думается лучше. *(Выходит из комнаты гебаркадера и скрывается в доме гега.)*

Борис. Я не хотел при Наде... Позвонил я домой, маме. Следователь приходил. Серж, что посоветуешь?

Антипов. Сразу — следователь?.. *(Внутренне отстраняясь.)* Слушай, во-первых, сохраняй чувство юмора. Единственное спасение современного человека.

Борис. Конструктивная у тебя голова! Ладно, пойдем чай пить.

Выходит и вместе с Антиповым направляется в дом Ольховцева. Из своей калитки выходят Варвара и Зевин.

Зевин. Отчего бы ему в район мчаться?

Варвара. Вернется — скажет.

Зевин и вслед за ним Варвара проходят к авансцене, останавливаются возле валунов.

Зевин. Мишка свои дела провернет. А вот нам с тобой как дальше-то, Варя?

Варвара. Как теперь, так и дальше.

Зевин. Разве это жизнь? Сколько лет мы муж и жена, а если посмотреть, все ни к чему... Может, я тебе несовременный? Ну, богатства не умею наживать?..

Молчание.

Варвара. Так и я не умею, хоть и при деньгах, при буфете. Да и Мишка честно вырастает.

Зевин. За что ты его любила, Бунеева?

Варвара молчит.

Скажи, Варя, по правде, я не обижусь, а то и пойму чего нужно. Был бы я тебе слабый или, сказать, дурной... *(Пожимает своими еще могучими плечами.)* Может, и обо мне где-то баба сохнет, и не хуже тебя... А вот я от тебя оторваться не могу, приморозила ты меня. Скажи, что это мы, а?

Варвара. Сильный ты, Егор, верно. Ты уж такой сильный, такой самостоятельный завсегда, а тому человеку я правым плечом была... Моим духом держался. Иначе бы он вообще — камень на шею да в реку, на дно... Как прибился он тут, и годы покатались, не заметила. Все теперь, конченная программа... Могу жить, могу не жить — все равно.

Зевин (после паузы). Стало быть, опять я решаю, потому что я самостоятельный?.. Та-ак... Силы еще есть... Поеду. Может, в последний раз, а поехать надо. Если я здесь теперь останусь, рассоримся мы с тобой. Вижу, рассоримся так, что потом ничем трещину не склеишь. А я жить с тобой собираюсь еще долго-долго.

Варвара (в слезах). Егор, прости меня, озоруху, прости, Егорушка, не уезжай!..

Зевин. Сейчас ты просишь, а пройдет минута — опять глаза опустишь, отвернешься.

Варвара. Жалкий ты мой!

Зевин. А говорила — сильный. Это же разница. Решил. Сразу и поеду. Бельишко чистое ты мне дай. Галстук широкий, что Мишка подарил. Красоток буду завлекать! Харчиться в дороге теперь легко, повсюду буфеты. Где остановлюсь, напишу тебе свой адрес. Захочешь — ответишь.

Варвара. Да какого лиха ты надумал?..

Зевин. Вернусь я. Вернусь, когда позовешь меня. Пойдем, пособи чехоман мне собрать.

Варвара. Ах, Егор...

Зевин. Пойдем, Варя, если я решил — так решил. Решил, жалкий я, несильный, а решил.

Варвара. А как же Мишка?

Зевин. Перебьется.

Варвара. Он же тебя отцом считает.

Зевин. Пусть считает. Бунеева-то уж нет.

Уходит и вместе с Варварой скрывается за своей калиткой. Из дома выходят Марягин, Надя, Антипов, Ольховцев и Борис.

Ольховцев. Зря, зря вы, Борис, сделали эту свою... партизанскую вылазку.

Марягин. Я бы сказал, эта вылазка носит иной характер...

Антипов. Ты еще молод, Боб, так пасись на травке и благодарно мычи. А рога пускай взбрасывают матерые быки.

Марягин. Ваши иносказания, Сережа, не вносят ясности.

Надя. Борис, немедленно возвращайся в город. Сдай эти чертежи. Теперь уж не важно кому, только скорее сдай!

Ольховцев. Еще Платон сказал: мало чего следует так бояться, как малейших видоизменений существующего порядка вещей. Вот истинная мудрость. Андрей Семенович вряд ли одобрил бы ваш подвиг в его честь.

Надя. Дед, но дело человека должно жить!

Антипов. Это из какой стенограммы, лапушка?

Ольховцев. Андрей Семенович превыше всего ценил одиночество... Сейчас кругом столько разговоров о некоммуникабельности современного человека... Слово-то мудреное: некоммуникабельный. Раньше выражались попросту: сын в отца, отец во пса, а все в бешеную собаку... (Борису.) Вашей родословной это не касается.

Борис. Если так, сударь, то и с вами тоже надо быть осторожней?

О л ь х о в ц е в (смеется). И со мной, и со мной!

Лера, возмущенная словами Ольховцева, проходит на дебаркадер. Борис отошел от Ольховцева на авансцену.

На д я. Дед в своем репертуаре... Не обращай ты внимания. Бор-ря, может, сейчас и не время, но я хочу сказать тебе... Раньше, на-верно, не решилась бы, но теперь... Хочу, чтоб ты знал... что я тебя... что ты мне... (Ее захлестывает волнение, выпаливает.) Старик, можешь рассчитывать на меня! Всегда, понимаешь? До конца.

Б о р и с (ласково всматривается в лицо Наги и, как бы впервые открывая для себя истинное значение слов, произносит с нежностью). Дорогая моя... Да ты вся неправильная. Смуглая, а в веснушках... Нормальные девчонки подводят глаза, чтоб казались больше, а у тебя они... утонуть можно...

На д я. Только ты не выдумывай меня, ладно?

Б о р и с. Тебя еще выдумывать?..

На д я. Я ведь бывалая. В мои двадцать с гаком со мной случалось такое, что с другими и в сорок не случается.

Б о р и с. Клевая старушка.

Слышится шум катера. Появляется Л у к а ш о в. Седой, толстый, лет пятидесяти.

Л у к а ш о в (вынул изо рта потухшую трубку, говорит с одышкой толстяка). Извините, мне нужно отыскать... здесь... Бориса Куликова...

Л е р а (оглянувшись, кричит). Борис!

А н т и п о в (Борису). Следовательно? Бежать поздно.

Л е р а. Вон он, в тенниске.

Л у к а ш о в. Благодарю. Мы с вами уже где-то встречались? (Подошел к камням.) Добрый день. (Поклонился Ольховцеву как знакомому человеку, обернулся.) Лукашов, Виктор Савельевич. Ваша мама подсказала мне, Борис, где вас найти.

А н т и п о в (услужливо). Трубка у вас погасла.

Л у к а ш о в. Спасибо, я ее, как соску, сосу. Все веселей. Я присяду, с вашего позволения?

На д я. Пожалуйста.

Л у к а ш о в (садится на скамейку у камней). Стоять не может-ся, сидеть не хочется. (Лере.) Вспомнил! Вы у меня интервью брали.

Л е р а. Да.

Л у к а ш о в. По городу разошелся слух, что... гм... сын Бунеева спасает проект отца... Спасает от вора, от плагиатора, от проходимца. Так вот, этот мерзавец — я.

Б о р и с (смотрит на Лукашова как на опасное и диковинное чудовище). Самокритично... Отпустить ваши грехи мог бы лишь один человек, но он мертв.

Л у к а ш о в (резко). А что вы знаете о моих отношениях с вашим отцом? Так вот, я попросил созвать конференцию в институте. В присутствии коллег, представителей общественности города, журналистов... Я расскажу о своем проекте моста через Вержу. Необходимы чертежи, для сравнения... Верните их.

Б о р и с. Вы еще не все использовали из отцовского проекта?

Л у к а ш о в. Видите ли... в своей работе я развиваю идеи Бунеева.

Со стороны дороги доносится треск мотоцикла. Затем появляются Мишка и старшина милиции Пятищев.

П я т и щ е в. Мотоцикл поставим... Ну так где тут проживает парень из города, Борис Куликов?

Мишка молчит.

Ладненько, граждане подсказут. *(Подходит.)* Заранее извините, нарушил ваш отдых. Милиция разыскивает гражданина Куликова.

Б о р и с. Я Куликов.

П я т и щ е в. Прошу пройти со мной к месту вашего проживания.

Пятищев и Борис входят в комнату на дебаркадере. Лукашов, Антипов, Марягин, Олховцев, Лера и Надя остаются на палубе, возле открытого окна. Мишка стоит чуть поодаль.

Б о р и с. Садись.

П я т и щ е в. Кому сидеть, решит закон. Эти папки?

Б о р и с *(резко)*. Ты не лапай!..

П я т и щ е в. Эге-е?..

Б о р и с *(готов броситься в граку за дорогие его сердцу чертежи)*. Говорю, не тронь!

П я т и щ е в *(оттолкнул Бориса)*. Парень, ты себе лишнюю статью не нагоняй... *(Приподнимает папки.)* Тяжеленьки.

Л у к а ш о в *(Пятищеву)*. Товарищ, я специально приехал... Разрешите, я все это беру в институт?

П я т и щ е в. Приказано в областное управление отправить. Оттуда и забирайте.

А н т и п о в *(через окно)*. Эй, детектив, а вы имеете право на обыск?

П я т и щ е в. Я и не обыскиваю. Ить какой строгий, борода! Предъявите документы.

Антипов показывает свой паспорт.

Возьмем на записочку. *(Списывает данные паспорта в записную книжку.)* Антипов, Сергей Леонтьевич. Место прописки... та-ак... *(Возвращает Антипову паспорт.)*

А н т и п о в. Отдохнули, называется.

Мишка покидает дебаркадер.

П я т и щ е в. Заранее извините, товарищи. Отдыхайте и дальше. Воздух у нас — хоть на экспорт продавай. Поехали, гражданин Куликов. Сядешь в коляску.

Пятищев, нагруженный своими трофеями, и Борис выходят из комнаты.

Н а д я *(бросилась к Пятищеву)*. Стойте! Куда вы его? Отпустите...

П я т и щ е в. Гражданочка... там разберутся... *(Осторожно отрывает от себя Надю.)* Хоть кружева свои поберегите...

Б о р и с *(сурово)*. Надя...

Надя с плачем прильнула к Борису.

П я т и щ е в. Пошевеливайся, Куликов.

Б о р и с. До свиданья, города и хаты.

Борис и Пятищев уходят. Возвращается Мишка.

Н а д я. Почему же вы молчали?..

М а р я г и н. Надя...

Н а д я. Вам трудно скрывать свое удовольствие, Владимир Павлович?

М а р я г и н. Надюша, это неприлично.

Н а д я. Неприлично?! Вот что вас больше всего волнует! Главное — чтобы прилично. Пусть подло, подло, только бы прилично! Сгорчила я вас? Может, повеселить? Спеть, станцевать? Приказывайте, шеф! *(Танцует, припевая.)* Хелло, малыш! Как это можно? Разбил сердечко, неосторожный...

М а р я г и н *(властно)*. Надя, пожалуйста, прекратите.

Антипов (Мишке). Ты настучал?

Все повернулись к Мишке.

Мишка. Отваливай, догматист, а то я твою бороду тебе пониже спины приклею.

Лера. Сергей, твой паспорт почему записали?

Антипов. Я растерзаю этого подонка!

Лера. Сережа!..

Мишка (Антипову, презрительно). Геркулес! Овсяный... Ты пойдем, Надюшк, отсюда, пойдем.

Надя. А тебе-то что? Неужели ты не понимаешь, что ты наделал?..

Мишка. Я... я ничего...

Надя. Донес, приехал в колясочке!

Мишка. Надька, Надьк! Я не доносил...

Антипов хохочет.

Я только хотел, хотел, это не скрою, поехал туда, а там... Я даже в милицию не зашел! Чес слово, Надьк! За дверь взялся — и отскочил... А тут этот старшина выходит, узнал меня. «Ты из Кардымовки? Садись в коляску, покажешь где да что!» Я и сел и приехал... А чтоб доносить... Надьк! Не делал я этого, не делал! Мамкой родной клянусь...

Надя уходит.

Лукашов (Ольховцеву). Где похоронили Андрея Семеновича, не покажете ли?

Ольховцев. Там, где всех кардымовских. (Махнул рукой в сторону кладбища.)

Лукашов. Не думал я, что больше не увидимся...

Уходит за Ольховцевым. Марягин направляется в дом. Лера уводит Антипова. Мишка стоит один, запрокинув голову. От реки доносится крик чаек. Из калитки появляются

Варвара и Зевин с чемоданом в руке.

Зевин (погошел). Михаил, ты мамку тут береги. Уезжаю я.

Мишка. Батя! Куда?

Зевин. Опять, стало быть, за счастьем.

Мишка. Непутево это, батя.

Зевин (горько улыбнулся). Ждите писем, как говорится.

Мишка. Не найдешь ты счастья, батя, пока главному не обучишься.

Зевин. Чему ж ты мне обучаться советуешь?

Мишка. Видать, главное в жизни, батя, это уметь с чайками разговаривать...

Занавес

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Прошел год. Розовый закатный свет над пристанью. Старик Ольховцев сидит по обыкновению на скамейке возле камней, читает. Красуются на колыях лапти — соблазн для туристов. Из своей калитки выходит Варвара.

Варвара (необычно весела). Степаныч! Заросло в дому-то! А то поскребу, помою.

Ольховцев (отложил книгу). Зablуждения делают человека симпатичным...

Варвара. Этаких симпатичных на каждом шагу... Степаныч, новости! Мой Петрович вергается! Телеграмма, смотри...

Ольховцев (прочитал телеграмму). Поздравляю тебя, Варя.

Варвара (*ликует*). Затосковал!.. Все ж целый год характер оказывал... А там, на этой его Хантайке... Степаныч! Какая ж я рада!.. Ух! (*Закружилась, схватила Ольховцева за руки.*) Дроля мой, дроля мой, что обходишь стороной? Или я тебе не та, или сердце занята?

Ольховцев. Стой... пардон, мадам... (*Сажится.*) Был и Женька Ольховцев пряткий топор, да стесался.

Варвара (*хохочет*). А ты бегай трусцой.

Ольховцев (*рассердился, огорчен своей слабостью*). Цветы на могилу Андрею Семеновичу зачем носишь?

Варвара (*сникла*). Можя, и не я, на цветах печать не проставлена.

Ольховцев. Лишнее. Цветы — для живых.

Варвара. Я и тебе цветы положу.

Ольховцев. Знаешь, как я помру? Пойду в лес, когда почувствую, что пора. Есть там тропочка через трясины. Шагну в сторону от тропочки... Глыбь там бездонная.

Варвара. А как смерть подкрадется зимой?

Ольховцев. Сговорюсь подождать до весны.

Варвара (*после паузы*). Губы у него были свежие, не курил...

Звук подошедшего судна. Появляется Надя.

Надя. Дед! (*Обнимает Ольховцева.*) Привет от мамы, от папы. Варвара Антоновна, я всякую вкуснотищу привезла.

Варвара. Мишу обгостюй.

Варвара сказала об этом, кроме всего прочего, еще и потому, что заметила сына. Мишка появился от реки. В новеньком костюме, с медалью «За трудовую доблесть» на лацкане пиджака и с пластмассовым ведром в руке. Увидев Надю, ускорил шаг.

Мишка. Трудовой привет тунеядке областного центра. (*Прикрывается улыбчивым бахвальством.*) Медаль отхватил! Рыбу я теперь не ловлю, а научно выращиваю из икры. Такие дела завернули!

Надя. Поздравляю. Мне тоже, кажется, дадут награду.

Ольховцев. За что?

Надя. Вчера собрание было... городского актива молодежи. Вышел один юный деятель и понес... «Товарищи, работал у нас на заводе Борис Куликов, а теперь болтается где-то... Неуправляемый тип...» Заметьте — неуправляемый! Вообще чуть ли не уголовник... Я возле сцены сижу, стенографирую и поражаюсь: почему такая ненависть, ну в каждом же слове ненависть... Откуда?.. А потом — как рванула к трибуне!.. Схватила из-под носа этого товарища микрофон — и... сказала, какой он на самом деле, Борис Куликов.

Мишка. Благородный проступок. Если что, беру тебя на свои поруки.

Надя. Сэнк ю, сэр. Обойдусь.

Варвара. Спихватись, девка, переневестишься, гляди...

Надя двинулась к дому.

Мишка. Надьк! Захвати ведерко. Тягал на удочку, персонально для Евгения Степановича. (*Выхватывает из ведра рыбу.*) Ка-ак тебе окуня за воротник, а?!

Надя. Ой! (*Смеется.*)

Мишка. Сменила гнев на милостьню!

Подхватывает ведро с рыбой, несет в дом Ольховцева, куда идут Надя и Варвара. Вернулся, подсел к старику.

Приветик, Евгений Степанович, аревидерчик.

Ольховцев. Аревидерчи — это совсем наоборот, до свидания. (*Встал, прохаживается.*)

Мишка. Да-а, каждое-то словечко сортируешь, Евгений Степанович. Культурно умеешь, обратно ж и по-простому даешь как надо. Знаешь, как моя мамка тебя зовет? Двойным дедом она тебя зовет. Понял? Двойной дед. Почему без костыля ходишь? Качаешься, как селезень?

Ольховцев. Сдаваться не хочу.

Мишка (*вынул из кармана горсть конфет, подмигнул*). Шоколадные, из сои. Рекомендуются кушать, холестерин в печенках повышается.

Ольховцев (*комикуя, схватил конфеты*). А серебряный рублик дашь? (*Показывает кисет.*) Глянь-ка, их сколь насбирал.

Мишка. Лапти вон продавай.

Ольховцев. Турист пошел прижимистый.

Мишка (*вдруг взревел, прорвалась его тоска*). Евгений Степанович, помоги ты мне!

Ольховцев. Ты о чем, Миша?

Мишка. Помоги Надежду сговорить!..

Ольховцев. Ой... Отпусти, сдавил...

Мишка. Это ж такая проблема!.. Мы тебе с ней — во!.. будем заботу оказывать! Если семью собьем. А то и к себе, к себе заберем, если в Корабельщиках приклеимся! Внуков организуем, то есть правнуков.

Ольховцев (*прожевывая конфету*). Мишель, я ж на окладе, смотритель музейной церкви, как бы ученый. Разве в городе или в Корабельщиках такую должность найдешь?

Мишка. Ты не вертись, не вертись, Евгений Степанович! Тебе за восемьдесят, а тебя еще на самостоятельность тянет.

Ольховцев. Ты, паря, ссюзника ищешь? Между делом, посмотри чего там для церкви.

Мишка (*с готовностью*). По ремонту?

Ольховцев. Слазай на крышу. А потом окна покрасишь.

Мишка. Ну, даешь ты, двойной дед!

Ольховцев. Ты от меня дивидендов ждешь, так и я от тебя. Маленькая, а все же коммерция.

Мишка. Я твою внучку, Евгений Степанович, безо всякой коммерции люблю. Я за нее, если хочешь, жизнь отдам. Ну, поможешь ты мне?

Ольховцев. Вмешиваться в чужую жизнь — не в моем понятии.

Мишка. Ладно, сам добыюсь, хоть не мешай.

Из дома Ольховцева доносится стук.

Опять она, Надька, тюкает...

Ольховцев. Щепу для растопки колет.

Мишка. Темнишь, по бревну топор... Она ж на стене в сенях зарубки ставит. Календарь ее одинокой жизни... (*Кричит.*) Надьк!

Надя выходит на крыльцо. Зябка поежилась, идет к Мишке.

Хватит стенку портить... Холодно? (*Снимает пиджак, подает Наде, та молча отказывается.*) Да бери! Укройся...

Надя (*надевает пиджак, невесело усмехаясь, помахала болтающимися глиняными руками, заметила медаль*). За трудовую доблесть...

Мишка. Я еще звездочку повешу. (*Обнимает Надю.*) А помнишь, я с папкиными медалями бегал? Ты приехала сюда к деду в первый раз. Ох и гонял я тебя по крапиве!..

Мишка обнимает ласково, с преданностью заглядывает в глаза, и Надю охватывает ответное чувство нежности.

На д я (*задумчиво*). Сейчас бы вернуться в те годы... Хотя бы и по крапиве. А потом слезы горохом — вся печаль смыта...

Ми ш к а. Ты эту беспомощность брось. Было бы из-за кого себя заганивать! Он тебе даже не пишет, а ты за каждый день по стенке топором клацаешь.

На д я (*как бы очнувшись, резко*). Убери руки.

Ми ш к а. Тише... дед задремал...

На д я. Руки убери! Прочь! (*Отбивается от Мишки, словно крыльями размахивая руками в свисающих рукавах.*)

Ми ш к а. Чего дерешься? Вон какой-то волосатик смотрит...

С правой стороны, оттуда, где виднеется церковь и предполагается дорога на Корабельщики, появляется человек, дочерна прокаленный солнцем, полуобнаженный, босой, с длинными, лежащими на плечах волосами и буйными бакенбардами. Трудно узнать в этом пришельце Бориса Куликова. На его лице блуждает улыбочка. С этой слегка нахальной и жалкой улыбочкой, приобретенной не в самых лучших обстоятельствах жизни, он будет потом не столько шутить, сколько говорить о серьезных вещах. Надя вскрикнула, бросилась ему навстречу.

На д я. Боря!..

Бо р и с (*улыбается*). Привет...

Варвара вышла из дома Ольховцева.

На д я. Это что ж с тобой, Боренька?..

Бо р и с (*кивнул Ольховцеву, Варваре, Мишке*). Здравствуйте. Плыл по реке. Кардымовка по реке ближе, а город дальше.

Ми ш к а (*с ненавистью*). Это смотря как плыть. (*Наге*.) Дождалась принца!.. Фил Эспозито. Если резать тебя начнет, кричи, я прибегу.

Уходит с Варварой за свою калитку.

На д я (*сияет*). Сейчас умоешься, отдохнешь... А где твои вещи какие-нибудь?

Бо р и с (*вынимает из кармана дырявых шорт завернутую в обрывок газеты зубную щетку*). Все тут.

На д я. Носить не тяжело?

Бо р и с. Нет. Кланяюсь, Евгений Степанович. (*Низко поклонился.*) В самом деле кланяюсь... Вспоминал я вас. Мудростью вашей проникся. Помогала. Если мерзавцам душу не подставлять — плюнуть не успевают.

О л ь х о в ц е в. Не моя это мудрость — извечная.

На д я. Сразу разговаривать... Пошли, пошли в дом! Баню тебе истоплю.

Бо р и с. Спасибо. (*Оглянулся.*) Вроде бы ничего тут не изменилось?.. Река вспять не потекла... Вы-то, я вижу, в порядке?

О л ь х о в ц е в. Когда внучка приезжает, почти что идиллия.

Из своей калитки выглянул Ми ш к а. Смотрит уничтожающе на Бориса и Надю.

О л ь х о в ц е в. (*встает*). Эх-хе-хе... Стары кости несущу в горсти, несущу-несу, никак не растрашу...

Идет к Мишке, обнял его, уводит, и они скрываются в проходе, разделяющем дебаркадер.

На д я. Ты совсем-совсем нездешний... (*Прижимается к Борису.*)

Варвара с большим узлом выходит из своего двора, входит в комнату на дебаркадере, где когда-то жил Андрей Семенович Бунеев и успел пожигг Борис.

Да не хмурься ты... (*Разглаживает ему лоб.*) Морщинки появились... Смотри, чайки присели на волнах, твои подружки, им еще надо куда-то лететь, маршрут обдумать. А ты — уж на месте! Почему ты не писал?

Б о р и с. Часто менял адрес.

Н а д я. Скрывался, что ли? Но тебе ничего не грозило, оправдали тебя.

Б о р и с (*пританцовывает*). Ля-ля-ля!.. Меняем дорожку. Отличный магнитофон был у моего приятеля. Портативный, японский, «Сони». Здорово помогал нам молчать!

Н а д я. Ну, где же ты увлекался молчанием?

Б о р и с. Север — теперь уже банально. Двинул я, Наденька, на юг, в район Одессы. Ля-ля-ля!..

Н а д я. А я тебе уже не нужна была?

Б о р и с. Нужна.

Н а д я. И ты меня бросил? Тебе не жалко было?

Б о р и с. Жалко. Ля-ля-ля...

Н а д я. Все-таки на что ты тогда обиделся?

Б о р и с. Избави бог, чтобы я обиделся. Я — задумался. Человеку, в сущности, немного надо. Свежий воздух, глоток воды и душевный покой... Кто начальником на пристани — Зевин?

Н а д я. Зевин еще на Севере. Нет пока здесь начальника. Сейчас Варвара Антоновна совмещает с буфетом. А что?

Б о р и с. Отличная была у отца служба. Встретил корабль, проходил... Тишина, рыбалка, охота. А зимой — книги.

Н а д я (*встревожилась*). Да зимой здесь пустыня снежная!.. А дорога — так только санная. На Корабельщики.

Б о р и с. Тишина... Тишина теперь на земле дороже золота...

В низине влажной, в уединенье,
Скрытно поет свою песню пугливая птица,
Дрозд одинокий,
Отшельник лесной, вдали от селений
Поет свою песню...

Н а д я. Как ты жил?

Б о р и с. Забавно...

Н а д я. Скажи, почему ты уехал?

Б о р и с. А надоело все! Ходил, ходил я поначалу из одного кабинета в другой... Доходилась. Стали пальцем на меня показывать. Тот самый, что чертежи своровал. Папашино реноме восстанавливает. Куда ни сунуть — ответ один: успокойтесь, мост и без вас построят. Начал ваш отец, его проект? Хорошо, спасибо. А закончат другие. Коллектив! Зачем выпячивать заслуги отдельного лица?..

Н а д я. Так-таки никто тебя и не слушал?

Б о р и с. Слушали. Сострадали. Да ведь все равно Бунеева нет. Есть коллектив мостостроителей, Лукашов — их-то зачем обижать? «Нас не поймут». Как тут не задуматься?.. Стал я чем-то вроде городского сумасшедшего. Разве ты не замечала этого моего состояния?

Н а д я. Заметила, когда ты сорвался, не сказав мне ни слова. Правда, в это время ты думал только о себе, а это, к сожалению, нормально.

Б о р и с. Слушать птиц — и молчать, и не видеть никого!..

Н а д я. Соскучишься, захочешь на жизнь посмотреть.

Б о р и с. А разве эти облака — не жизнь? Точка зрения — она все решает. Точка зрения на жизнь.

Н а д я. Боренька, ты не сможешь здесь... Этот покой... Ты не выдержишь!..

Б о р и с. Помнишь озеро? Давно-то как, будто не один год, а двадцать лет прошло!.. Тропинка бежала по гористому берегу, и мы были как бы вознесены и над озером и над лесом. На тебе было платье, смешное такое, все в точках и запятых, светлое, а закат

выкрасил его в какой-то неправдоподобно красивый цвет. И сама ты была удивительная... Помнишь?

На д я. Ты помнишь, дурачок, вот что хорошо!

Б о р и с (*смешался, но затем говорит с еще большим ожесточением*). Все, все это было правдой: и мы с тобой на высоком берегу, и малиновое от заката озеро у наших ног, и вся эта несказанная красота и покой! Все — истинная правда, жизнь. Но в ту же самую минуту, на этом же самом месте происходила и другая жизнь, и она была не менее истинной, и даже более настоящей. Цаплю ты заметила далеко впереди, у болота. Еще показала мне: посмотри, мол, розовая, как фламинго. А у этой фламинго, глядь, по обе стороны клюва лягушачьи лапки болтаются... Простодушная лягушечка глазки выпучила, а та ее цап — и привет деткам! Наши чайки хлопали крыльями, устраиваясь на ночь. Думаешь, спать? Не-ет, стеречь своих птенцов от ночного хищника, которому ведь тоже пить-есть надо...

Явственно игнорируя смысл Борисовых слов, Надя слушает его со все возрастающей радостью.

Бобры, ты говорила, водятся в здешних местах. Так вот, может, в ту минуту самый гениальный бобер достраивал самое гениальное свое гидросооружение, хатку экстрамодерн, а деловитый дядечка в резиновых сапогах до пояса прилаживался ломиком, как бы поудобнее разверотить к чертям эту его архитектуру. Бобровый мех нынче пощи... И так везде... Ему бы, бобренку этому, со своим гением забраться подальше в лесные дали, а он нет, поближе к возлюбленному тобой человечеству. Может, скажешь, все это плод моего испорченного, низменного воображения? Закон природы, милая.

На д я (*счастливая, то смеясь, то плача*). Борька, я в этом не понимаю! Хорошо-то как... Ты ничего не забыл. И даже цаплю, и запятые на платье...

Возвращается Мишка, за ним Ольховцев.

Мишка (*вырываясь от Ольховцева*). Ты меня морально не охватывай, Евгений Степанович! (*Борису.*) Приехал чужих девок грабастать? Хиппарь!..

Ольховцев. Михайла, уймись.

От дебаркадера появилась Варвара.

Варвара. Мишка...

Мишка. Я за свое личное счастье бороться буду.

Варвара (*рванула сына за руку*). Чего трезвонишь, халбүтной ты парень!..

Мишка (*Борису*). Тебе тут не жить!.. Можешь утопнуть, река глубокая... Или с обрыва сверзишься, беспомощный, косточки поломаешь. А там и волки подоспеют... Запрещено их тут стрелять, экология... Съедят тебя по этой экологии, а какой со зверья допрос?!

Мишка угрожающе подступает к Борису. Варвара встала между ними.

Варвара (*сыну*). Марш домой!

Мишка. Красавчик мне... Ничего. Надьк, ты, если что... я всегда с тобой. (*Уходит.*)

Варвара. Борис Андреевич...

Борис. Я?

Варвара (*сурово*). Вот тебе ключ. Занимай комнату самую ту, на дебаркадере.

Борис (*берет ключ*). Спасибо, Варвара Антоновна.

Варвара. Заходи ко мне по соседству, в буфет, подхарчиться когда. А еще я sny разгадывать мастерица. (*Уходит.*)

Ольховцев удаляется в свой дом. Борис подбрасывает на ладони ключ.

На д я. Варвара Антоновна... хочет отгородить этим ключом тебя от меня... Покажи ключ.

Борис дает ключ.

Живи-ка ты у нас. Дом у деда просторный. Сухо, не то что на дебаркадере, прямо над водой.

Борис. Смотри, поселюсь — так и не выгонишь.

На д я. Выгоню, если что... Мне квартирант нужен порядочный.

Борис. Ты здесь часто бывала, у деда?

На д я. Летом чаще, зимой реже. Как получалось.

Борис. По-прежнему стенографируешь? В состоянии «творческого интима»?

На д я. Не понимаю.

Борис. Сама же рассказывала про свою работу. Сидишь с... ну, с товарищем там или, как это называется, с клиентом, что ли... Один на один, и вечером и ночью. Интимная обстановочка.

На д я (*оскорблена*). Что ты имеешь в виду? Не совестно тебе?

Борис. Мне должно быть совестно?

На д я. Значит, ты меня несколько, нисколько... А я-то, глупая... на стене в сенях зарубки ставила... за каждый потерянный день!..

Борис. А Мишкин пиджак вместо спецовки надевала, чтоб зарубки делать?

Надя снимает пиджак, бережно свернув его, кладет на скамейку. Борис быстро идет в дом; оттуда доносятся удары топора; возвращается.

Чистая теперь стена... чистая, как белый лист!..

На д я. Что ты наделал? Это мои зарубки!.. И вообще, как ты смеешь?.. Дикарь!

Борис. Давай-давай! А то сентиментики, понимаешь... ах, морщинки!..

На д я (*плачет*). клоун... кривляка... Презираю тебя!

Борис прижал Надю к себе, иступленно целует ее лицо, глаза.

Борис. Прости... прости... прости!..

На д я. Забирай свой ключ! (*Швырнула ключ, уходит.*)

Затемнение.

Облачный день. Тень от облака срезала часть пристани и захватила камни, где сидят на скамейке О л ь х о в ц е в, плетет лапти. Входят Мишка с инструментом для ремонта церковной крыши.

Мишка. Полезу, Евгений Степанович. До самого купола, до неба, и облакам сделаю ремонт. Если падать буду, подстели соломки.

О л ь х о в ц е в. Вербку взял? Привяжись.

Мишка. Евгений Степанович, может из-за любви самоубиться нормальный человек, не поэт?

О л ь х о в ц е в. Как видишь, я не самоубился, а мог бы.

Мишка. Ты?.. (*С прозорливостью младенца.*) Ты самоубился, только об этом забыл. (*Раздумчиво.*) Мне и рубля не накопили строчки, окромя свежевывмытой сорочки... (*Уходит.*)

Появляется На д я.

На д я (*присела возле гедга*). Много я умных слов слышу... А как начну с Борькой говорить — те же слова как-то сразу глупеют...

О л ь х о в ц е в. А ты поосторожней с умными словами, а если не можешь, то лучше молчи.

На д я. Не буду я молчать!

О л ь х о в ц е в. Тогда уж разговаривай с ним попросту — верней. Ты же видишь, что он не логик, не математик, он эмоциант...

Появляется Борис. Внешне он выглядит лучше, стало чище, разгладилось лицо. В лег-

ких брюках, рубашке, босой. Как в старину у русских мастеровых, кожаный ремешок перехватывает лоб, чтобы волосы не падали на глаза. Борис несет небольшую охапку лыка.

Борис. Евгений Степанович, не получается, как у вас.
Ольховцев. Видишь, как я лыко протягиваю?

Борис сел, поправил ремешок на лбу, взял недоплетенный лапоть.
Поджимаю слегка. А теперь... расправля-я-ю... гла-а-денько...

Борис. Так?
Ольховцев. У тебя колодка вихляет, пальцем дави, большим... подтягивай лыко, подтягивай... не дергай, а то порвешь.

Борис. Эх, лапти мои, лапти лыковые!
Надя. Любо смотреть... Два расейских мужика облапошить потребителя стараются...

Борис. Сидели так же и триста лет назад... И ветерок веял ласковый, и чайки кричали...

Появляются Марягин, Лера и Антипов.

Антипов (*издали*). Столбик вы все-таки задели, Владимир Павлович.

Лера. Надя! (*Бросилась к подруге.*)
Надя. Лерка... Соскучилась я по тебе.

Борис и Ольховцев здороваются с приехавшими.

Антипов. Решили: катанем в Кардымовку!.. Ты когда вернулся?

Борис. Да уж неделя прошла. А вы на машине прикатили?

Антипов. Дорога — жуткая. А тут еще Владимир Павлович крыло помял.

Марягин. Мелочь.

Антипов. Где жестянщика найдем? Меняем «Волгу» на «Фиат».

Марягин (*держит под мышкой книгу, Борису*). А вы... молодой пейзаж, а-ля рус... Прелестно!

Надя. Фирма расширяется.

Борис (*Антипову*). Где твоя борода?

Антипов. Осталась в прошлом.

Борис. Братцы, вы поженились?

Антипов. Разрубаем последние узлы. Владимир Павлович — за. Ожидаем санкцию мамы. (*Выбирает и примеряет лапти.*) Куплю вот эту пару лаптей.

Лера. А я эту.

Борис. Моя! Я плел. Подарил бы тебе, Лера, но, символически, хочется продать. Братцы! Зачем вам две пары? Купите одну, мою. Изящно, дешево, надежно!.. Каждому по одному лаптю. Пускай лапти стремятся один к другому и вы — за ними!

Антипов (*переглянулся с Лерой*). Повесим на книжный шкаф. Сколько тебе платить, халтурщик?

Борис. Шесть рублей.

Антипов. Где тут ОБХС?!

Борис. Опытный образец! Дорого? Берите у Евгения Степановича, он вам за трешку продаст.

Антипов. Живодер. (*Платит.*)

Лера. Выбирай, какой мне?

Антипов. Вот этот бери, он будет изо всех сил бежать ко мне, а ты за ним.

Лера. Лучше уж ты его бери.

Марягин. Милые мои, посоветуйте каждый своему лаптю хотя бы мимоходом забежать к родителям.

Л е р а (*склонившись к своему лаптю*). Ты слышишь, лапоток? Будь паинькой.

М а р я г и н. Дельный у вас помощник по сувенирам, Евгений Степанович.

О л ь х о в ц е в. Переимчивый.

М а р я г и н. А не пройтись ли нам по старой памяти вдоль да по берегу?

О л ь х о в ц е в. Мне что-то неможется, да уж так и быть.

Уходит с Марягиным.

Б о р и с. Серж, а у тебя одышка, животик растет...

Л е р а. Антипов выработал взгляд на жизнь — и тут же начал прибавлять в весе.

А н т и п о в. Моя злыднюшка. Вообще-то я здоров. Обмен немножко нарушен.

Б о р и с. Где подвизаешься?

А н т и п о в. В планово-финансовых сферах. Клерк, но уже старший клерк... Реальные перспективы роста, как говорится, все прочие возможности.

Л е р а. Я обеспечу ему карьеру.

А н т и п о в. Кыш!

Л е р а (*не без умысла шутит*). Одна разносная статейка — и нет Сережиного начальника, завсектором. Место как раз для Сережи.

А н т и п о в. Ребенок шутит... (*В расчете на восприятие Леры*.) Смотрите, солнце садится... Оплавало верхушки сосен... Могу я видеть это из покрытого копотью окна своей конторы? Люди давят друг друга на лестнице карьеры, а ради чего? Чтобы приехать иногда в какую-нибудь Кардымовку и насладиться покоем...

Б о р и с (*с затаенной иронией*). А судьбы цивилизации, Серж? Каждый из нас по мере сил обязан поддерживать прогресс. И, кроме того, есть еще и ответственность перед обществом. «Чтобы пыль равнодушия не покрывала планету». Помнишь, заряжал меня взрывчаткой? Видишь, и девушки заскучали.

Л е р а. Нет, Боря, сейчас мне совсем не скучно.

А н т и п о в. Э-э, грубые же ты лапти плетешь. Еще год назад ты живей шевелил мозгами. (*Лере*.) Ребенок, покатаемся на лодке? Пошли!

Уходит с Лерой.

Б о р и с. Антипов взял курс...

Н а д я. А твой курс лучше?

Б о р и с. Я безо всякого курса... Я трава, я ветер, я вода, я береза...

Н а д я (*прорвалось во всей силе ее отчаяние*). Борька, Боречка, для тебя Кардымовка — погибель!..

Б о р и с. Живут же люди и здесь и даже медали получают.

Н а д я (*сердито всхлипывает*). Так Мишка работает, рыбу разводит! Его место здесь, он живет во всю силу своей души, не так, как ты собираешься жить... Ты же бредил историей! В архивах копался...

Б о р и с. Замолчи! Никогда не говори мне об этом! Слышишь?!

Н а д я (*настойчиво*). Уходить от своего призвания преступно.

Б о р и с (*взбешен*). Из какой это стенограммы, из какой стенограммы?!

Сверху со стороны церкви раздается голос Мишки: «Эй, Надя! Ты меня слышишь?»

Н а д я. Мишка? Где ты?

Голос Мишки: «А я на церкви, крышу латаю! Ты со своим хиппарем целуешься?»

На д я. Про что орешь, не стыдно тебе?!

Появляются О л ь х о в ц е в и М а р я г и н.

М а р я г и н. По-прежнему читаете много?

О л ь х о в ц е в. А что еще делать, летом отовсюду люди наезжают, а зимой никого. Хочешь — волком вой, а хочешь — книги читай.

М а р я г и н. Библиотеку чем-нибудь пополнили?

О л ь х о в ц е в (*догадываясь, к чему ведет разговор М а р я г и н*). Мне полежать пора. Отчего-то грудь стягивает...

М а р я г и н. Милый Евгений Степанович, я прошу вас, не истолкуйте превратно... А что же ваша библиотека? Ваш Пушкин в первых изданиях, ваша Библия на пергаменте, сотни уникальных книг?..

О л ь х о в ц е в (*взялся за сердце*). Совсем стало плохо... (*Откинулся на скамейке, закрыл глаза*.)

М а р я г и н. Что вам помогает? Валидол?

О л ь х о в ц е в (*зовет*). Надя!

На д я (*погошла*). Дедушка?..

М а р я г и н. Мы беседовали... сдержанно, негромко... и вот!..

О л ь х о в ц е в. Отведи меня и помоги лечь.

На д я. Сиди, я принесу тебе лекарство.

М а р я г и н. Надюша, не волнуйтесь, у меня в машине аптечка. (*Быстро уходит*.)

О л ь х о в ц е в. Дома выпью, в постели.

Надя ведет под руку деда, ей помогает Борис.

На д я. Тише ступай, тише...

О л ь х о в ц е в (*Наде*). Да не суетись, я превосходно себя чувствую! (*Борису*.) Он еще к отцу твоему приставал. Продай да продай ему библиотеку... Спасибо, Борис. Теперь мы с внучкой... Кхе, кхе!.. Ловко же, Надюшка, твой дед вывернулся!

На д я. Дед, я у тебя хорошая внучка? Хорошая, скажи?

О л ь х о в ц е в. Средней кондиции.

На д я (*в присутствии Бориса*). Если здесь застрянет Борька, внучки у тебя не будет, она помрет, как собака, от тоски. Выживи его с пристани, дед! Мишка грозит, да что он может...

О л ь х о в ц е в. Отсюда что, как его выжить из себя самого? Человек может и в столице жить, а в душе оставаться отшельником.

На д я. Дед, хоть разочек измени своему правилу, вмешайся в чужую судьбу.

О л ь х о в ц е в (*растерян*). Право, не ведаю, с какой стороны...

На д я. Степаныч, я тебя очень прошу... Хотя я у тебя и средней кондиции!..

Появляется М а р я г и н с аптечкой.

Спасибо, Владимир Павлович.

Уходит с дедом.

Б о р и с. Владимир Павлович, лучше иметь дело с наследником.

М а р я г и н. Простите, вы о чем?

Б о р и с (*с наигранным цинизмом*). Правда, я цену хорошей книге знаю. Люблю порыться на прилавках в букинистических магазинах.

М а р я г и н. Это вам Евгений Степанович сказал? Вы сами и деньги хотите получить?

Б о р и с. Нет, это вы хотите мне их дать.

М а р я г и н. Ну что же, прекрасно, и официально оформим, у нотариуса.

Б о р и с. Договоримся!

Появляются Л е р а и А н т и п о в.

Антипов. Все-таки места здесь первозданные.

Лера молчит, она рассержена.

Послушай, Боб, ты, как прошлым летом, на дебаркадере живешь?

Борис. Да.

Антипов. Раскладушку поставим?

Борис (*шутит*). Рубль за сутки, по курортной таксе.

Появляется Надя.

Марягин. Как Евгений Степанович?

Надя. Спасибо, ничего. (*Увидела гедга*.) Как зашел в дом, сразу легче стало. Да вот он.

Входит Ольховцев.

Марягин. Отдохнули?

Ольховцев. Отдохнем, когда не дохнем.

Марягин (*не может скрыть своего раздражения от воспринятого им всерьез торга с Борисом о библиотеке*). Да, Евгений Степанович, пожалуй, мне как никогда близко ваше настроение... Я моложе вас, но и мне сегодня трудно кое-что воспринимать. Особенно у молодежи. Эта деловитость на грани цинизма. Земные люди, твердо стоят на ногах!.. Вырвут все, что им надо, выторгуют. И даже прелестная в своей наивности природа не мешает им быть практичными...

Антипов. Молодежь разная бывает. Вот, например, Боб Куликов на здешней земле адаптировался...

Борис. Это нетрудно сделать. А ну снимай ботинки! Стань на землю ногами.

Антипов (*оглянулся на Марягина*). Я стою.

Борис. Босыми!

Антипов. Холодно будет...

Борис. Снимай! (*Повалил Антипова*.) Долго ли умеючи! Вставай теперь. Ходи по траве. Шершавая, теплая кожа планеты. Чувствуешь?

Антипов. Да ничего особенного.

Борис. Робот, киборг! Все, все стаскивайте свою синтетику!

Марягин. Боренька, ну это же... несимпатично...

Борис. Обнажайтесь, иначе я создам невыносимые условия для отдыха.

Марягин и Лера разуваяются.

Лера (*глядит босой ногой траву*). Боря, ты самый гуманный диктатор.

Борис. Серж, я не просто адаптировался, я — трава, я — ветер, я — вода, я — береза! Слушайте, хотите сделаться счастливыми?.. Отличное средство, это придумали йоги, лечение души — тач терапи... Становитесь на колени! Ну же, пожалуйста... Это очень просто. Становитесь, становитесь. Лера, Владимир Павлович, Надя... Друг против друга. Вот так, так!..

Каждый в своей манере откликается на просьбу Бориса, считая это чудачеством. Марягин — снисходительно, Надя — с опасливым удивлением, Лера — с наивной жадой узнать нечто неожиданное, Антипов — с нескрываемым скепсисом, Ольховцев — с живым интересом старца, участвующего в одной из последних своих игр... Ольховцев оказывается на коленях напротив Леры, Марягин — напротив Нади. Борис — напротив Антипова.

Ольховцев (*Лере*). Мне повезло, мадам.

Борис. Мы чужие друг другу, чужие, случайные... Но мы протягиваем руки!.. Вот так... Протягивайте, протягивайте, не бойтесь! Прикасайтесь — к лицу, к волосам, к шее, к плечам... Так, та-ак!..

Марягин (*Нале*). Извините, мои руки пахнут бензином.

Борис. В глаза, в глаза смотрите друг другу!.. Из глаз в глаза,

из души в душу перетекают токи доброты... Чувствуете?! Откройте же лучшее в себе — и отдайте ближнему. Отдайте, не требуя ничего взамен... Отдайте — своими руками, своим взглядом, улыбкой... Улыбайтесь на улицах проходим... Распахните двери своих клеток-квартир!.. Вы уже не совсем чужие, да?! Тач терапи!.. *(Резко меняет тон.)* Ну, хватит. Вставайте, пока в глотки друг другу не вцепились.

Появляется Мишка.

Мишка. Чего это вы здесь безобразничаете? Молились?

Все встают. Борис уходит.

Надя *(Борису)*. Куда ты?

Борис. В затон за рыбой, уху будем варить.

Мишка. Еще, чего доброго, и мои садки обчистит. Контроль — основа доверия.

Надя *(уловила в голосе Мишки скрытую угрозу)*. Да не тронет он твою рыбу!

Мишка. Самое время нам с ним поговорить. *(Вразвалочку удаляется.)*

Марягин *(осторожно ступает по траве)*. Давно не ходил босой... Затемнение. Последняя картина, в тот же вечер. Надя одна в тревоге стоит возле камней. Появляется Марягин.

Марягин. Все еще раздышаться после города не могу... Меня всегда немножко страшит простор. Вы не забнете?

Надя. Нет.

Марягин. Свет зеленоватый колеблется над полем... И — стога... Почти Клод Моне!

Молча проходит Варвара, она ищет Мишку. Слышится издали ее протяжный зовущий крик: «Ми-и-ша-а!..»

Надя. И Бориса нет...

Марягин. Когда вы возвращаетесь в город?

Надя. Пока не знаю. Отпуск я выпросила на неделю.

Марягин. Вы уехали так неожиданно...

Надя *(почувствовав настроение Марягина, разбивает интимный тон)*. Среди моих диктовальщиков появился один гений! В самом деле гениальный, только смешной. Диктует, а когда я отдыхаю, хвалится, какой он здоровяк, сколько килограммов одной рукой может поднять. Да еще вдобавок рассказывает, что он любит ходить на кладбище и читать эпитафии.

Марягин. Совершенно расклеиваюсь, когда я вас долго не вижу. А мне работать надо, вести кафедру в университете. Показывайтесь мне — хотя бы для успеха народного образования. Вы избегаете меня.

Надя. И народное образование от этого не пошатнулось?

Марягин. Чего мне стоит держаться.

Надя *(отступает)*. Вы опять? Я на днях видела вашу жену, она очень изменилась...

Марягин. При чем тут жена? Я иногда смотрю на нее, а вижу вас, ваше лицо, глаза... Если бы вы понимали, что для меня значит! Вы даете моей жизни хоть какой-то смысл. Все остальное так мелко... Меня ничто не увлекает. Вы думаете, я живу, мыслю? Только видимость! Читаю лекции, пишу, заседаю, но все это по обязанности, хороший автоматизм. А ведь все было иначе! До прошлого года, до встречи с вами... Ха, как мощно я чувствовал свой научный авторитет! Я любил свою семью... Теперь я готов все бросить, ходить за вами по городу, носить вашу пишущую машинку, торчать под окнами домов, где вы работаете... Как я ненавижу тех, кто отнимает ваше время, кто видит ваши глаза, ваши руки, слышит ваше «повто-

рите». Боже мой, что же такое жизнь? Я прожил сорок пять лет и чувствую, что вот сейчас, только сейчас все и начинается... Дайте вашу руку... ну просто так! (*Берет руку Нади.*) Просто так... Я ничего не требую. Спасибо, я счастлив. Спасибо, спасибо! (*Становится на колени.*)

Появляется Лера. Остолбенела, увидев отца на коленях перед Надей.

На д я (*нашлась*). Лера, помоги нам, пожалуйста.

Л е р а. Чем помочь?

На д я. Я обронила карандаш...

Л е р а. Папочка, побереги брюки. Зелень травяная плохо отчищается.

Ма р я г и н (*встает, отряхивает брюки*). Сдадим в химчистку.

На д я (*показывает карандаш*). Да вот он, я нашла.

Ма р я г и н. К лесу пойти, что ли?

Л е р а. Далеко не ходи, папа. Здесь можно и волка встретить.

Ма р я г и н. Что волк, не встретить бы Красную Шапочку. (*Уходит.*)

Л е р а. Надька!.. (*Заплакала.*)

На д я (*обняла Леру*). Ну что ты, ну что ты?

Л е р а. В понедельник вернемся домой... а там — мама...

Появляется Антипов.

А н т и п о в. Девочки, чем так расстроен Владимир Павлович?

Л е р а. Да ничем. Как всегда, работает, думает.

А н т и п о в. Ты плакала?

Л е р а. Откуда ты взял?

Уходит, Антипов идет за ней. Появляется Борис, очень возбужденный, на ходу вытирает лицо подолом рубахи.

На д я (*присматривается*). Борис?.. Где твоя рыба?

Б о р и с. Рыба в реке.., уплыла... Лицо горит, водичкой вот ополоснулся.

На д я. А Мишка?..

Б о р и с. Там.

На д я. Где там?

Б о р и с (*устал, ложится на траву*). В овраге. Упал...

На д я. Там глубокий ров... каменный...

Б о р и с. Кричал я, кричал ему. Не отозвался.

На д я (*в ужасе*). Как не стозвался?! Он разбился?

Б о р и с. Он первый полез.

На д я. Да как ты можешь?.. Мишка во рву лежит...

Б о р и с. Ну я лежал бы.

На д я. Так ты его...

Б о р и с (*упрямо*). Он первый полез!

На д я (*смотрит на Бориса*). Мне страшно... Эмоциант!.. (*Убегает.*)

Входит Марягин.

Ма р я г и н. Шел по тропинке через поле ржи... Волны душистого, теплого воздуха. Хлебный дух... Борис, вы обещали уху.

Б о р и с. Ухи не будет.

Ма р я г и н. С вами что-то случилось?

Б о р и с. Почему обязательно что-то должно случаться со мной? А с вами?! (*Встает.*)

Входят Лера и Антипов.

А н т и п о в. Перестань рефлексировать. Когда еще представится возможность спокойно, на досуге потолковать с отцом? Пускай он, в конце концов, уговорит маму,

Л е р а. А может быть, мама больше понимает? Про тебя, про меня...

Появляются Лукашов и Татьяна Васильевна.

Т а т ь я н а В а с и л ь е в н а (*идет прямо к Борису*). Здравствуй, сын.

Лукашов здоровается.

Товарищ Лукашов позвонил, любезно согласился подвезти меня сюда...

М а р я г и н. Виктор Савельевич, а вы задались целью полнеть?

Л у к а ш о в. Вот надуваюсь, как воздушный шар. Хотя в последние недели не то что поесть как следует — и поспать не всегда удавалось. Теперь отдохну. Мост построен. Завтра открытие... Борис, я считал своим долгом лично пригласить вас на торжество.

Б о р и с (*язвительно, гневно*). Спасибо, товарищ Лукашов. А нельзя ли автора пригласить? Инженера Бунеева... Пожалуйста, на торжество, на торжество... Открываем ваш мост!..

М а р я г и н. Во-первых, все мы должны поздравить Виктора Савельевича...

Б о р и с. Поздравлять, праздновать мы мастера. Давайте речь, оркестр! Когда гремят оркестры, слабеет память... и все забывается...

М а р я г и н. Боря, ну зачем сейчас омрачать?..

Б о р и с. Так раньше бы не омрачали! Живых порадуите, Владимир Павлович.

М а р я г и н. Ну уж я-то в этом случае при чем?

Б о р и с. И вы, вы! Евдокия Неврозова еще жива, порадуите ее, пока не поздно. Помните ее скульптурный портрет Матвея Черного? Стоит, пылится. А все ваш отзыв. Как это называется?.. Сломали хребет молодой художнице. Слишком резкая формулировка, не к моменту?

М а р я г и н. Борис, в этом ожесточении вы теряете себя. Вы мне казались более серьезным человеком, вы были увлечены историей...

Б о р и с. Э нет! В эти игры я больше не играю.

М а р я г и н. Лапти плести интересней?

Б о р и с. Честней!

Т а т ь я н а В а с и л ь е в н а. Боренька, ты послушай, Виктор Савельевич мне сказал... на чугунной доске, что на мосту — знаешь, такая доска, где указывают авторов? — там стоит имя нашего отца...

Л у к а ш о в. Мост построен по проекту инженеров Бунеева и Лукашова.

Б о р и с (*веря и не веря, Лукашову*). Почему вы написали его имя?..

Л у к а ш о в. Я... не мог иначе.

Б о р и с. Могли! Его имя давно забыто, его как бы не было...

Л у к а ш о в. Дважды я приезжал сюда, в Кардымовку, к вашему отцу. Предлагал ему вместе завершить проект...

Борис смотрит на Ольховцева, ожидая подтверждения, и тот молча кивает.

Андрей Семенович весьма решительно отверг... сейчас нелепо об этом вспоминать, но он не захотел со мной разговаривать... прогнал меня...

Б о р и с. Тем более — почему вы это сделали?

Л у к а ш о в. Видите ли, поначалу я обиделся. Всегда ведь легче обидеться, чем настаивать, не так ли?.. Спасибо, вы помогли мне... гм... собраться. Сильно вы меня прошлым летом встряхнули! Хотя и действовали не самым лучшим образом.

М а р я г и н. Поздравляю вас, Виктор Савельевич. Все-таки это же огромное событие!

Л у к а ш о в. Спасибо.

Б о р и с. Кто-то кричит...

Т а т ь я н а В а с и л ь е в н а. Где, кто кричит?

А н т и п о в. Чайки,

Марягин. Поздравляю и вас, Татьяна Васильевна.

Татьяна Васильевна (Борису). Сегодня праздник нашего отца.

Антипов. Выдающийся человек лежит на деревенском кладбище. Будто какой-нибудь обыкновенный кардымовский житель!..

Лукашов. Простите, не все ли равно, где лежать? Я знал одного москвича. Последние лет десять своей жизни он употребил только на то, чтобы его... гм... похоронили на Новодевичьем кладбище. Рядом с великими людьми.

Входит Варвара.

Варвара. Мишу моего не видели? Давно ушел... Все нет его и нет... И к лесу я ходила, звала со всего голосу...

Борис уходит.

Татьяна Васильевна (к Варваре, отвела ее чуть в сторону). Спасибо за цветочки на могиле моего мужа.

Варвара. Недосуг мне с тобой.

Появляется Егор Зевин с чемоданом в руке. Варвара шагнула навстречу Егору.

Зевин. Здравствуйте, мир вам, знакомые и незнакомые.

Ольховцев. Мир и тебе, Егор Петрович.

Зевин. Здравствуй, Варя. (Смотрит со сдержанной обидой.) Я ровно так вернулся?..

Варвара. Нет, Егор...

Зевин. Хвораешь?

Варвара. Миша куда-то запропал.

Зевин. Малыш он, что ли? Запропал?

Варвара. Миша куда надолго собирается, он меня предупреждает.

Ольховцев. За рыбой он уходил, к садкам.

Зевин. Вот, а ты панику поднимаешь! Зайдем домой, чемодан поставлю.

Варвара. Освободишь его — да и в реку... Больше тебе чемодан не понадобится.

Уходит с Зевиним.

Татьяна Васильевна. А где Борис?

Лукашов. Он исчез как-то внезапно.

Татьяна Васильевна. Одни переживания с ним! Как вернулся с юга, ночи не сплю, сердце болит, все думаю: пропадает парень... И его в эту Кардымовку занесло.

Лукашов. Тихая пристань...

Ольховцев. Еще поживете, может, и похуже пристань раем покажется.

Марягин. Приют для слабых духом.

Ольховцев. А если человек хочет спастись — от навета, от подозрения?

Марягин. Все это в прошлом.

Ольховцев. Если есть Ксперник, всегда найдется и костер для него...

Лукашов. Коперника не сжигали.

Ольховцев (вяло махнул рукой). И его могли бы.

Лукашов. Евгений Степанович, для подобных костров готовят дровишки прежде всего борцы за собственный покой.

Татьяна Васильевна. Виктор Савельевич... мне бы на работу не опоздать...

Лукашов. Поехали. (Остающимся.) До свидания.

Татьяна Васильевна. Передайте Борису — я жду его домой.

Лукашов и Татьяна Васильевна уходят. Слышен шум отъезжающей машины.

Антипов. А я завидую Борису... Ах как завидую!.. Он плюнул на все!.. Сергей же Леонтьевич Антипов, старший клерк, должен держаться в строю. Скажите, мудрые люди, а дальше что? Работать?.. Конечно, я никогда свою работу не брошу, буду расти, как говорится... Выше меня на должностях старики, они, естественно, будут выпадать из тележки. А я пойду вверх! Для чего?!

Марягин (после паузы). Сережа, вам эта истерика не к лицу. (Уходит.)

Антипов (Лера). Единственная радость — ты... Что-то не спешат наши лапти друг к другу.

Лера. Может, не те лапти?

Уходит. Антипов следует за ней.

Слышится, к дебаркадеру с музыкой пришвартовался катер. Сошли с корабля туристы. Живо обмениваются впечатлениями, фотографируют, любуются видами Кардымовки. Толпой проходят в сторону церкви.

Ольховцев (по привычке разговаривать с самим собой). Эх их привалило... Придется церковь показывать. (Уходит.)

От реки появляется Борис. Он несет Мишку, тяжело ступая, по-солдатски захватив его руку. Опустил Мишку на землю возле камней, сам сел, вытирая пот с лица, прерывисто дышит. Мишка стонет, как ребенок во сне.

Борис. Потерпи... дотащу вот... считай, дома...

Мишка (очнувшись). Ты?..

Борис. Я, я!.. Сейчас, только отдышусь...

Мишка. Гад... (Пытается ударить Бориса.)

Борис. Лежи... тебе нельзя ворочаться.

Мишка. Я ж тебя... Живой, гад?..

Борис. Если б я не был живой... кто тебя приволок бы, а? Соображаешь?! Я тебя от затона тащу...

Мишка. Ты — меня?!

Борис. А кто же! Тяжел ты, парень...

Мишка. Плохо мне...

Борис. Сейчас скорую вызовем из Корабельщиков.

(Хочет поднять Мишку.) Нет, не брать...

Мишка. Ты... если что... я скажу... Я сам первый драку затеял. Это факт.

Борис. Я тоже хорош... Прости.

Входит Надя. Увидев Бориса и Мишку, подбежала к ним. Метнулась к калитке Зевиных.

Надя. Варвара Антоновна!

Появляется Варвара, за ней Зевин.

Варвара. Миша?.. (Бросилась к сыну.) Боже мой...

Зевин (Борису). Подсоби-ка.

Варвара. Мишенька!..

Зевин, Борис, Варвара и Надя уносят Мишку за калитку. Появился Ольховцев. Прислушался. Для него, многоопытного, и тишина исполнена глубокого смысла. Поднялся на верхнюю палубу дебаркадера. Возвращается Борис, устал, вытирает пот.

От реки приближается Антипов.

Антипов (не замечает состояния Бориса). Все летит к чертям!.. Лера не хочет со мной разговаривать. Марягин недоволен... Зачем ты взбаламутил всех, ну скажи?! Может, обратно повернешь колесо? Не все ли тебе равно? С высоты отрешенности...

Борис молчит.

Да уладь ты свой конфликт с Марягиным! Изобрази что-нибудь. Ты можешь делать что хочешь! Ты же свободен, свободен от всего...

Борис. Свободен — девать себя некуда... Тебе что-то надо от меня?

Антипов (внимательно взгляделся в Бориса, оценил наконец его

необычное состояние). Пожалуй, ничего не надо. А, черт, как же мне разрядить атмосферу? (Уходит.)

Выскользнула из калитки Варвара.

Варвара (подходит к Борису). Сейчас врач придет, Надя звонила... Мишка все твердит, что он сам первый драку затеял... замолкнет, потом снова. Я на дебаркадер сбегая, скоро туристов отправлять надо. (Отошла, но тут же вернулась.) Боря, ты на Мишку зла не копи. Слышишь?

Борис. Слышу, Варвара Антоновна.

Варвара. Знамо, не счас, на будущее поимей в виду... Отец твой, Андрей Семенович, не был мне чужой, значит, и ты мне и Мишка тебе. Ты же его не оставил во рву, выгацил? Так он же тебе теперь дороже брата!.. (Быстро уходит.)

Шлепая по трапу, спускается с верхней палубы Ольховцев.

Борис. Евгений Степанович... моя мама... не знаете ли, где она? Ольховцев. Уехала с Лукашовым.

Молчание.

Я из церкви видел, как ты Мишку принес.

Борис. Вы... разговор наш с Варварой Антоновной слышали? Что она хотела сказать?..

Ольховцев (уклоняясь от ответа). Эх-хе-хе...

Борис (в смятении). Сегодня я мог бы его убить... Мишку...

Ольховцев. Чего не видала наша земля!.. (Со смешком, в своей уклончивой манере.) А вообще-то нельзя мешать человеку рождаться, но так же грешно мешать ему и умирать...

Борис. Потому и отцу моему не мешали?.. Все двадцать лет... Ольховцев чуть вбочок склонил голову, собираясь с мыслями, но увидел Варвару, идущую от дебаркадера, туристов — и заковылял прочь.

Катер скоро отчалит?

Варвара. Вон туристы уже идут.

Борис. Я с этим катером — в город, Варвара Антоновна. Наде скажите, ладно?

Варвара. Скажу. (Уходит к своей калитке.)

Борис бежит на дебаркадер, входит в свою комнату, судорожно засовывает в рюкзак пожитки, выбрасывает, опять засовывает: в этой минуте сошлись все тревоги прожитого года.

Женщина-гид (туристам). Мы с вами осмотрели древнюю церковь, теперь обратите внимание, как поэтична природа, весь облик этой маленькой пристани. Здесь все прекрасно... Голубое небо и река, опушка леса... Здесь мы ощущаем какую-то первозданность жизни... Здесь все располагает к отдыху и дышит покоем...

Толпа туристов уходит к катеру. Туда же направляется и Борис. От калитки Зевиных спешит Надя. Отчалил катер под музыку из собственного динамика. Надя ищет Бориса, мечется по пристани. Увидела отплывший катер и остановилась, сраженная обидой и горем. И вдруг возвращается Борис.

Надя. Ты... опоздал на катер?

Борис. Нет.

Надя. Почему ты вернулся?

Борис. Завтра утром уедем вместе с тобой. (Бросил рюкзак.) Я люблю тебя... люблю... люблю... (Целует Надю.) В конце концов Мишка нас поймет... Пойдем куда-нибудь?

Надя. Пойдем... Куда хочешь! Теперь мне с тобой не страшно.

Конец



ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ



ЯВЛЕНИЕ СЛОВА

С калмыцкого

Поэма

Чингизу Айтмагову.

1

Весь день, всю ночь, пока не скрылся в сини
Глаз недреманный утренней звезды,
Как тот, кто долго голодал в пустыне
И наконец дорвался до еды,

Так я, захваченный большой работой,
Не отходил от своего стола,
Писал и черкал до седьмого пота,
Писал, курил... Работа славно шла.

Виденья, чуть мелькавшие в тумане,
Приблизились ко мне — в росе, в пыли...
Иные сразу облик свой нашли:
Живые краски, ясность очертаний.

Другие ускользали. Но стремглав,
Как гончая, бросался я по следу
И ликовал, победу одержав,
И новую предчувствовал победу.

Стихи давались мне почти без муки,
А если хоть один бывал строптив,
С ним я справлялся, нрав его смилив...
И улыбался, потирая руки.

Я кончил труд,
И прочитал его
Весь, до конца... И вдруг поник смущенно.
Нет, мне не изменило мастерство.
Я соблюдал гармонии законы.

Суть — хороша. И форма — ей под стать.
Все стройно. И красиво — чрезвычайно.
«Но... — вдруг шепнул мне некий голос тайный, —
Но это можно бы и не писать,

Где вдохновенья своевольный свет? —
 Вьедался в душу мне ехидный шепот. —
 Вещицу эту создал здравый опыт
 Твоих, мой друг, пятидесяти лет».

...На бледном небе разгоралась зорька.
 Звезда померкла. И погасла цель.
 И стало мне обидно, стало горько,
 И, повздыхав, улегся я в постель.

И все, что нашептал мне тайный голос,
 В далекий, смутный превратилось гул,
 И отодвинулось, и расколосось
 На брызги белой пены...

Я уснул.

2

Да, я уснул. Но в медленном круженьи
 И словно бы за матовым стеклом
 Я вижу:

я все в том же положеньи
 Сажу за письменным своим столом.

Но стол теперь не в комнатухе тесной,
 Где в папиросном я тонул дыму, —
 Среди степи привольной, поднебесной,
 И мне теперь понятно — почему.

Он — на вершине древнего кургана,
 И это тоже мне ничуть не странно.

Со всем вокруг я осязаю связь
 И чувствую невидимые звенья,
 Не удивляясь ничему, дивясь
 Лишь, может, своему неудивленью.

И разум, снова отдохнувший, свежий,
 Свободно облетает даль и близь,
 В пучины вод закидывая мрежи,
 Вторгаясь в дебри, где года сплелись.

И бешеных коней моих желаний,
 Объездив, мне приводит в поводу...
 И утреннюю вижу я звезду —
 Она мне лампой служит на кургане.

Я заполняю белые страницы,
 Блестящие, как снежные поля,
 Поэзией, какая миру снится,
 Которой наша заждалась Земля.

Откуда эта музыка святая?
 Где я такой источник смог найти?
 Слова рождаются, сказочно мерцают,
 Подобно звездам Млечного Пути.

Они мерцают отблеском печали
И радостью, что девственно-светла.
Они поводят круглыми очами,
Им нет начала, меры и числа..»

И я как равный — в звездном их кругу...
Свой тайный смысл мне открывают вещи.
Я и не знал, что так глубоко, веще,
Что так пронзительно писать могу!

Как будто лишь теперь я сбросил путы,
И я вожу пером по белизне
Без низкой мысли нравиться кому-то,
Лишь ради правды, что открылась мне.

Все люди станут чище и моложе,
Когда увидят истины кристалл.
О, как создание это не похоже
На те стихи, что раньше я писал!

Стихотворенье это — словно пламя,
Разбрасывает искорками смех,
Рыдает настоящими слезами.
Оно заденет всех, изменит всех!

Неужто мне — из племени людского,
Мне, мне, кто не велик, не знаменит! —
Достался жребий написать то слово,
Которое весь мир преобразит?!

В нем струйками горячими восхода
Переливается живая кровь.
Быть может, это гордое — «свобода»,
А может, это нежное — «любовь»?..

Не знаю... Только трепетность наитий
Перебегает, искрясь, по стихам.
Я это Слово людям передам:
Вот, милые, любимые, возьмите!

И мужество и мудрость — в Слове том.
Меж небом и землей блистая гранью,
Оно всеочистительным огнем
Избавит всю планету от страданья.

Оно, перелетая рубежи,
Перегородки и границы руша,
Освободит людей от груза лжи,
Калечащего беспощадно души.

Да, это Слово, в мир придя со мной —
А я на свет родился не затем ли? —
Все злое вырвет, словно зуб больной,
Теплом любви согреет нашу Землю.

Оно, подобно тайному ключу,
 Лежало в глубине, на дне песчаном.
 Я ключ достал, и я его вручу
 Моей Земле, моим друзьям — землянам.

Дарю вам счастье! Вот оно, друзья!
 Берите, овладейте им навеки!..
 И — первый в мире — Мир увижу я
 Без горя, без единого калеки..

3

«Исчезнут подлость, клевета и грязь.
 Где кровь текла, там воссияют розы...» —
 Я про себя шепчу... И, не стыдясь,
 Струящиеся отираю слезы.

Восторгом чистым, умилением полный,
 Среди степи стою на крутизне,
 А степь, высоко вспенивая волны,
 По-матерински гладит ноги мне.

Со мной доверчиво ведут беседу
 Цветы и травы, птицы, мотыльки
 И поверяют просто, как соседу,
 Секреты, что божественно легки!

Их тайны для меня сейчас открыты
 И как бы поневоле сходят в стих.
 Душе моей, от суеты омытой,
 Понятен каждый вздох и шелест их.

Мне мил и дорог склад их своенравный:
 Родство со всем живущим я обрел...
 Крылом меня приветствует, как равный,
 С небесных круч спустившийся орел.

И на листке затейливую вязь
 Я вывожу и все не ставлю точку:
 «Людского зла и бури не страшась,
 Орел парит высоко в одиночку».

4

Причуды сна!.. Пишу строку во сне,
 Но — странно! — в эту самую минуту
 Какой-то частью мозга мнится мне,
 Что это сон и что не я как будто —

Ну да, не я! — людей обогатил
 Одним из удивительных творений...
 Нет, это сделал величайший гений,
 Не я, не я.. Но я при этом был...

И этике привычной вопреки
 (Конечно, и во сне мы красть не вправе!)
 Мне хочется — пускай по-воровски! —
 Две-три строки заимствовать для яви,

С собою что-то унести из сна,
 Запомнить, ну, хотя бы рифму, что ли...
 И я хватаю рифму... Но она
 Скользит из рук... Впился в нее до боли

Ногтями, чтоб не смела убежать...
 Умчалась!.. Утомившись от усилий,
 Я просыпаюсь... Комната. Кровать...
 Что с головой моей?! Землей набили,

Или камнями она полна?!
 Я так устал... Сдержать не в силах дрожи!
 А в мыслях — строки, отголоски сна ..
 Но боже мой!.. На что они похожи?!

Где музыка?! Что случилось с мудрой сутью?!
 Как будто там, где искрились шелка,—
 Там на пожухлом стержне стебелька
 Висят сухие, жалкие лоскутья!

Как будто строки затянул туман,
 Почти не видно их под слоем пыли,
 Они — как знаки инопланетян,
 Тех, что когда-то Землю посетили,
 Чтоб подружиться с нами, вероятно,
 Но стерт их след, заметки их — невнятные.

И чувство темное гнетет меня,
 Как будто я на скачках мчался первый,
 Но конь упал. Иль я загнал коня?
 И я лежу недвижно. Сдали нервы...
 Перед глазами — тусклая земля
 И крови несколько багряных капель...

...Иль будто вышел я из корабля —
 Там, в космосе... Но оборвался кабель
 И я болтаюсь в пустоте — с такой
 Невыразимо тягостной тоской...

Но что ни говори, он все же был,
 Тот сон... Стихи, исполненные сил.
 Я видел их вот так, как солнце вижу.
 Они со мной соприкасались ближе,
 Чем это утро и его покой, —
 Ведь я же их писал своей рукой!

Я и теперь могу поклясться снова,
 Что это Слово правда было Слово,
 Способное всю жизнь украсить...

Но
 Откуда все-таки пришло оно? —
 Себя позднее я спрашивал нередко.
 Быть может, дивного творенья свет
 Сиял когда-то в голове у предка?..

Тот предок гениальный был поэт,
 Но ни письму, ни чтенью не обучен.
 И, не делясь ни с кем твореньем лучшим,
 Безвестно жил, в мозгу его храня.
 И память эта, сохраняясь в гене,
 Прошла через десятки поколений
 И озарила молнией меня.

А может, не стихотворенье это,
 А неизвестная пока волна
 С далекой и неведомой планеты?
 Она была сюда занесена
 И наполнилась глубоким смыслом новым,
 Пока еще не выраженным словом,

И этот смысл, что был мне незнаком,
 В моем сознании сделался стихом,
 Как музыка далекая, донесся
 В мой сон через пространства и века.
 Как? Почему?.. Ответы на вопросы
 Я все ищу... Но не нашел пока.

И все же верю, верю в добрый нрав
 Земли и человеческой природы.
 Я верю: месяцы пройдут иль годы,
 Но тайна сна предстанет, заблистав.

И, ускоряя времени течение,
 Бессонная работница — душа
 К ней все-таки поднимется, верша
 Высокое свое предназначенье.

Ведь сон тот был!.. Не зря являлось мне
 Стихотворенье дивное во сне!
 Не зря не позабыл я и сейчас
 Моей рукой написанную строчку:
 «Людского зла и бури не страшась,
 Орел парит высоко в одиночку».

Перевела ЮЛИЯ НЕЙМАН.



МАКСУД ИБРАГИМБЕКОВ



И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА

Повесть

Окрашенные темной охрой котлы на плоской крыше белого двухэтажного здания бани возвышались над всем этим отдаленным районом города. Их монотонный рокот днем и ночью разносился над окрестными кварталами и был слышен в любом дворе даже тогда, когда налетал норд.

Жители улицы привыкли к шуму котлов и обычно не замечали его, баня была построена в середине прошлого века, и уже пятое или шестое поколение района преуспевало, плодилось, разочаровывалось, побеждало или проигрывало в многообразной жизненной борьбе под их шум. Баня здесь была единственной достопримечательностью, и никого не удивляло, что знатоки и любители настоящей бани приезжают сюда из самых дальних районов города.

Единственное неудобство, которое причиняла баня в прежние времена, был дым, четким черным столбом поднимающийся в небо и выстраивающийся затем на эмалевом голубом фоне в непрерывно меняющиеся изображения фантастических деревьев, зверей и птиц. А при ветре коричневая мгла заволакивала улицы и выпадала на листьях деревьев и развешанном во дворах белье жирными, легко размазывающимися хлопьями копоти. Никто не жаловался, дым и копоть люди воспринимали, наверное, как неизбежное следствие закона компенсации, по которому человеку за все хорошее приходится в конце концов, платить, а любой здравомыслящий человек, в районе же этом жили преимущественно люди вышеупомянутого склада ума, понимал, что за старинную баню с двух- и трехкомнатными номерами, сплошь облицованными розовым и нежно-голубым мрамором, с бассейном в общем зале и лежанками из мрамора тех же цветов, с высококвалифицированными массажистами и терщиками, а также с чайханой, в которой с раннего утра до поздней ночи подают прекрасный чай с лимоном, — дым и копоть очень небольшая плата. Со временем в кочегарке переделали топку и перешли с мазута на газ. Теперь над трубой медленно переливались густые струи почти прозрачного раскаленного воздуха, в котором в судорожном танце дергались и сгорали бумажные воздушные змеи, направляемые сюда руками и волею инициативных окрестных мальчишек, сразу сумевших оценить и использовать еще одно и не последнее побочное благо, выпадающее на долю предприимчивых людей, живущих в период стремительного технического прогресса.

Двор Джалил-муаллима примыкал к зданию бани, к задней глухой его стене. Двор считался одним из самых лучших в околотке, стараниями Джалил-муаллима он был сплошь озеленен и ухожен, и, если бы не знать, что это двор городского дома, можно было бы подумать, что это дачный участок где-нибудь в приморской части Апшерона, на котором, как водится, произрастают и виноград и инжир. А у самых заботливых и понимающих «землевладельцев» — гранаты и черный тут. В очень раннее летнее утро Джалил-муаллим стоял посредине своего двора и с неудовольствием прислушивался к шуму котлов, который, как ему казалось, сегодня мешает сосредотчиться и вспомнить сон, увиденный минувшей ночью.

Судя по тем туманным обрывкам, которые мелькали в его сознании и никак не соглашались соединиться в целое, сон был тоскливым и неприятным, но вспомнить его все равно хотелось, и Джалил-муаллим ничего с этим мучительным желанием поделать не мог.

Он прошелся по двору, рассеянно подвесил виноградную лозу, сорвавшуюся с талвара, недовольно покачал головой, обнаружив, что одна из кистей сильно поклевана птицами, потом подошел к огороду — несколькими грядкам общей площадью пять на четыре метра. Здесь Джалил-муаллим в зависимости от времени года выращивал лук, помидоры, щавель, кресс-салат, а также различные цветы.

По его мнению, свежие овощи, сорванные прямо перед едой, особенно полезны для организма, а работа в огороде и хождение по земле босиком приносят также большую пользу — через кожу ступней уходит электричество, накопившееся за день в теле человека. Знакомый фельдшер рассказал ему как-то, что в организме человека, живущего в городе, скапливается электричество, которому нет выхода вследствие изолирующего действия асфальта.

На Джалил-муаллима рассказ этот произвел большое впечатление, он теперь часто очень отчетливо представлял себе, как электричество собирается в тугие тяжелые комки в области сердца и в голове и давит на все нервы. Это он ясно ощущал весь день, а по вечерам непременно прогуливался по огороду, глубоко погружая ноги в землю, и каждый раз испытывал облегчение, чувствуя, как уходит в песок тяжелое напряжение. Впрочем, по мнению, никогда благоразумно вслух не высказываемому, жены и дочери, никакой разрядки в организме Джалил-муаллима не происходило, а если даже какое-то количество напряжения и уходило незаметно в почву дворового огорода, то все равно в его теле оставалось столько электричества или другой, неизвестной науке, формы энергии, что ее с избытком хватило бы для зарядки почвы всех огородов и плантаций в окрестностях Баку.

Осмотр огорода времени не занял, земля была достаточно влажная, как всегда огород он поливал по вечерам, ближе к ночи. Джалил-муаллим прошел к тутовому дереву в глубине двора, под которым стояли два улья — предмет гордости Джалил-муаллима. Это были единственные ульи в этом районе, и, как надеялся Джалил-муаллим, во всем городе: по крайней мере до сих пор никто не сообщал ему, что в Баку кто-нибудь еще держит пчел.

Он с удовольствием прислушался к ровному гулу, издаваемому обоими ульями, пчелы уже проснулись, но еще не вылетали. Было слишком рано, и пчелы ждали момента, когда короткая предрассветная прохлада с пресной росой на чашечках спящих полураскрытых цветов сменится теплым воздухом, воздухом их мира, воздухом жизни, пахнущим нагретой влажной землей и корой деревьев, медом и цветами, теплым человеческим телом...

К пчелам Джалил-муаллим относился с большим уважением. Он каждый раз испытывал чувство тихой радости и умиления, наблюдая за действиями этих трудолюбивых и самоотверженных существ. Когда же ему надо было привести в беседе наглядный пример дружбы и разумного поведения, он непременно упоминал о пчелах. По его глубокому убеждению, люди сильно выиграли бы, если бы переняли у пчел умение отдавать во имя близких все самое ценное, что у них есть. Он рассказывал о них и тогда, когда приводил примеры о взаимном уважении или вреде эгоизма, в этих случаях упоминание о пчелах оказывалось удивительно убедительным и уместным. Труднее было ссылаться на них в беседе о людской неблагодарности, беседе, после которой у Джалил-муаллима появлялось чувство удовлетворения от правильности своей жизненной линии, но он надеялся, что со временем найдет, наблюдая за жизнью роя или отдельных пчел, характерные особенности, убедительно подтверждающие отсутствие в их рядах существ, страдающих самым страшным пороком — неблагодарностью.

Это наблюдение он собирался в будущем использовать для иллюстрации тех самых бесед, к ведению которых Джалил-муаллим чувствовал призвание и готов был начать их при первом же удобном случае.

Собака, черная кавказская овчарка с какой-то посторонней примесью, спала на матрасике у лестницы на веранду. Она открыла глаза, когда он встал над нею, без всякого выражения посмотрела на Джалил-муаллима и снова задремала.

Джалил-муаллим, тихо ступая, поднялся на веранду, прошел на кухню, достал из холодильника кусок ребрухи, накрыл ее в миску, добавил хлеба и вернулся во двор. Собака лениво встала, подошла к миске. Джалил-муаллиму очень хотелось, чтобы собака помахала хвостом. В конце концов, каждый человек имеет право на то, чтобы его собака махала хвостом, когда ее хозяин дает ей есть. Собака в два приема проглотила содержимое миски и, несколько раз лакнув воды из стоящего здесь же тазика, легла снова. Джалил-муаллим пнул ее ногой, отчего собака привычно коротко взвизгнула и попыталась отпрыгнуть, но помешала веревка. Джалил-муаллим привел ее домой еще крошечным щенком, первое время он ее отпаивал молоком, а спустя некоторое время стал регулярно покупать для нее на базаре обрезки мяса и ребруху. Держал ее в чистоте, превозмогая чувство брезгливости купал каждую неделю.

Очень серьезно относился к ее воспитанию, строгость, по его мнению, он применял по необходимости и справедливо. Зря не наказывал, ну а в тех случаях, когда это требовалось, скажем, нагадил щенок там, где не положено, или залаял посреди ночи, тогда бил его Джалил-муаллим специально заведенной для этой цели плеткой так, чтобы позвоночник или какую-нибудь кость не повредить. Когда заслуживал этого пес — обязательно отмечал, гладил, давал конфету.

Вырастил. Редко кто так за собакой ухаживает, и ведь не бог весть какая порода — помесь. И что самое обидное — выросла собака в доме Джалил-муаллима, на его корме вымахала чуть ли не с волка ростом, а за хозяина его не признает.

Как почувствует, что он в дом, сразу в кусты или куда подальше, смотрит на него, а глаза у нее безрадостные. Никто этого и не замечал. Ни домашние, ни соседи. Кому интересно, на кого как собака дворовая смотрит, службу хорошо несет — и ладно! А Джалил-муаллиму обидно: ко всем собака ласкается, хвостом крутит, слюной истекает от радости собачьей и любви, а как его завидит — стоп. На привязь он ее вчера посадил, целый вечер она на другой половине

двора провела, хлебом не корми, только отпусти ее на половину брата. Раз пять Джалил-муаллим делал вид, что не знает, где пес, и свистел и «Боздар!» в полный голос кричал — никакого внимания. Пришлось сына послать за ним.

Еще хуже срам, мальчишка его домой тянет, а пес всеми четырьмя лапами упирается, чуть из ошейника не вылез. Как будто не домой ведут, а на живодерню. Дал ему как следует плеткой, чтобы в следующий раз nepовадно было, Боздар и рычал, и что-то в горле у него яростное клокотало, а укусить не посмел. А Джалил-муаллиму хотелось, чтобы укусил его Боздар, забил бы тогда его, может быть, насмерть, по справедливости.

Джалил-муаллим еще раз пнул его ногой и пошел в дом за вещами — самое уже время было идти в баню. От безмятежного настроения, в котором он пребывал при созерцании ульев, не осталось и следа. «А то, что он на ту половину бегаёт, — понятно, нарочно его приманивают, мне назло, все шлюхи этой дела, другую собаку со двора бы палкой прогнала, а эту приманивает, лишь бы мне неприятность сделать», — он зацепил брюки за гвоздь, непонятно по какой причине высунувшийся из ступени, и с маху разодрал по шву обшлаг. Джалил-муаллим почувствовал, как все его существо охватывает темная бессмысленная злоба, непонятно против кого и чего направленная; стиснув зубы, он зашел в дом и, вернувшись с молотком, встал на ступеньку с торчащим гвоздем. Удар молотком прозвучал оглушительно, совершенно чуждо и страшно для этой абсолютной тишины раннего воскресного утра. За первым ударом последовал второй... Наверное, для спящих интервал между ними длился гораздо больше, чем на самом деле. Возможно, кто-нибудь за короткое мгновение после первого удара, показавшееся ему нескончаемым, увидел душный кошмар с землетрясением или атомной войной, а так же, возможно, что второй удар стер в памяти это видение, оставив на его месте рубец, который, прежде чем заживет и исчезнет в будущем, заставит человека не раз вздрогнуть во сне и покроет его кожу липким холодным потом... Джалил-муаллим вколачивал гвоздь все глубже и глубже, он бил изо всех сил по шляпке гвоздя, уже еле видной в центре впадинки, которую образовала сплюсциваемая молотком древесина. И с каждым ударом ему казалось, что, следуя таинственным законам теории знакомого недоучки-фельдшера, злоба медленно отпускает его горло и одревеневшую левую часть груди и плеча и перемещается по напрягшейся руке-проводнику через онемевшее запястье и горячую ладонь в самый конец головки молотка.

Звуки разносились на многие кварталы вокруг, и от каждого удара поднималось вверх пульсирующее кольцо шума, стремительно расширяющееся по мере взлета, удары учащались, и кольца, взлетающие одно за другим, образовали гигантский сачок: в самом низу, в самом центре которого сидел человек, проснувшийся в это прекрасное тихое утро раньше всех. Он, не оборачиваясь, слышал и чувствовал, как вскакивают перепуганные люди на половине брата, он знал, что, если обернется, увидит сквозь негустую зелень живой ограды лицо своего брата, смотрящего на него с изумлением и вопросом.

Он не стал оборачиваться, а поднял глаза на дверь своего дома, встретился со взглядом жены, стоящей в дверях в ночной рубашке, отложил молоток, поздоровался и медленно прошел мимо нее за саквояжем с чистым бельем.

— Я ступеньку прибивал, — вернувшись из комнаты с чемоданом, сказал Джалил-муаллим жене. — Очень это опасно, когда на лестнице нет ступеньки. По-моему, я имею право забить ступеньку соб-

ственной лестницы. И самое подходящее время для этого — утро, я не обязан ждать, когда проснутся люди, привыкшие спать до полудня. Может быть, я кого-нибудь побеспокоил этим? — спросил Джалил-муаллим.

— Нет, нет, — сказала торопливо жена, — я и так собиралась встать.

Джалил-муаллим спустился по лестнице, повернулся к жене.

— Я приду через два часа, ты, пожалуйста, извини, я совсем забыл, что еще рано, — сказал Джалил-муаллим. — А стук, наверно, был в комнате слышен?

— Ничего ни с кем не случится, — сказала жена, — оттого, что ты два раза по гвоздю ударил! В конце концов, один раз в жизни в своем доме ты тоже можешь что-то себе позволить.

Только продолжали еще у него сжиматься холодные пальцы рук и не удавалось никак остановить тик, ритмично сокращающий всю кожу на щеке, под правым глазом.

На улице почти никого не было, в воскресенье даже дворник просыпался позже обычного. Джалил-муаллим подумал о том, что как было бы неплохо, если бы всегда, круглый год, в любое время суток, стояла бы вот такая прекрасная утренняя прохладная погода, как сейчас, и чтобы всегда на улицах было малоллюдно, а то ведь ничего хорошего не получается из того, что очень много людей собирается в одном месте. Только беспорядок создается и толкотня, для нервов — трепка.

Он вспомнил, как было прекрасно до войны, когда в Баку жило гораздо меньше народа, чем сейчас, и все были знакомы между собой. Все, встречаясь на улице, непременно здоровались, первыми — младшие. Все друг к другу относились с уважением, случалось, конечно, что кто-то с кем-то поспорит, но редко это случалось. С нынешней улицей ни в какое сравнение не идет.

А вот баня совершенно не изменилась, какой была, такой и осталась, и бассейн посреди зала тот же, только рыбки в нем появились золотые, а может быть и раньше были, забывать начал?

И картина на стене — задумчивый олень в зимнем лесу над родником в снегу, — выложенная цветным голландским кафелем, та же. И пахло здесь точно как раньше — легкий запах плесени мешался с густым ароматом хны.

Кассирша Рахшанда приветливо поздоровалась с Джалил-муаллимом и, не спрашивая, протянула ему две скатанные, запечатанные бумажной полоской простыни и кусок зеленого мыла.

— Гусейна я пришлю через полчаса, — сказала Рахшанда, предварительно расспросив его о здоровье жены и сына. Джалил-муаллим смотрел на лицо Рахшанды, напоминающее отдаленно своими потерявшими былую форму щеками, тонкими полосками подведенных бровей, расплывшимися линиями подбородка, поблекшей кожей, ту самую красивую женщину, которую он когда-то знал.

Он продолжал думать о ней и по дороге в тридцать второй номер, как всегда Рахшанда дала ему самый лучший номер в этой бане.

Она была старше его лет на двенадцать — четырнадцать. А в бане этой она работала вот уже лет сорок. Как пришла пятнадцатилетней девочкой, так и осталась.

Работала вначале под руководством матери, Дильбази-ханум, очень опытной терщицы и массажистки, известной среди женщин своим умением быстро и без боли вправить любые вывихи, бесследно и навечно удалять волосы с лица или с других мест, где также они женщине ни к чему, владела секретом того, чтобы оставалась кожа нежной и блестящей лет на десять, а то и пятнадцать больше по-

ложенного ей срока, знала состав, от которого волосы на голове становились гуще и приятнее по цвету, знала, как сделать, чтобы пахло тело всю ночь распустившимися розами и чтобы глаза по утрам были ясными и веки не казались припухшими. А уж если кого выдавали замуж, то купала и готовила невесту в день свадьбы обязательно Дильбази. За несколько дней приходили договариваться мать и тетки невесты, словом, многое знала и умела Дильбази из древнего искусства обольщения и ухода за телом. Многие успела передать дочери, собиралась сделать из нее мастера, подобного себе, да не успела. Умерла Дильбази-ханум неожиданно, во время беседы, после того, как купание было закончено и две ее приятельницы-клиентки, в последний раз приняв прохладный душ, полулежа на теплой мраморной плите, рассказывали друг другу о своих делах семейных и несемейных и вдруг заметили, что Дильбази опустила голову, не то задумалась, не то задремала с улыбкой на лице.

Говорили, что была Дильбази-ханум красавицей неопишуемой и что Рахшанда в нее пошла.

Рахшанда работала терщицей и массажисткой, а к старости повышение получила, стала директором и по совместительству кассиршей. Но для своих постоянных клиенток и их дочерей всегда делала исключение — сама ими занималась, несмотря на директорское звание.

В первый раз Джалил-муаллим увидел Рахшанду, когда звался просто Джалилом и было ему неполных четыре года. Мать взяла его тогда с собой в баню. Она поставила его под душ и сказала, чтобы он постоял под теплой струей несколько минут. А потом пришла Рахшанда, Джалил видел из-под душа, как она, заперев за собой дверь, сбросила в первой комнате — предбаннике — халат и голая вошла в комнату. Никогда до этого Джалил не видел голой женщины, если не считать, разумеется, матери. Он смотрел на нее во все глаза, стоя под душем.

— Ой, какой хороший мальчик! — сказала она и потрепала его по мокрой голове.

Потом под душ встала мать. А Рахшанда, сев на край мраморного ложа, раздвинула ноги, поставила его между коленями и, приказав, чтобы он крепко зажмурился, несколько раз намылила голову.

Каждый раз, намыливая голову, Рахшанда спрашивала, не очень ли горяча вода, и он каждый раз замирающим голосом отвечал, что нет, и она смывала пену с головы теплой ласковой водой и проводила вслед за водой рукой по лицу и, еще раз обмакнув руку в таз с чистой водой, по глазам.

Было очень приятно стоять между ее ногами и упираться лицом в ее живот под маленькими упругими грудями с розовыми сосками. Когда она сильной рукой натирала ему спину, сладкая истома охватывала его маленькое тело, и он с трудом удерживался от того, чтобы не взять в рот нежный сосок ее груди, скользящий у него то по шее, то по лбу.

А может быть, это желание пришло потом, много лет спустя, но ему казалось все время, что ему этого хотелось тогда. Незъяснимое волнение охватывало его каждый раз, когда его купала Рахшанда, и ощущение этого волнения осталось с ним на всю жизнь. И на всю жизнь он запомнил ее совершенное упругое тело с белоснежной тонкой кожей, с сильными бедрами, между которыми он помещался почти целиком. Сохранились в памяти его тела ее округлые колени, на всю жизнь запомнила его кожа, в каких местах касались ее колени Рахшанды.

А потом мать перестала брать его в баню. Купала его дома в ванной.

В баню раз в неделю она уходила без него, с соседкой. Он просил мать, даже плакал несколько раз, но ничего не помогало, мать была непреклонна.

— Ты уже большой мальчик, — сказала мать, — будешь теперь ходить в баню с отцом.

Став постарше, он несколько раз забирался на крышу бани и не отрываясь смотрел в крохотное открытое окошечко над общим женским отделением.

В теплом белом пару ходили голые женщины, переговаривались и смеялись, и все это, сливаясь, доносилось до Джалила каким-то волнующим и странным гулом. Каждый раз ему казалось, что он видит среди этих неправдоподобно прекрасных женских фигур Рахшанду, он был уверен, что видит ее, и каждый раз сердце его сжимала сладостная грусть, а ведь с такой высоты узнать ее в пару, среди потоков льющейся воды, при неярком свете стосвечевых ламп было невозможно, и он, со временем приглядевшись к какой-нибудь из женщин, чем-то напоминающей ему Рахшанду, не спускал с нее весь вечер глаз, а воображение, которое было у него, очевидно, сильно развито, позволяло ему вставать между ее коленями и, прижавшись к ее телу, явственно ощущать, как сбегает по коже ласковая вода. И снова необъяснимое чувство восторга и томления охватывало его.

В один из вечеров он сидел на куполе и, прижавшись к окошку, из которого поднимался поток влажного тепла, запах духов и хны, запах тела Рахшанды, искал ее глазами или, точнее, ту, что должна была быть ею в этот вечер.

До блаженного ощущения мнимой реальности оставались мгновения, он заглядывал в баню, перегнувшись через окно всем туловищем, теперь он уже знал, что он невидим для смотрящих снизу, сладкое томление начало обволакивать его тело, и вдруг он почувствовал, как кто-то резко и жестко схватил его за плечо.

Никогда в жизни не испытал Джалил больше такого страха, от которого онемело и сделалось в нем неподвижным все. Руки оторвали его тело от Рахшанды, развернули спиной к окну. Перед ним стоял банщик Акиф — здоровый парень, славящийся на всю улицу невероятной силой и считающийся непререкаемым авторитетом в разрешении спорных вопросов уличного кодекса чести и этики.

Он был взбешен, его красивое тонкое лицо походило на морду какого-то хищного зверя из породы кошачьих, и Джалил почувствовал первобытный ужас, который, наверное, может испытать беззащитный человек, неожиданно встретившись лицом к лицу с диким зверем.

— Ты представь себе, — Акиф говорил с трудом, — ты только представь себе, что там, в бане, твоя мать купается, сестра или жена, а какой-то ублюдок-молокосос подглядывает в окно. Никогда еще на этой улице такого не было. Хотя говорить с тобой бесполезно: что такой, как ты, может понять? Слушай, я тебя прошу — уходи, а то мне очень хочется тебе глотку перервать.

Джалил никак не мог потом вспомнить — потерял ли он в этот момент сознание или ему показалось. Он только точно помнил, как Акиф помог ему спуститься с крыши, потом долго сидел с ним на скамеечке перед воротами и говорил с ним добрым голосом, обняв за плечи.

Акиф сказал тогда: то, что сделал Джалил, это позор для мужчины, и если об этом узнают, то Джалил навеки лишится доброго

имени и каждый на улице будет вправе в будущем задеть его мать или сестру или спустя много лет жену или дочь, потому что такие позорные поступки никогда не забываются.

Акиф сказал, что он прощает Джалила, потому что Джалил просто не понимал, что он делает, и, как Акиф чувствует, Джалил искренне раскаивается.

Акиф обещал никому не рассказывать и сдержал свое слово.

Потом Акиф спросил его о самочувствии и, несмотря на то, что Джалил сказал, что все в порядке — а у Джалила кружилась голова, и он с трудом передвигал ноги, — проводил его до самых дверей.

В этот день он в последний раз видел свою Рахшанду.

Через год Акиф женился на Рахшанде, она родила ему троих детей, а потом, когда началась война, Акифа взяли на фронт, и через два месяца Рахшанда получила похоронную.

Рахшанда вышла второй раз замуж спустя три года за кривого заведующего керосиновой лавкой. Чем он ее пленил, осталось загадкой для всего района, но жили они дружно, и к детям Рахшанды от Акифа он относился как к своим, никакой разницы не делал.

Джалил-муаллим женился только после войны, раньше он не мог: погиб отец и семья осталась у него на руках. Сосватали ему дальнюю родственницу — говорили про нее, что она хозяйственная и с образованием, окончила музыкальное училище. Была она довольно-таки миловидна, но чрезмерно худа и роста была одного с Джалил-муаллимом, а может быть, даже чуточку выше. До свадьбы они повидались всего два раза. В первую ночь, когда их оставили одних в бывшей спальне родителей, она не проронила ни единого слова, а все время испуганно поглядывала на Джалил-муаллима.

Он строгим голосом сказал, чтобы она разделась. Она мотнула головой. Тогда Джалил-муаллим понял, что это надо сделать ему. С женщиной наедине он оставался впервые и никогда не предполагал, что раздеть ее — такое сложное дело. Она просила испуганным шепотом, со слезами на глазах, чтобы он оставил на ней хотя бы рубашку, но он был неумолим. Когда она попыталась укрыться одеялом, он не позволил и этого, теперь она лежала совершенно голая, закрыв лицо руками, и тихо всхлипывала.

Джалил-муаллим смотрел на нее при мягком свете ночника и испытывал ощущение, похожее на растерянность и стыд. Он потушил ночник и лег рядом с нею, он прижался к ней всем телом и, положив левую руку ей под голову, правой стал гладить грудь. Она перестала всхлипывать и затаила дыхание.

Он несколько раз поцеловал ее мягкие покорные губы и снова не испытал при этом ничего даже отдаленно похожего на любовную страсть молодожена. Он почувствовал, коснувшись лицом прохладной наволочки, как горят его щеки, ему было стыдно за свое бессилие, и он подумал, что жена никогда не будет его уважать, а это просто ужасно, ведь всегда очень неприятно, когда тебя кто-то не уважает, ну, а уж если единственная жена тебя не уважает, причем совершенно справедливо, за то, что ты не можешь сделать свое мужское дело, то выход один — или застрелиться, или повеситься.

Он в отчаянии закрыл глаза и слегка отодвинулся от нее. Он подумал, что, может быть, он и не так уж виноват, может быть, если бы на месте этой женщины, абсолютно ему не нужной, лежала бы та — Рахшанда, то, возможно, все было бы по-другому. И вдруг нахлынуло. Он это почувствовал сразу, вернулось то состояние, которое много-много лет назад прервал Акиф на крыше бани. Он не мог поверить, он боялся, что все вдруг исчезнет, несколько минут

лежал неподвижно, а потом осторожно протянул сразу ставшую горячей руку и дотронулся до Рахшанды, она лежала рядом, красивая, изнемогающая от желаний. Он дотронулся до ее груди, погладил ложбинку между грудями, почувствовал, как они покорно легли и уместились, каждая по очереди, целиком в его ладони, и он чувствовал, как бьется под тонкой кожей ее сердце, провел раскрытой ладонью сверху по горячей гладкой коже живота, погладил кончиками пальцев жесткие завитки в самом его низу, и под его рукой нежно и медленно раскрылись тесно прижатые друг к другу бедра. Он взял в рот розовый сосок ее груди и только теперь, после стольких лет ожидания, познал его вкус.

В эту ночь, свою первую в жизни ночь с женщиной, он брал Рахшанду несколько раз, брал молча, не уставая, ни разу не раскрыв глаз. Брал каждый раз по-другому, то слушая ее шепот, полный нежности и любви, то жадно прислушиваясь к стонам ее, уставшей от его грубых ласк. Потом он открыл глаза и с недоумением услышал, как жена плачет, умоляет его остановиться, потому что она устала и ей очень больно.

Он не сразу мог понять; чего от него хочет эта незнакомая женщина и что она здесь делает рядом с ним, когда это место принадлежит Рахшанде, и только ей одной.

И это была последняя ночь с Рахшандой, чуда больше не получалось, он жил с женой нормальной, далеко не страстной супружеской жизнью, но ни разу после той ночи не удавалось ему почувствовать рядом Рахшанду, хотя ни разу он не отказался от попытки вернуть чудо, приходя один или два раза в неделю в спальню к жене... А потом, побыв с женой час или полтора, уходил спать к себе в комнату. И никогда больше не получил он подлинного удовлетворения от того, что регулярно происходило у них с женой. Было это жалкой имитацией, каждый раз смутно унижающей его, низводившей его до уровня животного в периоды случки, грязной подделкой по сравнению с тем чудом божественного наслаждения, что испытал и тщетно пытался вернуть или повторить он, согласный заплатить за это самую дорогую цену, какую только может заплатить при жизни человек.

У них родилась дочь, и жена много лет спустя, всмотревшись в лицо дочери, склонившейся над тетрадью, изумленно сказала:

— А ведь и верно похожа! Слушай, Джалил, только ты не думай, что я совсем дура, но дочка наша удивительно на Рахшанду похожа, на директоршу бани. Удивительное сходство. Первая Таира-ханум заметила, говорит: дочка твоя на Рахшанду похожа, просто копия. Она, оказывается, Рахшанду в молодости хорошо знала. Рахшанда сегодня фотокарточку принесла тех лет — мы все ахнули: моя дочь, и только! Рахшанда, так та даже всплакнула. Ведь правда, дочка, как будто ты на фотографии? Бывают же чудеса!

Дочка улыбнулась каким-то своим мыслям и кивнула головой.

— Не может этого быть, — с удивлением, чувствуя, что смущается, и по этой причине раздражаясь, сказал Джалил-муаллим. — Кажется вам. — Он взгляделся в лицо дочери и, не обнаружив в нем ни малейшего сходства с Рахшандой, сказал с уверенной улыбкой: — Показалось вам. От безделья это. И с какой стати наша дочь может быть похожа на Рахшанду?

— А если и похожа, ничего дурного в этом нет, прекрасный человек Рахшанда. Жалко, что ты ее, Джалил, плохо знаешь, душа у нее чудесная, до сих пор красавица, и всю жизнь очень порядочной женщиной была, ни один человек дурного слова о ней не скажет...

В номере от мраморных стен и лежанок шел пар, видно, мыли их кипятком только что перед самым приходом Джалил-муаллима.

Он разделся, аккуратно повесил на вешалку брюки и пиджак из чесучи, потом прошел во вторую комнату и встал под теплый душ. Минут через двадцать пять — тридцать, стуча сандалиями на деревянной подошве, пришел Гусейн. Он разделся в предбаннике и вошел в номер с тазом, в котором были сложены: рукавица грубой шерстяной вязки для массажа, мочалка, мыло и флакон с шампунью. Пока Джалил-муаллим мок под душем, подготавливая тело к массажу, Гусейн кипятком и мылом еще раз начисто вымыл и протер мраморное ложе в углу комнаты, надул резиновую подушку и положил ее в изголовье.

— Хватит, пожалуй, — сказал Гусейн, внимательно оглядев Джалил-муаллима. — Иди ложись, а я, помолясь богу, приступлю.

Джалил-муаллим подошел к плите и лег животом на ее гладкую теплую поверхность. Привычное чувство покоя снизошло на него. Не было больше другого такого места, нигде, кроме как в этой бане, не чувствовал он себя так хорошо и спокойно.

Гусейн цепкими, сильными кистями рук прошелся по всем суставам.

— Похудел ты, — вздохнул он. — Нервный ты очень, все от нервов идет.

Гусейн еще раз прошелся по суставам, прошелся медленней, чем в первый раз, подробно ощупывая каждый позвонок; покончив с ними, начал выкручивать пальцы, руки, стопы ног, причиняя им сладостную ноющую боль, выкручивая так, что смачно хрустело в сочлененьях, казалось, что тело разбирают на части, разбирают и каждую часть окунают в какой-то чудодейственный живительный состав, придающий немедленно бодрость и свежесть, и вот тело собрано снова, и стало оно легче, здоровее и моложе.

Гусейн массировал шею, с остервенением хватал за еле заметные складки на затылке, казалось, что вот-вот отдерет он мышцы от костей, мелкой дробью рассыпался пальцами за ушами, влезал пальцами под подбородок так, что еще секунда — еще миллиметр и оторвет напрочь челюсть, потом длинными тягучими пассами прогладил плечи и шею.

Мышцы перекатывались у него под тонкой кожей. Джалил-муаллим подумал про себя, что и Гусейн постарел за эти годы и массаж делает хоть и хорошо, ни с кем в городе сравнить нельзя, но все же не так, как раньше, без прежнего рвения, силы уже не те...

— Я сейчас вспомнил, — со вздохом сказал Гусейн, — как я в былые времена ногами тебя массировал. Помнишь? Теперь, пожалуй, не выдержишь.

Гусейн, войдя в раж, посредине массажа вскакивал ему с размаху на спину голыми коленками, вспомнил Джалил-муаллим и удивился: «Как это я выдерживал?» Видно, не только Гусейн стареть начал.

Гусейн принял душ и подступил к Джалил-муаллиму с рукавицей. Во время массажа с рукавицей, Гусейн никогда не разговаривал, дело это тонкое, требующее особенного внимания, только с наиболее уважаемыми клиентами, каким являлся Джалил-муаллим, позволял себе Гусейн перекинуться двумя-тремя фразами. А настоящую беседу, опять же с наиболее достойными посетителями, вел он во время мыльного мытья. Мог Гусейн поддерживать беседу с любым понимающим человеком, свободно говорил на тему поэзии, старинным поклонником и знатоком которой издавна считался, не гнушался бесед и на душеспасительные темы, имел твердое мнение по любому

вопросу морали и этики, разбирался во всех тонкостях внутренней и внешней политики, а также был осведомлен и о тайных пружинах, при помощи которых сильные мира сего совершают крупные дела.

Он кончал читать второй бейт и сказал, чтобы Джалил-муаллим перевернулся на спину, голос у него был приятный, читал он стихи нараспев, с выражением и чувством.

— Спасибо, — сказал Джалил-муаллим, — спасибо, Гусейн, второй бейт меня расстроил, чуть не заплакал я, первый бейт тоже прекрасный, но второй бейт — это жемчужина бесценная, это стих, в котором весь мир как в одном зеркале отражается. Физули — величайший из поэтов!

— Эх! — сокрушенно сказал Гусейн. — Кого я могу из сегодняшних поэтов с ним рядом поставить?! Никого. Я ничего не говорю, хорошие поэты изредка попадаются. Великих нет...

Купанье вступило в завершающую фазу. Гусейн намылil ему голову.

— Слушай, — сказал Гусейн. — Вчера один парень сюда приходил, из Москвы в Баку приехал, за него Джумшуд просил, говорит, друг мой этот москвич, ты сделай ему уважение, ради меня, покажи, что такое настоящая бакинская баня. О чем я говорил? Так вот этот парень рассказывал, что был он недавно в Финляндии и Швеции, говорит: там бани деревянные, с парной. Люди купаются, потом парятся, ну, в общем, как у нас в молоканской бане, только там деревянная, а у нас каменная, а дальше совсем по-другому: все выбегают из парной прямо на снег и бросаются в ледяную воду. Слышишь? Парень такой серьезный — на вруна не похож. Опять же Джумшуд за него поручился. Говорит, сам купался, сам бросался. Что ты об этом думаешь?

— Что я об этом могу думать? Мало ли сумасшедших на свете? А может, и врет, в конце концов, кто такой Джумшуд, всего десять лет назад приехал в Баку из Асамана, а я еще ни одного асаманца приличного человека не знаю. Так что и друзья у него представляю какие. А может и правда.

— Правда, правда, — сказал Гусейн, — я всегда чувствую, правду человек говорит или нет. А еще такое этот парень рассказал! — Гусейн тихо хихикнул. — Я со вчерашнего дня никому это пересказать не могу. Стыдно. Я этому парню говорю: скажи честно — пошутил? Несколько раз я у него спросил, последний раз, когда он уже совсем оделся, уходил, а он мне все время отвечал «честное слово», «правда» и еще клаясь. Так и ушел. Удивительное дело.

— Что же он тебе рассказал?

— Не проси, Джалил, не скажу. Ты же знаешь, я в бога верю.

— Мне-то ты сказать можешь, ты же знаешь, дальше меня это никуда не пойдет.

Гусейн в молчании намылil в третий раз голову Джалил-муаллиму.

— Ну, — сказал Джалил-муаллим.

— Знаешь, что он сказал? — наконец решившись, выпалил Гусейн. — Говорит, что там мужчины и женщины купаются все вместе. В одной бане, в одной комнате, все голые, все друг другу спину трут. Все!

Джалил-муаллим чуть не захлебнулся, когда Гусейн водой из кувшина стал смывать с его головы пену.

— Бессовестные, — отдышавшись, сказал Джалил-муаллим. Он был искренне возмущен. — До чего бесстыдство у людей доходит.

Таких убивать надо, чтобы другие, помоложе, примера с них не брали. — Заговорив о бесстыдстве, Джалил-муаллим вспомнил о брате и расстроился окончательно. — Тьфу! Нет предела бесстыдству людей!

— Я о другом думаю, — сурово сказал Гусейн, — я думаю, куда их правительство смотрит. Что из их детей получится? Их же всех в тюрьму посадить надо. Только последить, чтобы мужчин отдельно посадили, женщин отдельно. Ты как думаешь, Джалил?

— Горбатого могила исправит. Ты думаешь им тюрьма поможет? Я точно знаю, таким ничего не поможет. Если у человека совести нет, ему никто и ничего в жизни не поможет. Ты мне поверь! — Он уже и не рад был, что вспомнил о брате, все удовольствие от бани пропало и даже в висках застучало. И сказать никому нельзя ничего, не станешь ведь о родном брате посторонним людям рассказывать. Позор! А не расскажешь, сердце однажды не выдержит, разорвется на мелкие кусочки. Черная кровь изо рта хлынет, если все время молчать, муку такую в себе носить.

Чайхана была здесь же, во дворе бани. Несмотря на ранний час, почти за всеми столами сидели, а за одним уже играли в нарды. Джалил-муаллим прошел к дальнему столу, у самой стены, по пути коротко кивнув чайханщику. Азиз, сын покойного Мамед-али, основавшего в свое время эту чайхану, подошел к нему, почтительно поздоровался, проворно протер мокрой тряпкой и без того чистую поверхность дубового стола, потемневшую от времени и чая, и поставил перед ним чайник и два стакана с блюдцами, один для Джалил-муаллима, второй на тот случай, если Джалил-муаллим пригласит кого-нибудь подсесть, что он делал очень часто.

Он налил себе стакан крепкого, с красноватым оттенком чая и подумал, что, уходя, надо будет при посетителях поблагодарить Азиза за сегодняшней чай. В прошлое воскресенье чай был явно переделан при заварке на огне, и Джалил-муаллим ушел не совсем довольным.

А сегодня чай был превосходным. Как всегда, первый стакан он выпил быстро, предварительно слегка остудив его в блюдце, и сразу же ощутил его действие, как будто чай растворил тонкую туманную пелену в голове, между теменной костью и мозгом. И теперь свободно врываются в сознание и казались приятными воспоминания, располагающие к размышлениям под мерный клекот котлов и шелест виноградных листьев над головой. Джалил-муаллим не торопясь пил второй стакан чая. Холодил лоб остывший пот, новые посетители, а приходили в основном соседи и знакомые, непременно здоровались с ним, а он, так же как и полчаса назад в бане, испытывал удовлетворение от жизни, ощущал ее полноту и приятную стабильность и то, что в этой жизни человек он нужный и заметный.

Потом, за дальним столом, где играли в нарды, начался спор, и игроки, игнорируя советы соседей, подошли к Джалил-муаллиму и, непрерывно извиняясь за причиненное беспокойство, попросили его глянуть на доску. Он не торопясь подошел к нардам, мгновенно решил спор и рассказал об аналогичном случае, происшедшем с ним в этой же самой чайхане еще при покойном Мамед-али. Все с интересом слушали, игроки безропотно согласились с его решением, и это было очень приятно, так же, как и то, что изо всех сидящих в чайхане, а большинство считалось опытными нардистами, для разрешения спора, не договариваясь, игроки избрали его. Игра закончилась, и победитель пригласил Джалил-муаллима занять место за нардами, но он отказался. Играть в чайхане он перестал, узнав, что

С некоторых пор здесь поигрывают и на деньги, чего раньше не было. В нарды играл он только в гостях или дома, и партнерами его были только солидные и достойные люди. С ними он позволял себе изредка сыграть и «на интерес» — на мандарины, или, например, на дыни, ну в крайнем случае на лотерейные билеты, каждая партия три билета. На деньги же он не играл никогда.

Он вернулся за свой стол, совсем было собрался уйти, но, вдруг раздумав, налил еще стакан чая из нового чайника. Из чайханы он всякий раз уходил с сожалением.

Он допивал первый стакан из второго чайника, когда пришел шофер Кямал, которого за глаза все называли Длинноухим Кямалом в отличие от другого Кямала, который работал электромонтером и прозвища не имел. Назвали его так еще в юности, за постоянную привычку сквернословить. Впрочем, в юности его звали просто Ишак-Кямалом, а более пристойно — Длинноухим — стали называть позже из уважения к значительно изменившемуся с тех пор возрасту; и называли его так, если заходила о нем речь, не стесняясь, в присутствии его жены и детей.

Близкие друзья называли его Длинноухим и в лицо, за что он каждый раз беззлобно ругал их самыми непогребными ругательствами.

В присутствии Джалил-муаллима Длинноухий Кямал не позволял себе ничего лишнего, но все равно стало неприятно, когда Кямал, предварительно испросив разрешения, сел напротив него. Пришлось налить ему чай. Кямал, заняв локтями полстола, сопя и шумно чмокая, пил чай и громко говорил о том, что лето — прекрасная пора, но имеет тот крупный недостаток, что летом нигде нельзя съесть хаша. Джалил-муаллим же думал о том, что было бы здорово, если бы он ушел как собирался, чуть раньше, до прихода Кямала, а теперь у некоторой части присутствующих может создаться впечатление, что Джалил-муаллим беседует с Кямалом или, не дай бог, пришел в чайхану вместе с ним, уйти же теперь, сразу, было неприлично.

— Зато в прошлое воскресенье мы надрались славненько, — сказал Кямал. — В подвале у Рзы. Рза так и сказал: «Ребята, это последний хаш, следующий будет через шесть месяцев», — ну, тут мы налегли! Все съели по две тарелки, и, клянусь честью, пусть глаза мои ослепнут, каждый выпил по литру водки. И какой водки! Настоящей тутовки, из Закатал мне привезли — поджигает, горит синим пламенем! Такую водку...

— Это же вредно, — прервал его Джалил-муаллим, заметивший, что за соседними столами с интересом прислушиваются к глупой и неприличной болтовне Кямала.

— Кому вредно? — удивился Кямал.

— Здоровью вредно, — сказал Джалил-муаллим, ожидая какой-нибудь мало-мальски подходящей фразы Кямала, которую можно было, не нарушая приличий, использовать в целях завершения неприятного разговора. Он готов был ухватиться за любую, самую формальную зацепку для того, чтобы попрощаться и уйти, не обидев Кямала, человека, конечно же, недостойного уважения, но в данный момент сидящего за его столом, и по этой причине законно претендующего на соответствующее обхождение.

— Не вредно, не вредно, — успокоил его Кямал, — вредно, когда нашу бакинскую водку пьешь, черт его знает, из чего ее делают, кто говорит из гнилой картошки, кто из нефти. А эта водка, не водка была, а чудо — как роса прозрачная, цветами пахнет, жаль только

кончилась. Выпили мы по литру, а еще хочется. А сидели мы втроем — я, монтинский Фируз и твой брат Симург. Фируз после второй бутылки, клянусь честью, так дошел, что пришлось его у Рзы уложить, я тоже, честно говоря, опьянел, а вот Симург, я тебе говорю не потому, что он твой брат, ты же знаешь: я и плохое и хорошее не стесняясь говорю, если бы о нем плохо думал, я бы тебе прямо в лицо это выложил, но я хочу одно сказать: Симург — удивительный человек, не человек, а лев! Как богатырь пьет! Пьет — не пьянеет и разума не теряет. Я за Симурга душу отдам. Это такой парень, такой парень. Знаешь, я теперь, когда хочу поклясться самой страшной клятвой, — его именем клянусь, его и своими детьми. Самый мой лучший друг.

Джалил-муаллим сидел напротив Длинноухого Кямала, время от времени без всякого удовольствия отхлебывал чай и уже не обращал внимания на окружающих, чувствуя, что безвозвратно испорчено все удовольствие и от купания и от чаепития.

Кямал, конечно же, ни в чем не виноват, думал Джалил-муаллим, на то он и есть Длинноухий, — но с какой стати его родной брат должен водиться с Кямалом, дружить с ним и совместно пьянствовать, и с какой стати Джалил-муаллим должен все это выслушивать в присутствии посторонних людей, среди которых наряду с доброжелателями, несомненно, есть и такие, которые искренне радуются его позору. Потом он вспомнил, что брат уже много раз давал возможность позлорадствовать соседям; и снова наступило состояние напряжения и тяжелых мыслей, и он знал, что не удастся выйти из него весь этот день.

Джалил-муаллим машинально наливал себе и Кямалу чай, усмехнулся, когда тот стал рассказывать о том, как, напившись до беспмятства, они с Симургом пошли в городской сад кататься на карусели. Обменялся рукопожатиями со знакомыми, специально подошедшими для этого к столу, вытащил из варенья попавшую в него пчелу, подумав при этом, что пчела эта, конечно, с одного из двух ульев, и пожалел, что она погибла. И все, что он слушал и наблюдал теперь, снова стало тусклым и невнятным и мелькало мимо сознания, не задерживаясь и не оставляя следа.

Поддерживал он, не вникая в смысл, никчемный разговор, а сам тем временем вспоминал иное, в котором не было места ни для Длинноухого Кямала, ни для всего, что происходило с недавних пор. Отчетливо всплыли вдруг в памяти те дни, когда после смерти отца все заботы о семье — матери и двух младших братьях, Симурге и Таире, в тяжелое военное время легли на плечи Джалила. У матери никакого образования не было, устроилась она работать лаборанткой, так они сказали соседям, в микробиологический институт, а на самом деле работала она уборщицей, убирала и мыла клетки, в которых содержались кролики и собаки. Зарплата там была мизерная, но зато время от времени работникам института выдавали по полтушки кролика, использованного в научных целях, а после умерщвления признанного безвредным для употребления в пищу. Тогда и пришлось Джалил-муаллиму бросить учебу, с утра продавал он на привокзальной площади газеты, потом разносил письма и газеты по домам, во второй половине дня отправлялся на другой конец города, на Будаговский базар и продавал там поштучно папиросы, сахар, ириски — все, что удавалось получить у дальнего родственника, директора магазина, по доброте душевной жалевшего оставшуюся без кормильца семью. Исхудавший и вечно голодный, загоревший дочерна на немилосердном бакинском солнце, Джалил только и мечтал о том,

как он станет старше и сумеет заработать столько, что освободит от тяжелой работы мать, даст образование младшим братьям и оплатит добром дальнему родственнику — завмагу. И все это благополучно исполнилось бы, если бы в самом конце войны не умер младший — Таир. Недолго болел, не выдержало тельце, изнуренное недоеданием, новой напасти — скарлатины. Убивалась по нему мать страшно, долго болела, начала кашлять, так она и не оправилась до конца после смерти сына. Это была первая смерть родного человека, которую увидел Джалил, и еще долго после этого он остро ощущал жуть невозвратимости. Отец погиб вдали, на фронте, и как-то не верилось до смерти брата в то, что этого здорового, веселого человека нет в живых. А после смерти брата поверилось.

С окончанием войны дела пошли лучше — Джалил еще некоторое время поработал почтальоном, потом наградили его медалью «За оборону Кавказа», отметили так безупречную работу на почте, а спустя два года, когда ушел на пенсию старый директор, стал Джалил директором почты. И не заметил, как молодость прошла, и не жалел об этом, того, чего добился, не отдал бы за все прежние годы. Брат Симург учился, хуже учился, чем хотелось бы Джалил-муаллиму, но учился как и полагается мальчику из нормальной семьи. Одевал и обувал брата и мать вполне пристойно, образ жизни вел в высшей степени добропорядочный, кроме работы и дома, других дел не знал. К обязанностям своим относился очень серьезно, и начальство его ценило, работа вверенного ему почтового отделения неоднократно отмечалась грамотами, а работники почты, и он в их числе, денежными премиями и ценными подарками. Пристрастился он и к своему небольшому хозяйству.

Превратил постепенно двор своего дома из обыкновенного бакинского двора, покрытого тусклым асфальтом, в цветущий сад с огородом при нем и с небольшим загонем, в котором важно прогуливались несколько индеек и цесарок.

Брата тоже стал приучать к любимому делу, учил, как прививки делать деревьям, лозу обрезать. Брат делал все играючи, весело и этим отличался от серьезного, вдумчивого Джалила. После занятий в школе брат с товарищами по классу отправлялся с плетеной корзиной собирать навоз на улицах. Этим навозом Симург и Джалил удобряли сад. Первое время брат стеснялся ходить по улицам и собирать навоз, это до того, как Джалил-муаллим, что-то приметив однажды, спокойно объяснил ему, что зазорного в этом ничего нет, и в подтверждение своих слов сам отправился в воскресенье с Симургом и его приятелями на Кубинское шоссе, по которому в то бедное автотранспортом время часто проезжали военные повозки, пассажирские фаэтоны, крестьянские арбы, оставляя в изобилии на асфальте наглядные и очевидные экспонаты, позволяющие практичному и мудрому человеку, собравшему их в самом свежем виде в плетеную корзину и удобрившему ими землю в своем саду, принять непосредственное участие в ускорении таинственного и вечного процесса превращения одного вида материи в другой, иначе именуемого круговращением в природе.

Джалил-муаллим считался на улице человеком очень эрудированным, хотя из всех книг, составляющих величественнейшее здание, именуемое мировой литературой, — все этажи и комнаты которого не удалось обойти за целую жизнь еще ни одному человеку, когда-либо живущему на земле, — он получил самую скромную долю — прочитал одну книгу, прочитал с удовольствием — сборник азербайджанских сказок.

Эту единственную в своей жизни книгу перечитывал он каждые полтора-два года, в одних сказках его привлекал интереснейший сюжет, в других умиляли до слез злоключения влюбленных, преодолевших на пути к соединению подлые козни и хитросплетения, устраивавшиеся злыми людьми и волшебниками. Не стеснялся смеяться вслух, когда на него оказывал действие богатый и многообразный юмор, покрывался краской и чувственно волновался при чтении мест, описывающих довольно однообразные и незамысловатые любовные утехы соединившихся влюбленных, предающихся обычно любви в каком-нибудь дворце или райском саду у бассейна с золотыми рыбками. А самое главное, поражала его эта книга своей мудростью и четкой прекрасной моралью, по которой непременно наказывалось в конце концов зло в любом его проявлении. А люди — честные, трудолюбивые, искренние и добрые по отношению к родным и друзьям — всегда щедро вознаграждались в делах и в любви, получали заслуженную оценку народа или справедливых правителей и занимали место на самых высших ступенях общественной и государственной лестницы, оставаясь и здесь скромными и порядочными.

Джалил-муаллим объяснил Симургу в простых, доступных выражениях, как сам понимал, что навоз — вещь абсолютно необходимая для роста деревьев и других растений и что, собирая навоз, Симург и его товарищи делают полезное и нужное дело, а на тех, кто их дразнит, не понимая, что любой труд почетен, внимание обращать не стоит, потому что они, позволяющие себе дразнить Симурга и его товарищей, люди недостойные и даже, можно сказать, конченные и спасти их может только немедленное и полное раскаяние.

В этот период своей жизни Джалил-муаллим был абсолютно счастливым человеком. Немного беспокоило его здоровье матери, так и не восстановившееся после тяжелых утрат военных лет. Стала она чрезвычайно набожной и ежедневно молилась за здоровье сыновей. Джалила она обожала, чрезмерно гордилась им, дожидаться не могла прихода его с работы. В отсутствие его говорила только о нем, расхваливая на все лады, замолкая, лишь когда прерывал ее речь сухой отрывистый кашель. Говорила, что все у нее есть, но по-настоящему счастливой почувствует себя, когда женится Джалил и окончит школу сорвиголова Симурга.

Дожила она и до полного счастья, сосватала Джалилу невесту из приличной семьи, пригожую и не бесприданницу. Одним словом, все как у людей. Лейла оказалась хорошей хозяйкой и женой, ну, а по отношению к свекрови показала себя не просто хорошей невесткой, а дочкой, любящей и нежной, ухаживала за нею изо всех сил, сперва, наверное, по расчету больше старалась, для того чтобы выслужиться перед старухой, матерью двух любящих и почтительных сыновей. Что греха таить, был расчет первое время, да и Мариам-ханум вначале только тем и занималась, что зорко присматривалась к невестке: «Посмотрим, мол, из какого гнезда птичка». А потом обвыклись, полюбили искренне друг друга, что чрезвычайно редко бывает между свекровью и невесткой. И от души радовались, встречаясь каждое утро, а жили не то что по соседству, а в одном доме, скучать друг без друга не скучали, потому что с тех пор, как пришла невестка в дом, ни разу они и не расстались, ни на один день вплоть до черного дня, когда ушла Мариам-ханум навсегда, а до этого много времени еще пройдет.

И соседи семью Джалила-муаллима в пример всем ставили. Стал Джалил-муаллим одним из самых уважаемых людей на улице, даже прокурору Гасанову, живущему через квартал, пришлось потеснить-

ся, уступить Джалил-муаллиму почетное место самого уважаемого в неофициальном, но постоянно проводившемся первенстве района.

И брат Симург его не огорчал, учиться стал лучше, даже в библиотеку начал ходить после школы, и Джалил-муаллим поощрял его в этом, справедливо полагая, что от хождения в библиотеку вреда точно не будет.

Он чувствовал, что любит его брат и гордится им, и радовалось его сердце тому, что вырастает Симург в высокого пригожего парня, на которого давно уже, чуть ли не с седьмого класса, заглядываются девушки из соседних домов.

Зарабатывал Джалил-муаллим в это время уже очень неплохо; по его понятиям, они жили прекрасно, на все хватало и даже кое-что удавалось отложить. В конце каждой недели Джалил-муаллим давал Симургу деньги на карманные расходы, давал непременно, когда Симург и не просил, вспоминал Джалил-муаллим, как тяжело жилось ему самому в возрасте Симурга, и старался, чтобы брату жилось повеселее, давал деньги и на кино и на мороженое, давал столько, чтобы мог Симург кого-нибудь с собой взять, если захочет, чтобы не было безденежье помехой для приглашения, а говоря откровенно, давал ему деньги Джалил-муаллим еще потому, что приятно ему было баловать братишку, которого любил он на самом высоком пределе своих душевных возможностей. Знал, что брат ходит на танц-площадку в парке, и не осуждал его за это. Дело молодое, повзрослеет, сам поймет, что никчемное это занятие, а возможно и безнравственное. По этому поводу Джалил-муаллим брату ни разу слова не сказал, верил в то, что у Симурга кровь хорошая, отцовская, не позволит оступиться. Сам Джалил до того, как женился, ни с одной женщиной ни разу под руку не прошелся, да что под руку, наедине ни с одной не оставался.

А когда зачистил Симург поздно ночью возвращаться домой с гулянья, это уже летом было, сразу после окончания десятого класса, понял Джалил-муаллим, что пора ему вмешаться, почти всю ночь не спал, зато услышал под утро шаги брата, встал проворно с постели и как был, в ночном белье, пошел встречать его к воротам. А лицо у Симурга в то утро странное было, взгляд необычный, глаза уставшие, но такие счастливые, как будто светом светили, а по лицу, по губам ярко-красным, отчего-то припухшим, улыбка блуждала необычная, до сих пор Джалилом на лице брата невиданная. И ворот рубахи у Симурга был расстегнут, оставляя открытой почти всю крепкую грудь.

Решил сперва Джалил-муаллим, что пьяным явился домой Симург, прямо сердце екнуло от такой мысли, а потом разглядел на шее в двух местах темно-вишневые пятна, почувствовал еле уловимый запах духов и понял, что не пьяный Симург. И уже не знал, радоваться этому или нет. Долгим взглядом посмотрел Джалил-муаллим на брата, только один раз посмотрел, но многое было в этом взгляде. Опустил Симург голову смущенно, и слова не промолвил, и пошел к постеленной с вечера для него матерью во дворе на помосте постели. После этого утра перестал Симург задерживаться допоздна, ни разу больше домой позже двенадцати не пришел. А Джалил-муаллим о том утре ему ни единым словом не напомнил, так же каждый вечер работали они в саду, а закончив работу, садились играть в нарды и пили чай. Не было послушнее и лучше брата, чем у Джалил-муаллима, ни у кого в районе, а вполне возможно и во всем городе. И он был для Симурга и другом самым близким, и братом добрым старшим, и отцом щедрым и ласковым, потому что не было у Симурга

друга ближе, второго брата не было, а отца Симург и не помнил, исполнилось ему два года, когда отца призвали на фронт. Джалил-муаллима по имени Симург называл очень редко, а на людях именвал брата уважительно, как и полагается называть брата, который старше тебя на двенадцать лет, — ага-дадашем.

Настроение у всех было хорошее, дела шли на лад, и счастлив был Джалил-муаллим, полновластный и благородный хозяин дома, оставленного ему покойным отцом, в меру своих сил делавший все, чтобы поддержать доброе имя свое и своей семьи в глазах людей, с мнением которых Джалил-муаллим считался с давних пор.

В то лето Симург поступал в медицинский институт. Экзамены сдал все до одного, ни на одном не срезался да и отметки неплохие, в общем, получил. Не приняли. По конкурсу не прошел. Джалил-муаллим и к ректору на прием ходил, и в министерство обращался, ничто не помогло. Вышел Джалил-муаллим из здания министерства, посмотрел еще раз в экзаменационный лист, а там сплошь четверки, а тройка всего одна, и разодрал его в клочья. Подумать только, из-за двух баллов человека в институт не принять! Никак это в голове Джалил-муаллима не укладывалось — с ума походили все, что ли? Человек учился десять лет, мечтал врачом стать, не двоечник какой-нибудь, экзамены все сдал, а его не принимают. Из-за каких-то двух баллов!

Очень жалел Джалил-муаллим, что незнаком с преподавателями, у которых не дрогнула рука, выставяющая Симургу заниженную оценку. Спросил бы он у них, кто им дал право так легкодумно обращаться с человеческой судьбой. Ведь сразу видно, что Симург парень толковый, знающий, а если сразу не разглядел, кто стоит перед тобой, спроси его еще. Что значит билет, с горечью думал Джалил-муаллим, бумажный билет с тремя вопросами?! Спроси у человека, кто он, в какой семье воспитывался, легко ли без отца было расти, спроси все, а потом уже решай, какую отметку ставить. А если у тебя настроение плохое и разговаривать неохота, то не ходи экзамен принимать, погуляй немного по бульвару, развейся, от тебя же люди зависят.

Симург, перенесший неудачу гораздо легче, успокаивал его как мог, объяснял, что конкурс в этом году в медицинский был неслыханный, принимали в основном только тех, кто сдал на круглые пятерки, еще какую-то часть приняли из тех, кто сдал на четверки с одной или двумя пятерками, этих не на лечебный факультет, куда почти все подавали документы, как и Симург, а на санитарный или педиатрический. Долго объяснял, обещал весь год упорно заниматься и, сдав на круглые пятерки, во что бы то ни стало поступить на будущий год. Ничто не помогало, Джалил-муаллим был безутешен. А через десять дней пришла повестка из военкомата, Симурга призвали. Ездил провожать его Джалил-муаллим в Баладжары, изменив в первый раз своим обычным, очень сдержанным манерам, только и приличествующим, по его мнению, старшему брату, главе семьи.

Крепко обнял Симурга, поцеловал несколько раз и, что уж совсем стыдно и никуда не годится в присутствии младшего брата, прослезился, и все время, пока Симург, тоже плачущий, стоял с ним у вагона, никак не мог взять себя в руки и даже не дал парню на прощание никаких советов, могущих пригодиться ему на военной службе.

Уехал Симург, и как будто пусто стало в доме. Очень недоставало его. Письма получали от него часто, через день. Джалил-муаллим отвечал ему аккуратно, относился к этому делу, как ко всему в

жизни, серьезно и отвечал письмом на письмо, как бы ни был занят, обязательно в конце почти каждого письма спрашивал, не нужно ли Симургу денег или чего другого.

Письма Симургу присылал интересные, описывал разные места, о которых Джалил-муаллим знал только понаслышке.

Сперва приходили письма с Украины, вкладывал в конверты Симургу разноцветные открытки с видами Львова, Черновиц и других городов. Писал Симургу, что окончил здесь, в армии, автошколу и служит в части, о которой ему писать, как военному человеку, не положено. А когда наградили Симургу значком «Отличник боевой и политической подготовки», Джалил-муаллим устроил угощение, на которое пригласил друзей и родственников и, как всегда, дальнего родственника — завмага, к которому относился помнящий добро Джалил-муаллим со времен войны с неизменным вниманием и подчеркнутым уважением. Потом письма стали приходить из-за границы и гораздо реже, чем первое время. Джалил-муаллим не обижался, понимал, что служить в армии не шутка и на писание писем времени совсем не остается. Сам он писал регулярно, рассказывая о всех происшествиях дома и всех новостях на работе и улице. Регулярно, каждый месяц, он откладывал в сберкассе, что за углом, на имя Симурга по десять, а иногда и пятнадцать рублей, помнил Джалил-муаллим, что, кроме него, Симургу в жизни опереться не на кого. А первое время после армии деньги очень ему понадобятся, особенно если в институт пойдет учиться или — дело молодое — вдруг жениться надумает. Столько же откладывал каждый месяц Джалил-муаллим и на свою сберкнижку — семейный человек должен думать и о будущем, о детях своих. К этому времени детей у него было уже двое, сын родился в отсутствие Симурга, на второй год его службы. Детей Джалил-муаллим не баловал; для их же пользы обращался сурово, так как понимал, что из балованных детей толк редко получается. Конечно, он их любил и всем сердцем переживал, если дочка заболит или маленький, но не шла эта любовь ни в какое сравнение с той, которую испытывал Джалил-муаллим к Симургу. И мать и жена не осуждали его, так как знали, что вырастил он Симурга и беспокоился за него, когда сам еще в отцовской тени нуждался, и что стал через это Симургу для него вроде сына-первенца, самого любимого для отца из всех детей.

Так и жили в ожидании Симурга. Неплохо жили. Не роскошествовали, Джалил-муаллим был не из тех, кто трудовые деньги на ветер бросает, но и ни в чем нужном себе не отказывали, ни в одежде приличной, ни в еде. Гостей часто принимали, сами в гости ходили. А если Джалил-муаллима с женой приглашали куда-нибудь на день рождения или свадьбу, никогда не скупились на подарок, соответствующий их имени и положению. А в последнее лето, перед приездом Симурга, решил Джалил-муаллим неожиданно для себя выполнить одну свою давнишнюю мечту — съездить с семьей в Кисловодск.

Может быть, эту давно дремавшую мысль географического характера пробудили к активности и суете письма и открытки Симурга с описаниями и изображениями невиданных городов, а может быть и нет? Кто его знает? И существовал ли когда-нибудь мудрец или ученый, могущий точно знать вследствие каких таких дел приходят на ум человека необычные и не очень свойственные ему мысли, как, например, та, что пришла вдруг в голову Джалил-муаллима? И матери хотел он этим приятное сделать на старости лет. Хранились бережно дома немногочисленные фотографии покойного отца — Байрам-бека,

заслуженного бригадира-нефтяника, а на одной из них были запечатлены отец и мать очень молодыми, в непривычных глазу довоенных костюмах, стоящие вдвоем на скалах, из-под которых широкой и плоской струей лилась, судя по прозрачности, родниковая вода. В самом низу фотографии, на темных скалах было написано: «Стеклянная струя. Кисловодск». Мать много раз рассказывала, он уже все наизусть знал, о том, как свой медовый месяц они с отцом провели в Кисловодске, что лучше Кисловодска нет места на земле. Навсегда она его запомнила, много раз подробно описывала дом с фруктовым садом, в котором они жили тогда, и даже название улицы запомнила, диковинное название — Ребровая балка. И каждый раз, рассказывая обо всем этом, оживлялась и становилась как будто моложе. И каждый раз вздыхала, что Джалил-муаллиму так и не удалось пожить в таком прекрасном месте, как Кисловодск, очевидно, по наивности или рассеянности упуская из виду, что Кисловодск далеко не единственный город в мире и даже в Советском Союзе, где Джалил-муаллиму не довелось пожить и ознакомиться с достопримечательностями. Он нигде еще не бывал — как родился, так и прожил всю жизнь в Баку.

Поездка, в результате которой исполнялось давнишнее его желание побывать в Кисловодске, дающая возможность расширить кругозор жены и детей, позволяла также Джалил-муаллиму, нежному и почтительному сыну, сделать приятный сюрприз матери, уже вступившей в тот грустный для близких период жизни, когда она может оборваться ежеминутно и в который так важно не опоздать с реализацией благих намерений.

Более того, поразмыслив, Джалил-муаллим пришел к выводу, что выезд на курорт — событие для улицы примечательное и редкое — подтвердит в мнении соседей его репутацию преуспевающего и солидного человека с широкими запросами, выделяющими его из среды обывателей. О своем решении вывезти семью на курорт он написал брату, выражая сожаление, что поедут они без Симурга. В конце письма Джалил-муаллим указал точный срок, с учетом времени, потребного на дорогу туда и обратно, в какой Симургу следует направлять корреспонденцию на кисловодский почтамт до востребования. Джалил-муаллим с надеждой думал о том, что сообщение о поездке произведет на Симурга и на детей хорошее воспитательное действие, наглядно показав, во-первых, каких возможностей может добиться в жизни человек, добросовестно посвятивший себя полезной трудовой деятельности, во-вторых, останется в их памяти как еще один пример заботливости и доброты, проявляемых по отношению к ним, начисто лишенным эгоизма главой семьи, каким является Джалил-муаллим.

Как всегда, думая о себе и своих близких, Джалил-муаллим расстрогался и, как всегда, решил быть еще более добрым по отношению к ним, ко всем — к брату, жене и детям, быть великодушным, то есть прощать проступки, совершаемые по недомыслию, и во взаимоотношениях с ними действовать методом убеждений и примеров, обходиться без приказов и категорических указаний, на что он, впрочем, без всяких сомнений имеет полное право, как хозяин дома, их старший и, в конце концов, как человек, которому они обязаны своим существованием и всем лучшим, что у них есть сейчас и еще будет в будущем.

Обстоятельно посоветовавшись в чайхане с Ага-Самедом — бывалым человеком, до выхода на пенсию длительное время скитавшимся в качестве экспедитора и товароведа по всему Союзу, Джа-

лил-муаллим купил билеты на поезд, заранее, за десять дней, в жесткий купированный вагон. Ага-Самед сказал, что езда в мягком вагоне в летнее время — самое последнее дело, бывает в них очень жарко, и он точно припоминает, и это еще не самое худшее, как в его последней летней поездке, перед самой войной, из Тбилиси в Баку, он ночью не мог сомкнуть глаз в мягком купе из-за клспов.

Решили, что в общем плацкартном вагоне Джалил-муаллиму ехать не подобает. Так и остановились на жестком купированном вагоне, правда Ага-Самед в нем никогда не ездил, до войны таких вагонов еще не было, но Ага-Самед сказал, что он знает людей, на слово которых можно положиться, что жесткий купированный вагон, это как раз то, что нужно человеку, желающему с удобствами и без толкотни поехать с семьей на курорт.

Ключи от дома на время отъезда Джалил-муаллим отдал одному из самых близких соседей, нефтянику Кериму. Чтобы не причинять человеку лишних хлопот, Джалил-муаллим отвел от дворового крана в сад и к грядкам огорода шланги так, что Кериму для полноценного полива оставалось только каждый вечер полностью открывать кран и закрывать его ровно через сорок пять минут — время, установленное Джалил-муаллимом в результате тщательно проведенного хронометража.

Купе, в котором разместилась семья Джалил-муаллима, действительно оказалось очень удобным. Он одобрительно оглядел полки полированного дерева, стенки, покрытые блестящим пластиком, проверил освещение, позволяющее включать в зависимости от желания яркий или ночной свет, испытал на исправность, сразу разобравшись в ее назначении, лестницу-стремянку. Первым делом после осмотра он распределил места, предоставив нижние полки матери и жене с четырехлетним сыном, а верхние себе и дочери. Потом глянул на часы и, убедившись, что до отхода поезда остается вполне достаточно времени, около получаса, побежал в буфет, находящийся напротив вагона на перроне, и купил десять бутылок минеральной воды, чтобы в пути никому, а особенно детям, не пришлось пить сырой воды: время летнее и для всяких заразных заболеваний самое подходящее. Как только поезд тронулся, Джалил-муаллим зашел в туалет и переоделся, надел новую полосатую пижаму и мягкие спортивные туфли, специально купленные перед поездкой на курорт. Некоторое время он постоял в коридоре, пока окончательно не стемнело, потом зашел к себе в купе, где в это время Мариам-ханум рассказывала о Кисловодске. Глядя на радостно взволнованную мать, Джалил-муаллим еще раз с удовлетворением отметил, что поездка на мать действует очень благотворно и, даст бог, хорошо отразится на ее здоровье. Мариам-ханум рассказывала о каком-то «храме воздуха», о зеленых тенистых полянах вокруг него и о случае, о котором Джалил-муаллим знал все подробности, происшедшем в этом самом «храме воздуха», который не то сам был рестораном, не то ресторан был при нем, в этом Джалил-муаллим так и не сумел разобраться. На одном из вечеров с музыкой и танцами его покойный отец встретился со своим дальним-дальним родственником полковником Мехмандаровым, тем самым, который был полковником царской армии, а в революцию перешел на сторону Красной Армии и впоследствии стал одним из первых советских генералов.

Джалил-муаллим слушал до тех пор, пока Мариам-ханум не рассказала почти все (как генерал, которого она видела в тот вечер единственный раз в жизни, пригласил ее два раза танцевать танго, а Байрам-бек — его супругу, ныне докойную), а потом вежливо пре-

рвал мать, напомнив, что пора ужинать. Поступил он так потому, что хорошо знал продолжение этой истории: как дальше они все, взяв с собой шампанское и музыкантов, поехали до утра кататься на двух фаэтонах и что покойный отец в этот день был очень пьян, как он забавно вел себя, и дома Мариам-ханум пришлось долго его уговаривать, чтобы он лег спать. Джалил-муаллим считал нежелательным, чтобы эта часть истории рассказывалась при детях, особенно в присутствии десятилетней дочери.

Ночью он спал спокойно и крепко, проснувшись один раз под утро специально для того, чтобы проверить, все ли в купе спокойно, и почти сразу же снова заснул, успев только подумать, что все это происходит наяву и уже через день он будет в Кисловодске. На душе у него было хорошо.

В Кисловодске на вокзале очень долго пришлось ждать такси. Мать сказала, что в тот ее приезд, как только они сошли с поезда, их окружили извозчики, которые чуть не передрались из-за их вещей, каждый пытался затащить их в свой фаэтон. Наконец пришло такси, и Джалил-муаллим велел ехать в контору, как выяснилось, находящуюся рядом с вокзалом, где сдают курортникам на лето комнаты. Здесь Джалил-муаллим сказал, что ему нужна комната в каком-нибудь доме на улице Ребровая балка. Ему хотелось сделать приятное матери. Тут же к нему подскочила какая-то женщина, которая сказала, что у нее как раз на Ребровой балке в доме сдается комната, чистая и светлая, со всеми удобствами, с двумя окнами в сад.

Джалил-муаллим пригласил домовладелицу в машину, и они поехали. Мариам-ханум сидела рядом с шофером, оживленная и радостная как и в поезде. Она беспрерывно говорила о том, как непременно поведет детей по всем достопримечательным местам, найдет в себе силы, но ответит и покажет. Потом оживление прошло, и она вдруг замолчала, внимательно разглядывая многолюдные чистые нарядные улицы, по которым шумным потоком двигался транспорт, светлые дома с этажами сплошного стекла и большими открытыми балконами. Потом она повернулась к сыну, и он увидел, какое у нее лицо, растерянное и даже испуганное.

— Джалил! — спросила она. — Куда мы приехали?

— В Кисловодск! — сказал Джалил-муаллим.

— Нет, — сказала Мариам-ханум. — Это не Кисловодск.

— Просто он очень изменился, — подумав, сказал Джалил-муаллим. — Вот ты в Баку нигде не бываешь, а то убедилась бы, что и он здорово изменился. Целиком новые улицы появляются. Это везде так быстро строят. Вот сейчас приедем на Ребровую балку, и сразу же все вспомнишь, — он попытался пошутить, чтобы как-то поднять ее настроение, — и убедишься, что мы в Кисловодске, а не в Сочи.

По желанию Джалил-муаллима по Ребровой балке машина два раза проехала из конца в конец для того, чтобы совершенно расстроившаяся мать успокоилась, увидев знакомую улицу.

Он даже велел шоферу на минуту остановиться у дома, в котором жила в тот свой приезд мать, она так подробно рассказывала об этом доме, что он запомнил его номер.

— Вот твоя Ребровая балка, — сказал Джалил-муаллим, — здесь ты жила.

— Это не Кисловодск, — сказала мать, и его поразил ее голос, ставший вдруг старчески уставшим и надломленным. — Не может город так измениться. Ничто не может так измениться, всегда что-то остается. Здесь даже воздух теперь другой, я же помню его запах. Это другой город, я тебе говорю, как бы он ни назывался. Здесь все

другое. Я же все хорошо помню, ты же знаешь, какая у меня память. Эта улица ничего общего не имеет с Ребровой балкой, на которой мы жили с твоим покойным отцом. Что бы тебе ни говорили, верь мне!

Расстроенный Джалил-муаллим вместе с шофером перетаскивал вещи в дом. Комната и впрямь оказалась просторной и светлой, здесь стояли шифоньер, стол и три кровати, из которых одна была двуспальной. Для девочки хозяйка поставила раскладушку, а одну из односпальных кроватей Джалил-муаллим оттащил в сторону и отделил ее для себя от всей остальной комнаты ширмой, также принесенной хозяйкой.

Дом Джалил-муаллиму понравился. Может быть, тем, что был очень похож на его бакинский; столько же комнат — четыре на бельэтаже, почти так же расположенные, с широкой верандой, опоясывающей весь дом, и даже в ванной была установлена такая же, как у него, ленинградская колонка. Единственное различие, так это двускатная крыша, покрытая красной черепицей, и деревянный чердак. Джалил-муаллим подумал, что неплохо бы такую крышу построить и ему, она лучше чем плоская, покрытая черным киром, будет защищать летом дом от жары. Решил он это сделать после возвращения Симурга. И чердак пригодится — поставит там ульи, пчелам понравится, на высоте и в безветрии.

Джалил-муаллим прилагал много усилий, чтобы улучшить нахождение матери. Первые дни он только и занимался тем, что разъезжал с ней по местам, о которых столько слышал. На следующий день с утра поехали к «Храму воздуха». Джалил-муаллим, по рассказам матери, представлял себе, что это место загородное, находящееся в лесу. И ожидал увидеть что-то необычное, он не представлял себе никогда конкретно что, но уж, во всяком случае, не новый ресторан с открытой верандой на крыше в обыкновенном городском саду с асфальтированными аллеями, проложенными между рядами ухоженных самых обычных деревьев, не то акации, не то сирени.

— Хорошее место, — сказала Мариам-ханум, когда они сошли с такси у «Храма воздуха», она уже чувствовала себя виноватой в том, что обманула ожидания сына, который так старался, чтобы всем было хорошо, и поездку эту фактически ведь затеял, зная, как дороги ей кисловодские воспоминания. — Детям есть где поиграть.

Джалил-муаллим только вздохнул и переглянулся с женой. Он испытал облегчение от того, что не сообщил матери торжественно, как совсем было собрался, что она наконец, спустя столько лет, находится у того самого «Храма воздуха».

С того места, где они сидели за столом на веранде, открывался вид на весь город в легкой рассеивающейся под солнцем дымке тумана. Вид был неплохой, но ни в какое сравнение не шел с удивительной панорамой Баку из ресторана «Дружба», что в Нагорном парке. И меню здесь, в «Храме воздуха», гораздо хуже, чем в «Дружбе», а когда подошел официант, выяснилось, что доброй половины блюд, перечисленных в меню, на самом деле нет.

Вежливый официант уверял, что блюда, отсутствующие в утреннем меню, непременно бывают вечером, но Джалил-муаллим, твердо знающий, что в Баку осетрину на вертеле с наршарабом и мелко крошенным рейханом всегда можно получить хоть на ужин, хоть на завтрак, начал понимать, что неизвестно как для приезжающих из других городов, но для бакинца Кисловодск — это не бог весть что.

Поездили и по другим заветным местам и все с таким же успехом. Мариам-ханум время от времени на этих экскурсиях вроде бы

начинала припоминать что-то, но припоминала без всякого энтузиазма и радости. Джалил-муаллим не верил ей, сильно подозревая, что мать по доброте душевной не хотела его огорчать окончательно. А потом, утомившаяся от всех этих посещений, мать и сразу же подержавшая ее жена попросили его дать им отдохнуть в доме, потому что по городу они походили достаточно, город как город, ничего особенного.

Теперь Джалил-муаллим, позавтракав, уходил почти на целый день в город, оставляя семью дома. Дети играли в саду с хозяйскими детьми, их одногодками, а женщины, успевшие подружиться с хозяйкой, занимались, с утра сходяв на рынок, домашними делами.

Сперва он заходил на почтамт, проверял нет ли писем от Симурга, потом шел в парк или просто гулял по улицам. Разузнал, где находится баня с отдельными номерами, вернулся оттуда возмущенный, дав зарок в Кисловодске больше в баню не ходить. Оказались номера крохотными душевыми кабинками с узеньким предбанником, в котором отвратительно пахло карболкой.

Шли дни, и Джалил-муаллим совершал свои ежедневные прогулки, испытывая острую тоску по своему дому, саду. Представлял себе, что находится он не в опостылевшем парке с красными дорожками из толченого кирпича, с белыми колоннами под крытой аркой, на которой с вечера до поздней ночи бесплатно играл симфонический оркестр непонятные мелодии, а на своей улице. Представлял себя то беседующим с соседями, то работающим в саду или сидящим в чайхане после бани. Наблюдал Джалил-муаллим людей, толпами слоняющихся весь день напролет, и пытался доискаться смысла их пребывания в Кисловодске. Он готов был понять человека, приехавшего сюда на лечение, хоть и не верил, что можно от чего-то излечиться минеральной водой. Но вот остальные... Здоровые, разгуливающие по улицам и паркам чужого города, как будто нельзя было делать то же самое там, откуда они приехали. И спрашивается, для чего людям, явно не нуждающимся, а по большинству было видно, что это как раз такие, ехать за тридевять земель и ютиться втроем-вчетвером в одной комнате так, как это сделал он, Джалил-муаллим, владелец дома в четыре комнаты. И думая над этим постоянно, стал Джалил-муаллим склоняться к мысли, что всем этим людям, которые приехали сюда, ожидая найти здесь бог знает что и не найдя этого, просто неудобно уезжать раньше времени по разным соображениям, одни жалеют деньги, уплаченные вперед за комнату, другим стыдно перед соседями раньше времени возвращаться, третьи, может быть, не могут достать билет на поезд... Впрочем, Джалил-муаллим был уверен, что большинство приезжих покидает Кисловодск, побыв здесь всего несколько дней, а многочисленность толпы поддерживается на том же уровне за счет ежедневного пребывания наивных новичков.

И если бы не соседи по улице, во мнении которых преждевременное возвращение произвело бы немедленную и необратимую инфляцию ценности поездки, он не задумываясь уехал бы. Дал бы телеграмму Симургу, чтоб тот зря не посылал больше писем сюда, договорился бы на почтамте, чтобы письмо, случайно пришедшее после его отъезда, переслали бы в Баку, и уехал бы. А так придется здесь торчать по крайней мере две недели.

Похожие друг на друга, как некрасивые близнецы, дни казались ужасно длинными. И вечера тоже. Джалил-муаллим совершал привычную вечернюю прогулку в парке, которая в отличие от бакинской, где на каждом шагу встречались знакомые, где он чувствовал себя человеком нужным и уважаемым, не доставляла ему никакого удо-

вольствия. Он шел по аллее, называемой непонятно почему, без всяких к тому оснований, «аллеей роз», и вышел на поляну с большим календарем из живых цветов в центре ее. Ежедневные изменения, происходящие в той части календаря, где располагались выложенные из белых цветов числа месяца, сделали эту поляну терпимой и почти приятной деталью в скучной и бессмысленной прогулке. Джалил-муаллим испытал удовлетворение от столь наглядного и внушительного подтверждения того, что день отъезда приблизился еще на сутки, и пошел по тропинке, ведущей в верхнюю часть парка. Пошел без всякой цели, просто, чтобы куда-то идти. Домой, где все давно спали, возвращаться не хотелось. В полумраке из густых зарослей доносились невнятные голоса, приглушенный смех. Джалил-муаллим знал, что если сойти с тропинки, то непременно набредешь через несколько минут на скамейку, на которой целуются пары, распределившие ее узкую плоскость на пять или шесть участков, каждый из которых отделен от соседнего несколькими сантиметрами нейтральной полосы, придающей очередным двум владельцам территории острое ощущение суверенитета и независимости.

Джалил-муаллим презрительно усмехнулся, подумав о том, что стоило ли этим людям тратить время и деньги, собирать вещи и ехать поездом или лететь самолетом для того, чтобы, сидя в тесноте на скамейке, с кем-то целоваться, когда это же можно было делать у себя в городе, была бы охота!

В воздухе стоял тонкий аромат, и люди начинали неожиданно испытывать неизъяснимое волнение, когда до них в ясную летнюю ночь теплым порывом воздуха доносило нежный запах каких-то незнакомых цветов.

Джалил-муаллим чувствовал запах цветов и никак не мог вспомнить их название. Он совсем было остановился на цветах табака, но время цветения его наступает на полмесяца позже.

Утомившись, он сел на скамейку на поляне, что перед летним кинотеатром. Рядом с ним сел человек, в котором Джалил-муаллим, несмотря на неяркое освещение, узнал своего бакинского соседа, прокурора Гасанова. Они сердечно поздоровались: действительно приятно встретить в чужом городе земляка, вдобавок человека интеллигентного и уважаемого. У прокурора было прекрасное настроение, от него пахло вином и шашлычным дымом. Он сказал, что пришел к кинотеатру встретить жену и сына.

— Жена третий раз этот фильм смотрит — «Гранатовый браслет». Смотрит и каждый раз плачет. Я это время тоже с пользой провел, пошел здесь в шашлычную с товарищем. А теперь хочу проводить их домой. Интересно, скоро кончится фильм? У кого бы узнать?

Джалил-муаллим сказал, что, по-видимому, скоро, и спросил, в свою очередь, Гасанова, давно ли он в Кисловодске и как ему здесь нравится.

— Рай, — коротко сказал прокурор, — настоящий рай. Как вспомню, что через неделю в Баку возвращаться надо, в пекло самое — в июль бросает... Я ведь сюда каждый год приезжаю, самое подходящее место для отдыха, и климат прекрасный, и поразвлекаться есть где, я уже не говорю о продуктах, все свежее...

Джалил-муаллиму показалось, что он ослышался.

— Вам здесь нравится?

— А как же! — вытаращил глаза прокурор. — Стал бы иначе я тратить на это отпуск. Да я целый год, а работа у меня такая, что мозги закипают, целый год только и мечтаю, скорей бы в отпуск, в Кисловодск. А вам, что, не нравится здесь? — спросил прокурор, в котором вопрос Джалил-муаллима пробудил любопытство.

— Почему же, — неопределенно сказал Джалил-муаллим, решивший не за что полностью не раскрывать карт. — У Кисловодска свои преимущества, у Баку свои.

— Да какие там преимущества, извините, — запальчиво перебил его прокурор. — Баку, о чем говорить, прекрасный город. И жить в нем хорошо и работать, но раз в год из него уезжать просто необходимо, и Кисловодск для этого самое подходящее место. А вон и мои идут, — сказал прокурор, заметив в толпе, выходящей из кинотеатра, жену и сына. — Всего вам доброго! А насчет Кисловодска мы как-нибудь в следующий раз поговорим, надеюсь вас переубедить. — Они попрощались, и прокурор, взяв под руку жену, скрылся в одной из боковых аллей, а Джалил-муаллим глядел ему вслед, снисходительно усмехаясь.

В этот вечер Джалил-муаллим задержался в парке дольше обычного. Он припоминал в мельчайших подробностях разговор с прокурором и никак не мог успокоиться. «И как притворяется, — с горечью думал Джалил-муаллим, — для чего притворяется, перед кем? Кисловодск ему нравится! Никогда в это не поверю! А прокурор-то хорош! Ишь ты, без курорта он уже не может. Баку его не устраивает. Эх!»

Джалил-муаллим с досадой плюнул и отправился домой. По дороге он окончательно пришел к убеждению, что прокурор притворялся, так как про него доподлинно было известно, что он не дурак, а человек умный и свое дело знающий.

Джалил-муаллим еще раз порадовался и похвалил себя за то, что, не опускаясь в разговоре до лжи и притворства, не выдал себя ничем. Кроме того, он решил оставшиеся дни в Кисловодске и в будущем в Баку держаться от прокурора подальше, как от человека неискреннего и пытающегося подняться во мнении окружающих, прибегая с этой целью к недозволенным методам.

Никакими словами не описать волнение и душевный трепет, испытанные Джалил-муаллимом при возвращении домой. Впервые ощутил он мудрость и радость, заключенные в древнем заклинании предков: «Да будем всегда мы в доме своем, с семьей своей», — провозглашенном, как только они переступили порог, Мариам-ханум, строго придерживающейся на склоне лет традиций.

Оглядел он каждое дерево в саду, не пропустил его взгляд ни одной лозы, изнемогшей в ожидании его под тяжестью налитых гроздьев, ни одной грядки с поспевшими дынями, с горячей растрескавшейся на солнце кожей, с раскрытыми порами, из которых струился аромат густой, смешивающийся с запахами тархуна ярко-зеленого, рейхана фиолетового и летних цветов — темно-красных, бледно-желтых и нежно-белых — в букет сладостный и благовонный, от которого кружило голову и теснило дыхание.

Не сумел бы Джалил-муаллим сказать, что за чувства одолели его, когда переступил он порог своего дома. Может быть, схожи были они с теми, что испытывает перелегная птица, вернувшаяся домой после долгой зимы с дальней чужбины, где и солнце светило в полную силу, и ясные ночи были без заморозков, и с пропитанием не худо было — под каждым камешком червячок, за каждым листиком букашка, а не по душе все, не родное — и дом строить не хочется и семьей обзаводиться. И оставляется чужбина без сожаления в день, когда зов крови срывает с места в свирепый, беспощадный к слабым перелет. И только на родине расправляются крылья и рвется из груди не всегда складная, но всегда радостная от безмерного счастья песня.

О чувствах своих рассуждать он не любил, но если бы в этот момент оказался бы рядом с ним понимающий человек, вполне возможно, сказал бы ему Джалил-муаллим, что совершенно он счастлив оттого, что вернулся снова домой; понял он и почувствовал сегодня, что нигде, кроме как в этом доме, на этой улице, не может быть он счастливым и не сумеет по-другому жить... Но где его найти, понимающего собеседника, достойного в такой возвышенный момент равного откровенного разговора.

Он ходил и ходил в одиночестве по двору, ходил уже бесцельно, как лунатик, и никак не мог понять, что же это еще, кроме всего, что он уже видел и даже потрогал, сообщало всему его существованию спокойствие и уверенность. Долго не мог понять и только тогда, когда позвали его к первым пришедшим гостям, вдруг осенило — рокот, рокот котлов бани над головой, мерный и спокойный. Засмеялся Джалил-муаллим и, улыбаясь, пошел в дом приветствовать своих гостей. Пришли соседи с поздравлениями по поводу приезда. Беседа затянулась за полночь. О Кисловодске отзывался Джалил-муаллим сдержанно, не хвалил и не хаял, свое мнение выражать избегал, щедро используя в объективном рассказе только факты. В одном месте не удержался, с пристрастием в голосе сообщил, что продаваемая в Баку прекрасная минеральная вода нарзан почти столь же вкусная, как боржом или исти-су, в Кисловодске, где он специально несколько раз ходил ее пробовать в разное время дня в разные павильоны, представляет из себя тошнотворное теплое пойло, от незначительного употребления которого у человека появляется во рту странный привкус и портится настроение.

С Кисловодска разговор перешел на события, случившиеся в отсутствие Джалил-муаллима. Событий произошло много, и рассказ о них занял немалое время, но слушал он с интересом, без напряжения. Рассказали и главную новость — Рашид Наджаф-заде, сосед, живущий в доме напротив, обменяв квартиру, переехал в Сумгаит, где устроился работать там на каком-то предприятии. Рассказали, как Рашид сожалел по поводу отсутствия Джалил-муаллима, хотел с ним посоветоваться, но потом все же сам решился, потому что ждать бы его не стали, а условия предложили ему несравненно лучшие, чем в Баку, взяли его, несмотря на то, что он лишь техник, видимо, учли стаж, на инженерную должность, с приличной зарплатой. Квартира для обмена подвернулась тоже хорошая, в новом доме. И все же, выслушав столь благополучные сведения, чувствовал Джалил-муаллим, когда замолчали и смущенно переглянулись его соседи, что не досказывают они какие-то вещи, неприятные для них или могущие расстроить его. Попросил он их продолжить, и рассказали ему соседи, что переехавший в квартиру Рашида человек, шофер такси по имени Манаф, никому из соседей не нравится, а говоря проще, после его появления житья на улице не стало. Ни совести нет у него, ни стыда. Почти каждый день напивается, а потом или на углу стоит, лезет к людям с разговорами, от которых душу воротит, или отправляется домой и начинает скандалить с женой, употребляя такие ругательства, гнусные и бесстыдные, какие знает не каждый самый последний негодяй-хулиган. И все это вечером и даже ночью, при открытых окнах по случаю лета, и женщины слышат и дети. А еще страшнее, что и жена его, лечарка, в знании ругательств ему не уступает и в бесстыдстве тоже — проклятый голос ее пронзительный на четыре квартала разносится. Видно, в том же хлеву воспитывалась, что и муж. Ни дочери своей взрослой не стесняются, ни людей посторонних.

В разгар одного из скандалов постучался к нему сапожник Давуд, вызвал наружу и попросил прекратить безобразничать. Так он на Давуда с палкой бросился. Давуд палку отнял и совсем уже собирался обломать ее об его голову, сбежавшиеся соседи отняли, тоже ведь нехорошее дело, Давуд человек еще молодой, а этот подлец ведь не мальчик, семья у него, дети, говорят, взрослые в Сумгаите работают — возраст такой, когда люди давно уже и уважением пользуются и почетом. Ждали все приезда Джалил-муаллима, как он решит, по тому и будет. Джалил-муаллим к такому серьезному делу отнесся соответственно и, пообещав какой-нибудь выход придумать, с соседями распрощался.

Не понравились новые соседи Джалил-муаллиму. После того как он услышал в первый раз площадную ругань, пришел Джалил-муаллим в ярость и решил раз и навсегда: или прекратит новый сосед не позднее как со следующего дня это неслыханное хулиганство, или переселится с этой улицы — третьему не бывать! Нет, совсем не понравились они ему. И как они могут понравиться и кому, если обе женщины, и жена и дочь, целый день по улице перед домом слоняются, сидя на скамейке семечки грызут или разговаривают громко?

Спрашивается, что это за женщины, которым не стыдно стиральное исподнее вывешивать в таком месте, что любому прохожему видно, и женское и мужское? И каким только несчастливым ветром их на эту улицу занесло?

На следующее утро в сопровождении двух уважаемых людей улицы отправился к новому соседу. Попросил, чтобы вышли из комнаты и жена его и дочь, и крепко поговорил с ним. На свое счастье, почувствовал Манаф сразу, что за человек Джалил-муаллим, на глазах оробел, а потом и извиняться стал. Сопровождающие впоследствии рассказывали, что никогда они не слышали, чтобы Джалил-муаллим так резко с кем-нибудь разговаривал.

И переменялся человек. Конечно, пить и скандалить не бросил, но если пил, то соображения до конца не терял, по улице шел не качался, со всеми на улице здоровался, даже с незнакомыми и посторонними прохожими, а скандал с женой затевал только после того, как наглухо захлопывал окна — стеклянные рамы закрывал на запоры и ставни. На улицу пробивался только невнятный шум теперь. Так в духоте и ругался.

Часто на следующий день извинялся перед самыми уважаемыми соседями, а уж если встречал Джалил-муаллима, извинялся непременно. А через некоторое время и на женщин перестали внимание обращать, привыкли, пусть себе валандаются, если дома работы не находят. Кому какое дело, еще из-за чужих жен и дочерей переживать — своих забот хватает!

Со временем и разговаривать с ними стали. До близости, до дружбы никто из соседей их не допускал, но из дому не гнали, если мать или дочь забегали за нужной по хозяйству мелочью.

Начали они с Джалил-муаллимом здороваться. Первое время отвечал он на приветствия сухим кивком, а потом, заметив в их поведении кое-какие сдвиги к лучшему, стал здороваться, хоть и весьма сдержанно, но как полагается мужчине с женщиной — первым и в голос.

А Дильбер, так звали девчонку, начинала улыбаться, как только он, возвращаясь с работы, выходил из-за угла. Дивился каждый раз Джалил-муаллим платью на ней: девка почти на выданье, а платье на ней — на чучело лучше надевают. С заплатами, выгоревшее и до того на ней тесное и короткое, что когда нагибается она или, под-

тянув подол, садится на низкую скамейку перед своими воротами, то лучше мужчине с нормальной нервной системой в ту сторону не глядеть. Смотрела она на Джалил-муаллима всегда с улыбкой, и улыбка у нее была приятная, губы свежие, как и полагается девочке этого возраста, а влажные зубы мелкие, но ровные, и смотрела она, когда улыбалась, прямо в глаза, а во взгляде ее было что-то манящее и бесстыдное, что совершенно не удивительно для дочери таких родителей, как ее.

Если же шла она в этом платье против ветра, видел ее Джалил-муаллим и когда налетал норд, ложилось оно на ее теле ровным тонким слоем, облекая все линии, подчеркивая и выделяя все, что есть главного в теле молодой женщины. А когда вдруг вышла она, откинув назад голову, с распутившимися на ветру волосами, прикрыв ладонями глаза, из тени на солнце, — показалось ему на миг, что идет она навстречу в ярком солнечном свете, насквозь пронзившем тонкую ткань платья, обнаженная, улыбаясь ему своей обычной улыбкой.

Отвернулся Джалил-муаллим в смущении и забыл поздороваться с ней. Решил сказать ее отцу, чтобы присмотрел за дочерью, приодел бы ее как следует, а потом раздумал: очень уж неприятным был отец ее Манаф, да и мать тоже.

Яблоко от яблони далеко не укатится — как сказано, значит, так тому и быть.

А Манаф, несколько раз встречая его на улице, пытался разговор затеять, в гости навязывался, упоминая о своем умении в нардах, но Джалил-муаллим все эти попытки пресекал незамедлительно.

А однажды, когда Джалил-муаллим совершал обход двора после работы, в ожидании обеда, увидел ее на тутовом дереве. Она его увидела раньше и моментально скатилась с дерева, разорвав платье снизу до самого пупка. Стояла она перед Джалил-муаллимом, руками стягивая разорванное платье, улыбаясь ему в лицо губами, влажными от красного сока тута, и в смущенной улыбке ее он увидел и просьбу и покорность.

Все это Джалил-муаллим увидел, прежде чем круто повернуться и пойти к дому, увидел за несколько мгновений, понадобившихся ей для того, чтобы срывающимися руками стянуть на коленях и животе платье, под которым Джалил-муаллим увидел, и она поняла, что он увидел, почти все ее тело с нежной розовой кожей, на котором ничего больше, кроме этого разорванного платья, не было.

Победал Джалил-муаллим в полном молчании. Обдумывал он, в каких выражениях скажет жене, чтобы не пускала она больше в дом новых соседей, не мог позволить Джалил-муаллим, чтобы ходили к нему в дом, где вдобавок растет дочь, — жена и дочь такого человека, как Манаф. Но в тот день так и не сказал Джалил-муаллим ничего жене.

Три дня ходил он, удивляясь и сердясь на себя за свои колебания, дело было абсолютно ясное и правильное, а то, что обидятся они, — пусть, заслужили. Так он все это и сказал жене, зная, что, как бы ей ни было неприятно, послушаться не посмеет, — ноги тех больше в его доме не будет.

Но один еще раз они все-таки к нему пришли. В тот день, когда умерла Мариам-ханум...

Скончалась Мариам-ханум вечером, когда Джалил-муаллим уже вернулся с работы. Болела она месяца два. Начались у нее боли в груди спустя некоторое время после приезда с курорта, но продолжала она помогать невестке по дому, за внуком следила и сердилась, если уговаривали ее прилечь отдохнуть. Последние две недели лежала неподвижно, не в силах была руку поднять. Исхудала за эти

дни чрезвычайно, прямо прозрачная вся стала, морщилась от ставшей уже нестерпимой боли в груди и негромко стонала, если думала, что в комнате никого нет. Вызывал Джалил-муаллим к матери лучших врачей, пригласил самого известного профессора, но все они говорили в один голос, что не существует никакого средства, с помощью которого можно было бы удержать Мариам-ханум в этом мире. Удивляло это Джалил-муаллима и приводило в отчаяние. Никак не укладывалось в голову, как же это так: человек ведь не в аварию попал смертельную, и в пожаре не горел, и крыша на него не обрушивалась, и возраст такой, что ему жить и жить в доме сына, который матери самый лучший уход обеспечит, любое лекарство достанет, заболел человек не в войну, в мирное время, а никто ему на помощь прийти не может. Погибает человек на глазах, а ты ничего сделать не в состоянии. Все как во сне кошмарном.

Выписывали врачи всякие обезболивающие лекарства и уходили.

Лежала Мариам-ханум вовсе бесчувственная, но в последний день пришла в себя и даже боль ее отпустила. Умерла в полном сознании, попрощавшись с сыном и домочадцами. Слушала Джалил-муаллим, онемев от горя, мать, говорившую ему с доброй улыбкой на обескровленном лице, что уходит она из этого мира со спокойной душой, что была она счастливой и что гордится она сыном своим Джалилом и будет молиться за него и там, куда уходит без страха и робости.

Вспомнила мужа покойного, с которым прожила короткую, но радостную совместную жизнь, и безвременно умершего в ту же проклятую войну сына Таира. Завещала Джалил-муаллиму, чтобы он продолжал к единственному брату Симургу относиться с любовью и заботой, помогал бы ему во всем и чтобы жили всегда вместе, никогда не расставаясь, одной семьей, ибо не зря сказаны слова мудрые и вещи, что погибнет дом, разделившийся изнутри.

Похоронил Джалил-муаллим мать, как и просила она, рядом с родителями ее, покоившимися под тяжелыми памятниками-надгробьями из черного мрамора. Последним бросил горсть земли на холмик, выросший над тем страшным местом, куда только что опустили тело Мариам-ханум, и дал себе слово поставить ей через год после того, как осядет земля, памятник и посадить деревья, чтобы покоилась Мариам-ханум вечным сном под их прохладной сенью.

Пока стоял Джалил-муаллим с прижавшимися к нему плачущими женой и детьми и глядел невидящими глазами на могилу, уложили на нее родственники, соседи и сослуживцы многочисленные венки, и скрылась могила под холмом из живых цветов. А траурные шелковые ленты с надписями сняли с венков и аккуратно свернули в один клубок, чтобы позже узнала семья покойной имена всех, кто почтил скромно память Мариам-ханум.

С этой же благой целью дали объявление в городские газеты с выражением соболезнования по поводу безвременной утраты.

Почувствовал в эти дни скорби Джалил-муаллим, что не одинок он, каждый вечер приходили люди, чтобы разделить его горе, не оставить его один на один с тяжелыми мыслями.

Устроил Джалил-муаллим после похорон поминки. Свьпше ста человек собралось за столами, расставленными в ряды в комнатах и во дворе. Подавался за поминальным столом в больших блюдах политый обильно маслом с растворенным в нем шафраном, сваренный из самого лучшего риса плов с тремя подаваемыми отдельно приправами — из баранины с каштанами, из курятины, запеченной в яичном омлете с кислым соусом из алычи, из рубленого мяса, перемешанного с кишмишом и хурмой, с имбирем и разными душистыми специями,

В других блюдах подносилась долма из жирного мяса с рисом, завернутым в тщательно отобранные при жизни самой Мариам-ханум молодые виноградные листья, и ею же заготовленные впрок в больших стеклянных банках со специальным раствором, позволяющим храниться листьям не портясь весь год до следующего лета. К долме подавались чаши с кислым молоком, с натертым и размешанным чесноком и без него. И зелень на столе была разная и свежая: мелкая красная редиска молочной спелости, молодой тархун, очищенный от жестких стебельков кресс-салат, зеленый лук и рейхан, самая отборная зелень на любой вкус. В кувшинах и графинах подавали к еде прохладный розовый шербет, в меру подслащенный, утоляющий жажду.

А после того, как столы были убраны, подали крепкий, по всем правилам заваренный чай и к нему нарезанные лимоны и в плоских тарелках янтарную халву, посыпанную корицей.

Давал поминки Джалил-муаллим и на третий день, и на седьмой, и в последний раз на сороковой. Неукоснительно делал все, что полагается, для того чтобы должным образом почтить память незабвенной матери Мариам-ханум.

В каждодневных трудах и заботах постиг он глубокую мудрость бесчисленных поколений предков своих, придумавших и сохранивших обычаи, могущие показаться ненужными и бессмысленными человеку недалекому, тщательное выполнение которых только и позволяет, в суете и хлопотах, в окружении людей, временами забывая о вечной утрате единокровного существа — горе, страшнее и мучительнее которого не знал весь род людской за долгое время своего существования.

Приходили помогать жене Джалил-муаллима все соседки. Приходила и жена Манафа с дочерью. Несколько раз видел он Дильбер: то на кухне, то во дворе встречался со взглядом ее, печальным и вроде бы удивленным, но жене по поводу этих возобновившихся хождений, конечно, ничего не сказал, потому что должны быть открыты двери дома в трауре для каждого, кто пожелает прийти в него. И даже с Манафом, регулярно приходившим первые семь дней каждый вечер, а потом на протяжении сорока дней в каждый четверг, разговаривал Джалил-муаллим без видимого неудовольствия.

Все свои сбережения до единой копейки потратил Джалил-муаллим в эти сорок дней. Потратил без всякого сожаления, в твердой уверенности, что не подобает ему экономить в столь святом и важном деле. Полагал Джалил-муаллим, что уровень и тщательность выполнения этого обряда очень точно отличают людей порядочных и заслуживающих уважения и одобрения окружающих от других — без роду и племени и в большинстве своем беспутных.

Деньги, скопленные им для брата, он не тронул, справедливо рассудив, что Симургу, пока он встанет твердо на ноги, они просто необходимы. А сам он в них не нуждается совершенно и в будущем отложит столько же и больше, слава богу, жив он и здоров и дела служебные идут как надо.

Симургу о смерти матери сообщать не стал, не хотел расстраивать и омрачать жизнь находящемуся на чужбине брату, которому оставалось служить еще три месяца.

Ожидал приезда брата с нетерпением. Сам покрасил стены в его комнате клеевой краской и даже нанес на них при помощи трафарета незатейливый рисунок. Очень нравилось Джалил-муаллиму возиться и с ульями, пожалуй, не в меньшей степени, чем работать в саду. Подходил к ним Джалил-муаллим первое время, покрываясь с головой специальной защитной сеткой, а потом признали его пчелы

и подпускали к себе без всякой сетки. Все же изредка жалили, даже спустя долгое время. Старый пасечник, продавший Джалил-муаллиму ульи, объяснил ему, когда тот обратился за консультацией по этому и другим вопросам пчеловодства, что пчелы чувствуют, когда подходит к ним человек со злостью, раздраженный. Чувствуют непостижимым образом и не любят этого, вот тогда-то и жалят даже хозяина.

Никак не мог вспомнить Джалил-муаллим, в каком настроении он подходил к ульям в те разы, когда его жалили пчелы, и не очень поверил старику, тем более что пчелиные укусы его не очень огорчали: слышал Джалил-муаллим от людей, что от пчелиного яда для человеческого организма только польза.

Все шло своим чередом и на работе и на улице. Жил Джалил-муаллим нормальной приятной жизнью, к которой он привык и другой не желал. Сохранялось в этот период у него постоянным хорошее ровное настроение, получал удовольствие от работы и от дома, и от всего, что давал ему окружающий мир.

Он не особенно рассердился, когда пришел к нему как-то вечером Манаф. Сразу объяснил, что пришел по делу и попросил взять дочь его на какую-нибудь работу во вверенном Джалил-муаллиму почтовом учреждении.

Почтительно просил в помощи не отказать. Джалил-муаллим, подумав, сказал, что на почте у него свободного места нет, но обещал переговорить со своим хорошим приятелем, заведующим соседней аптекой, что на улице Чадровой.

После первого дня работы Дильбер в аптеке, Манаф пришел к Джалил-муаллиму со всей своей семьей. Очень благодарил и сам и его жена.

Дильбер была в новом платье, с гладко причесанными волосами под розовой лентой, такой он ее и не видел никогда, смотрела она на Джалил-муаллима с восторженной улыбкой на раскрасневшемся лице и тоже поблагодарила его, смущаясь и запинаясь на каждом слове. Принесли они и подарки — серебряную сахарницу со щипцами и букет роз.

Джалил-муаллим сказал, что он устроил Дильбер на работу в аптеку, где заведующим работает очень приличный человек, не ради Манафа и его семьи, а выполняя свой долг, обязывающий его помочь каждому человеку вступить на правильный путь.

Говорил Джалил-муаллим с ними хоть и сдержанно, но вполне доброжелательно. Серебряную сахарницу со щипцами Джалил-муаллим вложил в руки Манафа, когда они встали уходить. Манаф попробовал было запротестовать, но сразу же замолчал, после того как Джалил-муаллим посмотрел на него взглядом, употребляемым им в тех случаях, когда надо было напомнить человеку, что он забывается, и поставить его на подобающее место. За розы же Джалил-муаллим поблагодарил.

Пришел наконец и тот счастливый день, о наступлении которого мечтал столько времени Джалил-муаллим. На вокзал он приехал за час до прихода поезда. Прижал Симурга к груди и долго не отпускал, чувствуя, как захлестывает его долгожданная радость, ощущая, как заполняется с каждым мгновением объятия образовавшаяся где-то совсем близко под сердцем три года назад пустота; держал в объятиях брата, самого любимого и близкого человека на земле, и словно пил из животворного родника, возвращающего жизнь и удесyatepяющeго силы.

С вокзала поехали на кладбище, бросился там Симург на могилу матери и заплакал в голос, навзрыд, захлебываясь по-детски в слезах.

Не мог Джалил-муаллим никак успокоить брата, а потом, в первый раз после похорон, заплакал и сам, и принесли слезы ему ясность в сердце и легкость.

Весь вечер рассказывал Симуург брату, не спускающему с него счастливых глаз, невестке и племянникам, и гостям, пришедшим поздравить братьев, о своем житье-бытье в армии, о красивом местечке, где находилась его часть. Интересно рассказывал, часто употреблял слова, которых присутствующие до сих пор не слышали и по этой причине значение их не понимали совсем или частично.

После ухода гостей Джалил-муаллим, подождав пока легли спать жена и дети, поговорил с братом. Первым делом отдал ему свой подарок, сберегательную книжку, выписанную на имя Симуурга с четырехста пятьюдесятью рублями на счету.

Симуург был тронут чрезвычайно, посмотрел на старшего брата с любовью во взгляде, но сказал, что денег этих не возьмет, так как Джалил-муаллиму, человеку семейному, они нужнее, сам он обойдется, тем более что из армии вернулся с деньгами. Даже после того, как купил кое-какие гостинцы и подарки и потратил в пути, у него осталось семьдесят рублей, их ему на первое время вполне хватит.

Джалил-муаллим на него прикрикнул с деланной грозной строгостью в голосе и, несмотря на сопротивление, засунул сберкнижку в нагрудный карман гимнастерки брата. И взял с него слово, что потратит эти деньги на одежду и все остальное, нужное человеку, начинающему новую жизнь.

Покончив с этим приятным делом, спросил Симуурга о его планах. Спросил, горя желанием посоветовать что-нибудь полезное, а также узнать заранее, где он может помочь Симуургу сам, а где через свои связи и влияние. Готов был ради брата обратиться с любой просьбой Джалил-муаллим к кому угодно и даже к человеку, у которого никогда не попросил бы ничего для себя.

Спросил Джалил-муаллим, будет ли Симуург поступать на будущий год в институт, как собирался перед уходом в армию, спросил, собирается ли брат до начала экзаменов поработать и если собирается, то где. Спросил и стал ждать ответа Симуурга. О планах в личной жизни, скажем, о женитьбе или близких к ней делах по врожденной щепетильности спрашивать не стал, захочет брат — сам скажет.

Сказал Симуург, что насчет института он еще подумает, но что точно на будущий год поступать никуда не будет, возможно, впоследствии, когда окончательно встанет на ноги, начнет учиться, но только заочно, в очный институт он не пойдет не только потому, поспешил он прибавить, что придется жить на содержании у брата, а потому что не тянет его несамостоятельная студенческая жизнь, вышел он из этого возраста и теперь хочет пожить, как подобает взрослому человеку.

Расстроило Джалил-муаллима намерение Симуурга в отношении его давней мечты, получения высшего образования, точнее, отсутствие этого намерения, но спорить он не стал, твердо надеясь со временем уговорить брата, не понимающего по молодости значения высшего образования для человека, желающего добиться в жизни приличного положения.

В отношении работы Симуург сказал, что пойдет работать по специальности — в армии выучился он на шофера, овладел этой профессией хорошо, получил удостоверение водителя первого класса, дающего ему право работать на автотранспорте любого типа и любой мощности, а также на специальных машинах: «скорой помощи», оперативных милицйских и пожарных,

Поморщился Джалил-муаллим, не так представлял он себе жизнь брата, не думал, что Симург, которого он в мечтах видел не иначе как врачом и у которого, в конце концов, есть среднее образование, будет работать, как его сосед пьяница Манаф—шофером. Но любой честный труд почетен, в этом Джалил-муаллим был уверен всегда, и поэтому промолчал, опять же надеясь, что со временем удастся уговорить Симурга выбрать поле деятельности более соответствующее положению семьи, выпестовавшей и воспитавшей его, а также снабдившей фамилией, заслуженно пользующейся среди людей прекрасной репутацией, и именем, от чьего владельца только и зависело — станет ли оно в будущем произноситься с таким же уважением, как ныне произносится имя Джалил-муаллима.

А насчет своих личных дел Симург сказал приблизительно то же самое, что и насчет учебы, сказал, что, пока не начнет зарабатывать так, чтобы содержать безбедно жену и детей, о женитьбе он даже и думать не хочет.

Пожелал брату Джалил-муаллим доброй ночи, первой ночи под отчим кровом после долгого отсутствия, пошел и сам лег, несколько раз вздохнул, прежде чем заснул, по поводу быстротечности времени, превратившего брата из юноши с мягким овалом лица, каким он был до ухода в армию, в молодого сильного мужчину с волевыми складками, появившимися на выбритых щеках по обеим сторонам рта, со взглядом, который становился временами тяжелым и жестким.

Не на машине «скорой помощи», не на пожарной или милицеейской, на что он имел полное право как шофер первого класса, и даже не на такси стал работать Симург. Сел он за руль тяжелой грузовой машины, принадлежащей автобазе, занимающейся междугородными перевозками. Работал много и с охотой. Уезжал из дому на неделю, на десять дней, возвращался выбившимся из сил, исхудавшим и бледным от частых бессонных ночей в пути, но неизменно веселым, с подарками для детей и невестки. Привозил каждый раз непременно подарок и для брата. И не какой-нибудь, по которому сразу видно, что куплена вещь случайно, лишь бы подарить, а что — не важно, подбирал подарки Симург брату со вниманием, с учетом его вкусов и желаний.

Каждый раз трогал Симург любящее сердце брата, очень недовольного им за его непослушание при выборе работы, но переживающего молча, ничем этого внешне не выражая, лишь изредка спрашивая, долго ли еще Симург собирается вести цыганский образ жизни. В те дни, когда Симург находился дома, недовольство не мешало Джалил-муаллиму следить за отдыхом и питанием брата. Силы у Симурга восстанавливались быстро, и уже на второй день после приезда возился он вместе с Джалил-муаллимом в саду или развлекал всех в доме рассказами о смешных приключениях, непременно слушающих с ним в каждой поездке.

Говорил Симург, что работа ему очень по душе: дает возможность повидать и места новые и с людьми познакомиться, что тоже не последнее дело, можно заработать хорошие деньги, конечно, если ты человек не ленивый, смекалистый и в своей профессии мастер.

Зарабатывал Симург прилично, тратил деньги легко, щедро угощал не чайвших в нем души друзей. Доходили до Джалил-муаллима слухи, что видят часто брата в ресторанах, выслушивал он это, умело скрывая огорчение, давал понять, что прекрасно об этом осведомлен, так же как и об остальных делах младшего брата, не предпринимая ничего без предварительного согласия и одобрения Джалил-муаллима. Стал Симург хорошо одеваться, глядя на него, можно было подумать, что этот высокий красивый парень в модном,

ладно сидящем на нем костюме — какой-то корреспондент, или комментатор телевидения, или даже футболист команды мастеров класса «А».

А спустя месяцев шесть-семь после поступления на работу в грузовую автобазу, выбрав момент, когда остались они в комнате наедине, вытащил Симург из кармана деньги — четыреста пятьдесят рублей и, тепло поблагодарив брата за заботу, протянул их ему.

— Я же не в долг их давал,— сказал Джалил-муаллим,— я подарил их тебе.

Тогда Симург вытащил из кармана сберегательную книжку и раскрыл ее на странице, удостоверяющей, что владелец ее богатств своих не только не растратил, а значительно приумножил, доведя их до шестисот пятидесяти рублей.

— Видишь,— сказал Симург Джалил-муаллиму, настроение у него, как всегда, было хорошее, и он улыбался приятной для брата, всегда доброй и почтительной улыбкой,— я себя не обижаю. Бери свои деньги со спокойной душой. Спасибо, что выручил. А если будут тебе нужны деньги, ты только скажи мне. Очень я тебя прошу!

Похвалил Джалил-муаллим Симурга, сказал, что Симург молодец, стоит на правильной дороге, как и полагается мужчине, который чего-то хочет добиться в жизни. Сказал, что на деньги, возвращенные Симургом, он совершенно не рассчитывал ни ныне, ни в будущем, так как давал он их ему от всего сердца и принимает их только потому, что отдает Симург не от последнего.

Говорил все слова эти Джалил-муаллим, искренне радуясь успеху брата и даже по великодушию не напоминая на сей раз о своем желании видеть Симурга на другой, боле спокойной и солидной работе.

Но почему-то взял деньги Джалил-муаллим, которые он копил для брата в течение трех лет, думая, что будет у него в них крайняя нужда, и которыми он, судя по сберкнижке, ни разу не воспользовался,— без всякого удовольствия.

Вспомнилось, что без малого сорок раз посетил он сберкассу для того, чтобы иметь возможность, как и полагается старшему в семье, вручить брату в первый день приезда свидетельство заботы о нем и внимания.

Вспомнил, как вернул ему деньги Симург, вернул с легкостью, видимо, с такой же, с какой они ему достались. Вдохнул и попытался отогнать откуда-то наползающее смутное предчувствие вступления его жизни в какой-то новый период, необычный и странный. Но не сумел тогда Джалил-муаллим при всей дальновидности и проницательности угадать, что принесет ему и его близким это новое, наступление которого Джалил-муаллим угадал в тот день обостренным чутьем.

Неприятную весть получил он в своем кабинете в то время, когда мысленно решал конкретные задачи дальнейшего улучшения работы почтового отделения.

Работало отделение хорошо, довольны были подписчики и посетители, и получало это соответствующую оценку в министерстве: ставили на совещаниях отделение в пример другим, непременно и справедливо отмечая при этом, что в успехе, достигнутом коллективом в деле обслуживания населения, значительны заслуги бессменного руководителя его Джалил-муаллима. Но не кружил успех голову Джалил-муаллима, усвоившего из опыта своей работы на почте, что не существует в этом мире предела для усилий в процессе формирования совершенного, ускользающего даже от человека, приблизившегося к нему вплотную. Всегда напоминал себе о том, что остановиться

в нынешнее стремительное время, довольствуясь сделанным, означает отставание, и не щадил на работе своих сил и умения.

От размышлений его отвлек приход Мамеда Бабанлы, вот уже около двадцати лет работающего в отделе посылок. По выражению его лица и по тому, как он тщательно закрыл за собой дверь, Джалил-муаллим сразу понял, что случилась неприятность, но, естественно, при всей своей пронизательности не сумел представить ее размеров.

Мамед молча подошел к столу и положил перед Джалил-муаллимом вечернюю городскую газету, сложенную так, что сразу бросилось в глаза набранное крупным шрифтом название статьи «Автодельцы и длинный рубль» и подзаголовок, удостоверяющий принадлежность статьи к фельетонному жанру, наиболее чтимому и часто читаемому Джалил-муаллимом.

Джалил-муаллим читал статью и почти физически ощущал, как рушится и идет прахом все, чего он добился в жизни с таким трудом, потратив на это долгие годы, не имея никакой поддержки, рассчитывая только на свои силы.

Статья была о Симурге.

Если говорить точнее, не только о Симурге, упоминались в ней и не в малом числе и другие люди. Но свою фамилию Джалил-муаллим увидел в нескольких местах. Фельетон был написан автором, чья манера письма и умение делать выводы в конце каждой статьи и сами выводы чрезвычайно импонировали Джалил-муаллиму и всегда вызывали в нем согласие и единомыслие. И на этот раз автор остался верен себе — доступным и простым языком, умело и вовремя используя обличительные факты, он рассказал историю деятельности и разоблачения группы недобросовестных людей, которые, воспользовавшись преступной близорукостью и халатностью руководителей грузовой автобазы, занимались темными махинациями, совершали левые рейсы с грузами овощей и фруктов в северные районы страны, получая за это суммы, многократно превышающие самые максимальные, предусмотренные в вознаграждение за аналогичную деятельность трудовым законодательством.

В конце автор, как всегда, выразил уверенность, что героев фельетона постигнет возмездие, и просил широкую общественность приглядеться к среде, из которой появляются вышеназванные и подобные им преступники — стяжатели.

Тяжело было Джалил-муаллиму читать фельетон. Очень тяжело. Знал он, что не заслужил такого несчастья, ничем не заслужил, и почувствовал к себе жалость. Нельзя же бить человека так жестоко и неожиданно, и какого человека, его, Джалил-муаллима. За что?!

Припомнил теперь Джалил-муаллим мелкие события последнего месяца, на которые не обращал внимания по занятости, а также по причине неограниченного доверия к брату.

Только теперь понял, почему за последний месяц ни разу не уехал Симург в поездку. Ведь в фельетоне прямо сказано, что как раз месяц с небольшим назад и были у него отобраны права бдительным автоинспектором.

И еще стало обидно Джалил-муаллиму, что не рассказал ему ничего брат о случившемся, и узнает он о происшедшем в его семье, в его доме через городскую прессу. Отчетливо понял в этот момент Джалил-муаллим, что одним махом кладет конец сегодняшнему номеру вечерней газеты его влиянию и уважению к нему на улице, пачкает несмываемой прочной краской до сих пор безупречную фамилию.

Поднял Джалил-муаллим голову, увидел Мамеда Бабанлы, стоящего перед ним, о присутствии которого он совершенно забыл, и снова опустил ее.

Посмотрел Мамед еще некоторое время на склоненную голову своего заведующего и огорченно вздохнул. Давно началось их знакомство — бегал в те времена Джалил-муаллим с пачкой газет, основным содержанием которых были сообщения о положении на фронте и в тылу, а сам Мамед только начал работать после госпиталя, где залечили ему раны. Ежегодно устраивал Мамед веселое угощение в день, длинно и высокаторжественно называемый им «днем чудесного возвращения к жизни». Никому не рассказывал Мамед о том дне, когда случайно нашли на берегу в темноте санитары стремительно отступающей медчасти его утратившее все признаки жизни тело и на катере перебросили в полевой госпиталь.

Никому не рассказывал он и о том, что пережил в долгие часы, прежде чем потерять сознание...

Припадая на правый бок, проворно сновал от окошечка к столу с весами, неутомимо упаковывая и выписывая квитанции правой рукой с уцелевшими большим и указательным пальцами, которая скорее походила на рачью клешню, чем на приличествующую человеку обыкновенную пятерню.

Советовались люди с бывалым фронтовиком Мамедом, прежде чем забить ящик с теплыми вещами, и говорил он слова одобрения и похвалы посетителю, купившему их на последние деньги для родного человека на фронте. Шли посылки первые семь-восемь месяцев одним потоком в направлении из Баку на запад и пахло от них чесноком, луком и колбасой, вяленой рыбой и прочим съедобным.

Относился Мамед к Джалил-муаллиму неизменно хорошо, правда бывали и легкие перебои в их отношениях, неизбежные при совместной работе, но несущественные и следа в памяти обоих не оставившие. Крепко уважал Джалил-муаллима за самостоятельность и деловитость, поражала Мамеда в нем, еще в подростке, неутолимая жажда во что бы то ни стало выбиться в люди. И вместе с тем частенько усмехался без злости Мамед, наблюдая в первые дни назначения заведующим, а изредка и потом, степенные и вельможные манеры Джалил-муаллима.

А сейчас стоял Мамед перед Джалил-муаллимом молча и жалел его, а когда поднял заведующий голову, то были в его глазах растерянность и боль, что равносильно для Мамеда невысказанной вслух просьбе о немедленном совете и помощи.

— Подписку на вечернюю газету объявят только со следующего года,— медленно сказал Мамед, осторожно подготавливая Джалил-муаллима.— В министерстве обещали, что на будущий год наконец можно будет на нее подписаться...

— При чем здесь подписка? — надтреснутым голосом спросил Джалил-муаллим.— Неужели ты думаешь, что я сейчас могу думать о подписке?

— А нигде в правилах не сказано, сколько номеров может купить один человек,— продолжал медленно Мамед.— Один человек может купить много, скажем, весь тираж, отпущенный в эту субботу на район, а другой в этот день, с кем не бывает, останется без газеты. А можно и по другим районам поездить, слава богу, все продавцы в киосках знакомые. И машина есть.

Скользнул Мамед взглядом по лицу Джалил-муаллима и увидел на нем ожидание и расцветающую теплыми красками надежду.

— Тираж нашего района я весь задержал. Попросил Самедова, он оставил у меня в отделении, оказывается, всего пять тысяч номеров. А в киосках других районов начнут продавать вечерку минут через сорок—час... И нам же все районы ни к чему — только на Седьмую параллельную бы успеть и к Бешмяртебя.

Дальнейшее происходило словно в тумане — покорно пошел Джалил-муаллим за Мамедом и сел в машину. Заехали сперва в сберкассу, где взял он двести рублей, затем объехали несколько киосков — машина с забившимся в уголок Джалил-муаллимом останавливалась, не доезжая до киоска полквартилы, Мамед вел со знакомым киоскером какие-то переговоры, а затем возвращался с очередной пачкой газет. Несколько раз хотел сказать ему вслед, что надо немедленно вернуть все газеты для немедленной распродажи и что он не желает использовать в личных интересах служебное положение.

Джалил-муаллим точно потом помнил, что хотел остановить Мамеда. Но не остановил. А напротив, молча, не прерывая, слушал рассуждения Мамеда, утверждающего на всем протяжении этой мучительной поездки, что раз в жизни любой гражданин имеет полное право купить десять тысяч номеров газеты, если расплачивается немедленно и наличными, а не пытается взять их по перечислению и за государственный счет, как это наверняка сделал бы какой-нибудь ловкач.

Он говорил весело, искренне, не придавая происходящему никакого значения, и Джалил-муаллиму на несколько мгновений показалось, что прав Мамед, ничего плохого не делает он, в конце концов покупает газеты на свои собственные деньги. Но долго еще мучала его после этого дня мысль о том, что принял он участие в каком-то пусть не преступлении, но в высшей степени недостойном деле и много должен теперь приложить усилий и стараний в дальнейшей жизни, чтобы получить право забыть об этом дне.

Домой Джалил-муаллим вернулся, когда стемнело. С помощью Мамеда перенес во двор пачки газет и выложил их в ряды в дальнем углу веранды, строго-настрого запретив жене и детям дотрагиваться до них.

Мамед, пообедав, просидел до позднего вечера и ушел окончательно удостоверившись, что ни один из соседей фельетона не прочитал, о чем убедительно свидетельствовало отсутствие вопросов у тех, кто нашел нужным посетить Джалил-муаллима в этот пригожий субботний вечер.

Давно уже ушел Мамед, улеглись дома все спать, а Джалил-муаллим сидел, не зажигая света на веранде и облокотившись на перила, готовился к решительному и неприятному разговору с неизвестно где задержавшимся Симургом. Долго ждал, а потом заснул, убаюканный успокаивающим рокотом котлов в сочетании со столь же приятным для слуха звоном сверчков в дворовом саду, не выдержав утомления и тревожений этого дня.

Проснулся Джалил-муаллим от тихого прикосновения к плечу. Он открыл глаза и увидел в мягкой полутьме веранды лицо брата.

— Добрый вечер,— негромко сказал Симург.

Джалил-муаллим смотрел на него еще не совсем очнувшись после долгой дремы, пребывая несколько мгновений в состоянии, чрезвычайно редко выпадающем по милости скупой природы на долю человека, когда ни одна мысль не занимает его разума и он какие-то никем не измеренные частицы времени воспринимает окружающий мир ни о чем не думая и не вспоминая. Джалил-муаллим испытал чувство мягкой умиротворяющей радости оттого, что увидел брата. Она шла к нему от Симурга, почти ощутимо передаваясь через мягкий теплый воздух, через рассеянный свет уличного фонаря, бледными неровными бликами пробивающийся сюда сквозь неподвижную густую листву. Он ощутил радость, и она исторгла из него короткий смех, исходящий как будто из глубины груди.

— Ты так хорошо спал, ага-дадаш,— сказал Симург, не убирая с его плеча руки,— что я не хотел тебя будить.

— Давно ты пришел? — спросил Джалил-муаллим.

— Только что. Я арбуз принес, ты не вставай, я сейчас его нарежу и принесу.

Они ели сладкий прохладный арбуз, и Джалил-муаллим обдумывал, с чего начать ему серьезный разговор с Симургом. Он вымыл руки и, подождав пока Симург уберет со стола и выбросит корки, включил свет. Он молча подвел Симурга к пачкам газет, разложенным в углу веранды.

— Откуда это? — спросил Симург, во все глаза глядя на невиданное скопище газет.

— Я,— сказал Джалил-муаллим,— это я объехал киоски и, сторя от стыда, скупил все номера сегодняшней газеты.

— Зачем? — спросил Симург.— Для чего тебе столько? — И Джалил-муаллим услышал в его голосе удивление.— Ты вот эту газету купил, с фельетоном, что ли? Вот же есть. Я купил одну.

Симург достал из кармана измятый экземпляр одного из нескольких тысяч себе подобных на полу, не имеющих в своем числе в отличие от самой низкопроцентной лотереи ни одного счастливого номера.

— Неужели мне надо тебе объяснять это? — с горечью сказал Джалил-муаллим. Ему стало обидно оттого, что Симург даже не понял, на что пошел Джалил-муаллим во имя интересов семьи, доброго имени Симурга и своего.— Нам надо поговорить.

Они поговорили. Симург сказал, что у него были большие неприятности и что с работы ему пришлось уйти. Права вернули, но уволили. Он знал, конечно, что участвует в незаконных махинациях, но активного участия в них не принимал, просто выполнял сверхурочные рейсы и держал язык за зубами, платили очень здорово. К суду его привлекать не будут, учли то обстоятельство, что в подложных путевках его руки нет, а также безупречное прошлое и прекрасные характеристики из армии.

Он сказал, что ни о чем Джалил-муаллиму не рассказывал после того, как стряслась беда, конечно, не потому что считал брата чужим, а просто не хотел расстраивать его.

— Теперь ты понял, что я был прав, когда просил тебя не идти шофером? Помнишь, как я тебя просил? Сейчас не было бы этого позора!

— Какого позора? Я не украл и никого не убил, ну, попал в неприятность,— сказал Симург.— Случилось... С кем не бывает.

— Ты бы обо мне подумал,— сказал Джалил-муаллим.— О людях, которые знают нашу семью.

— О соседях, что ли? — сказал Симург, и в первый раз в его голосе послышалось раздражение.— Джалил, что ты мне о них сейчас говоришь? Какое мне дело до всех наших знакомых!

Они говорили еще долго, но Джалил-муаллим чувствовал, что Симург слушает его не то что непочтительно или невнимательно, а с каким-то странным выражением на лице, как будто все, что говорит Джалил-муаллим,— давно ему известно и кажется не очень интересным. Правда, в конце концов он согласился во всем с братом, согласился и пообещал устроиться на другую работу, не шофером. Но согласился как-то вяло, почти небрежно, думая о чем-то своем.

— Может быть, я тебе могу чем-нибудь помочь? — спросил Джалил-муаллим и сразу же и надолго пожалел, что задал Симургу этот вопрос.

— Ты? — с непередаваемым удивлением спросил Симург. Он под-

нял голову и внимательно посмотрел на Джалил-муаллима с неуловимой улыбкой, пробежавшей по губам.— А чем ты можешь помочь мне?

— Подумать надо,— после паузы сказал Джалил-муаллим.— Надо подумать.— Он не находил слов и потер рукой лоб, пытаясь связать разноцветные пестрые нити мыслей, содранные каждая со своей катушки и разорванные в нескольких местах интонацией, прозвучавшей в голосе Симурга.— Подумать надо. Посоветоваться...

— Не надо ни с кем советоваться, Джалил,— мягко сказал Симург.— Я же не маленький, сам устроюсь. Ты не беспокойся, все будет хорошо. Ладно? — Он подождал ответа, но брат лишь молча кивнул.— Я уже кое-что надумал. Выясню как следует и все тебе расскажу на днях. Спокойной ночи.

Он ушел к себе в комнату, а Джалил-муаллим, прежде чем пойти лечь спать, еще долго сидел на темной веранде, вспоминая в подробностях свою поездку по газетным киоскам и весь разговор с Симургом и от всего этого ощущая тоску в сердце и растерянность человека, заглянувшего в зеркало и неожиданно увидевшего вместо привычного своего изображения другое — незнакомое, ничтожное лицо с жалким выражением в глазах,— и вместе с тем знающего, что лицо это отныне его и никуда ему от него не деться.

Безработным пробыл Симург недолго. Неделю, а может быть чуть больше. Уходил из дому рано, возвращался поздно, охотно объяснял за ужином, что ищет место по своему вкусу, такое, чтобы и платили много и чтобы работа была интересная и, самое главное, такая, чтобы не отнимала много времени у человека, который собирается на будущий год поступить в вечерний или заочный институт. Говорил, что совсем было нашел место, где и зарплата такая, что весь месяц стараться будешь — до конца не потратишь, и премию в конце года в конверте на стол кладут, и машину на дом за каждым сотрудником по утрам присылают, и совсем было согласился на долгие договоры самого главного руководителя этого прекрасного места, но отказался, когда узнал об одной условии. В этом месте Симург замолчал и сделал вид, что надолго занялся едой, а дождавшись непременно следующего за паузой вопроса с напряженным вниманием слушающей наивной Лейлы-ханум, что это за такое жуткое условие, из-за которого он отказался, объяснил, что он ни за что не согласится работать в белых перчатках и в черном галстуке, а это условие там непременно и обойти его никак нельзя. Лейла-ханум уговаривала его подумать и из-за такого пустяка не лишать себя прекрасной работы, но Симург был неумолим: надо быть дальновидным, объяснял он Лейле-ханум, сегодня ты согласишься надеть на работу белые перчатки, а завтра тебя заставят пить пиво с копченым кутумом, даже если тебе не очень хочется. Лейла-ханум возмущенно всплескивала руками и говорила, что никогда не подозревала, что Симург такой привередливый и принципиальный. Джалил-муаллим слушал эти разговоры, изредка улыбаясь, но вопросов насчет трудоустройства брата не задавал.

А в один из вечеров Симург пришел довольный и сказал, что наконец нашел подходящую работу и что насчет галстука и белых перчаток никто там даже не заикнулся.

— И машина будет по утрам приезжать за тобой? — спросила Лейла-ханум, придающая большое значение, впрочем, как почти все женщины, внешним признакам благополучия и преуспевания.

— Насчет машины я спросить забыл,— с сожалением сказал Симург,— но вот зато катер будет точно, а иногда и вертолет. Ты, Лейла-ханум, летала когда-нибудь на вертолете?

Джалил-муаллим понял, что это не шутки.

— Куда ты поступил?

— Случайно получилось, но, по-моему, мне повезло, — нерешительно сказал Симург, чувствовалось, что он очень хочет угодить брату. — Встретил я Заура Нагиева, давно я его не видел, первый раз после окончания школы встретил. Ты помнишь, ага-дадаш, он иногда захаживал к нам?

— Это не его отец в главмилиции работал, который с женой развелся?

— Вот-вот... Он сейчас в нефтяном институте заочно учится, скоро окончит. Деловой парень, не трепач. Он как окончил школу, пошел работать. Сейчас он буровой мастер, а как институт окончит, сразу его начальником участка назначат, твердо обещали. Он по морскому бурению. Десять дней в море — зато десять дней дома.

— Понятно. На Нефтяных Камнях работает?

— Вроде, но не совсем, — сказал Симург, — они новые основания осваивают. Он мне все подробно объяснил, как новый стальной остров построят в море, они его сразу начинают осваивать...

— Все ясно, — сказал Джалил-муаллим. — Ничего хорошего. Опасная это работа. День и ночь в открытом море. Не пойму только, что ты там будешь делать, ты-то не нефтяник?

— Я тебе все объясню, — торопливо перебил его Симург. — Во-первых, ничего опасного, Заур мне все объяснил, единственная неприятность, говорит, это когда неожиданно норд задует, тогда придется еще несколько дней сверх работы посидеть в море, но за это потом столько же дней отгула полагается, во-вторых, им дизелист нужен, а я дизель как свои пять пальцев знаю, и зарплату там почти двойную платят, по сравнению с городом, и еще премия полагается за выполнение плана, а план они ежемесячно перекрывают, это не считая ежегодной надбавки за стаж. И еще самое главное, — сказал Симург, — это институт: морских нефтяников в первую очередь принимают, какие отметки не важно, только бы сдал, хоть на все тройки. И путевки на любой курорт дают. Куда хочешь — туда дают.

— Дело твое, — сказал Джалил-муаллим. — Раз поступил, то и толковать уже не о чем. Но мне бы не хотелось, чтобы мой родной брат мок круглые сутки в море, как будто в целом городе ему места не нашлось... Люди в Баку из деревни приезжают, устраиваются, куда ни пойдешь, везде бывшие крестьяне работают, академиками становятся, а ты... — Джалил-муаллим махнул рукой.

— Все будет хорошо, Джалил, — сказал Симург. — Я сегодня там побывал, эта работа по мне. Самостоятельная работа — и заработать можно хорошо, и перспективы есть.

— А в медицинский ты поступать не думаешь? — безучастным голосом спросил Джалил-муаллим.

— Куда мне. Я только раз в госпитале побывал, — сказал Симург, — когда с рукой случилось, так меня от одного запаха лекарств чуть не стошнило. Это не для меня.

— А ты не писал нам, что был в госпитале, — сказала Лейлаханум.

— Ничего серьезного и не было. Руку я вывихнул, вправили и через пять дней выписали. Таких страхов я там насмотрелся. Нет, это дело не для меня.

— Значит, ты твердо решил?

— Да, — сказал Симург.

— Ладно, — сказал Джалил-муаллим. — Что я могу сказать? С богом. Мне только одного хочется, чтобы все у тебя шло хорошо.

— Я это знаю, ага-дадаш,

Загорел Симург на новой работе так, что и узнать его нельзя было. Пахло от него в первые несколько дней после каждой вахты нефтью и морем, рассказывал он о своей работе с увлечением, и узнавали домашние и соседи из этих рассказов много нового и интересного, и это было удивительно, что под самым боком, на этих самых Нефтяных Камнях, о которых столько пишут в любой газете и по телевидению показывают, происходят события, о которых никто и представления не имел до тех пор, пока Симург не стал там работать. Все просто несказанно удивились, когда узнали, что на этих самых искусственных островах и вообще на всей территории Нефтяных Камней действует в полную силу «сухой закон» и ни один человек, начиная с самого большого начальника и кончая приехавшим на один день журналистом, не смеет нарушить его. Удивились и тому, что обыкновенные телевизоры, привезенные на Нефтяные Камни, принимают не только программы Баку и Москвы, но ни с того ни с сего начинают «ловить» на других каналах Астрахань и Краснодарск, Пятигорск и всякие неизвестные заграничные станции почти без помех.

По всему было видно, что своей работой Симург был доволен и уходить с нее не собирается. В рассказах Симург каждый раз, и Джалил-муаллим знал, что это он делает ради него, подробно описывал строгие правила техники безопасности и перечислял, какие самые современные вертолеты и катера переданы в распоряжение специальной службы безопасности.

— Ты, пожалуйста, ни о чем не беспокойся,— сказал Симург.— Ничего со мной там не случится. Хорошее это дело... По-моему, ты чем-то недоволен? Ради бога, скажи, я немедленно все сделаю, как ты хочешь.

— Я доволен,— сказал Джалил-муаллим.— Мне же очень мало что надо. Лишь бы вы все были здоровы.— В последнее время он все больше ощущал какое-то непривычное для него безразличие. И на работу ходил без всякого удовольствия. Это, конечно, ни в коей мере не означает, что начал относиться Джалил-муаллим к своим служебным обязанностям без прежнего рвения или небрежно, нет — но потеряла для него служба притягательный интерес во всех делах, прежде украшающих ее, благодаря которым человек, умудренный опытом, имел возможность проявить свои способности не только в почтовой профессии, деле, по справедливости, трудном, но для Джалил-муаллима давно уже не представляющем никакой сложности, а в более тонкого свойства взаимоотношениях с подчиненными, до сих пор откровенными с ним, использующими на свое благо его наказы и советы в области служебной и личной жизни. Теперь, вызвав сотрудника, совершившего какой-нибудь проступок, связанный с доставкой телеграммы или другой корреспонденции несвоевременно или не по тому адресу, коротко выговаривал ему и отпускал, не задерживая на долгий разговор с воспитательной целью, не приводил ему примеров, из которых явствовало, что может сыграть роковую роль в жизни человека проступок, на первый взгляд не представляющий особого значения, и не рассказывал поучительных историй из жизни своей и людей, хорошо ему знакомых и уважаемых.

Не готовил теперь дома речи накануне общего собрания коллектива, выступая, говорил на удивление всем недлинно и только о вещах, имеющих самое непосредственное отношение к собранию.

Изменился и в других мелочах, например, прошел, брезгливо морщась, мимо невоспитанного юнца, нагло курившего в помещении почтового отделения. В прежние времена подвел бы его Джалил-муаллим к табличке «У нас не курят» и при всеобщем внимании сбил бы

с юнца спесь несколькими значительными словами, после которых человек впечатлительный и с сохранившейся совестью, перестал бы на всю жизнь курить не только на почте или, скажем, в магазине, а даже, извините, в общественном мужском туалете, куда иногда тоже заходят по нужде люди с астмой и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. И с Мамедом изменились у него отношения. Если прежде подолгу разговаривал с ним Джалил-муаллим и доставляла им, можно сказать давним соратникам, беседа удовольствие, то теперь разговаривал Джалил-муаллим с ним только по делу и избегал его во все остальное время, хоть и был Мамед всегда — и в плохой день и в добрый — хорошим товарищем, а можно даже сказать, другом.

И чего никогда с ним раньше не бывало, теперь, находясь на службе, почти все время с нетерпением ожидал окончания рабочего дня и с наслаждением думал о вечере в своем доме или саду.

По дороге раскланивался со знакомыми, обменивался новостями и мнениями, все как всегда, подходя к дому непременно встречал кого-нибудь из семейки Манафа; или самого Манафа, или жену его, как обезьяна, непрерывно лужающую семечки, или дочь, правда, в последнее время Дильбер попадалась ему на пути редко, здоровалась с ним серьезно, без прежней улыбки, радостной и бесстыдной, и одевалась она теперь вполне пристойно, в скромное платье, в меру короткое, обнажающее стройные ноги до вполне допустимого уровня. Все эти перемены объяснял Джалил-муаллим благотворным влиянием на нее работы в коллективе и испытывал удовлетворение от того, что семена, посеянные им в тот день, когда устроил он девчонку в аптеку, кажутся, приносят хорошие плоды.

Работал каждый день в саду, возился с пчелами, наблюдая с удовольствием за их образом жизни, поливал и вскапывал землю, обрезал лозы и лишние побеги плодовых деревьев и других, посаженных в декоративных целях для создания пейзажа, веселящего взгляд и душу.

С братом в те дни, когда он жил на берегу, встречался ежедневно за завтраком и обедом. Дела у Симурга шли хорошо. По всему было видно.

Несколько раз спрашивал Симург брата, нужны ли ему деньги, и настойчиво предлагал, но Джалил-муаллим каждый раз отвечал, как оно и было на самом деле, что денег ему не нужно, хватает своих с избытком.

Приходили к Симургу часто по вечерам гости, все больше товарищи его возраста, каждый раз приглашал Симург и Джалил-муаллима, он, посидев для приличия полчаса, уходил, не желая стеснять их. Часто доносился на веранду смех, поражала Джалил-муаллима их способность смеяться по любому поводу, совсем, по его мнению, не смешному. Пытался он было объяснить это их молодостью, но вспомнив, что в возрасте Симурга и его товарищей он был не таким, а вдумчивым и сдержанным и никогда в компаниях так легкомысленно себя не вел, пришел к неизбежному выводу, что есть в их воспитании пробелы, к сожалению, уже невозполнимые.

Раздражало Джалил-муаллима и то, что приходили к Симургу знакомые и незнакомые ему в самое неурочное время, утром, вечером, а нередко и ночью. Видно, привыкли к такому ненормированному режиму на своем острове. Словом, превратился дом в проходной двор.

Долго крепился Джалил-муаллим, но потом все же позволил себе в разговоре вскользь намекнуть на это Симургу.

Симург сказал, что его самого давно беспокоит мысль, что час-

тые хождения к нему могут потревожить покой брата и его семьи, и попросил разрешения у Джалил-муаллима открыть для визитов к нему ворота черного хода, заколоченные за ненадобностью в незапамятные времена еще покойным их отцом и расположенные в противоположном конце двора, в той же стороне, куда выходила дверь комнаты Симурга.

Джалил-муаллим согласился, удивившись, как это такая простая мысль не пришла ему в голову, и добавил, что надо ту часть двора, пустынную и неблагоустроенную, служившую все эти годы свалкой для всяких ненужных вещей, привести в более или менее пристойный вид. Симург согласился и сказал, что весь этот участок он приберет и полностью озеленит.

Джалил-муаллим это намерение одобрил, но, улыбнувшись энтузиазму брата, попросил Симурга не увлекаться, так как посадка деревьев требует массу времени, труда и внимания. Напомнил, сколько лет понадобилось ему для того, чтобы довести сад до почти нормального уровня, и это при его умении и знаниях в области садоводства.

Симург засмеялся и сказал, что постарается справиться с благоустройством двора сам, не утруждая Джалил-муаллима, у которого забот хватает и без этого.

На следующий день привел Симург двоих рабочих, которые, раскрыв ворота черного хода и убрав от хлама двор, накопили в местах, указанных Симургом в течение трех дней множество ям. Потом въехали во двор один за другим два самосвала с кузовами, нагруженными до краев навозом.

Симург сказал Джалил-муаллиму, что навоз куплен на мясокомбинате, где охотно продают его по пять рублей за машину.

И не успел изумленный Джалил-муаллим оглянуться, как буквально за несколько дней оказалась другая половина двора засаженной разными деревьями, и не какими-нибудь чахлыми саженцами, а здоровенными стволами с аккуратно обрезанной кроной. Деревья отобрал Симургу по твердой государственной цене знакомый агроном из треста зеленого хозяйства.

Посадил Симург плодовые деревья и в основном такие же, что росли на участке Джалил-муаллима — черный и белый тут, черешню, абрикос и гранат, появилась теперь во дворе и новая сельскохозяйственная культура — грецкий орех. Почти все до одного дерева прижились и дали зеленые побеги в ту же весну.

Полюбоваться садом Симурга приходили знакомые даже с соседних улиц. Восхищались, спрашивали у Симурга, как это ему удалось в такой короткий срок без всякой возни сотворить во дворе такое чудо зеленое, записывали номера телефонов мясокомбината и треста зеленого хозяйства и, что просто приводило Джалил-муаллима в состояние недоумения, спрашивали у Симурга советов, какие деревья лучше всего посадить им в условиях их дворового микроклимата.

Проходя через его сад, вежливые соседи непременно поздравляли и Джалил-муаллима, но советов его в области садоводства не спрашивали.

Одним словом, стал Симург непререкаемым авторитетом для соседей в сложных вопросах агрономии и почвоведения.

Теперь приходили к Симургу друзья, а часто и соседи через новые ворота.

В тот день Джалил-муаллим вернулся домой в обычное время. Жена накрывала уже на стол на веранде, дети тоже были дома.

Джалил-муаллим переоделся в домашнее, умылся и в ожидании

обеда спустился во двор. Потом вспомнил, что принес Симургу письмо с почты и решил занести ему в комнату, заодно напомнить, что наступило время обеда. Письма Симургу после армии приходили часто, из разных городов. Джалил-муаллим, который, кроме официальных писем и открыток с поздравлениями, ничего не получал, с интересом слушал, когда Симург читал ему вслух. Писали в основном армейские товарищи о своем житье-бытье на гражданском поприще.

Джалил-муаллим взял письмо и пошел к Симургу. Уже подходя к его комнате, еще на веранде услышал смех, от которого кровь прилила к его голове, доносился смех этот из комнаты Симурга. Понял сразу он, чей это смех, и возмутился всей душой. К Симургу Джалил-муаллим зашел не постучавшись, потому что дверь в комнату была приотворена и оттуда доносился голос брата, что-то весело рассказывающего. Он вошел в комнату и остановился на пороге, а остановился по той причине, что не знал, что ему делать дальше, то ли, поздоровавшись, пройти в комнату, то ли молча повернуться и уйти. А Дильбер сидела на кровати, ела виноград и одновременно улыбалась Симургу, сидящему близехонько у ног ее, на низенькой скамеечке.

Дильбер, увидев Джалил-муаллима, улыбаться перестала, и взгляд у нее стал испуганным, а Симург поднялся навстречу брату и, поздоровавшись, попросил его присесть. Джалил-муаллим с Симургом тоже поздоровался, передал письмо, сказал, что обед стынет и ушел. Ушел с обидой и возмущением, в висках у него закололо и в голове зашумело.

За обедом Джалил-муаллим с Симургом почти не разговаривал, односложно отвечая ему, когда тот к нему обращался.

А Симург вел себя как ни в чем не бывало, шутил, и чувствовалось, что ни в чем виноватым он себя не считает. Так и пообедали.

Утром, уходя на работу, Джалил-муаллим велел жене пойти к Симургу и сказать от его имени, чтобы ноги Дильбер больше в этом доме не было и что он, Джалил-муаллим, очень огорчен поведением Симурга, который счел возможным привести в дом, где, кроме него, живет семья старшего брата, девицу такого пошиба, как Дильбер. Велел также Джалил-муаллим Лейле-ханум рассказать Симургу, что представляет из себя семейка их соседа Манафа, и о том, как были изгнаны из этого дома Дильбер и ее мать.

Вечером Лейла-ханум сообщила Джалил-муаллиму, что Симург сперва ей ничего не ответил, только вздохнул, а когда она стала настойчиво спрашивать, что передать Джалил-муаллиму, сказал ей Симург, что Дильбер к нему больше ходить не будет, пока не разрешит это Джалил-муаллим. Еще сказал Симург, что он, поговорив с братом, надеется получить разрешение, потому что Дильбер девушка хорошая, неглупая, и он не понимает, что против нее может иметь Джалил-муаллим. Ведь никто за своих родителей не отвечает, особенно в таком почти несовершеннолетнем возрасте, как у Дильбер.

Джалил-муаллим очень расстроился и стал обдумывать, какими доводами он должен убедить Симурга, что Дильбер не тот человек, с которым можно общаться. Доводов было много, и Джалил-муаллим отобрал из них несколько самых веских.

Но Симург к брату с этим разговором не пришел. И Дильбер больше в их дом не приходила.

Джалил-муаллим, думающий обо всем этом непрерывно, с облегчением решил, что Симург разобрался что к чему и вредное и компрометирующее знакомство с Дильбер прервал. Так он думал до тех пор, пока не встретил их, возвращаясь с работы. Стояли они на углу и не разговаривали, а просто молча стояли и смотрели друг на

друга. И по всему было видно, что стоять так и смотреть друг на друга им очень приятно, если не сказать большего.

Джалил-муаллим перешел на противоположный тротуар, и многие из тех, кто был в это время на улице, обратили внимание на то, что Джалил-муаллим даже не посмотрел в сторону Симурга с Дильбер.

А через несколько дней Симург сказал Джалил-муаллиму, что хочет с ним поговорить об одном серьезном деле. Джалил-муаллим прошел с братом в свою комнату, чтобы никто не помешал им, и приготовился слушать. Сказал ему Симург, что любит он Дильбер любовью окончательной, и она его тоже, и что хочет он по этой причине жениться на ней в самое ближайшее время.

Просил Симург, чтобы Джалил-муаллим, как и подобает старшему в семье, принял в этом деле самое что ни есть активное участие и пошел бы к отцу ее, Манафу, просить руки дочери для своего младшего брата. Слушал Джалил-муаллим брата и понимал, что не шутит он, и не хотел в это верить.

Встал Джалил-муаллим из-за стола и молча прошелся по комнате, стараясь удержаться от слов запальчивых и обидных. Но больно было ему от того, что услышал, и страшно, потому что почувствовал он, что не удержат ему брата от шага позорного и, можно сказать, гибельного. Даже горло ему перехватило. А когда отпустило, мог говорить он только шепотом.

— Ты же брат мне,— сказал он.— Как же ты можешь думать о женитьбе на такой, как Дильбер? С какой кровью ты хочешь нашу кровь смешать? У тебя же дети будут. Ты об этом подумал, прежде чем прийти ко мне с этим разговором? Подумал или нет?

— Я тебя прошу,— сказал Симург.— Я тебя прошу, Джалил, не нервничай. Пойми, я ее люблю. Ты мне поверь, она неплохая девушка.

— Не заставляй меня говорить слова, которые я не должен тебе говорить,— сказал Джалил.— Нельзя на такой жениться, ты мальчишка еще, ты жизни не знаешь. Забудь ее, если только ты настоящий мужчина. О чести своей подумай!

— Я люблю ее,— сказал Симург.

— А ты знаешь, что мать ее шлюхой была известной и сестра старшая тоже, или не знаешь? Может быть, ты думаешь, что она лучше них окажется?! Нет, так не бывает. Один ее вид чего стоит. Птицу по полету видать.

Побелел Симург от слов этих, зубы стиснул.

— Не говори так, Джалил,— сказал он.— Ну, я тебя очень прошу не говорить так. Ведь я ее люблю, я женюсь на ней.

— Тогда забудь, что у тебя есть брат,— сказал Джалил-муаллим.— Навсегда забудь. Все я тебе прощал, а вот этого не сумею!

Свадьбы не было. Да и какая может быть свадьба, если глава семьи, старший брат, в лицо невесты посмотреть отказался, с родителями ее поздороваться.

Уговаривали Джалил-муаллима самые близкие друзья и родственники, но остался он непреклонным. Передал только через жену свою, чтобы взял Симург, что захочет из мебели, оставшейся от отца, и чтобы присоединил к своей комнате еще одну. Симург отказался наотрез и от мебели и от комнаты, сказал, что пока ему ничего не нужно, а когда понадобится, что-нибудь сам придумает. Ссору с братом переживал несказанно и приходил к Джалил-муаллиму два раза — первый раз с женой Дильбер, а второй раз один. Оба раза Джалил-муаллим с ним говорить отказался и через жену свою Лейлу-ханум, здесь же присутствующую, сказал брату, чтобы тот больше

на эту половину не приходил и вообще забыл, что был когда-то у него брат по имени Джалил.

Постоял Симург у порога, понял, зная своего брата, что решение это окончательное, и ушел. И лицо у него было несчастное. Впрочем, Джалил-муаллим лица его не видел, потому что в сторону брата не посмотрел, как будто его и в комнате не было, и разговаривал он с ним, как это уже было сказано, через Лейлу-ханум, которая всю эту историю очень переживала и несколько раз плакала и во время разговора братьев и потом, в одиночестве.

Сильно ошибся бы человек, который, приглядевшись к спокойно-му внешнему виду Джалил-муаллима, решил бы, что он не потрясен до самой глубины души ссорой с единственным братом своим. Значит, этот немудрый человек ничего не знает о людях, свое горе на показ не выставляющих, а несущих его в себе, как и подобает уважающему себя мужчине. Когда приходили к Джалил-муаллиму родственники и друзья, чьим мнением он всегда дорожил, с соболезнованиями и осуждением действий Симурга, избравшего в спутницы жизни совместной особу недостойную, сорвавшего из чужого сада цветок неказистый, даже тогда Джалил-муаллим своего отношения к брату вслух не высказывал, а, выслушав их до конца, переводил разговор на другую тему — политики или текущих событий, имеющих место в стране или на улице. Иногда, словно очнувшись, спрашивал у себя Джалил-муаллим, как же он может жить без брата Симурга, не видеть его у себя за столом, не слышать голоса его и смеха. Но отгонял он от себя немедленно эти думы, потому что обидел его брат страшной обидой.

Стал Джалил-муаллим, сам не замечая этого, превращаться в человека угрюмого и недюдимого. Но происходило все это незаметно, приблизительно так же, как незаметно для себя и окружающих покрывается лицо человека со временем морщинами, исчезает в глазах блеск, а в бороде в результате этой недоброй алхимии появляются нити серебряные, до смерти цвета своего уже не меняющие.

А на другой половине двора жизнь шла своим чередом. К брату часто приходили гости, и тогда до Джалил-муаллима доносился дым и запах шашлыка. Первое время брат, как и положено, присылал Джалил-муаллиму через нейтрального человека — двоюродного брата Дильбер — несколько шампуров, но каждый раз Джалил-муаллим отсылал шашлык обратно.

После ужина семья Симурга давала концерт — сам он еще с детства прекрасно умел играть на таре, на бубне ему подыгрывал племянник Дильбер, сын от ее старшей сестры, днюющий и ночующий у Симурга со дня его женитьбы.

Дильбер пела, сама аккомпанируя себе на пианино. Темно-бордовое немецкое пианино Симург купил недавно, и доставка его из магазина в дом в субботу вызвала у соседней оживленные толки. Дильбер пела приятным голосом, гости кричали «машаллах» и дружно подпевали в нужных местах «мулейли» и «берихах». Впрочем, ни один концерт ни разу не закончился позже полуночи, видно, Симург тщательно следил за тем, чтобы не доставить беспокойства брату. В эти дни в доме у Джалил-муаллима говорили все шепотом, а сам он угрюмо сидел у окна, выходящего на улицу, очень ему было обидно, что в отцовском доме собираются столь недостойные люди, как родственники и приятели жены брата — лачарки. Летом концерты устраивались почти каждый вечер и тогда, когда не было гостей, видимо, для собственного удовольствия.

Постепенно Джалил-муаллим привык к ним и обращал внимание на музыку не больше, чем на рокот котлов.

Еще удивило и чрезвычайно огорчило его, что все, кто раньше осуждал Симурга, со временем вроде бы совершенно забыли об этом и теперь дружили с Симургом семьями, и приходили к нему часто в гости. Вот это окончательно сбивало с толку.

Джалил-муаллим был уверен, что ему не показалось, когда увидел на половине брата прокурора Гасанова с женой. Знал он, что и жена его и собственные дети в отсутствие его ходят к брату и, по всей вероятности, общаются не только с ним, а и с Дильбер. И это тоже огорчало его и причиняло душевные страдания.

Иногда с другой стороны двора доносились крики, явление в этом доме неслыханное со дня его постройки дедом Джалил-муаллима в 1891 году. Это брат ссорился со своей женой.

Однажды поздней летней ночью, разбуженный очередной их ссорой, Джалил-муаллим плюнул и ушел с помоста домой. Тихо, стараясь не разбудить жену, лег рядом с нею на свою кровать, стремясь поскорее впасть в сонное забытие...

Дильбер он увидел издали на углу. Она шла ему навстречу в ярком солнечном свете насквозь пронизавшем тонкую ткань ее платья, словно обнаженная в теплом свете, улыбаясь ему при этом своей обычной улыбкой — манящей и ласковой. И он, как всегда, испытал радость оттого, что увидел ее. Она подошла к нему вплотную и положила ладони ему на грудь, и тепло от них проникло ему до сердца. «Я тебя жду очень давно, — сказала она, приблизив к нему лицо. — Куда ты меня сегодня поведешь?» Глаза у Дильбер светились радостью, а кожа лица, и губы, и зубы у нее были прохладные. Они шли по аллеям какого-то парка со странными диковинными деревьями, и Джалил-муаллим никак не мог вспомнить, что это за парк, хотя он точно знал, что бывал здесь когда-то. Ощущение силы переполняло его. Он ощущал силу во всем теле своем, и голову ему кружил и дурманил сладостный запах цветов. Он вдруг вспомнил, что это запах олеандров. Он сидел с Дильбер на скамье у самой чащи. Она, положив голову ему на грудь, говорила слова непонятные и волнующие, а он испытывал радость и счастье, до сих пор им неизведанное. Она помещалась у него в руках вся целиком, и ему передавался трепет ее тела. Слушал он, пьянея от счастья, ее горячий сбивчивый шепот, и была в словах Дильбер любовь к нему безмерная. Говорила она ему, что полюбила его с первого взгляда в тот день, когда встретила на углу. Говорила, что не расстанется с ним до самой смерти, называла единственным, самым желанным и любимым...

Джалил-муаллим целовал ей глаза и губы, и не было счастливее его на земле человека. Он вспоминал каждый миг со дня первой их встречи, и каждый миг был ему дороже всей остальной прожитой жизни. Издали доносилась музыка непонятная и грустная, и Джалил-муаллим никак не мог вспомнить, где он слышал эту музыку. И ложилась от нее на сердце тенью грусть мимолетная... А потом Джалил-муаллим увидел, как по аллее прямо на них идет человек. Когда тот приблизился, узнал он своего соседа Керима и поздоровался с ним, но тот прошел, не замечая ни Дильбер, ни Джалил-муаллима. И все проходящие, и Мамед, и прокурор Гасанов, Манаф с женой и многие другие, не видели их скамьи. Все, кроме Мариам-ханум; она остановилась ненадолго рядом и посмотрела на них обоих и вдруг улыбнулась такой счастливой улыбкой, какой улыбалась в последний раз только при покойном муже своем Байрам-беке. Она пошла дальше, и лицо у нее при этом было доброе и спокойное, и Джалил-муаллим почувствовал, что рада мать, увидев их вместе. Потом он стал думать, что это за парк, в котором находится с Дильбер, и вдруг вспомнил... Было ему тогда десять лет, и пришел он сюда с товарищами после

школы. Они, спрятавшись в кустах, увидели на этой самой скамейке какого-то солдата, целовавшегося с девушкой.

Он вспомнил, какое счастливое лицо было у солдата при этом и как они оба — солдат и его девушка — испуганно вскочили с места и убежали, когда мальчишки заорали и заулюлюкали в кустах.

Он обнял Дильбер, и она в томлении потянулась к нему. Он растегнул ей платье и увидел ее грудь, упругую, с тонкой белой кожей, с розовыми упругими сосками. «Целуй меня скорее! Я знаю, сейчас все пропадет,— сдавленным голосом сказала Дильбер.— Почему ты не целуешь меня?» Он увидел глаза ее, светящиеся жарким ослепляющим светом, вдохнул в себя ее жаркое дыхание, и до него донеслись далеким эхом ее слова: «Не смей меня больше называть Рахшандой, слышишь, не смей! Меня зовут Дильбер!». «Я не называл тебя Рахшандой, я знаю, что ты Дильбер»,— удивленно, но ощущая в глубине души смятение, сказал Джалил-муаллим и проснулся.

Он очнулся, и руки его продолжали судорожно сжимать ее плечи и на губах его оставался вкус ее губ. Он лежал в предутренней прохладной темноте комнаты, в смятении вспоминая этот сон, снявшийся ему каждую ночь на протяжении многих месяцев. Через несколько мгновений он заснул снова, чтобы наутро начисто забыть все.

Какие-то неясные, туманные обрывки иногда по утрам беспокоили его, мелькали в сознании, никак не соглашаясь соединиться в целое, несмотря на все его усилия, столь же тщетные и невозможные, как нельзя восстановить по обрывку провода телефонный разговор двух влюбленных, даже если этот разговор пробежал по нему всего лишь одно мгновение назад...

Наконец, улучив удобный момент, Джалил-муаллим попрощался с Длинноухим Кямалом и со всеми знакомыми, поблагодарил чайханщика Азиза за прекрасный чай и вышел на улицу.

Дома он застал участкового врача из поликлиники, пришедшего по вызову Лейлы-ханум. Последнее время у нее побаливало в боку. К его приходу осмотр был закончен. Врач, небольшого роста седой человек, сложил в чемоданчик инструменты и, подойдя к столу, написал несколько направлений на анализы и исследования. Он подробно объяснил, куда и когда надо пойти на процедуры, потом попрощался и совсем было собрался уйти, но Джалил-муаллим задержал его и пригласил позавтракать.

После долгого разговора с Длинноухим Кямалом нервная система Джалил-муаллима нуждалась в общении с интеллигентным человеком.

Врач посмотрел на часы, подумал и сказал, что он уже завтракал, но вот стакан чая выпьет с удовольствием. Лейла-ханум быстро накрыла на стол, принесла сыр, масло, мед.

За столом Джалил-муаллим говорил о медицине, высказал свое мнение по наиболее важным и актуальным проблемам сохранения здоровья человека, живущего в современных городских условиях. Врач слушал внимательно, прикладывая к уху сложенную ковшиком ладонь: он был глуховат.

— Вот, например, доктор, я объясняю им,— Джалил-муаллим кивнул на свою семью,— что утром человек должен есть умеренно — хлеб, масло, сыр — самая здоровая пища, а они с трудом соглашались. Я говорю, если хочешь долго жить и быть здоровым,— ешь по утрам только так...

Доктор возразил на это, что утром, перед рабочим днем не мешает плотно поесть, набраться, так сказать, необходимых калорий. Джалил-муаллим с гостем спорить не стал.

— Может быть,— великодушно, не настаивая, сказал он.— Но у нас в семье еще во времена деда я помню за завтраком ели только так и все были очень здоровыми, нормальными людьми, никто никогда ничем серьезным не болел. И жили долго.

Врач приветливо попрощался, взял чемодан и пошел к выходу. Все встали и проводили его до дверей. В передней врач еще раз попросил заботливо Лейлу-ханум не опаздывать с анализами, поблагодарил за чай, приподнял над головой шляпу и поцеловал ей руку.

Джалил-муаллим посмотрел на это с отвращением и сразу же ушел в комнату. Когда врач обернулся, хозяина дома он не увидел. Он, наверное, удивился, но ничего не сказал. Только еле-еле заметно улыбнулся. А Джалил-муаллим подумал после его ухода, что врач этот, с виду вполне приличный человек, пожилой и благообразный, до сих пор не знает, как надо себя вести.

Джалил-муаллим спустился во двор. Солнце стояло уже высоко, и его лучи ощутимо припекали голову. Он некоторое время понаблюдал за пчелами, которые развили дневную деятельность, непрерывно транспортируя нектар от раскрывшихся цветов к ульям, но наблюдал рассеянно, не получая обычного удовлетворения. Он вскапывал теплую, еще влажную после утреннего полива землю грядок, стараясь найти в работе успокоение и разрядку. Обувь он снял и работал босиком. Он старался представить себе, как уходит в землю через кожу ступней напряжение, накопившееся в нем с утра, но сегодня почему-то вообразить это ему не удалось.

С половины брата доносились голоса. К нему пришли Манаф и его жена. Джалил-муаллим чувствовал, как он ненавидит и Манафа с его дочерью и женой, и Симурга, и больше всего себя.

Он не знал, о чем они говорят, но его остро раздражали звуки их голосов, сам вид их, снующих по двору его отцовского дома.

Всего его трясло от безудержной ненависти и злости. Джалил-муаллим яростно вскапывал землю, пот застилал ему глаза, и ему казалось, что мозг его плавится от злости и солнца. Он не знал, куда ему уйти от этого, и снова вспомнил услышанную ночью ссору на половине брата и почувствовал, как перехватило ему горло.

Если бы в этот момент кто-нибудь заговорил с ним, то ответа от него не сумел бы добиться, потому что Джалил-муаллим не в состоянии был разомкнуть стиснутые челюсти. Он отбросил лопату и бесцельно заходил по саду, не в состоянии остановиться и постоять на одном месте. Он ничего не видел и не слышал, кроме шума котлов, и ему вдруг показалось, что клетот этот раздается у него в голове, целиком заполняя ее и почти ощутимо пробиваясь на волю, силой раздвигая во все стороны стенки черепа.

Ему очень хотелось закричать, крик рвался из глубины души, но застревал в перехваченном горле. Он остановился, натолкнувшись на один из ульев, и в то же мгновение ему показалось, что душная волна изо всех сил упруго ударила его в лицо.

Вслед за этим пламенем обожгло ему кожу лица, шеи, плеч и груди, оставило вкус медного металла на языке и небе.

Он обеими руками стер с себя живой жужжащий слой пчел, которых бросил всем роем на его тело, излучающее пульсирующие жесткие волны ненависти и злобы, безотказно действующий слепой инстинкт самосохранения.

И тут он закричал первый раз в жизни. Страшен был этот крик, и слышно его было далеко за пределами двора.

Он стоял посреди своего двора и кричал брату все, что он о нем думает. О нем и его семье. Он прокричал все, что накопилось в его душе за долгое, бесконечно и мучительно тянущееся время, наступившее после того, как Симург вернулся домой из армии.

Джалил-муаллим кричал, а его безмолвно, в изумлении слушали все — и жена его, и дети, и все на половине брата. И в глазах их и в сердцах были тоска и страх...

Все сказал Джалил-муаллим в своем крике, все, что накипело у него на душе. Потом почувствовал себя плохо. Он прошел в дом, умылся холодной водой и прилег на кровать. Он трогал лицо и чувствовал кончиками пальцев, как оно отекает, потом он почувствовал, что ему не хватает воздуха. Джалил-муаллим подошел к окну и отворил его. Возвращаясь к кровати, он заглянул в зеркало и увидел, что лицо у него покрылось неровными багровыми пятнами. Он снова лег, попросил жену, чтобы она принесла ему мокрое полотенце на лоб, и прерывающимся голосом, но твердо приказал ей оставить его в покое и никакого врача к нему не вызывать. Потом все поплыло у него в глазах, и он зажмурился. Спустя какое-то время он увидел склонившегося над собой Симурга. Джалил-муаллим, качаясь, поднялся с кровати и показал Симургу на дверь.

— Убирайся, — сиплым шепотом сказал он. — Немедленно убирайся! Я же запретил тебе приходить сюда!

— Хватит! Слушай, хватит, наконец! — в отчаянии закричал Симург. — Ты же умираешь!

Джалил-муаллим с любопытством посмотрел на брата и увидел, что он плачет. Потом задумался и неожиданно для себя сказал так, как будто говорит не он, а за него кто-то посторонний:

— Да. Я умираю. — Он хотел сказать еще что-то, но вдруг увидел, что у Симурга седые виски, и это его очень удивило и огорчило.

Он стал думать, отчего это у Симурга могла бы поседеть голова, и не увидел, как брат побежал за врачом. Он не чувствовал, как врач, тот самый, который ушел от них два часа назад, трясущимися руками за неимением специальной сыворотки от яда делал ему укол кофеина, и не чувствовал, как Симург, обливаясь слезами, старался влить ему в рот хотя бы один глоток кофе. Он ничего этого не чувствовал, потому что говорил брату о том, как он его любит, и попросил его подойти поближе, чтобы он мог его обнять.

— Он что-то хочет сказать, по-моему, — прошептал врач, изо всех сил массируя ему сердце.

У Джалил-муаллима несколько раз еле заметно дрогнули губы. Ему было удивительно спокойно и хорошо так лежать в окружении всех своих родных. И он продолжал говорить. Он говорил, что ему очень жаль, что из-за каких-то нестоящих пустяков они столько времени не виделись, но, в общем, все это поправимо, лишь бы все были живы и здоровы и любили бы друг друга, как подобает родным людям. Он с изумлением спрашивал у Симурга: во имя чего столько времени они безжалостно мучали друг друга?

Он ощущал в голове необыкновенную ясность, и все чувства его были чрезвычайно обострены, но он не услышал, что ему ответил брат, потому что все звуки перекрывал с каждым мгновением все усиливающийся громоподобный рокот котлов.



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА

Роман

Хранитель гор

Мы вчетвером сидели на стволе поваленного бука, курили и ждали, когда машины отправятся. Здесь, на лесной поляне, образованной вырубками, стоял сильный запах свежей древесины. Справа в конце поляны виднелось деревянное строение, в котором помещались конторка лесорубов и ларек. Сейчас и то и другое было закрыто.

Возле конторки высились сложенные друг на друга розовые, свежошкуренные бревна. Такие же глыбастые, громадные обрубки были разбросаны по всей поляне. Казалось, их вынесла из леса вода, потом схлынула, а бревна так и осели здесь. На самом деле их сюда приволакивают из леса на тракторах, а уж отсюда везут на машинах вниз, в город.

Два тяжелых грузовика, уже нагруженные, стояли у конторки. Оба шофера вместе с местными сванами ушли домой к одному из них. Шоферы теперь живут в городе, и земляки при встрече с ними подвергают их ревнивой застольной проверке.

Это длительное застолье мы сейчас и переживали, сидя на стволе поваленного бука. Мы не боялись, что шоферы напьются, потому что на этих высокогорных дорогах встретить пьяного шофера так же маловероятно, как встретить лунатика на карнизе многоэтажного дома.

Вместе со мной на стволе сидели Котик Шларба, преподаватель сельскохозяйственного института, художник Андрей Таркилов и его друг из Москвы Володя, тоже художник.

Неделю мы провели на альпийских лугах, а сейчас возвращались в город. Вернее, ребята ехали в город, а я собирался спуститься до нарзанного источника, где должен был встретиться с дядей Сандро. Об этом мы с ним договорились еще в городе.

Сюда, к пастухам, нас пригласил родственник Андрея, заведующий колхозной фермой. Хотя самого заведующего к нашему приезду на месте не оказалось, мы чудесно провели время, может быть именно потому, что его не оказалось на месте.

И вот сейчас, после недельного отдыха в горах, после ледяного кислого молока, после вечеров у дымных костров, после длительных и безуспешных охотничьих прогулок по каменистым вершинам перевалов мы в ожидании машин сидим на стволе старого бука, греемся

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 8, 9 с. г.

на солнышке, изредка перекидываясь никчемными пустяками — за неделю обо всем наговорились.

Время от времени мимо нас проходят сваны-лесорубы, возвращаются из лесу домой или к своему летнему лагерю, разбитому возле речки. У одних за плечами топоры, у других механические пилы. Приблизившись, они здороваются и, окинув нас внимательным взглядом, проходят мимо.

Мне показалось, что они почему-то со мной здороваются дружелюбней, чем с остальными. Но потом, когда один из них обошел меня и оглядел сзади, я понял, в чем дело. Здоровались они не столько со мной, сколько с моим карабином, торчавшим у меня за плечом. А так как у других никакого оружия не было, только у Андрея была мелкокалиберная винтовка, почтительное внимание к моей особе было вполне оправдано.

Наконец возле машин появились люди. Двое полезли в кузов и стали стягивать тросами бревна, лежавшие там. Остальные, всего их было человек восемь, снизу подавали советы. Судя по несоразмерной громкости голосов, все они порядочно выпили. Через несколько минут двое из них отделились от остальных и направились в нашу сторону.

Один, более молодой, был одет в ватные брюки и старую ковычку с закатанными рукавами. Он был небрит, коренаст и откровенно пьян, что было заметно издали. Второй, маленький, сухонький, был в сапогах, широких галифе и узком черном кителе, наглухо застегнутом. Держался твердо и вид имел военизированный. В руке он сжимал блестящий топорик, напоминающий те самые топорики, при помощи которых домашние хозяйки разрубают мясо.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал он несколько скорбным голосом, остановившись вместе со своим спутником возле нас.

Мы встали навстречу обоим и поздоровались с каждым за руку. Несколько мгновений он оглядывал нас, отгоняя волны хмеля, помигивая пленчатыми веками и пульсируя желваками на сухом стянутом личике.

Обычно после такого тусклого приветствия спрашивают документы, но он ничего не спросил, а только сел рядом со мной. Возможно, из-за того же карабина он счел меня старшим в нашей группе, что не соответствовало истине, потому что старшим был Котик — и по возрасту и потому что хотел этого.

Второй сван, который был откровенно пьян, добродушно посапывая, присел перед нами на корточки, чтобы, видимо, общаться со всеми сразу. У него была тяжелая бычья голова выпивохи и голубые навывкате глаза. Время от времени голова у него падала на грудь, и каждый раз, подняв ее, он оглядывал нас с неизменным детским любопытством. Казалось, каждый раз поднимая голову, он заново удивлялся, не понимая, как мы очутились перед ним.

— Откуда будете? — все так же скорбно спросил сван в черном кителе, искоса оглядывая всех.

— Мы из города, а этот товарищ из Москвы,— дружелюбно и внятно сказал Котик, голосом показывая, что запасы его дружелюбия необъятны.

— Здесь что делали? — скорбя и удивляясь, спросил черный китель, повернувшись вполоборота. Одна рука его опиралась о колено, другая, та, что была поближе ко мне, опиралась о ручку топорика. Теперь было ясно, что он вдрабадан пьян, но изо всех сил сдерживается. Из всех пьяных самые опасные — это те, что стараются выглядеть трезвыми,

— Мы гостили у колхозных пастухов, наших хороших друзей,— все так же внятно и миролюбиво сказал Котик.

— Имени? — неожиданно спросил черный китель, помигивая плечатыми птичьими веками.

Стало тихо.

— Что значит имени? — в тишине спросил Котик.

— Имени — значит, имени,— твердо повторил черный китель, искоса оглядывая нас.

Второй сван, глядя на меня, делал мне какие-то знаки. Я никак не мог понять, что он своими пьяными знаками и кивками хочет мне сказать, и на всякий случай в ответ пожал плечами.

— Я не понимаю вас,— сказал Котик, отстаивая свое скромное право отвечать только на ясные вопросы.

— Здесь, в горах, несколько колхозов,— наконец объяснил лупоглазый, покачиваясь на корточках,— потому имени спрашивает...

— А, колхоз,— обрадовался Котик и оглянулся на Андрея.

— Имени Микояна,— едва скрывая раздражение, подсказал Андрей. Вся эта история его начинала раздражать.

— Правильно,— согласился черный китель и, сделав на лице гримаску человека, который знает больше, чем говорит, добавил: — Не обижайтесь, но это надо...

— Что вы! — воскликнул Котик.

— А вы кем работаете? — спросил я у соседа.

— Заместитель лесничего буду,— сказал он важно и стал расстегивать верхний карман кителя.

— Что вы, не надо! — сказал Котик и протянул руку, стараясь помешать ему.

— Шапку там у товарища забыл,— сказал он, ладонью неожиданно нащупав на лбу довольно заметный рубец от шапки. И было непонятно, рубец этот ему напомнил, что нет фуражки, или разговор о должности заставил его вспомнить о существенной части своей формы.

Обстановка явно разряжалась. Теперь заместитель лесничего не опирался на свой топорик как на эфес шпаги, а просто положил его на колени. Кажется, теперь он перестал сдерживаться и осоловел. Он уже не разглаживал на лбу рубец от шапки, а, поставив локоть на колено, свесил голову на ладонь и задремал.

Второй сван, словно дожидаясь этого мгновения, усилил свои дурашливые кивки и подмигивания. Наконец я его понял.

— Карабин? — спросил я.

— Продай,— радостно закивал он мне.

— Не продается,— сказал я.

— Тогда махнемся,— вдруг произнес он городское словечко.

— Нет,— сказал я, стараясь не раздражать его,— не могу.

— Я тебе немецкий автомат дам,— торопливо прошептал он,— потому что вот эти русские карабинчики спокойно не могу видеть.

— Нет,— сказал я, стараясь не раздражать его.

— Дай посмотреть,— сказал он и протянул руку.

Я вздохнул и снял карабин.

— Зачем тебе карабин, если у тебя автомат есть? — сказал я, стараясь возвысить его автомат за счет своего карабина.

Он щелкнул затвором и заглянул в ствол.

— Автомат для охоты не такой удобный, далеко не берет,— сказал он и поднял голову.— А патроны есть?

— Патроны далеко, в рюкзаке,— сказал я твердо.

Видно, он это почувствовал и, прицелившись куда-то, щелкнул курком.

— Вот эти русские карабинчики люблю,— сказал он, неохотно возвращая мне карабин.

Я взял карабин, повесил его за плечо и почувствовал облегчение от того, что все так хорошо кончилось.

— За сколько водолаза можно нанять? — вдруг сказал он.

— Зачем тебе водолаз? — спросил я.

— Одно озеро знаю,— сказал он просто,— на дне немецкое оружие. Водолаза хочу.

Мы рассмеялись, а парень снова задумался. В это мгновение черный китель поднял голову и начал что-то зыговаривать своему земляку. Сван, что сидел на корточках, добродушно оправдывался, поглядывая в нашу сторону как на союзников. Черный китель постепенно успокоился и на интонации мелкого административного раздражения замолк.

— Языки не распускай,— сказал он ему в конце по-русски и приподнял топорик с колен.

— Даже спрашивать не буду,— ответил ему сван и, обратившись на этот раз к Котику, спросил: — Водолаз сюда имеет право приехать?

— Обманывать не можем,— сказал Котик добродетельно,— но мы в таких делах не разбираемся.

— Что ты говоришь, кацо! — взвился черный китель.— Водолаз как может сюда приехать? Водолаз — государственный человек. Водолаз от моря отойти не имеет права. Ты что — райком, военком, сельсовет?!

— На один день водолаза хочу,— сказал молодой сван, ни малейшего внимания не обращая на эту грозную тираду,— сам привезу и отвезу, как министра.

— А ну, скажи, в каком озере лежит? — неожиданно с другой стороны атаковал его заместитель лесничего.

— Э-э,— лукаво протянул молодой сван и помахал толстым пальцем у переносицы,— это мой секрет. Кроме водолаза, никому не скажу.

— Привлеку,— сказал черный китель и, грустно покачав головой, посмотрел на лезвие топорика, словно читая на нем соответствующую статью закона.

— Скажите,— спросил я у него, слегка развеселившись,— для чего вам этот топорик?

В сущности говоря, если бы я не заметил на обушке этого топорика нечто вроде металлической печати, я, наверное, не спросил бы его об этом. Мне хотелось узнать, что он, собственно, им делает — скажем, ударом обушка отмечает сухостой, или делает какие зарубки, или это просто символ его лесной власти.

Как только я это сказал, рот его сжался в решительную полоску, птичьи веки остановились. Я почувствовал, что допустил самую страшную дипломатическую ошибку в своей жизни. Это было все равно что во время аудиенции у короля неожиданно щелкнуть пальцем по короне и спросить: «А для чего эта штука, старина?»

Он медленно встал, отошел на несколько шагов, повернулся и, прижав топорик к бедру, неожиданно взвизгнул:

— Граждане, документы!

— Товарищ, вы его не так поняли, — сказал Котик и, встав, с виноватой улыбкой стал подходить к нему.

— Граждане, документы! — снова взвизгнул черный китель и даже сделал шаг назад, чтобы не допускать с Котиком личных соприкосновений. При этом он чуть не наступил на второго свана. Во всяком случае, он столкнул его с корточек, и тот сел на землю,

в дурашливом недоумении растопырив руки: мол, вот что делает со мной власть, но при чем я?

Даже сваны, стоявшие у машины, услышали его голос и на несколько мгновений примолкли.

— Гено! — крикнул один из них и, видимо, спросил, в чем дело.

Гено снизу вверх оглядел маленькую гневную фигуру помощника лесничего и что-то сказал в том духе, что шутки с ним плохи.

В самом деле все это принимало дурацкий оборот. Черный китель шутить не собирался. Я заметил, что косточки на его кулаке, сжимавшем топорик, побелели.

Из нас четверых документы были только у Котика и у Володи. Володя уже рылся в рюкзаке. Котик протягивал свой документ. Это была красная книжечка — удостоверение внештатного лектора обкома партии.

Человек в черном кителе подержал в руке книжечку, бросил несколько взглядов с фотографии на оригинал и вернул ее хозяину. Видно, она на него произвела хорошее впечатление.

— А эти сопровождают? — спросил он и кивком головы объединил нас.

— Да, сопровождают, — сказал Котик с улыбкой и положил книжку в карман.

Человек в черном кителе медленно оглядел каждого из сопровождающих. И в этой медленности проявлялось уважение к своей должности. Володя, стоя, протягивал ему свой паспорт, но он не взял его. Андрей продолжал сидеть, несколько картинно развалясь, глядя на помощника лесничего с полупрезрительной усмешкой.

— Паспорт на карабин, — сказал он кротко, когда взгляд его дошел до меня.

В груди у меня екнуло. Никакого паспорта на карабин у меня не было. Я одолжил его у своего родственника, бывшего начальника городской милиции.

— Паспорта нет, — сказал я.

— Как нет? — заморгал он пленчатыми веками, отказываясь меня понимать.

— Карабин не мой, — сказал я, — я его одолжил.

— Ничего не знаю! — воскликнул он, взбадриваясь. — Может, одолжил, может, убил, может, отнял...

— Я знаю, — вмешался Котик, — он одолжил его у своего родственника, бывшего начальника городской милиции.

— Вот эти русские карабинчики, — сказал второй сван, глядя снизу вверх, — клянусь своими детьми, я больше всего на свете люблю.

— Ничего не знаю, конфискую! — воскликнул человек в черном кителе.

— Ну что вы, товарищ, — миролюбиво вразумлял его Котик, — как можно, что мы скажем его родственнику, когда приедем?

— Ничего не знаю, тем более бывший начальник милиции, — сказал он, все-таки оставляя маленькую лазейку для более широкой информации.

— Один хороший русский карабинчик, — восторженно сказал второй сван, — я уважаю больше, чем два немецких автомата.

— Языки не распускай! — прикрикнул на него черный китель, на что тот не обратил ни малейшего внимания.

— Его родственник, — сказал Котик, при этом Андрей весь перекорежился, — уважаемый в городе человек, и ему будет неприятно узнать, что вы конфисковали его карабин.

— Ха! Уважаемый! — воскликнул черный китель и взмахнул топориком. — Если уважаемый, зачем сняли?

Отсутствие более широкой информации он понял как наличие невыгодной для нас информации.

— Его не сняли, он на пенсию ушел, — сказал Котик.

— Не мое дело, — опять затвердил черный китель, — прошу передать карабин для выяснения принадлежности.

— Не вздумай дать, — сказал Андрей по-абхазски, — потом не получишь.

— Карабин я вам не дам, — сказал я очень твердо, потому что не чувствовал в себе этой твердости, — не вы мне его давали.

— Задерживаю вместе с карабином! — отрезал он и снова вскинул свой проклятый топорик.

И дернуло ж меня за язык! Промолчи я насчет его топорика, ничего бы не было. Я пожал плечами.

На грузовиках завели моторы, и они медленно задним ходом стали выезжать на дорогу. Сваны шли за грузовиками, словно подгоняли их.

— Нам пора, — решительно сказал Андрей и встал.

— Подождите, — приказал помощник лесничего, но, видно, он не ожидал такой решительности.

— Не горячись, Андрей, — бросил Котик по-абхазски.

— Мы тоже едем, — неожиданно сказал черный китель. Он несколько растерянно провел рукой по волосам.

— Это ваше дело, — холодно сказал Андрей и пошел дальше. Небольшого роста, коренастый и длиннорукий, он сейчас был похож на медвежонка.

Черный китель стал о чем-то просить молодого свана, как можно было догадаться, принести из дома, где они пировали, забытую фуражку. Дом этот, видный отсюда, стоял на той стороне реки, примерно в двадцати минутах ходьбы.

Молодой сван как раз подымался с земли и, распрямляясь, вдруг схватился за спину и громко охнул, как от внезапного прострела, не то вызванного просьбой помощника лесничего, не то самостоятельного. В обоих случаях жест его показывал на неисполнимость этой маленькой услуги.

Мы двинулись к машинам. Шоферы вышли из машин и вместе с остальными сванами дожидались нас.

— Я же не отбираю это геко, — кивнул лесничий более миролюбиво на спину Андрея. Мне показалось, что неудача с фуражкой несколько улучшила его тон. — А почему? Потому что карабин — боевое оружие.

— То-то же у вас здесь с автоматами бегают за оленями, — сказал Андрей, обернувшись.

— Как только обнаружим, отбираем! — крикнул ему черный китель.

— Знаем, у кого отбираете, — сказал Андрей не оборачиваясь.

— Не задирайся, Андрей! — крикнул ему Котик по-абхазски.

— Растак его, — ответил ему Андрей на том же языке не оборачиваясь.

— Или отдаст карабин, или задержу в сельсовете до выяснения, — сказал черный китель с новой твердостью. Видимо, он уже забыл о неудаче с фуражкой или его вдохновила близость остальных сванов.

Мы подошли к машинам.

— Как можно, — тихо возразил Котик, давая знать, что не стоит

Доводить до слуха остальных это непристойное, хотя, возможно, и случайное недоразумение,— мы же не оставим своего товарища...

— Ваше дело,— сказал черный китель громко, как бы силой голоса отвергая версию о непристойности или тем более случайности недоразумения.— Пусть кто-нибудь привезет хозяина карабина.

Этого еще не хватало! Молодой сван, восторженно кивая на мой карабин, выложил остальным суть дела. Несколько сванов сразу же заклокотали, обращаясь к черному кителю, и, как мне показалось, заклокотали доброжелательно по отношению ко мне.

Но тут черный китель вступил с ними в спор, время от времени бросая на меня злые птичьи взгляды, после чего обращал внимание сванов на свой топорик, который якобы я успел осквернить своим вопросом. Сваны оглядывали топорик, ища на нем скрытые следы осквернения.

Из всех сванов только один высокий старик с искривленным — как мне потом объяснили, ударом молнии — ртом сразу же стал его поддерживать. Он бросал на меня еще более злые взгляды, чем сам черный китель. Это был хозяин дома, у которого все они сейчас гостили.

Потом по дороге я узнал, почему он так злился на меня. Оказывается, у сванов, которые живут здесь почти на окраине альпийских лугов, а он один из представителей этих нескольких семей, давняя вражда с нашими пастухами.

Альпийские луга, куда несколько наших долинных колхозов перегоняют скот, эти сваны считают спорными, потому что сами они здесь живут рядом и они им очень удобны.

А спорными они их считают потому, что во время войны сюда из колхозов, естественно, никто не перегонял скот, а после войны нечего было перегонять. К тому времени, когда колхозы оправились, сваны привыкли эти луга считать своими. В первый год дело чуть не дошло до поножовщины. Теперь они смирились, но неприязнь осталась.

Я об этом так подробно говорю, потому что, если бы не этот старик, который терпеть не мог пастухов из долинных колхозов вместе с их гостями, чаша весов могла бы перетянуть на мою сторону. Свою небольшую, но вредную роль могла сыграть и та молния, которая по какой-то мистической случайности когда-то влетела ему в рот и, может быть, навсегда его ожесточила. Так или иначе, он угощал всех моих доброжелателей, и они в конце концов притихли и перестали спорить.

Правда, нам предстояло двигаться в одну сторону, и это нас временно сблизило. Котик, судя по всему, довольно удачно обрабатывал огромного свана из тех, что защищал меня, а потом отступился. Котик сел вместе с ним в одну кабину и крикнул мне:

— По дороге что-нибудь придумаем!

Меня как почетного преступника посадили в первую машину, остальные ребята устроились во второй. На подножках слева и справа от кабины устроились оба свана, те, что к нам подходили. Любитель русских карабинчиков стоял слева, а горный страж, теперь и мой страж, стал с моей стороны.

Когда нас усаживали, я предложил ему сесть в кабину со смутным расчетом загнать его тем самым в моральный тупик. Несмотря на мои уговоры, он с твердым достоинством отказался влезать в кабину, тем самым не давая мне поймать его на взаимном великодушии.

— Как можно, вы гость,— сказал он важно, давая знать, что соблюдение обычаев есть продолжение соблюдения законов и наоборот.

Я снял с плеча карабин, влез в кабину и уселся, поставив его между ног. Скинул полупустой рюкзак и задвинул его в угол сиденья.

Машина тронулась. Несколько сванов во главе со стариком, что поймал ртом молнию, стояли впереди машины. Мой страж что-то прокричал старику, по-моему, попросил присмотреть за его фуражкой, пока он придет. Старик ничего ему не ответил, и мы поехали дальше.

Положение мое осложнялось тем, что я сейчас вообще не собирался ехать до города. Я собирался доехать только до нарзанного источника, где отдыхал дядя Сандро. Мы с ним договорились там встретиться, и я думал провести несколько дней на водах в обществе дяди Сандро. Источник был расположен гораздо выше сельсовета, и, даже если бы мне с помощью моих друзей удалось там освободиться от моего стража, все равно было бы неприятно среди ночи переться назад к источнику.

Мы медленно двигались по лесу. Солнце еще не село. Лучи его озолачивали листья буков и каштанов, тронутые ранней горной осенью, и блестяли на ржавяющей зелени пихт.

Свежий дух слегка забродившей зелени времени влетал в кабину как бы в награду за достаточно зловонный запах араки, исходивший от моего сопровождающего, когда при толчках машины голова его слегка всовывалась в кабину.

Машина трудно двигалась по неровной колее, местами каменистой, местами перевитой обнажившимися корнями деревьев. Огромная тяжесть в кузове иногда так раскачивала корпус машины, что казалось, она вот-вот перевернется и раздавит кого-нибудь из стоящих на подножке. Шофер то и дело тормозил и переключал скорости.

Моего стража от раскачиваний и взбалтываний явно развезло. Он смотрел на меня тем всепрощающим взглядом, каким смотрят люди, когда их вот-вот вырвет. Пару раз, встретившись с ним глазами, я предложил ему занять мое место, но он, прикрывая пленчатые веки умирающего лебедя, отказывался.

Взгляд его делался все более всепрощающим, и я стал бросать на него умоляющие взгляды, прося простить меня за карабин. Сначала он меня не понимал и, взглянув на меня с некоторым недоумением, бессильно прикрывал веки. Потом понял и не простил. «Ты видишь, мне и так трудно, а ты еще пристаешь»,— говорил он взглядом. «Ну что вам стоит? Ну, я больше не буду»,— канючил я взглядом, дождавшись, когда он приоткроет глаза. «Ну, ты видишь, что мне и так трудно, а если я нарушу закон, мне будет еще трудней»,— объяснял он мне затуманенным взглядом.

Мы выехали из леса, и машина пошла по дороге над глубоким обрывом и скалистой мокрой стеной, с которой стекало множество водопадиков в тонкой водяной пылице. Когда машина в одном месте близко подошла к стене, мой страж почему-то посмотрел вверх, словно собирался кого-то там приветствовать. Но приветствовать оказалось некого, и он, неожиданно откинувшись, подставил голову под водяную струйку. И потом каждый раз, когда попадалась достаточно удобная струйка, он ловко откидывался и ловил ее головой. И уже оттуда, из-под струйки, в легком светящемся нимбе водяной пылицы успевал бросить на меня сентиментальный и в то же время недоумевающий взгляд.

Освежившись, он перенес топорик с правой руки в левую и освобожденной рукой, достав из кармана платок, стал утирать им лицо и волосы.

Держаться одной рукой за бортик открытого окна кабины, да еще сжимать в этой же руке топорик показалось мне настолько неудобным и даже опасным, что я решил помочь ему.

— Дайте, я подержу,— кивнул я на топорик.

Этой новой дерзостью, уже после того, как я был достаточно наказан за старую дерзость, я как бы доказывал ему, что и старой дерзости не существовало, во всяком случае не было злого умысла, а было глупое щенячье любопытство.

Он перестал протирать голову платком и долго смотрел на меня скорбным взглядом, все время покачиваясь и дергаясь вместе с машиной и все-таки не упуская меня из своего поля зрения.

Потом он, продолжая смотреть на меня, спрятал платок в карман, пригладил ладонью мокрые жидкие волосы, перенес топорик в правую руку. Казалось, взгляд его старается определить, можно ли за повторное оскорбление назначить новое наказание.

Я слегка заерзал, но взгляд его вдруг потеплел. Казалось, он решил: нет, повторного оскорбления не было, а была глупость.

— Давайте в кабину,— сказал я.

— Ничего, мы привыкли,— ответил он и отвел глаза.

— Вы знаете,— сказал я,— я не могу доехать до сельсовета.

— Почему? — спросил он.

— Мне надо у источника сойти.

— А мне еще раньше надо сойти,— сказал он.

— Почему? — спросил я.

— Потому что мой дом раньше,— сказал он и выразительно посмотрел на меня в том смысле, что служба и у него требует жертв, а не то что у нарушителей.

— Меня человек ждет на источнике,— сказал я,— понимаете, волноваться будет.

— Хорошо,— ответил он, немножко подумав,— ты слезай у источника, а карабин оставь.

— Без карабина я и так слезу где захочу,— сказал я.

— Тоже правильно,— согласился он.

— За этот карабинчик что я только не сделаю,— раздался голос Гено с той стороны машины.

Мой страж встрепенулся.

— Гено живет рядом с источником,— сказал он,— он передаст твоему товарищу, что я тебя задержал.

— Не стоит,— сказал я.

Конечно, дядя Сандро меня ждал, но не с такой уж точностью.

— Скажи имя, он пойдет,— настаивал страж.

— Сандро,— сказал я машинально.

— Сандро, но какой Сандро? — удивился страж.

— Сандро Чегемский,— сказал я.

— Сандро Чегемский? — переспросил он почти испуганно.

— Да,— сказал я, волнуясь. Я почувствовал, что имя на всех произвело впечатление.

— Уах! — сказал сван, молча сидевший между мной и шофером.— А кем он тебе приходится?

— Вообще мы родственники и односельчане,— сказал я, смягчая долей правды долю лжи.

Тут все сваны, включая шофера и Гено с той стороны, закотали перекрестным орлиным клетотом.

— Это тот самый Сандро,—спросил сван, сидевший рядом со мной,—который в двадцать седьмом году привез тело Петро Иосельяни?

— Да,—сказал я. Я что-то смутно слышал об этой истории.

— Петро Иосельяни, которого матрос убил на берегу?

— Да,—сказал я.

— Так за бедного Петро никто не отомстил,—вздыхнул шофер, продолжая внимательно всматриваться в дорогу.

— Двенадцать человек приехали в город, чтобы сжечь пароход вместе с матросом,—сказал сван, сидевший рядом со мной.

— Почему не сожгли? —спросил шофер, продолжая внимательно всматриваться в дорогу.

— Не успели,—сказал сван, сидевший рядом со мной,—пароход ушел в море.

— Успеть успели,—вдруг откликнулся Гено,—но их даже на пристань не пустили.

— Ты откуда знаешь,—обиделся сван, сидевший рядом со мной,—тебя еще на свете не было.

— Мой отец с ними был,—сказал Гено.—Петро — наш родственник.

— Языки не распускай! —вдруг крикнул мой страж, всунув голову в машину.—Пароход — нет, дерево и то никто не имеет права сжечь!

— Значит,—сказал сидевший рядом со мной, переждав разъяснение заместителя лесничего,—это тот самый Сандро из Чегема?

— Тот самый,—сказал я.

— Красивый старик, усы тоже имеет? —уточнил сидевший рядом сван.

— Да,—сказал я.

— В прошлом году, когда генерал Клименко приезжал на охоту, он сопровождал? —спросил мой страж, вглядываясь в меня.

— Да,—сказал я, стараясь не выпячиваться. Обстоятельства работали на нас.

— Генерал Клименко — прекрасный генерал,—сказал сван, сидевший рядом.

— Как маршал — такой генерал,—сказал Гено.

— И охота была большая,—сказал шофер, не отрываясь от дороги.

— Товарищ Сандро — уважаемый человек,—твердо сказал черный китель.

— О чем говорить! —воскликнул сван, сидевший рядом со мной.—Сопровождать генерала Клименко с улицы человека не возьмут.

— Сами знаем,—обрезал его мой страж.

Я почувствовал, что шансы мои улучшились. Взгляд заместителя лесничего не то чтобы стал дружелюбней, нет, теперь он острее всматривался в меня и как бы с любопытством обнаруживал под верхним порочным слоем моей души слабые ростки добродетели.

Уже смеркалось. Дорога все еще шла над пропастью, где в глубине слабо блестело русло реки. Отвесная стена сменилась меловыми осыпями, бледневшими в сумерках.

Метрах в ста впереди показалась машина. Она стояла у края дороги. Рядом с ней толпились несколько человек.

— Там авария случилась,—сказал сван, сидевший рядом со мной.

— Сорвалась машина? —спросил я.

— Языки,—неуверенно предупредил мой страж.

— Да,— сказал он, не обращая внимания на предупреждение стража,— слава богу, шла в город последним рейсом, мало людей было.

— Языки,— более строго вставил мой страж.

— Кто-нибудь спасся? — спросил я, понижая голос.

— Один мальчик,— сказал сидевший со мной,— выпал из машины и зацепился за дерево.

Мы подъехали к месту катастрофы, и шофер остановил машину. Все вышли из нее. Второй грузовик слегка приотстал. Я подошел вместе со всеми к обрыву.

Внизу у самой воды лежал продавленный, как консервная банка, автобус. Выброшенный ударом, один скат валялся на том берегу реки.

— Вот это дерево, за которое мальчик зацепился,— сказал сван, что сидел рядом со мной в машине.

На самом обрыве из расщелины в камнях подымался узловатый ствол молодого дубка с широкой кроной, похожей на зеленый парашют.

— Не надо, товарищи, ничего интересного! — крикнул мой страж, обернувшись ко второй машине.

Она только сейчас подошла, и те, кто в ней сидел, потянулись к обрыву.

Не обращая внимания на его предупреждение, все подошли к обрыву и заглянули вниз.

Вдоль обрыва стояли цементные столбики, даже на вид такие слабые, что, кажется, одним крепким ударом ноги можно снести любой. У автобуса отказали тормоза, и он вывалился в обрыв, сбив эти столбики, как городки. Каждый год в этих местах случаются такие вещи, и каждый раз, когда я узнаю об этом, возмущаюсь, думаю куда-то писать, кого-то ругать, но потом как-то забывается, уходит.

— Ну как,— подошел ко мне Котик,— уломал?

— Кажется, склоняется,— сказал я.

— Я своего тоже обработал,— сказал он,— вон разговаривает с ним.

В самом деле, черный китель стоял рядом со сваном из второй машины. Тот что-то говорил. Мой страж слушал его, склонив голову. Топорик свешивался в безвольно опущенной руке. Казалось, сейчас сам закон осуществляет свое законное право на отдых.

— Слушай, это правда,— крикнул мне Большой сван, одновременно кивком головы подзывая меня,— что Сандро из Чегема твой родственник?

— Да,— сказал я и, подходя, спиной почувствовал усмешку Андрея.

Большой сван, обняв меня одной, а моего стража другой рукой, сделал несколько шагов, как бы приглашая нас на миротворческую прогулку. Я охотно подчинился, но маленький страж, хотя и не сопротивлялся дружескому жесту, однако выпрямился и затвердел под его рукой, подчеркивая этим свою самостоятельность. Большой сван что-то ему мягко внушал, пока мы прогуливались возле машин, тот молча его слушал.

— Давайте в машины,— сказал наш шофер, и все потянулись к машинам.

— Нельзя, кацо, нельзя,— сказал по-русски Большой сван, когда мы остановились возле нашей машины.

— Посмотрим! — сказал мой страж и бодро вскинул топорик. Казалось, закон теперь приступил к своим обязанностям, но на этот

раз, может быть, для того, чтобы выслушать смягчающие обстоятельства. Большой сван сделал мне обнадеживающий знак, одновременно чмокнув губами и мигнув разбойничьим глазом, и отправился к своей машине. Шоферы завели машины, но тут черный китель неожиданно подбежал к третьей машине и стал яростно гнать людей в нее, хотя они и так уже собирались садиться, а шофер даже завел мотор и просто ждал, пока мы проедем.

Пассажиры этой машины, сопротивляясь его подталкиваниям, останавливались и спорили, как и все люди, которых подталкивают, когда они и так идут в ту сторону.

Наконец часть из них залезла в кузов, двое уселись рядом с шофером, и машина тронулась. Черный китель, упруго пятясь и делая топориком заманивающие жесты, как балетный колдун, провел машину мимо нас на более широкую незанятую часть дороги.

Когда грузовик проходил мимо, я обратил внимание, что шофер, стараясь не задеть нашу машину, на дорогу и тем более на стража с его заманивающими движениями не смотрит.

Я все еще не садился в машину, потому что на этот раз решил посадить его.

— Теперь вы садитесь,— сказал я, когда он, довольный проделанной операцией, вернулся к машине.

— Ничего, ничего,— замотал он головой и почему-то перебросил топорик из правой руки в левую и опустевшей рукой указал мне на кабину, что можно было понять, что жест этот личный, внеслужебный.

— Теперь вы садитесь, а я постою,— сказал я и тоже сделал жест в сторону кабины.

— Ничего, мы привыкли,— сказал он, склоняясь.

— Нет,— возразил я твердо,— сейчас вы садитесь.

— Не стоило,— сказал он и неохотно влез в кабину.

Я захлопнул за ним дверцу и, став на подножку, крепче ухватился за нижний край оконного проема. Машина тронулась.

Быстро темнело. Когда справа кончились меловые осыпи и снова навис над дорогой крутой склон, поросший лесом, стало совсем темно.

Шофер включил фары. То и дело скрежетали тормоза. Казалось, мотор все время делает физические усилия, чтобы не разогнаться всею тяжестью и не вывалиться в обрыв. Перед каждым новым поворотом шофер переключал скорость, и грузовик на мгновение останавливался, словно переводил дыхание.

Холодный сырой воздух то и дело обдавал из черного провала, на дне которого чем дальше мы ехали, тем полногласней шумела река. Пустотелые облака кроили и перекраивали небо, но все время то там, то здесь открывались большие звездные куски неба. Звезды вздрагивали и покачивались, словно отраженные от поверхности бегущей воды.

Машина все еще сильно кренилась, и я никак не мог привыкнуть к этому. Каждый раз казалось, что она вот-вот перевернется набок и придавит к стене. Я себя уговаривал, что ничего такого не может быть. Но через несколько минут машина снова накренилась и тело напряжилось, готовое кузнечьим скоком выпрыгнуть из катастрофы, хотя, конечно, выпрыгнуть было некуда. А главное, что каждый новый крен в самый момент крена казался сильнее, опасней предыдущего, но потом, когда машина выпрямлялась, становилось ясно, что он ничуть не больше остальных.

Держаться за край оконного проема было неудобно, и посте-

ленно руки мои оцепенели от напряжения и внимание сосредоточилось на том, чтобы удержаться на подножке.

Когда машина шла ровно, я почти отпуская руки, давая им отдохнуть, а потом снова изо всех сил сжимал их. Только теперь я оценил силу и цепкость заместителя лесничего.

Кстати, он почти сразу уснул, как только сел в кабину. Дремал и второй сван.

Сначала заместитель уснул, откинувшись на спинку сиденья, обеими руками, как убаюканного ребенка, придерживая на коленях топорик. Потом голова его стала сползать в угол кабины, оттуда, подгибаясь после каждого толчка, стала сползать вдоль дверцы, потом, изменив направление, слегка вывалилась в окно и уперлась мне в грудь.

Было что-то трогательное в этой доверчивой беззащитности, с которой она уперлась мне в грудь и спала, мирно посапывая. Руки все так же продолжали лежать на коленях, нежно придерживая топорик. Когда от толчков топорик сползал с колен, он не просыпаясь подтягивал его и, слегка поерзав ладонями по его поверхности, успокаивался. Так мать, спящая рядом с ребенком, не просыпаясь поправляет на нем одеяло.

Я старался не шевелиться, чтобы не разбудить его. Теперь я был уверен, что мы с ним поладим. Душа моя вздрагивала от нежности. Хотелось погладить его жидкие волосы, но я боялся его разбудить.

Дорога делалась все лучше и лучше, и машину уже не так раскачивало. Однако удерживать его упирающуюся мне в грудь голову становилось все трудней. Нельзя было шевельнуться, и я довольно сильно окоченел.

В конце концов я решился перенести его голову на спинку сиденья. Я уперся локтем правой руки в дверцу изнутри, осторожно приподнял его голову двумя руками и, продолжая упираться локтем в дверцу, положил ее на спинку сиденья. Голова не просыпаясь обиженно вздохнула. Так, бывает, крестьяне, осторожно взяв в руки тыкву, свисающую с плетня, перекадывают ее на более устойчивое место, чтобы она не оборвалась под собственной тяжестью.

Через несколько минут внезапно, словно от толчка, он проснулся. Он приоткрыл глаза и, не меняя позы, насторожился, словно пытался осознать, как и в какую сторону изменилась действительность, пока он спал, если она изменилась. При этом руки его, лежавшие на топорике, слегка сжались.

— Как спалось? — спросил я тоном дворецкого.

— Кто, я? — удивился он.

— Да, — сказал я.

— Я не спал, — проговорил он, прикрывая ладонью зевок, — это он спит.

Он кивнул на свана, сидевшего рядом, который и в самом деле спал. После этого он опять откинулся на спинку сиденья, точно повторив позу, в которой он проснулся. Он даже слегка прикрыл глаза. Все это должно было означать, что он и раньше не спал, хотя, возможно, и был похож на спящего человека. Не знаю, для чего ему надо было скрывать свой невинный сон. Во всяком случае, я огорчился. Я решил, что он внушает мне уверенность в надежности своего контроля надо мной.

Через несколько минут он вдруг тронул шофера за плечо, и тот остановил машину. Я почувствовал, что черный китель собирается выйти из машины, и заволновался. Он взглядом показал мне, что не прочь открыть дверцу кабины.

Я сошел на дорогу и стал в смиренной позе. В самом деле, я сильно волновался. Он открыл дверцу и, как-то хозяйственно пожевываясь от ночной прохлады, вышел.

Я продолжал стоять в смиренной позе, чувствуя, что эти мгновения сейчас решают мою судьбу.

И вдруг я почувствовал, как он почти не глядя слабым движением руки — топорик, успел я заметить, был в другой — направил меня в кабину.

Стараясь не создавать излишней суеты, я быстро проскользнул в кабину. Боком проскользнул, чтобы не слишком мозолить ему глаза этим несчастным карабином. И когда ровным ликующим толчком прикрывал дверцу, я успел заметить самое удивительное. Я успел заметить, как он с непостижимым лукавством отводит глаза от карабина, словно с ним, а не со мной условливаясь, что они друг друга не видели.

Он еще несколько секунд постоял, ожидая вторую машину, а потом, озаренный и даже слегка ослепленный ее фарами, взмахнул топориком, давая ей приказ держаться за нами. Наша машина тронулась, и он исчез в темноте.

— Он здесь живет, — сказал сван, сидевший рядом. Оказывается, он проснулся. Возможно, он даже проснулся от моей радости.

— Да, я понял, — кивнул я, чувствуя огромную доброжелательность к этому факту.

После физического и нервного напряжения сидеть в кабине было необыкновенно уютно и тепло.

— Знаете, хороший парень и грамотный, но немножко любит... — сказал сосед по кабине и, не найдя подходящего слова, покрутил ладонью в воздухе, как бы стараясь показать очертания отрицательных флюид, исходящих от самой его должности.

— Да, понял, — сказал я, чувствуя огромную доброжелательность ко всему, в том числе и к этим отрицательным флюидам.

Я ему рассказал о том, как мой страж пытался отрицать, что он спал. Сван расхохотался, шофер тоже стал смеяться, хотя он мог рассмеяться гораздо раньше, когда все это случилось. Впрочем, возможно, тогда он просто нас не слышал.

— Чего смеетесь? — вдруг отозвался Гено с той стороны.

Сван, сидевший рядом со мной, с удовольствием повторил мой рассказ, и они оба рассмеялись вместе с шофером.

— Значит, ты сам голову ему держал, а он говорит — не спал? — спросил у меня мой сосед, руками показывая на воображаемую голову.

— Да, — говорю.

— Ха-ха-ха! — снова рассмеялся он, откинувшись.

— Ха-ха-ха! — более сдержанно поддержал его шофер.

— Ха-ха-ха-ха! — громыхал снаружи Гено.

— Я думал, — говорю, — сванский обычай считает позором спать на людях, поэтому он отказывается.

Тут я, конечно, слукавил, чтобы кружным путем польстить сванским обычаям. Получалось, что если я что такие сомнительные сванские обычаи, то с каким почтением, можно было представить, я отношусь к истинным сванским обычаям.

— Гено, — крикнул мой сосед, — он думает, что по нашим обычаям в машине нельзя спать!

— Ха-ха-ха-ха! — засмеялись все трое.

— Я здесь стоя спал! — крикнул Гено.

— Сванские обычаи, — серьезно сказал мой сосед, — не разрешают спать, только если в доме гость.

— Ага,— кивнул я.

— А русские обычаи разрешают?

— Нет,— говорю,— русские обычаи тоже не разрешают.

— Гено,— крикнул он,— ты слышишь, русские обычаи тоже не разрешают!

— Слышу,— отозвался Гено.

— Ха-ха-ха-ха! — всех троих. «Вечная ирония жителей гор над жителями долин»,— подумал я.

— Обычай для силы сохраняют,— вдруг сказал он, отсмеявшись,— а большому народу зачем обычай, он и так сильный.

«В этом что-то есть»,— подумал я, хотя и не знал что именно.

Через несколько минут Гено что-то сказал шоферу, и тот затормозил. Они начали о чем-то спорить, и я почувствовал по доброжелательной властности, с которой он говорил, а потом просто протянул руку и дал несколько пронзительных сигналов клаксоном, что он входит в роль гостеприимного хозяина.

— Давайте с машины! — приказал он и соскочил сам.

Еще в кабине я заметил, что направо от дороги стоит дом на высоких сваях с освещенными окнами. Дверь в дом была распахнута, а на веранде стояла женщина и смотрела в нашу сторону. Мы вышли. После долгой езды приятно было стоять на земле.

— Вещмешок забыл,— сказал шофер.

Я полез в кабину и вытащил вплюснутый в угол кабины свой вещмешок. Я размял его и закинул за плечо. Ночь посветлела. С востока край неба над горой был озарен восходящей луной. Облака наконец замерли и ровной грядой стояли вполне, осеребрённые еще невидимой луной.

Женщина с корзиной в руке шла через двор. Из корзины поблескивали горлышки бутылок. Гено громко распоряжался. Когда подошла вторая машина, он велел так подогнать ее, чтобы она своими фарами освещала радиатор первой.

Все остальное произошло в несколько минут. Он вытащил из корзины кусок чистой мешковины и постелил на радиатор. Достал оттуда же буханку белого хлеба, открыл большой охотничий нож и раздражил ее, склонившись над радиатором и прижимая буханку к груди. Буханка скрипела, крупными ломтями отваливаясь и падая на мешковину. Потом вынул из корзины кусок сыра и, сладострастно выпятив губы, быстро настругал на хлеб сочащиеся полоски. Потом он так же быстро стал доставать из корзины стаканы и, еще доставая, дал жене какое-то распоряжение, и она проворно вернулась в дом.

Вытащив три бутылки и поставив две из них на огнедышащий стол, он начал разливать третью, вертикально опрокидывая бутылку с мутным араки. Огонь похмельного вдохновения придавал его движениям быстроту и щедрую соразмерность. Не успел он закончить розлив, как жена прибежала и, смущенно улыбаясь, поставила на радиатор недостающие стаканы.

Все, кроме шофера второй машины, столпились вокруг радиатора. Подняв капот своего грузовика, тот заглядывал в мотор.

Предчувствие выпивки как всегда создавало духовный подъем. Все испытывали взаимную приятность.

— А ну! — властно предложил хозяин и окликнул шофера второй машины.

Тот, не оборачиваясь, отказался, но после двух-трех повторных приглашений, вытерев руки ветошью, неохотно подошел к нам.

— Я же говорил,— сказал Котик, блестя глазами,— что все хорошо кончится,

— Как можно! — сказал Большой сван, стоявший рядом с ним.

Мы взяли в руки стаканы. Оба шофера, взяв по куску хлеба с сыром, стали закусывать, показывая, что пить не собираются. Андрей тоже было заартачился, и товарищ его из Москвы быстро убрал протянутую к стакану руку.

— Что ты делаешь, — тихо сказал ему Котик по-абхазски, — сейчас обидятся.

— Прошу извинить, ребята, — сказал Андрей, обращаясь к хозяину и морщась от неловкости, — просто я себя неважно чувствую.

— Пей, — сказал хозяин, голосом показывая, что ему сейчас некогда вдаваться в подробности.

Андрей взял стакан. Московский друг проворно последовал его примеру.

— Твой хвост меня просто смешит, — сказал Котик по-абхазски. Он любил Андрея и ревновал его к московскому другу.

— Прошу тебя, оставь его в покое, — ответил Андрей и опять сморщился.

— Давайте подыдем, — провозгласил хозяин, отсекая лишние разговоры, — за удачную дорогу, за наше знакомство, за то, чтобы никто ни на кого не обижался, тем более карабинчик на месте, — добавил он для ясности.

— Как можно, — сказал я.

И все выпили. Хлеб с сыром оказался очень вкусным. Хозяин разлил по второму стакану. Оба шофера, взяв по куску хлеба с сыром, отошли к другой машине. Гено что-то коротко сказал жене, и она ушла домой, а через минуту вернулась с двумя бутылками.

— Зачем? — сказал Котик, хотя глаза его масленисто заблестели.

Сыр был жирный, и после этой отравы есть его с хлебом было просто наслаждение. Хлеб этот, видимо, шоферы из города завозят.

Мы подняли по второму стакану.

— За хозяина этого дома, за чудесное сванское гостеприимство, за вечных хозяев этих вечных гор! — сказал Котик и выпил свой стакан.

— Спасибо, дорогой! — сказал Большой сван и выпил.

— Спасибо от имени вечных хозяев и вечных гор, — сказал второй сван и выпил.

— Гмадлаб, — сказал хозяин по-грузински и выпил.

Товарищ Андрея подождал, пока Андрей подносил стакан ко рту, и, убедившись, что другого пути стакану не будет, выпил свой. Все выпили, и всем еще сильнее захотелось есть жирный сванский сыр с белым хлебом.

Между тем над этими вечными горами появилась полная луна и, несколько смущаясь, что застала нас за этой трапезой, стала подыматься в небо. Так один мой знакомый, не успеешь где-нибудь расцелиться с друзьями, появляется, вооружившись своей смущенной улыбкой.

— Тебе туда, — сказал Гено и кивнул в сторону реки.

Там за рекой на пологом склоне был расположен нарзанный городок: балаганчики, шалаша, палатки самодельного крестьянского курорта. Где-то в середине городка подмигивал костер.

Мы выпили по стакану, а потом еще по одному. Гено хотел послать жену за новой бутылкой, но Большой сван и Котик решительно при молчаливом одобрении жены воспротивились.

Мы распрощались, и ребята вместе со своими попутчиками расселись по машинам. Завели моторы, и, пока вторая машина задним ходом выезжала на дорогу, Гено неожиданно вырвал из кармана

пистолет и дал в воздух несколько прощальных выстрелов. Из машин раздались радостные крики.

Жена Гено замахала рукой в сторону дома и что-то сердито прокричала мужу. По какой-то неуловимой интонации я понял, что она прокричала.

— Детей разбудишь, детей! — прокричала она.

— Может, провести тебя, — сказал Гено, пряча в карман пистолет, — или оставайся у нас?

— Спасибо, я пойду, — сказал я.

Мы братски расцеловались, и я протянул руку его жене. Она неловко перенесла корзину с правой руки в левую и, застеснявшись, протянула мне ладонь.

Я перешел дорогу. Высоко в небе серебрилась луна, покрывая дельту реки и нарзанный городок на той стороне колдовским светом. Лунное освещение делает землю пустынной, словно убирает с нее лишние предметы.

На той стороне костер все еще горел, и я был уверен, что вокруг него все еще сидят люди и слушают поучительные истории из жизни дяди Сандро.

— Насчет водолаза как брата прошу! — крикнул Гено.

— Хорошо, — сказал я и обернулся.

Жена его быстрой, легкой тенью пересекала двор. Он все еще стоял у ворот.

— Напиши на сельсовет, передадут! — крикнул Гено.

— Хорошо, — сказал я, — если договорюсь...

— Для Гено Йосельяни, не забудь! — крикнул он.

Я махнул рукой и стал спускаться вниз, к реке. После долгой езды и долгого стояния на одном месте идти было приятно и легко. Голова оставалась ясной и чистой, и, кроме приближающейся реки, пожалуй, в ней ничего не шумело.

...Забегая вперед должен сказать, что я так и не послал в горы водолаза. Иногда, почему-то по ночам, я вспоминал о своем обещании, и мне бывало совестно. Но дело в том, что у меня нет ни одного знакомого водолаза. А договориться с незнакомым водолазом, чтобы он поехал в горы на заработки, казалось мне делом подозрительным и маловероятным. Вообще, внизу, у моря, все это выглядит несколько фантастичным, точно так же как и наша долинная жизнь, когда о ней вспоминаешь где-нибудь в горах, на уровне альпийских лугов.

Дядя Сандро и его любимец

С Тенгизом я познакомился в доме дяди Сандро на пиршестве, устроенном по случаю благополучного выздоровления хозяина дома, который, по его словам, уже одной ногой был там, но вторая оказалась крепче и он удержался на этом берегу.

Во время одного довольно незначительного застолья, что было особенно обидно, дядя Сандро почувствовал себя плохо. Он почувствовал, что сердце его норовит остановиться. Но он не растерялся. Он ударил себя кулаком по груди, и оно снова заработало, хотя и не так охотно, как прежде.

И после этого всю ночь оно время от времени норовило останавливаться, как тяжело навьюченный ослик на горной тропе, но дядя Сандро каждый раз ударом кулака по груди заставлял его двигаться дальше.

Так или иначе, по словам очевидцев, в ту ночь у него хватило мужества и сил в качестве тамады досидеть за столом до утра.

Ранним утром он вышел из-за стола, распрощался с хозяевами и пошел домой. Говорят, он упал, открывая калитку собственного дома. Кто-то из соседей увидел распростертого дядю Сандро (поза неслыханная для великого тамады), поднялся переполох, собрались люди, и его внесли в дом.

Весть о случившемся через полчаса облетела жителей этого пригородного поселка и распространилась по городу. Сочувствующие толпились во дворе и в доме. Все предлагали свои услуги, а безутешный Тенгиз привез к нему тайное светило местной медицины.

Через несколько часов после падения дядя Сандро пришел в себя и увидел склоненное над ним лицо светила.

— Не обижайся, не узнаю,— оказывается, сказал дядя Сандро, довольно долго вглядываясь в него уже издавшими тот свет глазами.

Обрадовались близкие разумности его слов и правильности догадки.

— Где ж тебе его узнать,— отозвался Тенгиз,— под фатой содержим, как невесту.

Эта шутка окончательно вернула дядю Сандро к жизни. Он сразу же счел своим долгом объяснить окружающим, что упал не оттого, что был пьян, а оттого, что споткнулся о корень, высывавшийся из-под земли, у входа в его калитку.

— Ну, если дело в нем, я его сейчас вырублю,— сказал Тенгиз и вышел из комнаты.

Он вытащил из кухни топор, спустился к калитке и вскоре возвратился с корявым куском корня, похожим на отрубленную лапу дракона.

В последующие дни этот корень, слегка обструганный и вымытый, дядя Сандро, лежа в кровати, держал в руках и показывал навещающим его лицам как вещественное доказательство его падения под воздействием внешних сил, а не алкогольных паров.

Когда через два дня я его навестил, он лежал в кровати, держа в высунутых из-под одеяла руках этот узловатый, загнутый кусок корня величиной с хороший бумеранг.

Дядя Сандро молча указал им на стул, и когда я сел у его изголовья, он и мне, несмотря на протесты тети Кати, повторил версию своего падения, добавив, что ночью был ливень и корень сильно подмыло. Дав мне его понюхать, он вдруг спросил с хитровой улыбкой, не пахнет ли корень шелковицей.

— Вроде,— сказал я,— а что?

— А ты пораскинь умом,— сказал он, отбирая у меня корень и внюхиваясь в него.

— Опять за свои глупости,— отозвалась тетя Катя и, сунув в пузырек с валерьянкой сломанную спичку, стала капать ему в рюмку, губами считая капли.

— У меня на участке нет шелковицы,— сказал он, лукаво поглядывая на меня с подушки,— ближайшая — через дорогу у соседа... Соображаешь?

— Нет,— сказал я,— а что?

— Там эндурец живет,— проговорил дядя Сандро и кивнул с подушки в том смысле, что не все может сказать в присутствии жены. Я рассмеялся.

— Совсем с ума сошел, старый пьяница,— заметила тетя Катя ровным голосом, стараясь не сбиться со счета и не переплеснуть капавшее лекарство. Она подошла к нему и осторожно подала рюмку.

— Ишь ты, первача нацедила,— сказал дядя Сандро и, привстав с подушки, взял рюмку, сморщился, проглотил, еще раз сморщился, откинулся на подушку и выдохнул: — Если кто меня убьет, то это она... А ты напрасно смеялся, доживем до весны, увидим...

— Почему весной? — не понял я.

— Увидим, какое дерево начнет усыхать.— Приподняв корень одной рукой, он обхватил его в самом толстом месте другой. — Дерево, потерявшее такой корень, не может не высохнуть хотя бы наполовину... Тут-то вы, ротозеи, и поймете, что эндурцы повсюду свои корни протянули...

Я подумал, что дядя Сандро, стыдясь этого неприятного случая, а главное, стараясь отвести многолетние попытки тети Кати разлучить его с любимой общественной должностью, придал этому корню смысл мистического страшилища.

— В следующее воскресенье приходи,— сказал он мне на прощанье,— люди хотят отметить мое выздоровление.

— Клянусь богом, я пальцем не шевельну ради этой бесстыжей затеи,— сказала тетя Катя, скорбно замершая на стуле у его ног. Она это сказала, не меняя позы.

— А ты можешь и не шевелиться — люди все сделают,— сказал дядя Сандро и, сам шевельнувшись под одеялом, принял более удобное положение и понюхал корень, словно через этот запах проследивал за степенью опасности эндурских козней.

В воскресенье на закате теплого осеннего дня я снова поднялся к дому дяди Сандро. След вырубленного корня в виде глубокой выемки все еще оставался у калитки. Куда ведет оставшаяся часть корня, трудно было понять, потому что корень пролегал вдоль забора и с обеих сторон уходил в глубь земли. Разумеется, если разрыть улицу, можно было бы проследить, куда он ведет, но пока никто не догадался это сделать.

Еще внизу на тропинке я услышал сдержанный гомон голосов — гости были в сборе. Я поднялся.

Перед домом возвышался шатер, покрытый плащ-палаткой, для проведения в нем праздничного пиршества.

У входа в дом стоял брат дяди Сандро, тот самый старик Миха, который когда-то поручил мне передать брату жбан с медом. Рядом с ним, опершись на посох, стоял старый охотник Тендел, все еще глядевший пронзительными ястребиными глазами.

Миха меня сразу узнал и, пожимая руку, поблагодарил, что я не отказался прийти и отметить это радостное событие.

— И ты в свое время потрудился на него,— сказал он, напоминая про жбан с медом, в целости доставленный адресату.— И ты сделал что мог, как и все мы,— продолжал он, присоединяя меня к людям, которые честно исполнили свой долг перед дядей Сандро, как если бы дядя Сандро превратился в символ воинского или еще какого-нибудь общепринятого долга.

— Не узнал, не взыщи! — крикнул мне Тендел, сверля меня своими ястребиными глазами.

Миха объяснил ему мое чегемское происхождение и дал знать, что я здесь, в городе, при должности.

...Перед домом чуть левее шатра был разведен костер, на котором в огромном средневековом котле уже закипала мамалыжная заварка. Мужчины хлопотали вокруг огня. Рядом к инжировому дереву был привязан довольно упитанный телец.

В нескольких шагах от него молодой парень, видимо один из соседей, точил на точильном камне большой охотничий нож. Время от времени парень пробовал его, подымая рукав рубахи и сбрывая

с руки волосы. Бычок угрюмо косился на него, словно смутно догадываясь о назначении ножа. Бычка, конечно, пригнал брат дяди Сандро.

Я присоединился к тем мужчинам, которые спокойно и радостно дожидались ужина, живописно расположившись рядом на бревнах.

Есть какой-то особый смак в принятых в наших краях ночных бдениях у постели больного или даже в ожидании поминального пиршества (не к ночи будь сказано!), когда поминки связаны со смертью достаточно пожилого человека. Нигде не услышишь столько веселых или даже пряных рассказов о всякой всячине, как на таких сборищах. По-видимому, близость смерти или смертельной опасности обостряет интерес к ярким воспоминаниям жизни.

Вероятно, влюбленным вот так бывает особенно сладостно целоваться на кладбище среди могильных плит. Я-то никогда этого не испытывал, если не приравнять к могильным газовые плиты коммунальных кухонь, где в студенческие времена перед экзаменами случалось поздней ночью сживать с подружкой за учебниками в смутном страхе, усиливающим сладость объятий, перед командорскими шагами ее папаша в коридоре или, наоборот, перед тихими, призрачными шагами любопытствующей соседки.

Меня всегда потрясала в таких случаях ураганная быстрота и точность преобразования милого облика, не оставляющего никаких улик, кроме полыхающих губ и тупенького взгляда, устремленного в книгу!

Впрочем, я зарпортовался, потому что к этому дню ни о какой смертельной опасности не могло быть и речи. Дяде Сандро запретили вставать, но он настоял на том, чтобы находиться среди пирующих, и после небольшого совещания самых близких людей его решили вынести из дома и внести в шатер.

По этому случаю некоторые предложили кровать ввиду ее громоздкости заменить раскладушкой, а там уж, если иначе нельзя, перенести его на кровать.

Тетя Катя с ними согласилась, и сторонники раскладушки, может быть, боясь, что она передумает, стали поспешно перетаскивать дядю Сандро с кровати на раскладушку.

Сторонники цельнокроватного переноса дяди Сандро несколько растерянно следили за действиями сторонников раскладушки, время от времени переводя потухший взгляд на значительно обесцененную отсутствием дяди Сандро кровать.

Тетя Катя еще во время совещания по поводу способа перенесения дяди Сандро успела надеть на него чистую верхнюю рубашку и подала ему брюки, которые он сам надел под одеялом. Но сейчас, когда его перенесли на раскладушку и накинули на него сверху верблюжье одеяло и уже нетерпеливые сторонники раскладушки подхватили его и стали выносить, обнаружилось, что из-под одеяла высунулись большие голые ступни дяди Сандро.

— Что ж ты лежишь как мертвец! — всплеснула руками тетя Катя. — Мог бы сказать, если я забыла...

Она велела поставить раскладушку. что, кстати, очень не понравилось тем, кто ее собирался нести, и засуетилась в поисках носков. Она нашла носки и стала надевать их на упрямо негнувшиеся ноги дяди Сандро, что могло означать и недовольство ее забывчивостью, и желание взбодрить сторонников цельного переноса, дать им возможность выиграть время.

Дело в том, что когда обнаружилось голые ступни дяди Сандро и раскладушку пришлось поставить на пол, сторонники кровати оживились и решили хотя бы выйти из дому, впереди раскладушки,

чтобы перед теми, кто сейчас столпился во дворе, не выглядеть слишком смехотворно, спустившись во двор с пустой кроватью уже после того, как пронесут раскладушку с дядей Сандро.

И вот они ринулись с кроватью, пока тетя Катя надевала на негнущиеся ноги дяди Сандро наконец-то найденные носки. Чтобы дойти до веранды, надо было пройти сквозь три двери, что оказалось делом нелегким, учитывая громоздкость этого никелированного сооружения и сравнительную узость дверей, не говоря о довольно слабой конструктивной сообразительности несущих, усугубленную волнением, что идущие следом за раскладушкой попросят уступить им дорогу и выйдут вперед.

Все это не могло не отразиться на обращении с самой кроватью, особенно с ее решетчатыми никелированными спинками, которые вместе со скрипом колышущейся сетки издавали жалобные звуки.

Бедная тетя Катя сразу же отозвалась на эти звуки и, оставив раскладушку с дядей Сандро, присоединилась к несущим кровать, вскрикивая и причитая при каждом болезненном соприкосновении ее с дверными косяками. В конце концов причитания ее вызвали в дяде Сандро, которого несли следом, ревнивую досаду, и он проборотал что-то вроде того, что он вот, мол, не железный, а тем не менее никто не заботится о том, чтобы его несли поосторожней.

— Помнил бы об этом, когда пьешь,—ответила тетя Катя не оглядываясь.

Было забавно видеть, как выносили его с крыльца, а он важно лежал под живописно свисающим одеялом, важно прислушивался к нежелательной тенденции соскальзывания своего тела и, не проявляя никакой личной заинтересованности, давал мелкие наставления несущим его четырем парням.

— Ну, теперь напоследок не опозорьтесь,—сказал он, когда несущие его дошли до середины крыльца, а наклон раскладушки принял характер, угрожающий оползнем ее верхнему, наиболее плодотворному слою.

— Господи, хоть бы корень свой оставил,—сказала тетя Катя, теперь уже отставшая от несущих кровать и сейчас следившая снизу, как спускают дядю Сандро с крыльца, а он лежит и руками, высунутыми из-под одеяла, сжимает свой корень, как штурвал управления.

Дядю Сандро внесли в шатер и донесли до его середины, где уже стояла кровать, а у кровати тетя Катя, наклонившись, взбивала ему подушку. Пожурив ее за то, что она это делает тут, где люди будут есть, а не раньше, он дал перенести себя на кровать, а раскладушку велел сложить и приставить к спинке кровати, где она и стояла, как шлюпка, причаленная к большому кораблю на случай более мелководных надобностей.

Мы расселись на длинных скамьях, а точнее, на обыкновенных досках, положенных на кирпичи. Более широкие доски, наскоро приколотенные к подпоркам, служили столами.

Женщины стали раздавать тарелки с горячей мамалыгой, раскладывать из больших мисок куски дымящегося мяса, разливать алычовую подливу.

Высокий тонкий парень, не обращая внимания на шум готового вот-вот начаться ужина, стоя на табуретке, заканчивал электрификацию шатра. Это и был Тенгиз.

Минут десять—пятнадцать, пока мы рассаживались, он протягивал шнур, прикрепляя к нему патрон, и наконец ввинтил в него последнюю лампочку.

Рядом с ним возле табуретки стояла черноволосая миловидная

девушка с ярким румянцем на щеках, как потом выяснилось, вызванным ее смущением. Время от времени Тенгиз брал у нее из рук какой-нибудь инструмент, который она доставала из ящика, стоявшего у ее ног, или передавал ей сверху тот, что держал в своей руке.

Чувствовалось, что он все время подшучивает над ней, одновременно легко, с артистической небрежностью делая свое дело. Слов не было слышно, но атмосфера чувствовалась. Когда он ей сверху подавал щипцы, или кусачки, или молоток, он так вкрадчиво улыбался ей, так многозначительно задерживал руку, словно подсовывал не слишком благопристойную открытку.

Кстати, глядя на него, я вспомнил глупую молву о том, что он якобы незаконный сын дяди Сандро. Как и всякий человек, не верящий сплетне, я мысленно все-таки сравнивал внешность этого парня с внешностью дяди Сандро.

Разумеется, ничего похожего, кроме высокого роста, между ними не было. Парень этот был чернявый, худой, даже несколько инфантильного сложения, тогда как во внешности дяди Сандро стройность сочеталась с мягкой мощью.

Наконец Тенгиз ввинтил в патрон вспыхнувшую лампочку и уже без всякого заигрывания сам вбросил отвертку в ящик, словно энергия заигрывания переключалась в электрическую и, став общим достоянием, потеряла интимный смысл. Он соскочил с табуретки, и сразу же посыпалось со всех сторон:

— Тенго, сюда! Тенгиз, к нам!

Тенгиз развел руками и посмотрел на дядю Сандро, возлежавшего на кровати и оттуда благостным взором оглядывающего столы. Слегка улыбаясь, он протянул руку с корнем и указал ему на место рядом с молодыми женщинами, откуда он мог его хорошо видеть и слышать.

Мое место оказалось недалеко от него, и я с любопытством следил за ним и старался прислушиваться к тому, что он говорит.

Вскоре я узнал, что в доме у него стоит телевизор — первый в поселке, что он недавно провел себе телефон — тоже первый в поселке.

По поводу телевизора он сказал, что соседские дети устроили у него в доме кино, так что в доме теперь повернуться негде и он намерен в ближайшее время продавать билеты за вход, особенно когда будут показываться картины про шпионов или футбольные матчи с участием тбилисского «Динамо». Разумеется, это он сказал шутливо, как бы добавляя зрелищную притягательность своего дома к другим его притягательным свойствам. Без всякого видимого повода он также сообщил, что обсадил свой участок лавровыми деревьями.

— Сто корней лавруши, — сообщил он, — пускай растут...

Кстати, Тенгиз рассказал, уже обращаясь к более широкому кругу гостей, историю своего знакомства с дядей Сандро.

Оказывается, это было семь лет тому назад. Из районной милиции, где он до этого работал, он перешел работать в Мухус завгаром милиции. Квартиры у него сначала не было, и он пытался ее нанять в этом поселке, с тем чтобы попозже выбить себе участок и построить здесь собственный дом. Однако же домовладельцы, по его словам, узнав, где он работает, вежливо ему отказывали. Наконец он пошел к дяде Сандро. Дядя Сандро тоже спросил у него, где он работает. Тенгиз ему сказал, что он работает в гараже, а кому принадлежит гараж, не сказал. Вернее, даже не успел.

— Вот бы дровишки кто мне привез,— сказал дядя Сандро, услышав про гараж.

— Можно устроить,— сказал Тенгиз, и этот ответ дяде Сандро так понравился, что он его тут же впустил на квартиру, больше ни о чем не спрашивая.

Дядя Сандро в первые же дни рассказал ему о многих бурных событиях своей жизни, причем некоторыми из них он явно не стал бы делиться, знай, где тот работает -- не важно, в гараже он там или не в гараже.

Так или иначе, когда однажды Тенгиз вышел из своей комнаты в военной, мягко говоря, форме, дядя Сандро так растерялся, что вскочил со стула и отдал ему честь. Впрочем, увидев, что Тенгиз ему ничего дурного не собирается сделать, он окончательно подружился с ним.

Пока Тенгиз рассказывал, дядя Сандро лежа улыбался, доброжелательно слушая его и время от времени поднося к носу корень, нюхая его и опуская руку вдоль одеяла.

Все посмеялись этому приятному рассказу, а Тенгиз налил себе вина и, велев всем налить, посерьезнел, встал и произнес тост в честь дяди Сандро.

Тост его сначала с эпической медлительностью охватывал жизнь дяди Сандро в целом, а потом, как ствол дерева естественно растекается живой зеленью ветвей, оживил его многими частными подробностями.

По его словам, дядя Сандро шел по жизненному пути, стремясь украсить праздничные столы, если они ему попадались на пути, а если извилистый жизненный путь приводил его к поминальным застольям, ибо в жизни всякое бывает, он и тут не уклонялся и тут выполнял свой общественный долг с тем приличием, с тем печальным достоинством, который завещан нам дедами. Так что и тут бывали им довольны и родственники покойного, и соседи, и сам покойник, если ему дано оттуда видеть, что у нас тут делается.

В этом месте Тенгиз на мгновение остановился, чтобы разрешить этот дуалистический вопрос, и разрешил его в том смысле, что скорее всего умершим дано видеть многое из того, что делается здесь, хотя и не все, конечно.

Слушатели кивками и поддерживающими восклицаниями выразили согласие с его точкой зрения, но нашелся и скептик.

— Дай бог, чтобы мои враги так видели, как покойники видят,— сказал он и, оглядев застольцев, словно спрашивая: не хотите ли проверить? — окунул кусок мяса в подливку.

— Тоже верно,— вздохнули некоторые из сидевших поблизости, отчасти отвергая даже самую отдаленную возможность произвести над ними такого рода опыты.

— Какой светлой головой надо обладать,— продолжал Тенгиз,— я не говорю про седину, я говорю про содержание, чтобы в наше нелегкое время прожить, нигде не работая на себя, а целиком отдавая свою жизнь за наши с вами интересы. Да, за всю свою жизнь он нигде не работал, если не считать этого несчастного сада, который он сторожил три года, если не ошибаюсь?

Тут он обратил взоры к тете Кате как верной спутнице его жизни и правдивому свидетелю собственного тоста. Она стояла возле кровати дяди Сандро, куда ее, слегка подталкивая, вывели другие женщины, обслуживавшие столы, когда Тенгиз уже начал произносить свой тост.

— Он согласился сторожить этот несчастный сад только из-за коровы,— вставила она, краснея, как школьница,

Казалось, она хотела подчеркнуть, что это небольшое отступление от правил его жизни не было личной прихотью или легкомыслием, а только следствием крайней необходимости.

— Тем более,— сказал Тенгиз, благосклонно принимая эту справку, и, закончив тост, предложил последовать его примеру.

Гости, одобрительно пошумев, последовали.

Пока он говорил, дядя Сандро слушал его, кротко подложив одну руку под голову, время от времени, в самых патетических местах тоста, прикрывая веки, словно тихо удаляясь и снова возвращаясь в шатер. При этом губы его были слегка раздвинуты в прислушивающейся улыбке, которую можно было так расшифровать: «Интересно, вспомнит ли он об этом моем достоинстве? Ты смотри, вспомнил. Молодец. А теперь посмотрим... И об этом, оказывается, помнит... А теперь...»

В течение этого дружеского ужина Тенгиз то и дело пошучивал с сидящими рядом женщинами, которым он был явно приятен, иногда перекидываясь с дядей Сандро взаимной подначкой, иногда вставлял замечания в общий разговор.

Пил и ел он, как я заметил, очень мало. Он держал в руке складной ножичек и весь вечер обрабатывал не очень мясистый мослак, вырезая из него маленькие ломти мяса, и равнодушно отправлял их в рот, бросая шуточные замечания.

— Темный человек,— сказал он одному из соседей, который собирался поехать в деревню и проведать больного родственника,— зачем ехать, когда у меня телефон. Завтра позвоню в сельсовет и все узнаю...

Казалось, он страдал от того, что телефоном его никто не пользуется в отличие от телевизора. Жители этого поселка, в основном выходцы из абхазских горных деревень, прекрасно обходятся без телефона, предпочитая переключаться, благо местность здесь холмистая и звук хорошо движется во всех направлениях.

За весь вечер он так и не выпустил из рук эту неистощимую кость и, казалось, был главным образом озабочен придачей ей какой-то определенной скульптурной формы, а мясо отправлял в рот только для того, чтобы не сорить вокруг. Он действовал, как опытный косторез. Позже я убедился, что он может быть и опытным костоправом.

Не буду скрывать, что я незаметно попал в небрежные сети его обаяния. Хвастовство его носило настолько откровенный характер, что даже украшало его. Возможно, я ему тоже понравился, потому что к концу ужина мы оказались рядом. Узнав, что я интересуюсь горной охотой, он сказал, что охота — его любимое развлечение, что у него есть друзья сваны, которые приведут нас в такие места, где столько дичи, что ее можно просто палкой бить.

— Приготовься, дам знать, когда можно будет ехать,— сказал он, продолжая обрабатывать свою кость, время от времени слизывая с лезвия ножичка кусочки мяса.

Поздно ночью, когда закончился ужин, мы с Тенгизом распрощались с дядей Сандро и спустились на улочку, ведущую к шоссе.

— Шухарной старик,— захлопывая калитку, сказал он,— я его от души...

— Он тебя тоже,— ответил я и заметил, как Тенгиз в знак согласия кивнул головой.

Ночь была свежая, звездная. В воздухе стоял запах перезрелой «изабеллы» и сохнувшей кукурузы.

Когда мы поравнялись с его домом, он стал уговаривать меня, чтобы я остался у него ночевать. Я его поблагодарил, но отказался, ссылаясь на то, что меня ждут дома.

— Позвони от меня,— предложил он и в качестве приманки добавил: — Я тебе расскажу, как я охотился с одним маршалом, когда он отдыхал в Абхазии.

— У нас телефона нет,— сказал я, чувствуя, что на сегодня мне хватит.

Мы распрощались, и я стал спускаться к шоссе. Впереди и позади меня шли по домам гости дяди Сандро, громко разговаривая и окликая друг друга.

* * *

Дней через двадцать дядя Сандро появился у меня в редакции. Он уже был вполне здоров, и я его несколько раз мельком встречал в кофейнях. Сейчас он выглядел взволнованным.

— Что случилось? — спросил я, вставая и показывая ему на стул.

— Над женой надругались,— сказал он, продолжая стоять.

— Кто, где? — спросил я, ничего не понимая.

— Директор поликлиники в поликлинике,— сказал он и выложил подробности.

Оказывается, в новооткрытой коммерческой поликлинике, куда тетя Катя пришла лечить зубы, ей обещали вставить золотые коронки, а потом в последний момент отказали, ссылаясь на отсутствие золота.

И главное, что сами же ей предложили вместо четырех коронок вставить шесть, хотя дядя Сандро и тетя Катя просили насчет четырех зубов. И вот теперь, по его словам, заточив ей два лишних зуба, чтобы удобней было коронки вставлять, они говорят — золото в этом квартале кончилось, пусть подождет еще месяц, тогда, может, дадут золото.

— А как ждуть бедной женщине,— продолжал дядя Сандро,— когда она говорить не может и кушать не может. Ну, то, что говорить не может, это даже неплохо, но то, что кушать не может,— это слишком.

— Да что же там могло случиться?

— Вот пойдём, узнаешь,— сказал он, и я, закрыв двери кабинета, вышел вместе с ним из редакции.— Я думаю,— продолжал он по дороге,— они ждали ревизию и, чтобы показать, что золото не только продают спекулянтам, но и вставляют населению, дали обещание, да еще два лишних зуба прихватили для плана. А теперь или с ревизией нашли общий язык, или ревизию отменили.

Мы завернули за угол, прошли два квартала и подошли к поликлинике. На тротуаре в тени платана стояла тетя Катя, скорбно прикрыв рот концом черного платка, которым была повязана ее голова. При виде меня она изобразила на лице морщинистую гримаску, в центре которой, спрятанная под платком, по-видимому, должна была находиться смущенная улыбка. Потом она с упреком, как на виновника надругательства, посмотрела на дядю Сандро.

— Я при чем? — сказал дядя Сандро, пожимая плечами.

— Ты меня надоумил,— сказала она сквозь платок,— я бы вырвала больной — и дело б с концом.

Она говорила тихим, ровным голосом, стараясь, видимо, не раздражать боль.

— Больно? — спросил я.

— Так не больно, когда воздух ударит — прямо дырявит, — сказала она и, помолчав, добавила как о нравственном страдании, усугубляющем физическое: — Говорить не могу.

— А ты и не говори, — сказал дядя Сандро.

— Тебе бы этого только и хотелось, — сквозь платок скорбно проговорила она.

— Ничего, тетя Катя, мы сейчас, — сказал я бодро, чтобы самому настроиться на решительный лад.

— Подожди нас здесь, — сказал дядя Сандро, и мы направились к входу.

— А то улечу, — вздохнула она нам вслед.

— Что интересно, — заметил дядя Сандро, когда мы вошли в поликлинику, — с тех пор, как боль не позволяет ей говорить, еще больше говорит.

Мы прошли по коридору, где тут и там на скамьях сидели люди с лицами, искаженными зубной болью или окаменевшими в мрачном ожидании встречи с бормашиной.

Мы подошли к директорскому кабинету. Я приоткрыл дверь и увидел маленького человека в белом халате, сидевшего за столом и разговаривавшего с другим человеком в белом халате.

Когда я открыл дверь, оба посмотрели в нашу сторону. Несколько секунд тот, что сидел на директорском месте, раздумывал, стараясь понять, случайно ли я оказался в дверях с дядей Сандро или мы представляем единую сомкнутую силу. По-видимому, решил, что мы вместе.

— Одну минуту, — сказал он, сверкнув золотыми зубами, — сейчас освобожусь.

Я закрыл дверь.

— Нету золота, — проворчал дядя Сандро, — а сам работает тут два месяца — и уже полон рот золота...

Мы постояли с полминуты, прислушиваясь к глуховато доносившимся голосам из кабинета. Голос директора стал громче, видно, он куда-то позвонил. Вдруг дядя Сандро приник головой к дверям. Мне стало неловко. Я отошел и сел на скамейку рядом с несколькими мрачными пациентами, дождавшимися своей очереди. Дядя Сандро продолжал прислушиваться к тому, что происходит в кабинете. На него никто не обращал внимания.

Я смотрел в глубину коридора, где время от времени появлялись сестры и врачи в белых халатах, и у каждого в руке были какие-то бумаги или журналы с историями болезней. Я боялся, что кто-нибудь из них подойдет к директорскому кабинету. Но никто не подошел и не обратил внимания на дядю Сандро. Каждый был занят своим делом.

Наконец дядя Сандро оторвался от двери и подошел ко мне.

— Про тебя говорил, — кивнул он в сторону кабинета.

— Про меня? — переспросил я, почему-то уверенный, что это не сулит ничего хорошего.

— Спрашивал у кого-то по телефону, — объяснил дядя Сандро, — тот ему сказал, что ты некрепко сидишь на месте.

— Почему? — спросил я, хотя я сам знал почему.

— Они подозревают, что ты донес Москве про козлотура, — сказал дядя Сандро и с любопытством заглянул мне в глаза. — Они говорят, что редактор только и думает, как от тебя избавиться...

Настроение у меня испортилось. Этот подлый слух начал мне надоедать. Главное, почему надо было доносить, когда материалы о козлотуре печатались в местной прессе и даже один из них был перепечатан в Москве?

Дверь директорского кабинета открылась, и отсюда вышел человек, который сидел спиной к нам. Он тоже держал в руке толстый журнал. Проходя мимо, он мельком как-то нехорошо взглянул на меня, словно знал обо мне какую-то неприятную тайну.

— Пригрозил фельетоном,— шепнул дядя Сандро, когда мы входили в кабинет.

— Пожалуйста, присядьте,— сказал директор, кивнув на стулья. В тоне его была доброжелательность человека, который уверен в своих картах.

Мы продолжали стоять.

— Я уже говорил товарищу Сандро,— продолжал он,— мы не виноваты, что так получилось. В этом квартале нам отказали в материале...

Он развел руками в том смысле, что обстоятельства сильнее наших добрых намерений.

— Но в какое положение вы поставили женщину,— сказал я,— вы ей сточили зубы, она не может ни есть, ни говорить...

— Я же говорил товарищу Сандро,— сказал он, энергично взмахнув рукой в сторону дяди Сандро,— мы ей можем вставить металлические коронки, кстати, это и прочней и гигиеничней...

Я повернулся к дяде Сандро.

— Что ж, моя жена,— сказал он,— как ведьма, будет ходить с железной челюстью?

— Это все предрассудки, товарищ Сандро,— бодро склонился директор в сторону дяди Сандро.— Металлические коронки старой женщине больше к лицу.

— Вот и вставь своей,— сказал дядя Сандро.

— Товарищ Сандро, прошу не грубить.— Он выставил ладони, словно щитки, на которых написан размер наказания за грубость.

— Как моей — так можно, а как твоей — так грубить!

— Ваша жена — наш пациент. А моя жена тут ни при чем.— Он опустил щитки ладоней на стол, но зато в голосе его появился металл. Может быть, тот прочный, гигиенический, из которого делают коронки.

— Ты же мне сам говорил, что вместо четырех надо шесть, а теперь ни одного?

— Я же вам говорил,— снова начал он,— нам недодают золота.

Мы вышли.

— Надо было пригрозить фельетоном,— сказал дядя Сандро, когда мы проходили по коридору,— да, видно, толку от тебя никакого не будет. Придется опять моего Тенго просить...

Мы вышли из поликлиники и подошли к тете Кате, которая так и стояла в тени платана, прикрыв рот концом черного платка.

— Ну, и что сказал? — спросила она сквозь платок голосом человека и не ожидающего ничего хорошего.

— То же, что и говорил,— ответил дядя Сандро,— этот бедолага не то чтобы нам помочь, сам, оказывается, еле держится... Сейчас съезжу к Тенгизу — он им покажет... А ты никуда не уходи. Вон там сядь на скамейку и жди,— он кивнул на сквер через улицу,— если кто будет заговаривать, не отвечай, притворись немой.

Дядя Сандро повернулся и, не прощаясь со мной, решительно отправился в сторону автобусной остановки. Мне было неприятно за свое бездарное участие в этом деле и жалко тетю Катю, так и оставшуюся стоять с ртом, прикрытым концом черного платка.

— Иди, сынок,— проговорила она сквозь платок,— что ж делать... И тебя потревожили...

Понурившись, я пошел к себе в редакцию.

Перед самым концом рабочего дня к мне вошел дядя Сандро.

— Выйдем, — сказал он властным тоном человека, который одаривает вас жизненным уроком. Я поплелся за ним.

Мы спустились вниз. Тетя Катя стояла возле редакции. Она все еще прикрывала рот концом платка, но теперь она это делала совсем по-другому. Так девушка, впервые накрашившая губы, прикрывает их от знакомых.

— А ну улыбнись! — сказал дядя Сандро, подходя к ней.

— Отстань! — сказала тетя Катя, стараясь скрыть смущение и не решаясь отодвинуть от губ конец платка.

— Совсем поглупела? — строго посмотрел сверху дядя Сандро.

— Ну что тебе? — сказала тетя Катя и, отодвинув платок, смущенно улыбнулась золотом зубов. — Кажется, вроде все смотрят мне в рот.

— Ну что, — обернулся ко мне дядя Сандро, — хорошо подковали мою старушку?

— Замечательно, — сказал я, глядя, как тетя Катя снова, приподняв платок, осторожно спрятала в него свое золото.

— Теперь понимаешь, что за человек мой Тенго?

— Но где он взял золото? — спросил я.

— Ха! — воскликнул презрительно дядя Сандро. — Где он взял? Да ты спроси, как было!

— Как было? — спросил я, и он мне рассказал, как было.

— Когда мы на мотоцикле с грохотом подкатили к этой поликлинике, все окна распахнулись и они поняли — дело плохо. Тенгиз не выключил свою машину, и мы прошли внутрь. Пока шли по коридору, двери приоткрывались и оттуда тоже высовывались эти жулики, и только мы поравняемся, как двери под взглядом Тенгиза хлоп! хлоп! хлоп! Тенгиз распахивает дверь директорского кабинета — никого. Успел сбежать. Теперь я спрашиваю: что бы ты делал на месте Тенго? Ты бы, как нищий пенсионер, стоял бы в дверях и ждал, пока он вернется. Что сделал Тенгиз? Тенгиз вошел в кабинет и сел на директорское место. Только сел, зазвонил телефон. Берет трубку. «Алло», — говорит и смотрит на меня. Тот, видно, спросил, кто говорит. «Тенгиз говорит, — отвечает, — начальник автоинспекции эндурской дороги». Тот, видно, спрашивает, где, мол, директор. «Директор в бегах, — говорит, — как раз мы его ищем. Есть подозрение, что сбежал с казенным золотом. Дороги перекрыты». Тот, видно, испугался и, ничего не ответив Тенгизу, положил трубку. А Тенгиз спокойно набирает номер и разговаривает со своими знакомыми. И что же ты думаешь? Через пять минут директор, как побитая собака, входит к себе в кабинет, а Тенгиз — ах, ты мой Тенго! — продолжает говорить по телефону, только теперь не на меня смотрит, а на директора. Рукой показывает ему: садись! — но тот не садится, потому что хочет в свое кресло сесть. Наконец Тенго кладет трубку и смотрит на директора. «Что скажешь?» — спрашивает Тенго. «Я уже все сказал», — говорит директор, как будто бы сердится, а на самом деле боится. «Зато я еще не все сказал, — отвечает Тенгиз, — потому что я не выношу, когда обижают старушек, особенно таких добрых, застенчивых старушек, как наша тетя Катя. И притом чистоплотная старушка. Если, — говорит, — в доме ничего нет, одну лобию подаст, но в таком виде, что пальцы съешь. И вот когда обижают таких старушек, когда им путем обмана стачивают зубы, а потом вместо золота предлагают железо, я, — говорит, — бросаю эндурскую дорогу и выхожу на защиту. А в это время эндурские подпольные фабриканты через левых

шоферов провозят левые бесфактурные товары». В общем, такую речь сказал Тенгиз, что я чуть не заплакал. Но директор наоборот; видно, он решил, что Тенгиз дает слабину, раз говорит про добрых, застенчивых старушек. Но он ошибся, дурачок, потому что Тенгиз никогда не дает слабину, а всегда свой подход имеет. «Что вы мне лекции читаете,— говорит директор громко, чтобы сотрудники слышали, какой он храбрый,— у нас нет золота и вообще встаньте с моего места». «У вас золото есть»,— отвечает Тенгиз и так спокойно пробует открыть ящик стола, как будто надеется, что там золото лежит. «Не трогайте ящик!»— кричит директор и подбегает к нему. Оказывается, это как раз и надо было Тенгизу. Как ястреб цыпленка, Тенгиз цап его одной рукой за подбородок! Честно скажу, это мне не понравилось, черт с ним, думаю, лучше бы моя старушка с железной челюстью ходила. У директора рот разинулся, слова сказать не может, почернел. «У тебя во рту,— говорит Тенгиз, держа его за подбородок и раскачивая ему голову,— хватит золота на двух старушек, и я это тебе докажу совершенно официально, как старший автоинспектор эндурской дороги». С этими словами он его отпускает, клянусь прахом отца, отряхивает руки, и мы выходим. «Приведи тетю Катю,— говорит он в дверях,— а он пока вспомнит, где у него золото лежит». Одним словом, как видишь, и золото нашли, и старушку мою подковали, и ни копейки денег не взяли.

— Как, ни копейки?

— Налог государству уплатили,— добавила тетя Катя,— а так им ничего не дали.

— А собирались пятьдесят рублей дать,— добавил дядя Сандро.

— Могучий человек! — сказал я вполне искренне.

— А как же,— заключил дядя Сандро,— на эндурскую дорогу всякого простачка не поставят.

Они пошли. Я еще некоторое время постоял, глядя им вслед,— аккуратная старушенция в черной шали и высокий стройный старик рядом. На самом углу они остановились, встретив какого-то знакомого. Дядя Сандро сделал жест в сторону тети Кати, и я понял, что заново излагается эта история. Я вошел в редакцию.

Не знаю, точно ли так происходило то, что рассказывал дядя Сандро, но примерно через месяц я убедился, что Тенгиз — человек самого решительного свойства, а эндурская дорога таит в себе немало опасностей.

* * *

В этот воскресный день мы с Тенгизом договорились, что он довезет меня на своем мотоцикле до поворота на село Атары, куда я ехал к родственникам. Это было для него не слишком обременительно, потому что он сам каждое воскресенье отправлялся в деревню к своим родственникам, а они жили дальше, по пути.

Он подъехал ко мне домой, я уселся в коляску, и мы выехали из города. Был хороший солнечный день, и мы быстро катились вдоль моря по эндурскому шоссе. Километрах в десяти от города Тенгиз вдруг резко затормозил, и мотоцикл остановился.

— Что случилось? — спросил я.

— Надо проверить,— кивнул он назад, скидывая мне на колени свои гладиаторские перчатки,— эндурские аферисты.

Я оглянулся и увидел далеко позади обыкновенную полуторку. Она догнала нас и теперь проезжала мимо. Тенгиз приподнял руку и небрежно махнул им. Я заметил, что в кабине сидели два человека. Проехав еще метров двадцать, машина, как мне показалось, неохотно остановилась.

Я до сих пор не понимаю, как он узнал эту машину, потому что он ни разу не оглянулся за все время, пока мы ехали из города. То ли он узнал ее по звуку мотора, то ли увидел в своем зеркальце, а может, он по каким-то своим сложным автоинспекторским расчетам определил, что она именно в это время должна появиться здесь, подобно тому как астрономы заранее определяют время сближения небесных тел.

Так или иначе, машина остановилась, и Тенгиз направился к ней своей ленивой, расслабленной походкой.

Сидя в коляске, я увидел, как он подошел к кабине и, поставив ногу на подножку, разговаривал с шофером. Изредка до меня долетали отдельные слова, из которых мало что можно было понять, да я и не старался вникать в них.

От нечего делать я надел на руки его перчатки. Они были тяжелые, и я почувствовал себя по локоть погруженным в средневековье. Я почувствовал, что центр тяжести моей сущности переместился в сторону моих утяжеленных рук. Я почувствовал легкое желание сжать в этих турнирных перчатках рыцарское копьё или меч.

Через мгновение, по-видимому, отсутствие остальных рыцарских доспехов вернуло меня в обычное миролюбивое состояние, и я задремал, ощущая на своем лице тепло осеннего солнца и слыша за эвкалиптовой рощицей шум моря. Спросонья я улавливал отдельные слова, которые долетали до меня от машины. Так они разговаривали минут пять или десять.

Потом я открыл глаза и увидел, как из машины высунулась толстая красная рука шофера, закатанная по локоть. Он протягивал Тенгизу какую-то бумагу. Возможно, это был наряд. Лицо Тенгиза изменилось. Его горбоносый профиль принял насмешливое выражение, как у Мефистофеля, которому подсовывают поддельную индугенцию. Он и настоящей-то индугенции знает цену, а тут еще поддельная. Он бросил на нее один только взгляд и с легкой досадой протянул в окно. До меня донеслось:

— Показывай... бабушке...

Они говорили еще некоторое время, а Тенгиз все стоял в той же расслабленной позе, опершись ногой о подножку машины, а шофер, видимо, ему что-то доказывал. Я даже про себя удивился терпению Тенгиза, а главное, его добросовестности. Все-таки у него был выходной и он мог бы дать себе отдых.

Но вот что происходит дальше. Рука из кабины подает ему какой-то документ, по-видимому шоферскую книжку, и Тенгиз не глядя сует ее в карман и идет к мотоциклу. Но тут открывается дверь кабины с противоположной стороны, и шофер быстро догоняет его.

Это парень лет тридцати, небольшого роста, очень коренастый, с небритым лицом, с красными, вроде от недосыпа, веками. Он идет рядом с ним и что-то говорит, и я обращаю внимание на его широкие плечи и невероятно толстые руки, высовывающиеся из закатанных рукавов ковбойки.

Вдруг я замечаю, что этот парень лезет в карман, что-то вынимает оттуда и, на мгновение прижавшись к Тенгизу, что-то сует ему в брюки.

Тут я окончательно поборол дрему и уставился на них. Я никак не мог понять, в самом деле он ему что-то сунул в карман или мне это только померещилось, потому что ни у парня, ни у Тенгиза выражение лица не изменилось. Парень продолжал ему что-то говорить, а Тенгиз продолжал его насмешливо выслушивать. Потом они остановились, и Тенгиз, вынув из кармана книжку — теперь я был

уверен, что это шоферские права,—отдал ее этому парню, слегка помахав ею перед его носом.

Парень кивнул ему своей лохматой головой, и теперь было особенно заметно, какие у него тяжелые плечи и руки, особенно по сравнению с Тенгизом, высоким и тонким, как эстрадный танцор.

Парень повернулся широкой спиной и быстро пошел к машине. Тенгиз подходил к мотоциклу своей расслабленной походкой. И пока он подходил, я никак не мог понять, знает ли он, что парень этот что-то сунул ему в карман, или вообще мне это померещилось. И только когда он подошел, по его блудливо-самодовольной улыбке я понял, что знает.

В этот миг машина почти с места вырвалась на большой скорости. Тенгиз продолжал улыбаться, но мне показалось, что какая-то тень тревоги пробежала по его лицу. Он медленно сунул руку в карман и вынул оттуда дореформенную трешку.

В следующее мгновение он брезгливо отбросил эту трешку и взглянул исковерканным от гнева лицом на дорогу. Машина пылила далеко впереди.

— Слезай! — гаркнул он.

Я, сам не понимая как, мгновенно вывалился из коляски. Кажется, он вытряхнул меня из нее, как фасолину из пересохшего стручка.

Мотоцикл взревел, как взлетающий самолет, и, обдав меня вихрем горячего воздуха и пыли, исчез впереди. Я, между прочим, здорово тогда разозлился на него. Скорее всего от глупой неловкости, с которой вывалился из коляски, к тому же на руках моих остались его турнирные перчатки, что было особенно неуместно. Я встал, снял эти перчатки и, шлепая одной из них по бьюкам, стряхнул с себя пыль. Потом бросил перчатки на обочину дороги и стал ждать. Я не знал, что думать обо всем этом, и только ясно ощутил, что в воздухе запахло лжесвидетельством.

Минут тридцать мотоцикл не появлялся, и я заглядывал в кабины встречных машин, стараясь угадать по выражению лиц сидящих в машине, знают ли они что-нибудь о том, что случилось впереди, но, видимо, никто ничего не знал, да и машин было не так много.

Наконец появился мотоцикл. Он шел на небольшой скорости. Он был похож на победителя заезда, делавшего круг почета. Поравнявшись со мной, Тенгиз остановился и устало сбросил руки с руля. Пыльное лицо его сияло победной сытостью крозника, добывшего голову врага.

— Что было? — спросил я у него, подавая ему перчатки.

— Было то, что должно было быть,—сказал он, одной из них вытирая лицо.

Вот что он рассказал, заглядывая в кабины проезжающих машин и иногда кивая знакомым шоферам.

— Минут через пятнадцать догнал. Вижу — обойти не дает. Даю вправо — он вправо. Пытаюсь слева — и он влево. Посмотрим, думаю, сука, кто кого купит. Близо не подхожу — знаю: тормознет — врежусь. Старый эндурский номер. Ну, думаю, хорошо, как только встречная поравняется с ним, дам газ и проскочу мимо встречной. Но он тоже не дурак. Как только встречная — берет вправо, чтобы тот еле-еле проскочил, не оставляя для меня просвета. Ну, ничего, думаю, у кого гайка крепче, посмотрим. Присосался, иду сзади. Он прибавляет скорость, я прибавляю, он убавляет — я убавляю. Хочет, чтобы я чуть поближе подошел, чтобы тормознуть. Я чуть прибавляю скорость, он хочет тормознуть, я сбавляю. Опять прибавляю, думает,

хочу проскочить, я опять убавляю. Наконец, не выдержали у него нервы. Тормозит и выворачивает вправо, а я слева выскакиваю вперед, бросаю мотоцикл и выхватываю пистолет. Понял — хана ему. Останавливает машину. Подхожу. Сидят — готовые мертвецы. Толстый молчит. А второй говорит: «Прости, Тенгиз! Клянусь мамой, пошутили». «Я тоже, говорю, хочу пошутить. Выходите!» Держу под прицелом, потому что толстый такой аферист — на все пойдет. «Поворачивайтесь спиной», — говорю. Поворачиваются. «Ты отойди на три шага», — говорю шоферу. Отходит. Обыскиваю дружка, карманы пустые. Обыскиваю коротышку. Уже по затылку вижу — в кармане что-то есть. Правильно. Пачка денег в кармане. Не считая кладу к себе в карман. «Двести?» — спрашиваю. «Да, — бурчит, — двести». «Правильно, говорю, такса за провоз бесфактурных нейлоновых кофточек от Эндурска до Мухуса. Теперь езжайте и рассказывайте в Эндурске, как вы посмеялись над Тенгизом дореформенной трешкой». Молчат. Коротышка сопит. Съел бы меня, чувствую, да боится пулей подавится. Сели в машину, и, пока не уехали, все время под прицелом держал, потому что этот коротышка — первый аферист Эндурска.

С этими словами он вынул пачку десятков из кармана и пересчитал.

— В самом деле двести? — спросил я.

— Да, но не в этом дело, — сказал он, укладывая деньги в бумажник и пряча бумажник в карман кителя.

— А в чем? — спросил я.

— Ты представляешь, как он мог опозорить меня! — воскликнул Тенгиз и, прикусив губу, покачал головой. — Ну, теперь пусть рассказывает, кто кого опозорил.

— Неужели выстрелил бы, если бы не остановились? — спросил я.

— А разве иначе этот аферист остановился бы? — сказал он, надевая перчатки и включая мотор.

— Но ведь тебя за это посадили бы!

— Конечно, — согласился он и уже громко, чтобы перекричать мотор: — Когда у человека задевают честь, человек идет на все!.. Садись, поехали!

Я сел в коляску.

— Опозорить хотел, негодяй! — снова вспомнил он, разворачиваясь.

Мы поехали. Через некоторое время Тенгиз что-то мне крикнул и кивнул на дорогу, сбавляя скорость. Я увидел на шоссе темный след от шин резко затормозившей машины. След уходил вправо, как будто машину занесло. Он снова дал газ, оставляя позади место своего поединка с эндурским шофером.

— Опозорить! — донеслось до меня сквозь шум мотора, и я увидел, как вздрогнула его спина. Так вздрагивают от чувства омерзения люди, вспоминающие, каким чудом им удалось избежать нравственного падения.

Он благополучно довез меня до поворота в село Атары, а сам поехал дальше. Мне показалось, что он уже успокоился. Во всяком случае, поза его на мотоцикле выражала обычную для него ленивую расслабленность.

Легко догадаться, что с тех пор я не слишком стремился к мотоциклетным прогулкам с Тенгизом.

...Примерно через год я узнал, что его сняли с работы. Как-то встретил его на улице.

— Уже знаешь? — спросил он, заглядывая мне в глаза,

- Слышал,— сказал я.
— Что думаешь?
— Сам знаешь,— говорю,— можешь считать, что легко отделался.
— Все это ерунда,— досадливо отмахнулся он,— не в этом дело.
— А в чем?
— Интриги,— сказал он многозначительно,— место у меня хорошее, многие завидуют... Но я это так не оставлю, буду жаловаться...

Пока мы говорили, он поглядывал на дорогу в ожидании, как можно было понять, подходящей машины. Наконец он поднял руку, и возле нас остановилась частная «Волга». Видимо, магию власти он еще не утратил.

— Подбросишь до Каштака,— сказал он владельцу машины.

Тот с мрачной покорностью кивнул головой.

— Интриги,— повторил он еще раз, усевшись рядом с водителем, и кивнул головой, как бы намекая на могущественную корпорацию, которая собирается его уничтожить, но с которой он намерен бороться и бороться.

И, видно, боролся, и борьба была нелегкая. Во всяком случае, корпорация сначала взяла верх. Через несколько месяцев я его увидел за рулем такси возле базара. Он сидел, откинувшись на сиденье, с ленивой снисходительностью ожидая, пока усядутся сзади несколько крикливых женщин с сумками, одна из которых, высунув руку из окна, держала за ножки щебечущий букет цыплят.

Всей своей позой, выражающей снисходительное равнодушие к настоящему, он мне почему-то напомнил (так мне представилось) монархического эмигранта, вынужденного в чужой стране заниматься унижительным делом, но верящего в свою правоту и ждущего своего часа.

В отличие от монархических эмигрантов Тенгиз его дождался. Еще через полгода он был возвращен, правда в качестве простого инспектора, на ту же эндурскую дорогу. Возможно, понадобился его опыт.

{Окончание следует}



ЕВДОКИЯ МУХИНА



ВОСЕМЬ САНТИМЕТРОВ

Из воспоминаний радистки-разведчицы

К Н И Г А В Т О Р А Я *

III

Праздник в горах

В ночь под рождество я, как ведьма, летала над городом Нальчиком. Резкий ветер рвал парашют, меня куда-то несло, кажется к ближним горам. Уже не слышен был шум нашего самолета, пора бы приземлиться, а меня тащило вверх, в стороны, мотало туда-сюда. Как только провалилась сквозь облака, сразу меня окружила белая тьма. Кто не спускался с парашютом в ночной снежной круговерти, вряд ли поймет, что и белизна может видаться тьмой.

Я падала, не зная куда, крепко сжимала колени, ловила ногами землю. Жутко — внизу немцы, а все равно настроение распрекрасное, боевое. Мы все в самолете веселились, не одна я. Нас было двенадцать мальчишек и девчонок и один взрослый — тридцатилетний знаменитый разведчик Галицкий. Весь тот час, что мы летели над Кавказскими горами, он нас смешил, как первоклассников. Он обещал украсть месяц, спрятать в кармане комбинезона. Мы любовались его уверенными гибкими движениями — настоящий лазутчик, крепкий спортсмен; под комбинезоном на нем была форма австрийского горного стрелка. Галицкий выпрыгнул первым. И сразу же яркий месяц спрятался за Эльбрусом. Через девять минут сгинула в темноте лучшая моя подружка Полина Свиридова, еще через шесть минут выпрыгнула другая моя подруга, Даша Федоренко, а потом посыпались один за другим молодые парнишки и среди них чубатый Сашка Зайцев, у него чуб торчал даже из-под кожаного шлема. Мы смеялись над его чубом; нам можно было палец показать, и мы бы хохотали.

Думаете, от нервов? Ничего подобного. От хорошего настроения. От нашей силы и бодрости. Кто не помнит, как у всех бойцов и командиров Красной Армии, да и у всех советских людей к концу декабря 1942 года что ни день поднималось боевое настроение: наконец-то враг сломлен, под Сталинградом все туже сжимается кольцо окружения. Сотни тысяч немцев попались в красноармей-

* Книга первая опубликована в №№ 11 и 12 за 1972 год.

скую ловушку. Одновременно развивалось наступление на Центральном фронте, а теперь ближние наши соседи ломают оборону врага на среднем Дону: освобождают город за городом.

Настал и наш черед.

Сегодня нас повезли на аэродром. Что там делалось! Никогда еще я не видела столько самолетов одновременно. Один за другим выруливали на взлетную дорожку десятки новеньких «ЛИ-2». Грузились отряды десантников. Тысячи десантников поднялись той ночью в небо Кавказа. В густых сумерках, в синем полусвете маскировочных фонарей в каждую машину грузились бойцы в комбинезонах. С автоматами, с пулеметами, с минометами.

Начальник штаба показал нам наш самолет. Такой же самый новенький «ЛИ-2». Он стоял в стороне — нам лететь после всех; в десанте мы не участвовали. Еще никто не сказал, куда нас выбросят... Но мы чувствовали — наша выброска связана с большим наступлением.

Шесть девушек и столько же молодых парнишек. Нас будто для танцев собрали — парами. К аэродрому поехали засветло. На складе каждый подобрал себе одежду: куртку, сапоги, шапку. Как всегда все ношеное, латаное. Я выбрала суконный, подбитый ватой пиджак, закуталась в платок, отыскала рукавички. Сапог моего размера не было, опять пришлось обуваться в школьные ботинки. Я взяла попросторнее, накрутила портянки. Вдруг увидела замасленную крепкую бечевку. Спросила завскладом:

— Можно, товарищ сержант, я возьму?

— Вешать будешь или вешаться?

Я рассердилась:

— Слушай, дядя, ты возле разведчиков служишь, так?

— Ну и что?

— А то, что веревка — дополнительное оружие. Фрицев буду вязать. Теперь понятно?

Все рассмеялись, и я со всеми. Потому как еще была маленькой, нисколько не раздалась в плечах. Поверить, что кого-нибудь и когда-нибудь свяжу, было невозможно.

Но я уже знала: веревка нужна. Всегда пригодится. Другие разведчики, глядя на меня, тоже стали просить:

— Найдите веревки и нам.

Мы получили по буханке хлеба, по три банки тушенки, по двести граммов кускового сахара, немного сала, спички. Конечно, компас, часы, фонарик. Вооружение такое: две гранаты-лимонки, финка и пистолет. По тому, как нам дали на этот раз не крошечные агентурные, а серьезные пистолеты «ТТ», мы поняли — выбрасывать будут не в тихое место, не в село к колхозникам, а в боевые условия.

Это, положим, и раньше было понятно. Но обсуждать, спрашивать друг друга, а тем более командиров, нельзя. Скажут — тогда и узнаешь.

...Я начала с того, что летела над Нальчиком в ночь под рождество. Почему это десант и корректировочная разведка советских военных частей и вдруг связаны с религиозным праздником? Тут был замысел. О нем мы узнали, когда нас выстроил начальник штаба. Он к нам обратился с короткой речью. Прежде всего поздравил как бойцов Закавказского фронта с тем, что мы открываем новую страницу в наступательных операциях Красной Армии. Он прочитал нам еще не опубликованную сводку Совинформбюро от 24 декабря 1942 года:

«На днях наши войска в районе юго-восточнее Нальчика перешли в наступление и, словив сопротивление противника, продвинулись на восемнадцать—двадцать километров. Нашими войсками заняты крупные населенные пункты Дзурикау, Кадгорон, Ардон, Алагир, Ногкау».

Хоть нас было и немного, но мы так гаркнули «ура», что заглушили шум моторов. Нам, молодым разведчикам Закавказского фронта, еще не приходилось участвовать в наступательных операциях. Начальник штаба тут же прибавил, что десант, который мы видим, будет для немцев праздничным сюрпризом. В горах расположены их горнострелковые части, среди которых немало австрийских подразделений.

— Многие немцы,— сказал начштаба,— рядовые да и офицеры тоже, в ночь под рождество, в сочельник, втихую будут украшать елочки, молиться, а потом пить и гулять. Пусть помалу, но без этого не обойдутся. На Псхинском и Марухском перевалах держат оборону румынские и австрийские горнострелковые дивизии. Австрийцы поголовно ревностные католики. У них рождество — наиглавнейший праздник. Пусть попрлежней молятся. Наши деды-морозы принесут им щедрые подарки с неба. Такого десанта они еще не видавали. Ну, а вы — вы полетите дальше. Разбросаем вас вокруг Нальчика. От вас будем ждать подробнейших сведений о дислокации и передвижениях противника вокруг города. Когда подойдут наши, переходите на корректировку огня бомбардировочной авиации и дальнобойной артиллерии...— Начштаба предупредил: — В районе Нальчика действует группировка войск фельдмаршала фон Манштейна, в контрразведке опытнейшие специалисты вроде Малышевского, Стефаниуса, Фельдмана. Вам эти имена знать бесполезно. Говорю, чтобы понимали: сети всюду разбросаны, среди населения наверняка действует агентура абвера и гестапо. Но в данной конкретной обстановке мы вам не можем дать явки и не снабжаем аусвайсами, пропусками, так как все население окраин изгнано, многие ютятся в горах, никому немцы пропуска не дают, и как бы ни были точны поддельные аусвайсы, предъявить их — значит вызвать немедленное подозрение. Помните, сколько бы немцы ни запрещали, местные люди пробираются туда-сюда. Кто ищет топливо, кто стремится отыскать родственников и близких. Если что — говорите: ищу, мол, старика отца, мать, бабушку, сестру, потерявшегося ребенка. Паспорта мы вам выдадим. Наши потрепанные советские паспорта, прописанные на той или другой улице города или ближайшего сельсовета, но без немецких штампов: слишком мало времени пробыли оккупанты в Нальчике, чтобы проверить каждого жителя и проштамповать его паспорт... Вообще же лучше всего ни с кем не встречаться... Но это уж как повезет. По плану вы должны пробыть на своем участке три-четыре дня, то есть до прихода наших частей...

Разъяснив общие задачи, начштаба каждому дал паспорт, карту его участка и подолгу втолковывал, как себя вести и что делать. Напутствие необходимо, но все мы понимали: если над Нальчиком облака, прицельность получится приблизительная. Хорошо бы не попасть на провода под током, не угодить во вражеские траншеи; на крыши городских домов спускаться тоже не очень-то приятно.

Обо всем этом, конечно, думали, но ни у одной девушки, ни у одного парня на лице не видно было страха. Потому что праздник. Не рождество, конечно, а наступление.

Уже рассказывала: в самолете мы шутили и веселились. Настроение было бодрое. При этом хочется сказать немного и о нервах. Сколько нам твердили инструкторы и командиры, что нервы надо подчинять себе, не давать им распускаться. Может, и правильно, но никто не научил, как отделить нервы от своей души. А ведь кроме своей личной, есть еще и душа общая: народная, армейская, комсомольская. Существует под именем «мы».

Нам начальник штаба читал сводку Совинформбюро, где сказано было, что наши войска перешли в наступление. Душа ликовала. Общая наша душа. На аэродроме готовился к вылету десант. В реве моторов слышна была наша мощь. Все это было «мы», огромное, неисчислимое... Улетели, пропали в небе самолеты. «Мы» уменьшилось до небольшой группы разведчиков. Поднялись, полетели, около часа были вместе. А дальше... с каждым человеком, уходящим в черный прямоугольник, «мы» вроде бы уменьшалось... И вот вслед за прыжком раскрылся мой парашют, от самолета отгородили меня тучи. Осталась одна? Одна летела в наступление на немцев, что скопились под Нальчиком? Нет, настроение потому и держалось бодрое и боевое, что душа не оторвалась от всего, что было у нас, что было «мы». Это-то и держало нервы в кулаке.

Тут не умственное рассуждение, а душевное чувство, без которого нет разведчика. Я висела на парашюте и кричала в немецкую тьму:

— Эй вы, фрицы! Катитесь отсюда! Мы наступаем. Мы, мы, мы! А земли все нет, и нет, и нет...

Вдруг увидела прямо под собой сквозь снежинки сотни перебегающих огоньков. Не знала, что такое, не могла понять, но руки сами собой подтянули левые стропы, и меня отнесло от этих дурацких светлячков, потом ударило о скальный выступ, куда-то потащило. Наполненный воздухом парашют все еще держал. Я уперлась ногами в плоскость и скорей-скорей стала подтаскивать к себе нижние стропы. Так сильно хлопало и шуршало шелковое полотнище, что казалось — слышно кругом на многие километры. Наконец-то мне удалось подмять под себя парашют. Вытащив финку, я обрезала стропы, расстегнула пряжки верхних и нижних креплений. Все это руки делали автоматически. Сказались бесконечные надоедливые тренировки. Они и только они дали рукам самостоятельный навык, быстроту и автоматизм. Тут не до страха. Поскорее скинула рюкзак, выползла из комбинезона, лежа выползала. Комбинезон я туго закрутила в ткань парашюта, защелкнула грудным обхватом и только тогда решилась приподняться и оглядеться.

Решилась. Именно что решилась, а подняться-то не смогла. Упала от резкой боли в колене левой ноги. Ощупала — сочится сквозь чулок кровь. Вот ведь как бывает. Пока собирала парашют, не замечала ни боли, ни крови. Кровь на снегу — это дело плохое. Но снег только в воздухе казался густым. На землю ложился небольшими пятнами и быстро таял. Выполз из-за горной вершины месяц и явился во всей красе сквозь разрыв в тучах. Я огляделась. Каменистая площадка окаймлена сухим кустарником. Нигде никаких огней — ни больших, ни малых. Неужели мне светлячки примерещились?.. Справа метрах в трехстах ниже того места, где я приземлилась, проблескивает изгиб шоссе-дороги. Еще ниже, если верить памяти, город. Там темно. Туда падает тень тучи... Нам начштаба сказал, что слово «нальчик» в переводе с кабардинского означает «подкова». Мне для разведки определена северо-восточная ее часть. Приметы: хуторок, стоящий за хуторком на краю увала длинный

глинобитный сарай, поперечные, если смотреть с дороги, заросшие кустарником балки... Вдали и верно темнеет кучка домишек. А где балки?.. И что за огоньки я видела с воздуха? Пожалуй, не огоньки — лучики. Они загорались, гасли; теперь совсем нет. Куда могли деваться?

Разведчик всегда себе ставит вопросы. Хорошо, если может ответить. Безответный вопрос — штука опасная... Прежде всего пришлось заняться разодранным коленом. Свету мало. Месяц в тучах — как масло в каше. Нащупала рукой — чулок порван, все мокро от крови. Вытащила было фонарик, да вовремя спохватилась — не зажгла. Скорей-скорей отрезала финкой длинный кусок шелка от парашюта; звук неприятный, резкий. Спустила чулок, закрутила колено. Потрогала. Теперь, если кровь и будет просачиваться, струей не побежит. Чувствую пульсацию, но боли особенной нет. Снежок то сыплет, то перестает. Ветер у земли куда слабее, чем был на высоте. Небольшой морозец.

Неподалеку от себя я обнаружила громадный валун. Под него ветер нагнал снегу. Это мне подходит. Значит, там хороша щель. Шкандыбаю к валуну. Ложусь, отгребая снег и нащупываю углубление. Руке сыро и тепло. Подобные места любят змеи. Какие еще зимой змеи? Обыкновенные. Гадюки. В ямках под валунами они собираются в клубок на зимнюю спячку. Боязнь к змеям у меня давняя, с той поры, как в детстве ужалила гадюка... Ну и ну — рядом немцы, а я о змеях. Неужели Галицкий стал бы о такой ерунде думать? Он бы прежде всего выяснил, что за такие лучики-огоньки... Я засунула в углубление парашют с комбинезоном. Но рюкзак, где рация и все мое имущество, прятать не стала, надела лямки на плечи. Припорошила свой тайник снегом, сверху присыпала нюхательной махоркой и поползла к кустарнику. Тихо, попластунски. Прислушалась. Недалеке перекачивает камушки ручеек. Журчит вода, и вроде бы слышна песенка. Только не русская, не абхазская. К нашим горным песням ухо привыкло. Мотив чужеродный. Стала прислушиваться и поняла: не только ручеек поет. Где-то недалеко люди... Прячась за камнями, я приблизилась к кустарнику. На ощупь определила — кизил. Вспомнила, что на плане тут вблизи самая заметная гора называется Кизиловая. Ну и что? Лезет в голову всякая ерунда.

Я стала понемножку продираюсь сквозь кусты и увидела крутой спуск. И вот они. внизу, светлые лучики. Ветер ко мне принес песенку. Мужские голоса пели:

О таненбаум, о тавенбаум,
Ви грюн зинд дайне блеттер...

Стройно пели. Я слова, конечно, сразу не могла бы запомнить. Но они долго, старательно повторяли свою песенку. Пока что одно стало ясно. В глубокой балке, что лежит поперечно к дороге, засела большая воинская часть. Когда появился месяц, я увидела ходы траншей и замаскированные орудия и даже два бетонных купола дотов. А огоньки — это фонарики. Карманные фонарики, которые то включали, то выключали. Кроме того, зажигалки, значит, закуривали. По случаю праздника ходили туда-сюда, встречались, друг друга поздравляли. Костры не жгли, боялись наших самолетов. Но в кучки собирались, грелись друг о друга, как гадюки.

Мне такое близкое соседство было ни к чему, и я решила подняться повыше в горы. Пошла по бережку ручья. Он шумел, мешал прислушиваться, зато не было возле него снега. В ходьбе нога разошлась, боли я почти не чувствовала. Прошла метров пятьсот,

плутала между скал. Усилился ветер. Я определила — южный, теплый. Что ж, это хорошо — к утру на открытых местах снег растает. Вот это и называется везет: не видны будут следы. Снежный покров разведчику не товарищ. Немцы или австрияки, они ведь не совсем дураки. Рождество рождеством, но должны нести боевое охранение своих частей...

Брела, брела и набрела на пещерку. Углядела ее справа от ручейка: темное пятно на крутизне. Из последних сил полезла вверх, вползла в каменистое углубление, скинула рюкзак и не легла — упала, спугнув какую-то большую одинокую птицу; она с шумом вылетела, задела меня крылом и потом долго кружила и сердито гукала.

— Замолчи, дура! — сказала я птице.

Она замолкла, или я заснула? Последнее, что помню — как-то до меня дошло: не на камнях лежу, а на травяной подстилке. Хорошо это или плохо, понять не смогла, провалилась в сон.

Для разведчика-одиночки, выброшенного не в тыл врага, а в гущу передовых его позиций, где нет и быть не может не только явочной квартиры, но даже заранее определенного природного укрытия, наихудшая опасность — внезапно наступающий сон. Я такое уже на себе испытала. Засыпаешь даже под грохот канонады. Артиллеристы, может, лучше других помнят: вдруг в разгар боя кто-то падает и засыпает. Но оружие обслуживает не один человек. Поспит товарищ десять—пятнадцать минут, и его будят. Одиночку-разведчика если кто и подымет, так только враг. Врагу спящий разведчик — как переспелый плод, упавший с дерева в руки. Ну, а все-таки как быть со сном? Под Нальчик нас выбросили с обещанием, что наши форсируют перевалы и подойдут к городу не позднее чем через три-четыре дня. Паек, правда, выдали на неделю. Однако ж без сна более двух суток, да еще в полном одиночестве, прожить невозможно. Выходит дело, каждый должен присмотреть себе хоть какую-нибудь норку. Один заберется в брошенную траншею, другой — в подвал разрушенного дома, третий — в скирду соломы. Я нашла себе пещерку.

Надо бы, конечно, ее обследовать, но у меня не осталось для этого сил, и я повалилась на травяную подстилку, даже не подумав, откуда она тут. Успела, правда, заметить: мои светящиеся часы показывали один час двадцать две минуты. Ровно через тридцать восемь минут я проснулась от ружейной и пистолетной стрельбы и от яркого света. Сразу же забилась в глубь пещерки. Приготовила гранату и пистолет: была уверена, что это я всех переполошила. И справа, и слева, и дальше, за дорогой, даже под самим городом, вспыхивали разноцветные ракеты. Вблизи моей пещерки повисла на парашютике осветительная ракета. Она долго может висеть — три, пять минут. Я ждала, что сейчас злобно залают и кинутся на меня ищейки. На моих часах было ровно два часа местного времени. И тут нашло озарение: никто меня не ищет. Это фейерверк. Немцы празднуют свое рождество по берлинскому времени. У них ноль-ноль часов ноль-ноль минут. Верно — до меня донеслась патефонная музыка немецкого гимна, а вслед за ним торжествующие крики ликования и взаимных поздравлений. Вот меня зло взяло. Думаю: больно уж вы свободно себя чувствуете. Скоро узнаете, почем фунт лиха. Не зря же я тут нахожусь.

Я осмелилась высунуть голову. Осветительные ракеты все еще держались, и я успела заметить, что не только с этой стороны до-

роги, но и за ней, тоже в глубокой балке, расположились войска: дымили походные кухни, в траншеях и окопах блестяли смоченные снегом каски перебегающих солдат. В дальнем овраге я увидела стальные башни с орудиями и догадалась: танки. Их не замаскировали — значит, прибыли недавно. Я успела при этом мертвом свете приблизительно определить, где моя пещерка и где место скопления войск. От города, по моим расчетам, я находилась километрах в пятнадцати—семнадцати. Еще не погасли ракеты, а я уже добыла из рюкзака и развернула рацию. Связалась со штабом, передала первые разведанные.

Разноцветными ракетами больше никто не стрелял, осветительные тоже понемногу гасли, но еще долго был слышен гул голосов и командные покрякивания разъяренных командиров. Нетрудно было понять, что фейерверк устроили какие-то разудалые, а может и пьяные, солдаты. Теперь им давали взбучку.

Весь этот праздничный шум — стрельба, фейерверк, крики — меня взбудоражил. Снова я была полна энергии. Больше всего обрадовало, что быстро наладила связь. Мне радистка из штаба сообщила, что из нашей группы я первая дала о себе знать и определила свои координаты. В ответной шифровке радистка передала мне благодарность дежурного по штабу.

Давно ли умирала от желания спать — сейчас готова хоть в бой. Да и голова работала, будто хороший мотор. Между прочим, короткий сон действует иногда лучше длинного: бодрит и мобилизует.

Прикрыв ладонью стекло фонарика, я стала осматриваться. Прежде всего обратила внимание на травяную подстилку. Кто-то устроил себе довольно толстую мягкую лежанку из сухой полыни. Не скошенной, а сорванной в спешке с корнями. Другая трава не примешалась. Это значило, что рвали недавно: одна лишь полынь не полегает даже в снегу. Вот и получается, что я забралась в чье-то лежбище; хозяин может явиться в любое время. Кто он — друг или враг? Случайно заночевал и отправился дальше или регулярно приходит? Были б следы костра, я бы подумала, что в пещерке пастушье пристанище. Да какие тут, в голых скалах, овцы и пастухи! Придется мне, пожалуй, искать новое убежище. Я уж было вскочила на ноги, но тут-то и обнаружилось, что разодранное колено распухло и дает о себе знать: ходить трудно. Сняла повязку, осветила рану — она уже затянулась и не кровоточила. Опухоль невелика, и без повязки ногой двигать гораздо легче. Обрадованная, я бросила повязку к краю пещерки, и ее тут же подхватил ветер. Что со мной стало! Молнией сверкнула мысль: ведь повязка-то из парашютного шелка. Вдруг ее ветер отнесет к немецким траншеям. Сразу же поднимется переполох, собаки легко найдут след. Забыв о боли, я сбежала к ручейку и, хоть темень была почти непроглядная, сразу увидела свою повязку на сухом кусте шиповника...

Вернувшись в пещерку, я вся дрожала. Так-то и гибнут люди по собственной глупости. Долго не могла прийти в себя. Повязку скомкала и, выкопав финкой ямку в земле, сунула туда, а сверху прикрыла первым попавшимся камнем. Отдышалась и стала думать, что делать дальше. Не хотелось уходить. Где-то я найду себе такой хороший наблюдательный пункт. А придут... кто может прийти, кто здесь прятался? Уж конечно, не ганс и не фриц. Стала я осматривать свою пещерку повнимательней. В глубине увидела узкую расщелину. Как только рассветет, суну туда свой рюкзак и рацию с питанием, возьму веревку и пойду вроде бы местная девчонка по дрова: ломать буду хворост и увязывать. Потом спущусь на дорогу, она приведет

меня к городу. Дальше пойду в обход к подножью Кизиловой горы...

Раздумывая и намечая маршрут, я почувствовала острый голод. Развязав рюкзак, достала хлеб, взрезала банку с тушенкой. Хлеб ломала, а мясо доставала ножом. И все думала, думала, мечтала, какие важные разведанные добыду и передам завтра.

Проголодавшись, я ела так жадно, что началась икота. Скорей бы попить. Для этого не нужно было даже спускаться к ручейку, вода текла по одной из стен пещерки. Я подставила банку из-под тушенки... Тут-то себя и поймала на том, что, задумавшись и размечтавшись, слопала единым духом все содержимое полукилограммовой банки: двухдневный рацион. Недаром же напала на меня икота. Хороша разведчица! Ох и ругала себя. Да что толку...

А ведь в разведшколе я по этой части считалась самой дисциплинированной. Помню, послали в горы на практику, и я держала связь вместо трех дней пять. Меня майор сперва побранил за самовольную задержку, зато потом перед строем хвалил и ставил другим курсантам в пример: «Обратите внимание: Евдокимова Женя в условиях, близких к фронтовым, сумела показать истинную выдержку разведчика — трехдневный продовольственный рацион растянула на пять суток!»

Теперь на собственной шкуре я почувствовала, чем отличаются условия, близкие к фронтовым, от подлинно фронтовых. На школьной практике я только и думала, как бы себя ограничить. Хотелось заслужить похвалу начальства и пофорсить перед подружками. А тут... Тут немцы справляют свое рождество и ветер приносит из их траншей запах шашлыка... Попали на Кавказ и научились, гады, жарить шашлык. А как же без костров? Надо полагать, приспособили для этого дела топки походных кухонь. А я нанюхалась аппетитного дымка и приналегла на свою тушенку. Что ж, сама себя наказала. Отныне придется урезать свой паек по крайней мере вдвое...

Ночи в декабре длинные. Поев, я снова захотела спать. Но в этот раз, пусть бы даже и разрешила себе лечь, все равно бы не уснула. Откуда ни возьмись задул ледяной ветер. Беззастенчиво влез в мою пещерку, забрался за шиворот. Пиджак грел плохо. Меня стало знобить. Я прыгала на месте, хлопала по бокам руками — ничего не помогало. Вот бы разжечь костер. Но здесь, в непосредственной близости от немцев... они тут же и прибегут... Снова стал сыпаться снег, мелкий, колючий. И чем дальше, тем гуще. Его заносило в пещерку, все понемногу укрывалось белой пеленой. Тут-то мне и пришла отчаянная мысль: побежать, пока еще не рассвело, забрать из-под камня парашют. Он ведь огромный. Шелк его прекрасно греет. Притащу сюда и укутаюсь. А если немцы обнаружат... так ведь, по крайней мере, живую, не замерзшую. Смогу хоть сопротивляться. Эх, была не была!

Я сперва ползла по-пластунски, потом поднялась на ноги и, почти не хромая, побежала. Нашла свой камень, достала парашют и комбинезон... Зачем мне синий комбинезон? Его я затолкала обратно. Что же до парашюта, он стал моим маскхалатом. Вверх я бежала согнувшись и согрелась от одного этого бега... Вот и пещерка.

Я укуталась с ног до головы и так дождалась рассвета. Спала? Может, и спала, но каждую минуту просыпалась. Мне слышались чьи-то шаги, кто-то говорил на языке, напоминавшем абхазский, кто-то прошел совсем близко. Конечно же, все это в полусне. Не может же быть, чтобы местные люди ходили тут ночами... Кто-то

заглянул в мое убежище и тут же отпрянул; наверно, примерещилось — разгулялось воображение.

Пришел рассвет, я окончательно пробудилась и увидела на снегу множество следов. Неужели проходили немецкие солдаты? Нет, следы были и мужские, и женские, и даже детские...

Ветер к утру прекратился. А когда поднялось солнце, снег за полчаса весь растаял. Только в пещерке удержался в дальних углах...

Перед вылетом на эту операцию, когда на вещевом складе мы подбирали себе подходящую одежду, я подошла к большому зеркалу. Нужно ж посмотреть, как выглядишь, соответствуешь ли той роли, которую тебе придумали командиры. В нашей спецшколе преподавательница агентурного дела однажды пошутила: «Разведчикам нужно присваивать не воинские звания, а как работникам сцены: заслуженный артист республики, народный артист и так далее. Правда, в театре, если плохо сыграешь, тебе не будут аплодировать, только и всего. А нам сразу петля...»

Понятно, крупные разведчики, которых засылают в тыл под видом офицеров абвера или гестаповцев, должны играть не хуже артистов. У нас роли скромные — лишь бы казаться понезаметнее, поглупее. Я, например, с первого же своего вылета строила из себя наивную деревенскую девчушку. И вроде бы получалось. В свои семнадцать лет, хоть и с пистолетом в кармане, я недалеко ушла от детства...

Вот я, значит, гляжусь на складе в зеркало, а сзади меня встала Даша Федоренко. Ни с того ни с сего она так расхохоталась, что все повернулись к нам.

Я на нее глянула со злостью и даже, кажется, обругала. Она осеклась.

К чему я это рассказываю? А вот к чему. Очень уж плохо я переносила насмешки и несправедливость.

На мою ругань Даша сказала: «Ой, смотри, Чижик, как бы тебе это плохо не обернулось! Что ты на меня вылупилась, что такого я тебе сделала?! От простой ерунды у тебя в глазах молнии...» «Неужто терпеть насмешки?» Тогда моя подружка грустно покачала головой: «Милая, сама же себя и погубишь. Твой взгляд обнаруживает, что не такая уж ты деревенская недотепа, какой хочешь казаться. Лицо преобразается, понимаешь? Слишком становится сознательным». Я пожала плечами: «Как-то ты странно рассуждаешь. При чем тут деревня? Городские не бывают, что ли, вспыльчивыми? Ну что мне с собой делать? Если б заранее предупредила, я бы сдержалась. От неожиданности вспыхиваю и кидаюсь. Пусть это мой недостаток — справиться с ним не могу. И что хорошего: ты будешь надо мной потешаться, я — над тобой...» Даша тоже стала кипеть: «Очнись, Женечка! Кто над тобой потешается? Неужели не отличишь себя лично от той, которая в зеркале? Я над ней расхохоталась. Дошло до тебя? От восторга. Глянь сама — ведь это ж прелесть, какой у тебя дурацкий и жалкий вид. Натурально теленочек, сейчас «м-му» скажешь. Ни один черт не подумает, что разведчица».

После этих Дашиных слов и я не удержалась от смеха. В самом деле, разве может у теленка на тонких ножках явиться в глазах ярость. Вызвалась быть теленком — держись в телячьих рамках...

...Часов в одиннадцать утра 25 декабря 1942 года, в день немецкого рождества, я именно в этом телячьем облике отправилась осмат-

ривать свои владения, то есть тот участок под Нальчиком, который был на моей карте.

Я уже рассказывала — ночь провела в большой тревоге, но как только солнце растопило снег, настроение мое улучшилось. А то, что перед рассветом плотно поела, прибавило сил. Завтракать не стала, приняла решение до вечера к запасам не прикасаться. На весь свой поход взяла только три кусочка сахара.

Надо вот еще что рассказать.

Перед тем как выйти из пещерки, всю ее обшарила. В самой глубине, как я уже говорила, была широкая сухая расщелина. Туда я запихала рацию с батареями питания, парашют, вещмешок — все, что у меня было. Замаскировала камнями, щебнем — на первый взгляд ничего не видно. Я осталась собой довольна. Можно отправляться. Вооружилась пистолетом и финкой. Перебросила через плечо веревку и уже собралась выходить, как вдруг — смотрю и глазам не верю. На самом видном месте, как раз на травяной подстилке, лежит бумажный листок — страничка тетрадки для арифметики. Откуда? У меня тоже была тетрадка, на которой я записывала зашифрованный цифровой текст для передачи в штаб. Неужели, такая растяпа, вырвала из тетрадки и не уничтожила? Нет, оказалось совсем другое. Чернилами крупно написано:

«Прочти и передай товарищу!

Товарищи и граждане, жители Нальчика! Совинформбюро сообщает, что наши войска перешли в наступление и продвинулись на 20 километров в сторону Нальчика. Заняты крупные населенные пункты. Ура, товарищи! Держитесь. Фашистские гады бегут. Красная Армия скоро освободит нас от гитлеровской нечисти. Всем чем только можете помогайте Красной Армии. Бейте фашистов, поджигайте их склады, разрушайте дороги, рвите телеграфные провода. Не подчиняйтесь приказам комендатуры.

Да здравствует победа, долой фашистских захватчиков.

Подпольный центр».

В первый момент сердце застучало от радости. Значит, я не одна. Правильно я кричала с воздуха фрицам: «Мы наступаем!» Следующая мысль была: как передам эту листовку, каким товарищам? Хотела порвать на мелкие клочки, но подумала: если попадусь, меня так и так будут пытаться. Согнула вчетверо и сунула в карман. Ужасно было досадно, что не заметила, кто мне подбросил. Наверно, когда пристраивала камни, закрывая расщелину, за шумом не услышала шагов. Интересно, за кого меня этот подпольщик принял, почему не захотел со мной поговорить? Между прочим, этот подпольный центр, видно, хорошо работает, имеет где-то в горах приемник. В листовке содержание вчерашней сводки...

Начальник штаба нас предупредил: связей с населением не ищите, выполняйте только свое задание, оперативно сообщайте обо всем, что происходит на вашем участке наблюдения... А все-таки как бы хорошо встретиться с кем-нибудь из этого подпольного центра. Они же местные, знают город и каждую тропку в горах!

Тут я вспомнила, что на рассвете видела следы на снегу. И опять задумалась: кто тут может ходить? Мужчины, женщины, дети... Что им нужно среди голых камней?

Однако думай не думай — надо заниматься делом. Я натянула платок на лоб по самые глаза и вдоль ручья пошла к дороге. Как только добралась до придорожного кустарника, принялась ломать сушняк и складывать на веревку. Боковым зрением следила за

шоссе. Хоть и зима, но солнце заметно припекало. Вдруг вижу — бегут по дороге какие-то здоровые загорелые парни без рубашек, в одних трусах. Вернее, в коротких, по колено штанах защитного цвета. Теперь-то я знаю — такие штаны называются шортами. В тот момент ничего не поняла: бегут гуськом, как физкультурники на разминке. Их было не меньше взвода. Бегут вольно, без команды. Перебрасываются словами, хохочут. Немцы! Вот так да! Без касок, без пилоток, без оружия, одно только что у всех башмаки на толстой подошве и шерстяные носки. Они пробежали в сторону города, скрылись из виду.

Интересно: сперва, пока не поняла, что за такие физкультурники, ничего особенного не чувствовала. А как определила, сразу же стала тяжело дышать. Не от страху — от злости... Нас учили прятать злость и подавлять. В Кущевке я с соплеменниками этих короткоштаных бегунов спокойно сидела в хате, улыбалась им, кланялась. А тут хватанула всей грудью воздух: вот пушусь их догонять, стрелять... Заставила себя успокоиться. И только тогда решила выйти со своей ношей на дорогу. Иду вслед за этими полуголыми парнями, а сама посматриваю по сторонам. В одном месте кустарник пониже, даже и при моем росточке через него все видно. Глубокая отлогая балка, по ней течет ручеек. Конец декабря, а зеленеет травка. Это и у нас так, в Сухуми. Но здесь после ночного мороза и снега я этому удивилась. Еще больше удивилась, увидев, что на травке, расстелив шинели, лежат, как шпалы на железной дороге, полуголые солдаты. Не иначе рождественский отдых. Даже как-то странно. Совинформбюро дает сводку, что наши войска наступают на Северном Кавказе, а эти себя чувствуют как на курорте. Что особенного? Будет нужно, их поднимут по тревоге, а пока разрешают загорать... В следующие дни я увидела и поняла: в альпийских частях положено и растираться снегом, и загорать, и совершать в полуголом виде пробежки.

Тут, в этой балке, расположилась большая воинская часть. Одних только солдатских кухонь я насчитала восемь. Это значит — не меньше двух полков. Пригляделась повнимательней — хворостом замаскированы дальнобойные орудия...

Вдруг над самым ухом раздается:

— Хальт!

Меня как током ударило. В ушах зазвенело, потеряла всякое соображение. И все-таки заставила себя повернуться и посмотреть на немца телячьими глазами. Это был пожилой солдат-пехотинец в полной форме: на голове его блестела под солнцем стальная каска, на животе висел автомат. Протянув руку к балке, он долго и крикливо ругался, брызгая мне в лицо слюной. Я не понимала, что он говорит. Будто не меня ругает, а тех своих однокашников, что загорают под кавказским солнцем. Я хлопала глазами, кланялась и повторяла:

— Гут, гут...

Кончилось тем, что он дал мне легкую подзатылину, и я пошла своей дорогой. Раза два или три обернулась. Старый солдат обо мне забыл. Ссутулившись, мерил мостовую своими длинными ногами. У меня был жалкий, неприкаянный вид, а у него того хуже. В кирзовых сапогах с широкими голенищами, в мешковатой форме, серый, бесцветный — ни дать ни взять огородное пугало. Похоже, он незлой, этот немец. Может, как мой отец — старый рабочий. Влип со своим Гитлером. Через два-три дня его косточки расшвыряет взрывом нашего снаряда...

Я написала, что пошла своей дорогой. А ведь она и верно моя. Я голову подняла и гордо зашагала, преодолевая боль в колене.

Куда?

Этого пока не знала.

Вот и хуторок. Шесть или семь длинных строений с множеством дверей. Навстречу мне проковыляла горбоносая старуха в черном. Увидев меня с вязанкой, она боком, по-вороньи посмотрела и шарахнулась в сторону. На плече у нее веревка, в руке топорик. Я поняла: она жительница этого хуторка и отправилась добывать топливо. Возле каждого дома здесь стояли летние кухонки с обмазанными глиной плитами. Недолго думая я, чтобы дальше идти налегке, сбросила во дворе свою ношу. Тут раскрылась дверь и во двор выбежал толстый краснощекий солдат со шваброй в руках.

— Битте, битте! — закивал он мне, радостно улыбаясь.

Тут я поняла: хутор занят немцами, в домах, наверное, живут офицеры. А жителей куда-нибудь согнали в одну комнатку и заставляют приносить топливо.

И верно. Отбросив швабру, толстяк взял охапку хвороста и побежал в дом. Из труб внутренних зимних печей валил дым.

Вернувшись на пустынную дорогу, я двинулась дальше в сторону города. И опять увидела тех самых короткоштаннных немецких парней. Я их называю парнями, потому как на солдат они похожи не были нисколько. Дорога шла круто вниз. Я спускалась, парни подымались беглым шагом, но теперь не гуськом, а толпой, вперегонки. Дорога широкая, я им ничем не мешала, но все-таки посторонилась, отошла к кювету. Я на них смотрела и выдавливала из себя угодливую улыбку. Вдруг гляжу, прямо на меня несется огромный, вся грудь в рыжей шерсти, дикий жеребец. И лицо длинное, зубастое, как у жеребца. Бежит и ржет. Меня он, конечно, видит, что я стою, но вроде и не видит. Дальше мне отодвигаться некуда, разве что спрыгнуть в кювет. Почему не спрыгнула? Я уже слышу тяжелое дыхание. Кулаки работают, как шатуны паровоза. Он меня бьет грудью, сбивает с ног и бежит дальше. Следующий за ним попал тяжелым башмаком меж лопаток. Третий остановился для разгона, чтобы сильнее стукнуть. Он мне в голову целился, но промазал: я успела увернуться и скатиться в кювет. Первый, который меня толкнул, он был зверь, его лицо я запомнила. Второй и третий — они просто баловались. Их лиц я не видела. Им все равно было, что там на дороге валяется — куча тряпок или консервная банка, лишь бы посильнее зафутболить. Я сжалась в комок, рука полезла в карман за пистолетом. Не знаю, была ли у меня ярость в глазах, никто на меня не смотрел, ни один не обернулся.

Если б я не сдержалась и стала стрелять, двух или трех уложила бы обязательно... Потом бы меня повесили... Ну и что, ну и повесили бы, зато бы чувствовала себя человеком. А тут... ведь отделалась легким испугом. Боли собой не чувствовала, позвоночник и ребра целы. Но во мне такая загорелась тоскливая злоба от унижения и беспомощности, что долго еще лежала, сунув лицо в колени и сдерживая слезы.

Потом-то я сообразила: эти фашистские жеребчики, они дали мне хороший урок: не стой на пути машины, машина слепа и обогнуть тебя не может.

Уроки, уроки!.. У разведчика что ни шаг, то урок.

Все-таки меня крепко помяли. Тот, что меж лопаток попал, он, видеть, ловкий был спортсмен. Я долго не могла продохнуть...

В этот день я ничего больше разведать не смогла. Дошла до развилки дороги и увидела, что та ее часть, которая идет в город, перегорожена шлагбаумом; возле полосатой будки стоят три автоматчика и мотоцикл с коляской. Пропуска в город и даже обыкновенного аусвайса у меня не было.

Идти обратно по дороге я не решилась, полезла по открытой местности в гору. Один из солдат, стоявших возле контрольно-пропускного пункта, дал в мою сторону короткую очередь из автомата. Я забежала за скалу и легла. Думала, сейчас подъедет к перекрестку мотоцикл, с него соскочат и погонятся за мной патрульные. Нет, ничего такого не случилось. Солдат, как я поняла, просто развлекался. Понаблюдав из-за скалы, я вскоре увидела, что другой патрульный дал очередь по пробежавшей собаке. Собака протяжно и долго визжала. Патрульные дружно хохотали.

Отсюда мне все было хорошо видно: голубое чистое небо и вдали снежная вершина Эльбруса. Было тихо, и только изредка повизгивала подыхающая в кустах собака.

Тут-то я и вспомнила Дашу, как она от радости хохотала над моим телечьим видом. И ее слова вспомнила: «Ни один черт не подумает, что ты разведчица».

Что ж, все получается, как она сказала. Только я теперь не с теленком бы себя сравнила, а с бродячей бездомной собакой. Когда б эти патрульные подстрелили теленка, не оставили бы его околевать в кустах.

Хоть я в последние годы и жила в горной местности, а в разведшколе мы практиковались, лазая по скалам и ущельям, в свой первый день я под Нальчиком заблудилась. Чтобы не возвращаться на дорогу, решила пойти кружным путем и, обогнув несколько холмов, вернуться в пещерку. День выдался солнечным, перед глазами все как на ладони, а я иду, иду и никак не пойму, где тот склон с моей пещеркой.

Я, правда, не шла, а передвигалась короткими перебежками — от одного скального выступа к другому. Из этих балок, где засели немцы, горы хорошо просматривались, фрицы то и дело постреливали. Иногда были слышны и короткие пулеметные очереди. В кого стреляли, кого преследовали, я определить не могла, возле меня пули не жужжали. Один раз увидела, что на отдаленном от меня склоне в узком ущельице закурился среди кустов дымок. И сразу же по этому дымку застрочил пулемет. Дымок погас, и немцы успокоились. Хоть бы кто-нибудь из них побежал посмотреть, что там дымит. Нет, постреляли, и все.

Я с собой компаса не взяла. Понадеялась на способность ориентироваться, да еще на такую важную приметку, как ручеек. На беду мне, ручейков было множество. Все перебирают камушки, шумят, гостеприимно приглашают испить водицы. Забыв правила поведения разведчика, я то и дело укладывалась на бережок и пила. Очень устала, взмокла, сильно болело колено, саднило между лопаток. Я давно схрупала те три кусочка сахара, которые взяла с собой, но голод не только не утолила, а еще и возбудила. Кляла себя, что не взяла хлеба.

То ли мне показалось, то ли и в самом деле стало садиться солнце? Я просто в ужас пришла. Неужели с утра мотаюсь по горам? В который раз я легла попить. Попив, села и принялась ощупывать колено. Что-то оно сильно припухло. Дело дрянь. Уже начало темнеть. Я вытащила из глубокого кармана часы, глянула — пять часов. Ко-

гда вытаскивала часы, выронила бумажку. Ту самую, со сводкой. Так я ее никому и не передала. Жалко, никого не встретила из жителей. Тут слышу из гущи кустарника:

— Девочка, дай бумага, курить будем.

Смотрю — рядом со мной кудлатая голова, парень в барашковой шапке. Глаза сверкают.

— Дай, слушай, пожалуйста. Я еще могу терпеть. Недалеко отец больной, без курева умирает... Говорю — умирает, совсем нехороший, просит перед смертью, меня просит: «Сын, поиди поищи бумажку. Табак имею, трубку потерял, понимаешь...»

Так говорил этот парень, будто в мирных условиях встретил прохожую и попросил бумажку — что, мол, особенного. И то, что умирает отец, тоже вроде бы самое обыкновенное дело.

Тогда и я говорю как можно проще:

— Как умирает? Может, помочь надо? Твой отец? Отчего умирает?

— Нет, — отвечает парень, — какой от тебя помощь! Он не мой отец, чужой старик. Все равно курить хочет. Дашь бумажка, нет?

— Но почему он здесь? Он что, раненный?

— Слушай, перестань, пожалуйста. Можешь дать бумажка — скорей давай, за мной не ходи... Он партийный человек, понимаешь. Его ловят. Крови столько было — жить все равно не сможет... Давай, слушай: предсмертное желание. Ясно?

Парень так сердился, что я, ни слова больше не говоря, протянула ему тот самый тетрадный листочек. Он схватил и, согнувшись, убежал, ломая кусты. Я минут десять прождала. Сердце сильно билось. Слышу, трещат кусты. Опять этот парень.

— Меня Ахмед, тебя как зовут? Еще такая бумажка давай, есть? — Он сам не свой от радости. Глаза сияют. — Старик курить не стал. Идем, идем, увидишь его. Хороший человек. Я ж говорю — немцы ищут, хотят расстрелять... Значит, хороший, да? Идем скорей: перед смертью хочет тебя увидеть!

Этот Ахмед, он меня чуть не волоком протаскивал сквозь кустарник. Как только не выдрал колючками глаза!

Мы продирались сквозь кусты минут пять, не больше. Под кустом кизила, опираясь на ствол спиной, сидел обросший, изодранный, окровавленный человек лет сорока. Глаза его были широко раскрыты, рот улыбался. В руке была зажата тетрадная страничка...

— Умер, — сказал парень. — Эх, зачем умер...

Я стала слушать сердце незнакомца, скинула платок и опять стала слушать...

Парень сказал:

— Эй, как тебя? Мажешься кровью, зачем? Мертвый он, мертвый. Подымайся, читай, что пишет.

На обороте листовки косыми каракулями дрожащей рукой в одну строчку без заглавных букв было написано: «Хоронить воспрещаю, скорей уходите».

— В разные стороны! — шепотом командовал парень. — Ты туда, я сюда!

Он скрылся в кустах. Я не осмелилась послушаться — побежала в другую сторону. Уже слышно было: хрустят по речному гравию тяжелые шаги солдат, крики «хальт», «хеңде хох». Где-то внизу зарычала и злобно залаяла собака... Раздался пистолетный выстрел, прогремела автоматная очередь, кто-то отчаянно заругался, засто-

нал, взорвалась граната. И вдруг стало тихо, только собака скулила... Я еще долго, сдерживая дыхание, таилась среди кустов.

Быстро темнело.

Говорят, я везучая.

К вечеру лег густой морозный туман. Я пять ручейков перешла, только на шестом повернула вниз. И надо ж так — обнаружила свою пещерку. Луна светила щедро, я как сквозь молоко увидела знакомые скалы и темное пятно на круче. Из последних сил вскарабкалась и сразу же учуяла горький запах полыни. Легла ничком: в голове стучало, гремело, стреляло. То слышу «хальт», «хенде хох», «шнель», то прорывается ко мне дурацкая песенка: «О таненбаум, о таненбаум, ви грюн зинд дайне блеттер». И сквозь эти лающие звуки гортанный голос: «Давай, слушай: предсмертное желание. Ясно?»

А чего бы, например, я перед смертью пожелала?.. Один молодой разведчик чуваш Аверкий Сибяков так сказал: «У нас у каждого перед смертью вся наша жизнь». Почему я запомнила? Что такого в этих словах? Мне они врезались в память и как-то ласково для меня звучали, очень утешительно. От этих слов хотелось и плакать и смеяться: «...вся наша жизнь». Сколько ее осталось, всей? У этого растерзанного дядечки, который умер с листовкой в руке, была, значит, жизнь, если, глядя на меня мертвыми глазами, он улыбался...

Я потрогала платок возле уха. Мокрый. Вода или кровь? На секунду зажгла фонарик. Что-то черное. Понюхала, поцеловала.

Так я навеки попрощалась с неведомым мне хорошим человеком. Молодой кабардинец точно определил: «Если немцы ищут, хотят расстрелять — значит, хороший!»

Хотелось поплакать — не смогла.

Подумала: что передать в штаб? Нечего было передавать.

Неужели зря прошел день?

Пожалуй, не зря.

Я уже писала: разведчик плохо себя чувствует и теряет уверенность, когда не способен ответить на вопросы, которые перед ним возникают. Так ведь я и не выяснила, кто истинный хозяин пещерки. Не догадалась пока и о том, кому принадлежали утренние следы на снегу. Кто мне подбросил листовку, тоже пока не знала. Но, конечно, больше всего я переживала, вспоминая умершего от ран неизвестного мне пожилого человека. Кем он был? Молодой кабардинец Ахмед назвал партийцем, сказал, что за ним охотились немцы. Может, именно этот погибший от ран коммунист был руководителем подпольного центра? Лицо хоть и сильно покорябанное, обросшее бородой, однако видно было — русский. А парень Ахмед, который ко мне пришел просить бумажку для курева, я сразу услышала по акценту, — кабардинец. Я долго жила среди абхазов, грузин, греков, армян. В нашем селе Ачадара живут люди всех этих национальностей. Когда говорят по-русски, сразу же узнают их по акценту. У абхазов, адыгов, черкесов и кабардинцев гортанный язык; то, что Ахмед — кабардинец, я не сомневалась...

Зачем обо всем этом думала? Что мне кабардинец, тот парень, которого я видела-то всего минут десять, или балкарец? Мысли приходят не спрашиваясь — и нужные и пустые. Спать я все равно не могла. Нарывало колено и так болело, что я, хоть и терпеливой была, иногда себя ловила, что невольно от боли крикну. Помочь се-

бе не могла ничем и очень боялась уснуть. Во сне, чего доброго, неудачно повернешься и вскрикнешь. Есть хотелось до головокружения. Но я помнила — надо экономить. Говорила себе: в прошлую ночь переела до икотки, теперь подтягивай живот, терпи! Все-таки разрешила себе поесть хлеба с водой и сахаром; не насытилась. Смотрю, что такое? В одной руке у меня банка с тушенкой, в другой — финка. Вот когда я на себя разозлилась, отшвырнула финку сама не знаю куда. Говорю себе: ты еще не знаешь голода, еще траву не ела, камни не сосала. Вот бы тебя в Ленинград. Там дети пухнут. А ты заелась, сахару с хлебом тебе мало!

Скорчилась в три погибели и решила, что лучше всего думать. Закуталась в парашют и думала, разгадывала загадки прошедшего дня. Разве не читала, не слышала от людей, что на голодный желудок голова лучше работает?..

Сосредоточилась вроде бы на экзаменах.

Почему Ахмед не побежал со мной? Мертвому ведь он не мог помочь, верно?.. Долго крутилась и так и эдак — вдруг поняла: ни он, ни этот русский дядечка не подпольщики. Наоборот, они, верно, решили, что я подпольщица и распространяю листовки. Потому-то старик и захотел перед смертью меня увидеть. Потому-то и Ахмед побежал в другую сторону — отвлек от меня опасность и сам нарвался на немцев. А вдруг его убили? Или хуже того — арестовали? Хорошо еще, листовка осталась у меня... А не потеряла ли я ее?.. Нет, здесь. Вот, на обороте записка умершего от ран. Есть ведь специалисты, способные кого угодно узнать по почерку. Придут наши, я передам в штаб и листовку и предсмертную записку... А что при этом скажу?

Не знала, что скажу.

Вернусь лучше к моим делам и раздумьям. Пока что дела только в раздумьях и состояли. Тем более что в них я черпала силы перебарывать голод и рвущую боль. Я ладонями грела свое колено. Мне казалось, оно под моими руками вздувается, будто его накачивают. Но главное мучение было не в том. Вот рация — протяни руку и достань, через минуту свяжусь со штабом. А что сообщать? То, что по случаю рождества альпийские части голыми загорали на солнышке? Или пожаловаться на бегунов, которые меня сбросили в кювет? Или передать шифром, что встретила Ахмеда, видела умершего от ран пожилого русского, три часа искала свою пещерку?.. Я ж не корреспондентка, а разведчица. За подобную радиogramму меня так пропесочат — до конца жизни не забуду.

Что делать, что делать?

Стала я мечтать, как придет кто-нибудь из подпольного центра. Этим-то людям я довериться могу, правда?.. А кто они? Где их искать? Разве я, даже если б не болела нога, имею право искать?.. А в то, что сами меня отыщут, верилось слабо. Не почтальон же ходит по моему адресу... Пусть даже у подпольщиков их центр в горах, распространять листовки им надо среди народа, в городе... Как они проходят, по каким тропам? Всюду ведь колючая проволока, рвы, пропускные пункты...

Так я думала, думала, ни до чего додуматься не смогла. Слышу мамин голос рядом со мной в пещерке: «А ты помолись, Дусенька! Встань на коленочки и помолись. Боженька тебе поможет...» Я ей отвечаю: «Как же ты можешь нарушать конспирацию! Сколько твержу — я не Дуся, не Дуся, а давным-давно Женя, Чижик. И как встать на коленки? Видишь нарыв! Лучше б ты мне, мама, нашла подходящую травку, чтобы я скорее выздоровела», Мама отвечает:

«Нужно приложить лист подорожника... — А потом громко мальчишеским голосом: — Возьми, возьмите, это вам...»

Открываю глаза — совсем светло. Слышу чьи-то шаги, вскакиваю, мычу от боли... Шаги действительно слышны: кто-то быстро сбегает по гравию речки. Все задернуто белым туманом... Рядом со мной лежит новая листовка:

«Прочитай и передай товарищу!

В течение 25 декабря наши войска продолжали развивать наступление в районе юго-восточнее Нальчика. Заняты: Красногор, Белореченская, Дигора, Карман-Синдзикау, Мостидзах, Дур-Дур. Уничтожено 36 танков противника, 19 орудий, 180 пулеметов, 365 автомашин. Противник потерял убитыми более 2000 солдат и офицеров. Так Красная Армия отпраздновала немецкое рождество, товарищи!

Скоро, скоро снова мы будем свободными людьми. День освобождения не за горами!

Подпольный центр».

Как же это хорошо! Значит, идут, продвигаются наши. Недолго мне тут сидеть со своим вздутым коленом.

Чуть не заплакала от радости. А потом подумала: «Я должна помогать наступающей армии, для этого послана, а мечтаю, что меня освободят. Я же часть, хоть и маленькая, а все-таки часть действующей армии».

Потом стала вспоминать карту Кабардино-Балкарии, ее границу с Северной Осетией. Наступление идет оттуда. И я поняла: хоть наши и здорово продвинулись, до Нальчика еще далеко, надо выбить фашистов не с одного перевала.

Вслед за этими мыслями стала себя ругать последней дурой: прозевала, опять прозевала того, кто мне больше всего нужен. Я же слышала, как бежал этот неизвестный мне человек. Бежал сквозь туман — стало быть, знает тут все, каждую ямку, каждый бугорок...

Не давал покоя и другой вопрос: кому он бросает листовки? Неужели специально мне? Быть этого не может. Тут тайна, которую понять я не в силах. Если раньше думала, что предыдущему хозяину пещерки, теперь поняла — нет. Я заснула, сидела закутанная в парашют. Он меня видел. Вряд ли, конечно, понял, во что я закутана. Во всяком случае, будить не стал. Выходит дело, имел на то причину.

Четыре дня и четыре ночи я безвылазно просидела в пещерке. Лучшее, что могла за это время сделать, сэкономила продукты. Я даже так решила: пусть умру с голоду — тушенку не трону. Сидела у края пещеры — справа под рукой две гранаты-лимонки, слева две железные банки с консервированным мясом. На этикетке нарисован бык — рогатая упрямая морда. А я думала: все равно тебя переупрямлю. Сама же нет-нет да и посмотрю: куда забросила свою финку? Пещерка крохотная, а финки нигде не видно.

В моей военной жизни бывали потом куда большие трудности, немало пришлось настрадаться. Но я так скажу: нет на войне ничего хуже, чем вынужденное безделье. Если б тяжелая рана, а то пустяк, но держит железным капканом...

Так подыхала от тоски и злости. А ведь считала себя везучей! **Лил** сильный дождь. И такой задувал ветрюга, что струи ледяной

воды то и дело заносило в пещерку. Я не могла унять дрожь, зубы отплясывали трепака.

Из-за этого проливного дождя за пределами моей пещерки ничего почти не было видно. Правда, если высунуться, в поле зрения попадает изгиб дороги. Метров сорок-пятьдесят, не больше. Все-таки я кое-что заметила, набралась нахальства и передала в штаб. Почему называю нахальством? Просто слишком мало разведанных, чтобы выходить в эфир. Ну, я сообщила, что мимо меня в сторону Нальчика проследовало через короткие промежутки более двухсот набитых солдатами автомашин. Что в том же направлении пошли средние танки — сорок два. И тяжелых танков «тигр» шестнадцать штук, а следом за ними самоходные орудия... В другой день опять же радировала, что мимо меня со стороны Нальчика, то есть с юго-востока, в течение часа эсэсовцы вели под конвоем беспорядочно шагающих солдат в неизвестной мне форме. Если судить по каскеткам, румынский батальон, а возможно, и сильно потрепанный полк, все солдаты и офицеры которого разоружены... В ответ меня из штаба запросили, почему такие скудные и неопределенные данные. Где я и что со мной? Здорова ли? Долго ли продержусь? Предупредили, чтобы берегла прозапас.

От этого всего мне стало горько и стыдно. Ответила, что здорова, но лишена возможности двигаться, что от голода не страдаю — достаю на хуторе картошку. Пообещала к завтрашнему вечеру сообщить разведанные по всему своему участку до горы Кизиловой...

Выходит дело, я врала. Зачем? А неужели сообщать, что поцарапала коленку? Или о том, что в один присест слопала банку тушенки? Не пришлют же мне врача и дополнительный паек на самолете. Но вот насчет того, что завтра передам сведения более содержательные и точные... Я ведь все время шевелила ногой, массировала ее. Понимала, что лучше бы сделать компресс. Недаром же мама в коротком моем сне советовала приложить к нарыву подорожник. Я и сама знала: помогают подорожник, столетник, календула. Только где их брать? Хорошо бы сделать надрез, выпустить гной.

Куда я забросила нож? Неужели выкинула в ручей?.. Тогда, считай, нет у меня финки. Ручей вздулся, стал желто-коричневым, бурным. Несет не только гравий и щебень — перекатывает большие гольши. На склоне вода идет теперь сплошным потоком. Вот бы идти в разведку — следов не останется никаких... Вдруг я услышала грохот и невольно вобрала в плечи голову. Прямо перед выходом из пещерки посыпались камни. А за ними широкой струей полилась вода. Теперь все, подумала я, зальет! Подохну, как на открытке княжна Тараканова. Только крыс не хватает.

Но получилось по-другому. Получилось, что я и правда везучая. Этот поток загородил меня, теперь снаружи никто пещерку не увидит... Только мелькнула эта мысль, в ту же секунду я уснула. Нет, успела подумать: пусть закричу во сне, даже заору во всю глотку — грохот потока все перекроет. А самое последнее, что подумала: правильное дело творит природа — немцам, которые засели в балках, крепко достанется от этого ливня.

Уснула утром и проснулась утром. А дождь все лил и лил. Вернее говоря, падала вода, желто-серый мутный занавес. Сколько же я проспала? Часы еще не остановились. Надо бы решить задачу: как могло получиться, что я их в девять часов завела, а теперь семь? Если б семь вечера, по декабрьскому зимнему дню должно быть

темно. Получается, что семь утра, тусклое утро. Не хочется верить, но механизм стучит и вряд ли врет; до сих пор не врал. Все спуталось, я была как чумная. Не сразу даже поняла, где нахожусь. Кроме того, я была изрядно мокрая, хотя водопад в мою пещерку не заливал, только иногда его заносил ветер. Сырость была уже привычной. И вот, хоть я была достаточно мокрой, на четвереньках полезла к струе ополоснуть лицо и промыть глаза. Только после того очухалась, стала соображать. Утерлась парашютной тканью, которая воду почти не впитывает. Для полной точности скажу — пришлось мне выйти за пределы пещерки. Не могла же я в своей тесноте устраиваться... Об этих подробностях говорить не принято, и я бы не стала упоминать, если б не было необходимости. Я нашла щелочку, где водопад от скалы отклонялся. И вылезла, вроде зверя из берлоги. Тогда увидела, что подымается солнце и нет дождя. Увидела красоту природы и даже услышала, что щебечут какие-то птички. Далеко внизу в чистом рассвете лежал город. А людей нигде не было. Я жила среди камней одна-одинешенька, вооруженная гранатами и пистолетом, а главное, рацией, по которой передавать в штаб мне давным-давно нечего. Вернувшись в свою пещерку, я окончательно определила, что проспала двадцать два часа подряд. От этого пришла в ужас. Но вслед за ужасом сразу же пришла радость: я сообразила, что ползаю на коленках и особой боли не чувствую. Значит, нарыв на колене лопнул, я могу жить и действовать... Но тут же вспомнила, что, когда нас посылали, было сказано, что посылают на три-четыре дня. Пусть у меня спуталось время, однако ж не настолько, чтобы не понимать: наши-то должны уже быть здесь и я сижу зря. Надо идти в город... Неужели я проспала артобстрел и налеты нашей авиации? Неужели я могу спать под любой грохот?

Это могло быть, это вполне могло случиться, но оказалось другое: наши на перевалах задержались: фрицы бросили туда огромные силы. Но как я-то об этом узнала?

Решилась и вышла в эфир. Вы бы видели! Я три раза вылезала наружу, чтобы развернуть антенну. Трудность заключалась в том, что водный поток частично замыкал линию. Рация не рассчитана на передачи из-под воды. Мне пришлось работать на открытой местности. Я наладила связь и сообщила, что здорова, и в ответ получила приказ немедленно обследовать на своем участке нынешнее расположение противника. Оператор штаба не сообразил, каковы истинные дела, и мне стало ясно: Нальчик еще не взят и я нужна как разведчица.

По радиограмме вроде бы и невозможно определить, как к тебе относится штаб. Однако ж недовольство прорывается даже через холодные цифры... Умом понимала — разведчик не имеет права болеть, а тем более спать. Мокрый он или сухой, значения не имеет.

Лопнул нарыв, и я опять способна двигаться. Но я должна обеспечить свою работоспособность не на час и не на два, притом что была насквозь мокрой, от этого дрожала, да еще и от голода.

Чтобы обследовать свой участок и проникнуть через немецкую заставу за семнадцать километров от пещерки, я должна хорошенько подкрепиться. Не менее важно было обеспечить свою подвижность. Очень хорошо, что лопнул нарыв. У меня была подготовка — в разведшколе обучали обрабатывать раны. Беда, что не могла отыскать аптечку, которая нам полагалась. Я ее искала и раньше, но вещмешок укладывает работник склада, а мы его получаем в готовом виде...

Конечно, забота о том, чтобы перед походом обработать свою

рану, имела немаловажное значение. И все-таки прежде всего надо было найти финку, без которой открыть консервы почти невозможно. Я, правда, вспомнила, как мне в Кущевке говорил дедушка Тимофей, будто он в молодости мог прогрызть банку, но в это я не очень-то верила, стала искать финку и нашла ее среди стеблей польни. Помните, я ее отшвырнула, но она, слава богу, не вылетела в горный поток, а зарылась в полынную подстилку. Достав тушенку и хлеб, от которого осталась добрая половина, но сильно подсохшая, я решила мяса съесть не более трети банки. У меня в моем возрасте зубы годились на жернова и то, что хлеб почерствел и позеленел, нисколько меня не обеспокоило. Волновало другое. Наверно, каждый человек по себе знает, как неприятно, если чувствуешь, что за тобой следит чей-то взгляд. Я вскрыла банку и принялась аккуратно есть. Был уже опыт: голод не тетка и легко увлечься... Я сэкономила каждую каплю, вынимала из банки маленькими щепотками и при этом чувствую: за мной наблюдают внимательные глаза. Этого мало. Водяной поток шумит, а я слышу какое-то шевеление внутри пещерки. Будто бы в ней, помимо меня, находится еще какое-то существо. Как неверующая, я не допускала никаких чертей и чудес. Продолжала есть, а тревога с каждой минутой усиливалась...

Преодолевая страх, я резко поворачиваю лицо в глубь пещерки и вижу... круглые глаза. Они круглые, но одновременно слепые, то есть незрячие. И одновременно эти глаза как бы светятся наподобие автомобильных подфарников.

Я бы не хотела рассказывать ничего таинственного, тем более что понимала природу — очень часто ходила в горные экскурсии с интернатскими ребятами. Ничего таинственного и не было: в глубине пещерки пристроилась сова. Как она сюда попала? Ей днем положено спать, но ведь дерево с дуплом могли срубить и она забралась в пещерку. В народе говорят, что совы, филины и летучие мыши сродни нечистой силе. Так ведь я и сама спустилась из облаков не хуже ведьмы... Это я теперь шучу, тогда мне было не до шуток.

Дальше вышло вот что. Я хотела тушенку спрятать, но никак с ней не могла расстаться. До того она была вкусная и запах такой приятный. Я доставала по крошечному кусочку и сосала. А эта серая сова, когда я к ней поворачивалась, взмахивала крыльями и гукала, вроде бы здоровалась, желая мне приятного аппетита. Я подумала, что и она голодная, — протянула ей кусочек. Но она по своей дикости, вместо того чтобы аккуратно взять, схватила вместе с пальцами и тут же скакнула на мое больное колено. Я заорала — у нее когти вроде шильев. Я ее сильно ударила рукой, но от этого мне же было хуже — больней колену. От боли я банку выронила, а в ней еще оставалось две трети тушенки. Сова тут же спланировала на банку, захватила обеими лапами, как клещами, и принялась заглатывать кусок за куском. Вот когда я пришла в неистовство. Бью наотмашь, а она шипит вроде змеи, а сама клюет и глотает, клюет и глотает.

Все-таки из этой схватки я вышла победительницей, хотя сова мне сильно поклевала руки. Я ее и колола, и рубила финкой, и наконец ухватила за крыло и вышвырнула через струю. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Я вся оказалась в крови. Проклятая птица не только руки мне исколупала — она и в щеку умудрилась долбануть своим клювом. Вот что значить хищница. Пока я спала, она ведь могла хлеб есть, правда? Нет, ждала, что открою консервы.

Шутки шутками, а вышло так, что и от второй банки осталось на доньшке. Надо бы спрятать, но как подумала, что явится еще какая-нибудь мясодная тварь, решила доесть...

После рукопашной с совой я стала собираться в поход. Осмотрела колено, выжала остатки гноя, промыла ранку чистой водой, вымыла лицо и стала укладывать все свое имущество в расщелину. Заодно осмотрела как могла тщательнее свой вещмешок. У меня была уверенность, что где-то в нем должна быть аптечка. Теперь, когда меня поклевала сова, надо было хоть как-то обезвредиться. Давно известно, что удача и неудача приходят полосами. У меня скорей всего началась полоса удач: отоспалась в безмятежном покое, лопнул нарыв, перестало болеть колено, и вот, пошарив в вещмешке, я обнаружила в нем внутренний карманчик, где оказалась аптечка с бинтом и йодом. Уж тут-то я обрадовалась и принялась на себя лить: прижгла колено и все ранки на руках и на лице, которые мне нанесла проклятая птица. Я не подумала, до какой степени себя разукрасила; о красоте вообще не заботилась: быть бы живой и способной двигаться.

Между прочим, я, кроме аптечки, нашла коробочку с иглой и нитками. Сразу же кинулась штопать порванный чулок и юбку. Провозилась с этим делом не менее часа. Надо бы снять с себя платок и пиджак, но об этом и думать было страшно: настолько я промерзла...

Так, значит... Я спрятала все в расщелину. Гранаты не взяла, но без пистолета выходить не решилась... Надо вам сказать, по инструкции полагалось все свое оружие, а также часы и компас перед выходом в разведку оставлять спрятанными... Дело прошлое. Инструкции скорей всего были серьезно обдуманы. Нам объясняли: если, дескать, попадетесь безоружными, вас обыщут и могут отпустить. Но если не то чтобы пистолет или часы обнаружат, но даже кусочек сахара, сразу же поймут, с кем имеют дело. Тогда верная смерть. Рассуждение разумное. Командование, кроме того, опасалось, что любой из нас может от одной злости к немецким зверствам пустить в дело гранаты и пистолет и тем самым обречь себя на верную гибель.

Честно скажу: эту инструкцию выполнить было невозможно. Выходить безоружной, когда есть финка и пистолет, ужасно трудно. Вы уже знаете, в Кущевке я выходила в станицу с гранатой и пистолетом. Дедушка Тимофей знал все инструкции, но мне в этом не мешал. Здесь, под Нальчиком, у меня и дедушки не было, должна была полагаться на свой ум. Только дело не столько в уме, сколько в чувстве. Сова со мной дралась — у нее были и клюв и когти, а я должна выходить с подушечками на лапках? Я потом других спрашивала разведчиков... и они нарушали инструкцию. Мне, например, Даша говорила: «Рассуди сама: если бы немцы явились в твою пещерку, только тогда ты и могла бы стрелять или швырять гранаты. А на воле должна была положиться на их доброту... Ну, хорошо, ты маленькая, тебя могли принять за девчущку. А меня бы обязательно взяли. Пусть не как разведчицу, просто погнажи бы на работу в Германию...»

Короче говоря, на этот раз я взяла с собой пистолет, немного сахара, а гранаты оставила спрятанными в пещере.

Ладно. Собралась, перевязала бинтом больную ногу, попрыгала — ничего, жить можно. Конечно, чувствительно, но с тем, что было, никакого сравнения. Чтобы выйти, пришлось опять прорываться

сквозь водопад. Я храбро шагнула и... сразу же покати­лась по скользким камням. Вскочила, огляделась. Давно ли ви­дела красивый чистый восход, а теперь ветер нес низкие тучи, но дождя не было. На отлогий склон намыло слой глины; ноги вязли. Я обернулась посмотреть на свое лежбище; вход в пещерку был скрыт водопадом. Тут-то я и сообразила, откуда он взялся. Метрами ста выше ручей подмыл глинистый берег, образовалась запруда, вода пошла над пещеркой и полилась через нее. Я заметила, что ручей упорно размывает глинистую преграду и вот-вот возвратится в прежнее русло. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо, легче будет отыскать свой «дом». По той же причине и плохо: как бы в мое убежище не проникли нежелательные гости вроде совы... Я махнула рукой. Ладно, совы днем не летают. Повернулась лицом к дороге и увидела — навстречу мне, с трудом передвигая ноги, поднимается, нагруженная нищенским скарбом вереница людей: два старика, женщины и маленькие дети. Они смотрели на меня как на привидение с того света. Я поняла, что передо мной беженцы. Но откуда? И почему идут в эти пустынные места, где, кроме колючего кустарника, ничего нет? Я стояла — они шли. Но когда я сделала в их сторону несколько шагов, женщины замахали руками, а дети схватились за юбки матерей и расплакались. Чем я их напугала? Может, они видели, как выскочила из водного потока?..

— Иди своя дорога! — сказал тощий старик и брезгливо поморщился.

Что мне оставалось? Пожала плечами и пошла вниз. Старики и женщины пугливо провожали меня — вроде бы увидели про­каженную. Вскоре они скрылись в кустарнике. Ну и чертовщина! Я поспешила снять с головы платок и рассмеялась: он весь был в птичьем помете и в перьях. Можно подумать, пока спала, сова сидела на моей голове. А если припомнить, что руки и лицо я залила йодом... вид, конечно, страшноватый. Кроме того, и пиджак был сильно измаран глиной и пометом. Так ведь и они, эти беженцы, тоже не очень-то хорошо выглядели.

Присев на корточки, я попробовала отстирать в ручье платок, но перья, пух и помет въелись в шерсть, не отходили. В полном отчаянии я укутала голову мокрым платком... Захотелось обратно в пещерку, чтобы свернуться в комок и, как говаривала мама, положить на волю божью... Выбравив себя за малодушие, я побежала к дороге.

И опять мне встретилась группа людей. Эти тоже смотрели на меня выпучив глаза.

Какая-то бедовая девчонка построила мне рожу и крикнула:

— Эй ты, психа, совсем, что ли, спятила? Куда идешь? В город нельзя, на дорогу нельзя — немцы всех гонят...

Женщины тоже стали показывать руками, чтобы я возвращалась в горы.

Сама не знаю как, я вдруг сочинила из головы, как мне и полагалось, легенду прикрытия:

— Ищу братика, маленького братика, вы не видели? Его Петя зовут... пятилетний братик...

— Где потеряла? — спросила одна из женщин.

— Мы встретили трех солдат, — врала я напропалую, — он испугался и убежал вон в те кусты...

— За теми кустами немцы, — сказала другая женщина.

Третья дернула ее за рукав и с плачем в голосе проговорила:

— Идем скорей, охота связываться! Не видела, что ли, чокнутых?

— Так ведь она погибнет! — закричала первая.

— Хочешь, чтобы мы погибли? Идем, идем!

Эти женщины меня считали чокнутой, но и сами были потерянными. В их глазах светился страх.

Я не стала ждать, кто из них победит в споре. Побежала. Мне понравилось, как я по наитию выдумала: «Пропал братик, ищу маленького братика».

Выйдя на дорогу к городу, я беспрерывно кричала:

— Петя, Петя-егруша! Петенька! — И вглядывалась сквозь придорожные кусты, стараясь подметить перемены, которые за эти дни произошли.

Вскоре ветер разогнал тучи, и опять, как и в день рождества, стало припекать солнышко. Я видела: в балках и траншеях за дорогой появилось еще больше тяжелых орудий; их поспешно маскировали хворостом. Все было в движении, то и дело слышались унтер-офицерские окрики. Танки, которые я заметила в первый день, теперь исчезли.

Я бежала и кричала:

— Петя, Петенька!

Из Нальчика мне навстречу промчалась большая колонна крытых брезентом санитарных грузовиков. Я услышала стоны и поняла: с перевалов, где идут тяжелые бои, везут без остановки в городе раненых. Может быть, даже эвакуируют нальчикские госпитали. Это давало надежду, что немцы решили город не оборонять. Но мало ли что придет в голову. Поспешные выводы делать не годится.

Я прытко бежала и с радостью чувствовала, как сохну и согреваюсь на ветру и на солнце. Вот и боли в колене почти нет, а главное — возвращается хорошее настроение и вера в удачу.

— Ау, Петенька, Петька! — продолжала я кричать.

Вдруг услышала — сзади сигналит машина, еле успела спрыгнуть в кювет. Это, считайте, гуманный попался шофер. Другой бы обрадовался сбить девчонку. На полном ходу пролетели три легковушки, а за ними, набитые до отказа солдатами в зеленой форме, шестнадцать грузовиков с высокими бортами. И опять легковушки, и опять грузовики, всего я насчитала восемьдесят пятитонных грузовиков с живой силой: сплошь молодые солдаты лет по восемнадцать. Значит, на оборону Нальчика везут молодое пополнение. Выходит, я напрасно думала, что немцы отдадут город без боя.

Прошли машины — я выкарабкалась на дорогу. Смотрю — прямо на меня идут трое патрульных с автоматами наизготовку. Самый длинный, распахнув руки, будто ловит курицу, кричит мне:

— Хальт!

Хотела было повернуться и бежать, однако сообразила: станут стрелять в спину. Я остановилась и запричитала:

— Братик маленький, киндер... Вы не видели?

Как раз в этот момент раздался вой сирены воздушной тревоги. Не прошло секунды, и в небе с ужасным нарастающим гулом явились наши пикирующие бомбардировщики «ПЕ-2». Патрульные спрыгнули в левый кювет, а я побежала вперед. Успела увидеть, что все трое патрульных улеглись ничком на дне кювета. Я еще подумала: «Как они могут? Там же вода...» Я скатилась в противоположный кювет, залегла. Слышала, как рвутся бомбы, и в самозабвении кричала:

— Ура, соколики! Бейте гадов, бейте проклятых!

В дыму и пламени взлетали в воздух обломки тяжелых орудий;

вовсю стреляли зенитки, стволы их дергались как параличные. Осколки бомб свистели и слева и справа. Я была твердо уверена: наши бомбы меня тронуть не могут. И верно, даже не царапнули. Бомба угодила в соседний кювет. Над моей головой пронесся огонь и горячий воздух... Может, только показалось? Позднее знающие люди говорили: если бы было так, я бы живой не осталась. В лучшем случае тяжело бы контузило. Но, как видите, осталась невредимой.

Наши бомбардировщики пикировали волнами, сбрасывая бомбы точно по тем целям, которые я указывала в своей первой радиogramме. Может, так, а может, им дал сведения еще кто из нашей группы, хотя бы и Даша Федоренко... Нет, это мой уценок. Именно тот, который я успела разведать в день рождества. Эх, жаль, что я тогда не смогла пройти дальше...

У меня выиграла душа, и я, не думая даже, кончилась ли бомбежка, вылезла на дорогу. Глянув мельком в соседний кювет, увидела кровь и обрывки зеленых шинелей. Не теряя времени я побежала вперед, к повороту дороги. Шлагбаум на пропускном пункте задрал голову на полосатой, как у зебры, шее. С нее свисала веревка. Ни в будке, ни на дороге не было никого. Попрыгались, гады. Я прибавила ходу, но споткнулась и упала на брусчатку. Ушиблась и долго не могла продохнуть. Было так тихо, будто окончилась война.

А может, я оглохла?

С трудом поднявшись, шатаясь из стороны в сторону, я миновала покинутый немцами пропускной пункт и вскоре оказалась на освещенной солнцем окраинной улочке с одноэтажными, заляпанными грязью безлюдными домами. Стекла в окнах были выбиты, а там, где стекла сохранились, на них были наклеены бумажные кресты. Я почему-то не только хромала, но еще и спотыкалась. Мне хотелось поскорее отойти от пропускного пункта. Волоча ногу, я шла как можно быстрее и кричала:

— Петя, Петька, Петенька!

Мне казалось, я и правда потеряла никогда не бывшего у меня маленького братика. Всю жизнь хотелось иметь братика...

Улица разветвлялась. Налево круто в гору подымалась мощеная белым камнем дорога. По ней я вышла в лесок. Вскоре закатилось солнце, и я поняла: где-то тут придется заночевать. Вынув из кармана остатки хлеба и кусочков пять сахара, я уселась в сухом песчаном овражке, медленно жевала и глотала. Запить было нечем. Ночь была ветреной и морозной. Я вся дрожала и все-таки в какой-то ямке, прикрывшись сухими листьями, задремала. Где-то в горах урчали моторы. Приснилось, что тракторы пахут землю. Хоть и спала, но не отдохнула нисколько. На рассвете поднялась и пошла сквозь лесок и кустарник в ту сторону, откуда был слышен шум. На плечо положила веревку и стала искать на деревьях сухие ветви, но их давно обломали. Тут, кроме кизилых кустов, росли дубки: их я узнала по жухлым листочкам. Попробовала сломать хоть одну ветку. Как бы не так. С ветвями живого дуба и мужчина не справится, куда уж мне. Тогда я взялась за кизил, но это ж не дрова. Наломала кое-как охапку, завязала веревкой... Вдруг слышу насмешливый голос:

— Ты куда, девочка? С дровами в лес?

Смотрю — высокий мужчина в демисезонном пальто. С ним городской мальчик лет двенадцати. Худенький, в очках. Поглядывает на меня, на отца, дергает его за рукав, торопит:

— Папа, пойдём!

Мужчина мне говорит:

— Вот что, девочка, кизил на дрова не годится. Что ж ты без топора?

Отвечаю ему:

— Подымусь повыше, может, наберу сушняка.

Тогда мужчина спрашивает:

— Ты что, из города? Где живешь, на какой улице?

Говорю как могу бойчей:

— Улица Ленина, дом шестьдесят два.

Он ухмыльнулся, а мальчишка брякнул:

— Нет такого дома. Она врет, папа. А в какой школе учишься? Таких, как ты, у нас в Нальчике не бывает...

Отец на него строго глянул:

— Не болтай, Саня! Дай-ка лучше девочке топор...

— Тю, — презрительно сказал мальчишка, — разве она может рубить?

Тогда я выхватила из его руки топор и раз-раз — срубила с дубка несколько толстых веток.

— Ловко у тебя получается, — сказал отец мальчика. Он внимательно меня оглядел. — Что с тобой? Ты измазана, измята, все лицо в йоде... — В глазах его светилась доброта. — Слушай, а ты ела сегодня?

Я отрицательно мотнула головой.

— А вчера?.. Что ты тут делаешь? Где твои родители?

Я не знала, что отвечать, и потупилась, как в классе перед учителем: он спрашивает, а ты не приготовила домашнее задание. Хотела было сказать, что ищу маленького братика Петю, но поняла — он не поверит.

Говорю:

— Можете подождать еще минутку? Я разрублю эти ветви. Так тащить неудобно.

Не дожидаясь ответа, я приладилась и за минуту нарубила горку полешков.

— Здорово! — воскликнул мальчишка.

— У меня папа плотник, — сказала я и стала укладывать полешки на веревку.

— А мой папа завуч в школе, — сказал очкастый мальчик. — Физик и математик!

— И куда ж ты теперь пойдешь? — спросил меня учитель. — На улицу Ленина?.. Вижу, ты старше, чем кажешься. И ты нездешняя... Ну да это не наше дело. Вот что, девочка. Мы пойдем, а ты за нами, у нас неплохое убежище. Из дома нас немцы выгнали, и мы поселились...

— Не могу, — сказала я, отдавая топор. — Вы идите, а мне придется побыть здесь...

— Вот так так, — сказал учитель. — Ну, хорошо, хорошо, — заторопился он, — можешь ничего не объяснять. Только выше не подымайся. За этим гребнем в котловине немцы сосредоточили несколько десятков танков.

— Прощайте, — сказала я.

Учитель вынул из кармана три вареных картошки и протянул мне:

— Это все, чем можем помочь. Бери, не стесняйся. Да сопутствует тебе удача!

Картошка была завернута в белый листок бумаги.

Поблагодарив, я взяла картошку и, резко отвернувшись, побежала.

— Стой, стой! — услышала я голос мальчика.

Нагнав меня, он сунул мне в руки топор. Запыхавшись и восторженно заглядывая в глаза, он зашептал:

— Если немцы увидят... у тебя дрова нарублены, а топора нет.

— Спасибо, — прошептала я. — Не надо. Если немцы увидят... у меня есть пистолет... Беги, уходи скорей... Меня ты не встречал. И папа тоже. Понял?

— Понял! — воскликнул он. — Прочитай, что на бумаге...

С этими словами он побежал вниз, а я со связкой дров через плечо стала подниматься на гребень горы. Надо было проверить, верно ли, что там, в ложбине, сосредоточены танки.

Слева метрах в пятидесяти, за леском, тяжело, с громкими выхлопами урчали моторы. Там была дорога из города. Я легла на землю и долго прислушивалась. Три картофелины, что мне дал отец мальчика, слопала, не снимая кожуры. Потом вспомнила — надо прочитать записку.

В ней было сказано:

«Прочитай и передай товарищу!

Завтра Новый год, товарищи! Он будет советским! До освобождения — считанные дни...»

Сильный порыв ветра вырвал из моих рук листок, поднял над леском и понес в сторону ложбины, где расположились немецкие танки.

Я чуть не расплакалась от досады за свою неловкость. Ослабела, задрожали руки. Все-таки поползла дальше, на гребень горы. И увидела замаскированные ветками танки. Их было не меньше сорока. Все до одного с открытыми люками; моторы работали на малых оборотах.

Надо как можно скорее вернуться в пещерку и связаться со штабом...

Это оказалось не просто. Все утро и почти весь день по дороге, ведущей из города к ложбине, где укрылись танки, сновали немцы. Я слышала возбужденные голоса и резкие командные окрики. Наверное, в ложбину небольшими группами перебрасывали пехоту: готовился танковый десант. Только к четырем часам стихло, и я смогла выйти на улицу, что вела к пропускному пункту. Нагруженные разным скарбом, по двое, по трое, таща за руки плачущих детей, уходили из города старики, женщины. Их не задерживали. Только и слышны были окрики:

— Шнель, шнель!

Я поняла — выход из города не запрещен, и присоединилась к двум старушкам. Переговариваясь по-кабардински, еле волоча ноги, они брели неизвестно куда.

— Вас выгнали из дому? — спросила я.

Одна из старушек передернула плечами:

— А ты что, прогулка вышла?

— Где-то удастся заночевать? — выдохнула я.

— Могила будет. Общая, братская, — откликнулась вторая старушка и усмехнулась. Потом сердито проговорила: — Горы родные должны выручать!

— Девочка, — сказала первая старушка, — мы тебя не знаем. Где твоя мать?

Я показала рукой вперед.

— Иди к ней, мы тебя не знаем...

Я сошла с дороги, перепрыгнула через кювет и, чтобы сократить путь, двинулась напрямик через холм. Начался сильный холодный дождь. То и дело я останавливалась, чтобы соскрести с подошв

глину. До хутора, за которым начался подъем к моей пещерке, оставалось не меньше пяти километров. В стороне стоял длинный сарай. Тот самый, что был нанесен на мою карту. От дороги к нему вела узкая тропа. Метрах в ста от сарая воронка от бомбы. Обойдя воронку, я подошла к открытой дверце, из которой валил не то пар, не то дым. Не задумываясь, зачем это делаю, я все еще тащила на плече вязанку, хотя ноги еле меня держали. Споткнувшись о порог, я чуть не упала. У кизячного костерка внутри сарая сидели трое немцев с автоматами и смотрели на меня. Как ни в чем не бывало я сбросила с плеча дрова и поздоровалась кивком головы. На другой стороне костра что-то делала женщина в черном. Шаль ее была повязана вокруг шеи, концы стягивались большим узлом на голове. Прижавшись к ней, молча стояли мальчик лет девяти и крошечная девочка. Оборванные, жалкие, они были под стать мне.

Глянув на меня мельком, женщина будничным голосом сказала:

— Садись грейся, дочка. Долго ж тебя не было. Хорошо, принесла дрова. Ляночка, видишь, совсем замерзла...

Не заставляя себя упрашивать, скрестив ноги по-восточному, я уселась вблизи костра. На немцев старалась не обращать внимания. Да и они от меня отвернулись — им интересно было следить за движением рук хозяйки.

Я вот написала «хозяйка». А ведь мы были не в доме, а в овечьем загоне. Однако неподалеку от костра стоял комод крестьянской работы, на земле была настелена солома, поверх лежал большой ветхий тулуп...

Женщина что-то месила в чугушке. Разносился запах кукурузного теста с добавкой польни. Судя по цвету, в тесте было куда больше травы, чем кукурузной муки. Поставив чугунок, хозяйка плеснула в костер воду из ведра. Угли и обгорелые палки зашипели, во все стороны полетели искры. Немцы повскакали со своих мест, а я и не подумала тронуться. Чуть не рассмеялась. Ну, думаю, фрицы-то сильно пуганые. Женщина разгрела палкой костер, открывая разогретые кирпичные стенки тондыра. Я-то знала — это такая кавказская печка, а немцы выпучили глаза. Они опять уселись и, вытянув шеи, о чем-то болтали. Полынным венником хозяйка обмела стенки очага, намочила в ведре руки, захватив из чугушка желто-зеленый комок теста, трижды перебросила его из ладони в ладонь и со всего размаху швырнула на горячие кирпичи. Быстро слепила второй комок, третий... Немцы вертели головой, не успевая следить за ее руками. Сухопарый фельдфебель, сидевший посредине, заливался диким смехом, похожим на ржание заезженного мерина. Два других тоже оскалили зубы. Я не смеялась. Я с упоением вдыхала расширившимися ноздрями аппетитный запах чурека. Через минуту женщина взяла из-за спины короткую лопатку, чтобы снять испекшиеся лепешки. Только сняла первую и разломала, чтобы дать детям, фельдфебель наставил на нее автомат:

— Давать сюда!

Он схватил половину лепешки, чуть не обжегся и стал перебрасывать с руки на руку. Поднес ко рту. Сморщился, но все же попробовал укусить. Тут же он кинул лепешку в огонь, грубо выругавшись, отобрал у женщины лопатку и побросал все лепешки в огонь.

Дети громко расплакались, женщина стояла с раскрытыми руками. На лице ее было выражение отчаянья, обиды, покорности. Чтобы не выдать вспыхнувшей во мне ярости, я уткнулась лицом в ладони, как бы тоже плача.

Немцы еще минуты две, смеясь, переговаривались, потом как по команде поднялись, подняли воротники шинелей, нахлобучили стальные каски и один за другим вышли, плюясь и ругаясь.

Я осталась у костра и, прислушиваясь, как чавкают в глине сапоги немцев, вопросительно смотрела на хозяйку: мне, мол, тоже уходить или можно еще погреться?

...Минуту погодя она приказала мальчику:

— Стань у двери, Аслан. Если фрицы вернутся, стучи ногой. Не кричи, ногой топай!.. Девочка, — сказала мне хозяйка, — ты бы сняла пиджак, пусть высохнет. Молчи, слушай, что скажу. Я Фатимат, тебя как зовут?.. Женя? Хорошо, пусть Женя. Не знаю, откуда ты, по глазам догадалась — ненавидишь немцев. Нас из хутора выгнали. Мужа моего, Ильяса, застрелили. Что он им сделал? Скажи, что, что? Он больной лежал, не мог подняться. Фриц по щеке ударил: вставай! Я мужа из госпиталя забрала, понимаешь? Он плохой был, еле дышал, нога ранена, кровь сочится, понимаешь? Говорят: вставай, убирайся отсюда, офицер будет жить. Мой старший сын Ахмед, крепкий мальчик, десятиклассник, оттолкнул немца, чтобы не смел трогать отца. Немец выхватил пушку, Ахмед ему дал ногой по руке, схватил пушку, стал стрелять — в немца не попал, выбежал из хаты и сразу в горы. Убежал, понимаешь?.. Ахмед убежал, старший мой сын, живой, нет — не знаю. Немцы вернулись, застрелили Ильяса, кровь текла, мозг вытекал. Я упала. Дети видели, понимаешь? Кричали во весь голос. Мой Аслан, ему девять лет, камень взял... Ножа не было, он камень взял. Немец смеялся, камень огнял. Я поднялась защищать Асланчика. Он кричит: «Мама, не надо, тебя убьют!»

Уже совсем стемнело, хозяйка захлебывалась в плаче. Теперь я видела — она не старая, а измученная. Она плакала, говорила, — руки действовали. Снова достала муки из мешочка, налила воды в чугунок, стала месить.

— Не уходи, ты наша гостья. Сними пиджак, повесь перед огнем, ты наша гостья. Дрова куда несла, откуда взяла? Здесь нет дубков, далеко тащила, да? Где твоя мама, есть мама? Папа живой? Не убили? Сиди-сиди, вижу, голодная, вижу, вся в синяках. Поешь и поспи...

Я ей сказала, что долго не могу сидеть, что в горах, в пещерке, меня ждут.

— Мама и братик голодные, замерзли...

— Сиди-сиди, в пещерке нельзя жечь костер: немцы сразу стреляют из пулеметов. Ты не уходи, эту ночь живи у нас... Э, Асланчик, нет немцев? Закрой дверь, иди сюда!

Под говор матери девочка уснула. Мальчик сел по ту сторону огня, черные его глаза искрились затаенным задором, лоб морщился от дум, губы шевелились, будто без слов повторяли проклятья.

Я поднялась уходить. Мальчик вскочил, встал у двери:

— Не пущу, подарил кинжал!

— Откуда у меня, глупенький? — сказала я и потянулась погладить его вихры.

Он отвел мою руку:

— Не трогай! Дай кинжал — подкрадусь, зарежу немца. Дай! Я перед тем только на минуту распахнулась перед костром, чтобы набраться тепла, — мальчишка успел заметить финку на ремне.

— Дай, дай! Пойду искать Ахмеда. Он в горах, я его отыщу, буду с ним резать немцев...

Я подумала: может, с его братом встречалась? Тот парень назвался Ахмедом... Вот бы узнать, кем был дядечка, который умер от

ран.

Мальчишка вдруг кинулся на меня, хотел выхватить из ножен финку. Мать с трудом его оттащила. Прижавшись к ее живому, он разрыдался. Вместе с ним стала плакать и мать. Проснулась девочка и, услышав, как плачут старшие, присоединилась к ним.

Я вдруг ляпнула:

— Фатимат, я видала вашего сына. Он в барашковой шапке?

Она оттолкнула детей, вскочила:

— Как ты видала? Где? Он живой?.. Слышите, дети, Ахмед живой! Девочка, милая, скажи скорей... может, пойдем, покажешь?

— Живой, живой, он стрелял в немцев! А кто мог быть с ним русский пожилой, тяжелораненый?

— Русский? Нет, Ахмед один убежал... Говори как следует, где видала, когда? Бельмо на глазу видала?

— Бельмо? Не помню. Высокий парень, и с ним истекающий кровью пожилой русский...

— Бельмо на глазу не-ет? Ай, жаль! Значит, Ахмед, но другой.

— Другой! — повторила я как эхо.

Фатимат скорбно смотрела, думала.

Тогда я со всеми подробностями рассказала, как умирал русский и как потом Ахмед столкнулся с немцами и стал стрелять.

— Он пятерых убил! — соврала я.

Женщина вскочила:

— Пятерых?! Ты хорошо считала? Пятерых немцев убил Ахмед? Значит, мой сын. Пусть другой Ахмед, все равно мой сын!

Мальчишка закричал во весь голос:

— Пятерых, пятерых, наш Ахмед пять немцев застрелил! — Он стал хлопать в ладоши и приплясывать: — Наш-наш-пятерых!

Так мы встретили Новый год.

Фатимат не выпустила меня, пока не испеклись новые лепешки. Заставила поесть:

— Что ты говоришь, мало. У меня, смотри, кило муки еще есть. Завтра-послезавтра придут наши.

— Откуда вы знаете?

— Как могу не знать. Вот бумажка, читай.

И она вытащила из какого-то заветного угла такую же листовку, какая была у меня.

Я сказала вдове, что в горной пещерке дожидаются меня мама и братик Петя. Ночь была темная, холодная, мокрая. Вдова недоверчиво слушала. Шепотом на меня накричала:

— Зачем ночью? Дождись утра. Что за такая скверная мать у тебя, не боится пускать одну? Ты немцев не знаешь, мало их знаешь: жеребенок, ребенок — все равно убивают. Собак всех перестреляли. Ты маме дрова несла? А где отец? Откуда у тебя кинжал в ножнах? Брату сколько лет? Пять лет... Как моей дочке. Видишь, уснул мой мальчик, надежда моя; девочка тоже спит. Сиди слушай — всю жизнь свою расскажу...

Я сказала:

— Мне надо идти. Дрова пусть вам останутся. Понимаете, обязательно н а д о идти...

Она задумалась:

— Если н а д о, иди! Дай обниму на прощанье. Как тебя зовут?

— Женя, я вам говорила.

Обыкновенная женщина, колхозница, меня разгадала. Одно слово «надо» выдало меня с головой.

Вообще-то засланные в тыл разведчики должны опираться на местное население, на советских людей. Но если посылают недорос-

лых вроде меня, предупреждают, чтобы не связывались ни с кем. Слишком велика опасность неверной оценки встречного. Если кому доверился, его или ее надо запоминать. Всякий или всякая, кому открылся, становится как бы звеном в цепи. Конечно же, такой опытный разведчик, как Галицкий, умел отличить искренних и случайных — неустойчивых, способных предать... После Кущевки, где я хоть и многое пережила, многому научилась, мой опыт не приняли во внимание. Предупредили: «Говорить говори, молчать с людьми не годится, но не привлекай никого. И не открывайся!» Это был приказ. Однако начштаба не сказал, как быть, если кто-либо из советских людей разгадает, кто я есть.

В соответствии с приказом я не откликнулась на ласку вдовы и на ее откровенность. Потупилась и замолкла. Тогда она выскочила за дверь, вернулась, потрепала по плечу:

— Иди! Вот... возьми лепешку...

Я не отказалась, спрятала за пазуху. Она вздохнула, а я сдержалась...

К рассвету я отыскала свою пещерку. Ручей вернулся в прежнее русло, и вход был виден. Оттуда был слышен громкий мужской храп и плач младенца. Вот что получилось. Хуже быть не могло. Я еще когда уходила и встретила беженцев, подумала было, что кто-нибудь в мою пещерку заберется. Но тогда через вход лило, и я надеялась — авось пройдут мимо. Гнала от себя эти страхи. Тем более отсиживаться все равно не могла. Особенно обидно, что как раз мое время: дежурная радистка ждет моих позывных. Третьи сутки ждет.

Я была мокрая, вялая — отяжелела. Сыпал крупитчатый снег. Как же мне быть, как быть? В пещерке рация, парашют, последняя банка тушенки, кусок зачерствелого хлеба... Ну, еще гранаты, компас, часы. Все это замаскировано, уложено в расщелину... А что толку — войти это равно нельзя. Какие-то люди захватили мою пещерку... А почему она моя? Я и сама пришла на чье-то лежбище...

Сову я победила, выбросила. С этими постояльцами будет труднее.

...Теперь, когда пишу, мне сорок семь лет, жизненный опыт стал богаче. Когда вспоминаю дни, проведенные под Нальчиком, понимаю, что действовала не всегда правильно. Я не должна была занимать пещерку, в которой кто-то раньше уже побывал. Но в непосредственной близости от вражеских войск выбрать себе наблюдательный пункт лучше этого я не могла, надежно спрятать рацию больше было негде. Конечно, встречи с местными жителями грозили мне разоблачением, но если население разогнали по горам сами же немцы, невозможно себе представить, что хоть одно укрытие, хоть одна пещерка рано или поздно не была бы занята какой-нибудь семьей... Можно бы, конечно, бросить рацию, «забыть» о ней и обо всем своем имуществе. Но какой от меня был бы в таком случае толк? Более опытные разведчики меня потом критиковали и говорили, что один человек ничего не может и рано или поздно приходится рисковать и открываться перед тем или иным крестьянином, рабочим, интеллигентом, постараться привлечь его на свою сторону. Я была наивной, выглядела чуть ли не ребенком, но знала, что командиры «простоватость» моего облика ценили. Главным моим душевным советчиком по-прежнему оставался дедушка Тимофей, а он советских людей не боялся, в них верил, а колеблющихся переманивал на свою сторону.

...Конечно, я задумалась раньше, чем рискнуть заявиться к неизвестным квартирантам той самой пещерки. Задумалась... на минуту.

Внизу на дороге рычали танки и самоходные орудия, торопились выйти на оборонительную линию. За эти сутки я накопила немало разведанных, а передать не могу... Рация в пещерке, а там кто-то живет.

Новый год, первый день нового, 1943 года, у людей радость, а я слабая, мокрая, несчастная... Вот ведь глупость спорола — почему я несчастная? Подумаешь, мокрая. Вся армия мокрая, не одна я. Наоборот, счастливая — раздобыла важные сведения, остается только передать. Значит, надо выручить свою рацию...

Я прошлась мимо пещерки и раз и два. Попробовала забраться, опять спустилась.

Из-за скалы выскочила чернявая молодуха:

— Что высматриваешь, а? Что здесь высматриваешь? Война, а ты воруешь?! Ищешь, где плохо лежит?.. У нас хорошо лежит, не разживешься. Сейчас отца разбужу. Отец — сильный старик. Уходи отсюда. Камнем пришибу, глаза выдеру! Куда заглядываешь? В пещерку? Мой мальчик плачет — у меня молока нет, грудь высохла... Думаешь куском поживиться? Я те дам кусок! Я тебе живо шею сверну!

— Слушай, — сказала я, — что ты с кулаками... Возьми поешь! — Я протянула ей лепешку.

Она выхватила из руки, понюхала.

— В тондыре спечено. Откуда тондыр?

— Мне подали, со мной поделились, я с тобой делюсь... Возьми поешь, с Новым тебя годом!

Она вдруг поняла, что говорю, сникла, села на камень, заплакала:

— С Новым годом? С каким Новым годом?

— С советским, тетя! Наши идут. Я оттуда иду. Пустите в пещерку, расскажу... Это моя пещерка!

Я нарушила конспирацию, все инструкции нарушила. А что могла? Ничего другого не могла. В кармане пистолет, за поясом финка — неужели нападать на эту лохматую дуру, на мать младенца, на дочь престарелого отца, может, такого же, как мой?.. Вот он лезет ногами вперед, в ободранных сапогах, в ободранном ватнике. Появляется белая кудлатая голова. Лицо поворачивается на крик дочери, сухое, морщинистое, сильно обросшее седой щетиной.

— Ты с ума сошла, Куарэ? Так кричишь. Кого поймала? Медведя поймала?

Он по-русски с ней говорил. Выходит, больше для меня, чем для нее.

Протирает глаза, вглядывается, манит меня пальцем:

— Подымись ближе. Вы обе так орете — враги услышат...

Жадно ловлю слова. Догадываюсь — меня врагом не считает. Значит, у нас общий враг.

Старик прижимает ладонь к уху:

— Слушай, молоденькая! По голосу ты школьница... Плохо вижу — неужели школьница? Это правда, что наши идут? Зачем тебе пещерка, что в ней ищешь?

Он произносит плохо, сильно шепелявит, с трудом его понимаю. Очень старый. Блеклые глаза, нос крючком — на сову похож. И дочка у него, хоть и черная, вроде него. Опять он говорит, я слушаю.

— Девочка, я тебя спрашиваю: хлеб мы с дочкой моей съели. Что осталось? Если твоя пещерка, что там осталось?

Я молчу. Долго стою и молчу. Не хватает духу отбросить вбитые в голову правила конспирации. Верю — старик и его дочка свои, советские. Пусть мне и не нравятся, пусть несимпатичные, но наверняка советские.

Старику надоело отгибать ладонью ухо, ждать ответа.

— Морочишь голову? Откуда знаешь эта пещерка? Была тут? Говори-говори! Что оставила? Говори-говори!

Вот мне какая судьба — то и дело встречаюсь со старухами и стариками. Дед Тимофей молодой в сравнении с этим кабардинцем. По-русски и дочь и отец хорошо объясняются... Больше раздумывать не годится. Поднимаюсь поближе, прошу старика:

— Дедушка, залезем в пещерку. — Шепотом заговорила: — Открываюсь вам... Строго воспрещено, а я открываюсь. Можете доносить — я военная радистка.

Он опять прижал ладонь к уху, лицо скривил.

— Что?! Думай, когда говоришь, девочка... Ты школьница, что ли? Торопливо отвечаю:

— В глубине этой пещерки, в расщелине, моя рация, мой парашют, мой вещмешок...

Он покачал головой:

— Ты? Сама? Не парень твой... Значит, такая? — Он показал мизинец и тихонько рассмеялся, глаза оживились, стали почти веселыми. — Э-эй, Куарэ, — подозвал он дочку. — Забери своего крикуна, сядь у входа... О алах, вот такая... несчастная, мокрая, наша разведчица... — Вдруг резко повернулся ко мне: — Докажи!

Я вытащила из кармана свой пистолет «ТТ», показала ему на ладони. Старик отпрянул:

— Вах!.. Стрелять можешь, да?

Он закашлялся или рассмеялся, я понять не могла. Отодвинувшись, пропустил меня в пещерку. Внимательно следил, как я добываю из расщелины свое имущество. Все было перерыто, засунуто кое-как. Прежде всего я нащупала свой «северок», вытащила, осмотрела, облегченно вздохнула: никаких поломок не обнаружила. Достала антенну, блок электропитания, но никак не могла отыскать наушники. Выволокла из самой глубины парашют; он большой, занял чуть не полпещерки. Трясла, трясла — нет наушников. Испугалась, смотрю на старика. Он вялым голосом спрашивает:

— Что потеряла? Хлеб потеряла? Мы с дочкой съели. Что еще ищешь? Консервы вот — видишь, не тронули...

Я свой фонарик нашла, компас. Нет наушников и гранат-лимонок. Ладно, найдутся гранаты, куда они денутся. Сейчас для меня главное — наушники. Боюсь подозрением обидеть старика, но все-таки спрашиваю:

— Вы наушники не видели?

— Какие такие наушники? Я понятия не имею. Э, Куарэ, ты не видела?

Я стала подробно описывать, что представляют из себя наушники:

— Две круглые штучки, их соединяет стальная дуга...

Старик вытащил из-под себя:

— Это, что ли? — Он рассмеялся. — Не думай, что темный такой. Нарочно тебя проверял... Я пробовал слушать, но твой аппарат молчит, испортился, что ли.

Я поставила перед стариком консервы с бычьей мордой, протянула ему ручкой вперед свою финку:

— Угощайтесь!

Старик отвернулся, будто не увидел и не услышал. Я решила не терять времени. Вынесла за пределы пещерки и развернула антенну, сунула в скальную трещину штывер заземления и, как только засветилась шкала, принялась работать ключом, упорно посылая в эфир свои позывные:

— Я Чижик, я Чижик, я Чижик!

Довольно быстро добилась отклика и, расстелив карту, стала передавать все, что за это время накопила. Слышу, старик обращается к дочери:

— Куарэ, дай грудь Сахиду. Орет — мешает разведчице.

Я на него глянула:

— Прекратите!

— Что прекратить?

— Я не разведчица, я Женя.

— А-а, Жануся? Дай аллах тебе здоровья, Жануся, работай!

Кажется, понял, что работаю, признал. И все же я чувствовала: что-то не нравится старику, в чем-то он разочарован. Ну и пусть, мне-то что! Он следил взглядом, как подрагивает моя рука на ключе, качал головой... Видно, ему прискучило. Насунул на голову папаху, опустил до седых бровей...

Под конец сеанса связи я получила совет подняться выше в горы, чтобы не попасть под огонь нашей дальнобойной артиллерии. А я самонадеянно подумала, что моя пещерка выдержит, отсюда лучше будет видно, смогу корректировать стрельбу...

Долго держала связь, минут двадцать. Когда принялась собирать и скручивать антенну, прятать рацию и упаковку с питанием, старик разволновался, ухватил за руку:

— Сколько слушал — ничего не услышал. Кого вызывала, кому что передавала? Может, на немцев работаешь?

— С парашютом прыгала от немцев к немцам? Дедушка, вы хоть понимаете, что говорите?!

— Наши тебя слышали?.. Что ты им передала?

— Это секрет.

Он посмотрел точь-в-точь как сова; глаза расширились — сейчас клюнет. Но ничего такого не произошло. Вытащил из кармана трубку, стал набивать табаком. Я заметила — в кармане его ватника лежит моя граната-лимонка, но ничего не сказала. Старик долго набивал трубку, руки сильно дрожали.

— Скажи пожалуйста, — проговорил он, — се-секрет! От меня, от нее? — Он показал на дочь, потом ткнул пальцем в запеленатого внука: — От него тоже секрет?

Женщина что-то раздраженно проговорила по-кабардински. Старик вступил с ней в спор. Я пока что принялась открывать банку с тушенкой. Отец с дочерью продолжали непонятный мне горячий спор.

Я была голодна, запах консервов еще сильнее взбудоражил голод, но решила перетерпеть. Говорю старику и женщине:

— Поешьте. Вам с ребенком надо отсюда уходить.

— Как так уходить? — резко повернулась ко мне женщина. — Зачем?

Я сказала:

— Не сегодня-завтра наши дальнобойные пушки будут бить по этой дороге, по отступающим немцам.

Старик зажег трубку и вышел за пределы пещерки. Он делал вид, что меня не слушает.

Женщина с неприязнью спросила:

— Это правда, девочка, ты военная? Отец не верит. Парашют твой? — Она с жадным вниманием следила, как я взрезаваю банку с тушенкой. Мальчишка терзал ее грудь и от злости вскрикивал. — Я тебя спрашиваю! — закричала женщина.

— Ты ведь знаешь, что правда. — Я твердо посмотрела ей в глаза. — Хватит друг друга испытывать. Вот возьми финку, поешь консервов. Ты измучилась... Дай мне ребенка, я пока подержу. Кушай, пожалуйста.

Женщина отдала мне сына и, сдерживая нетерпение, стала вытаскивать финкой куски мяса. Мальчишка орал, сучил ножками, но я его крепко держала.

Старик заворчал и неловко стал спускаться по крутизне к ручью. Отвернувшись от нас, уселся на корточки и усиленно запыхтел трубкой.

Для меня все это было тяжелым испытанием. Не знала, что делать, что говорить. Видела, чувствовала — и отцу и дочери я неприятна. Кроме того, не могла понять, что происходит, чем они раздражены, о чем спорят.

Спрашиваю женщину как можно спокойнее:

— Вы из Нальчика? Ваши где вещи?

— Вещи, вещи!.. Вот узелок, видишь? Пеленки, распашонки, обмылок. Дом сожгли немцы, мстили... ты понимаешь, нет? Они меня искали — взяли бы вместе с ребенком, чтобы я предала мужа...

— А твой муж кто?

— Мой муж... Человек, что тебе? Имя — Ахмед...

Женщина замолчала, поглядывая на меня исподлобья.

— За него мстили немцы?

Она махнула рукой и отвернулась.

— Смотри какая — все знать хочешь...

Выходит, я от них, они от меня таятся.

Эта женщина — она совсем была молодой, лет двадцати двух. Я написала — похожа на сову. Нет, она просто была очень голодная, измученная. Я видела ее злой, теперь она обмякла, на ресницах повисли слезы. Она еще и от холода дрожала. Одета в шевиотовое пальтишко, из-под небрежно накрученного бумажного платка выбивались черные патлы.

— Ладно, скажу: мы в этой пещерке хотели встретиться с Ахмедом. Отец слишком долго меня искал, пять дней ходил по городу. Мы прятались в развалинах... Может, Ахмед у отца дома... или нас пошел встречать. Нашего отца дом недалеко: два холма перейти — лесной кордон. Отец лесник, понимаешь?

У меня в голове путалось — ничего понять не могла. Вроде бы все мы советские люди, но друг от друга таимся, недоговариваем. Я хотела было сказать, что встречала одного Ахмеда. Но ведь и у той вдовы, что жила с детьми в овечьем загоне, сын ушел в горы, и тоже Ахмед. Правда, тот должен быть совсем мальчишка. Одно мне стало почти ясно: полынную подстилку в пещерке набросал либо вот этот старик, либо его зять.

Женщина спросила, можно ли дать немного поесть отцу. Я кивнула. Она ласково позвала:

— Беч, иди!

Старик отрицательно замотал головой. Дочь стала просить:

— Поешь, Беч, хоть немного...

Отец опять замотал головой.

— Почему не идет? — спросила я. — Обижается?

— Сердится.

— На меня или на тебя?

— На весь мир сердится. На тебя тоже. Он в лесу живет, один, в город редко приходит, разговоров не любит. Тебя спросил, что ты передала по своей штучке. Ты ответила: секрет. Он не понимает: ты советская, мы советские, зачем секреты? Мой отец так тебя ждал... Нет, не тебя — думал, парень придет.

Я что-то начала понимать:

— Вы из-за меня тут сидели? Сторожили мои... все, что я спрятала?

Женщина посмотрела на меня как на дурочку:

— Ты девочка... Говоришь, твой парашют. Мы тебе поверили, правильно, да? Спрашиваешь, что мы тут... Когда пришли, мужа моего не застали. Отец почувствовал: тут кто-то был. Стал смотреть — нашел парашют, аппарат, хлеб, эти вот консервы. Говорит мне: «Куарэ, нам уходить нельзя. Народ собирается в горах — женщины, дети. Не поймут. Все растащат, аппарат испортят. Наш разведчик вернется — не сможет работать...» Он ждал парня, понимаешь?

— А зачем мои гранаты взял?

Женщина покачала головой:

— Ты что! А если немцы? Отец себе взял, мне дал, научил выдергивать кольцо... Мы дежурили, спали по очереди.

Вот когда до меня дошло. Старик и его дочь голодали и холодали из-за меня. Захотелось броситься ей на шею, расцеловать. Она отстранилась и сказала:

— Дай моего мальчика. У тебя сильно кричит.

Я отдала ей ребенка и спросила:

— Как твоего отца зовут?

Она улыбнулась. Первый раз улыбнулась и стала почти красивой. Кажется, в меня поверила. Мягко сказала:

— Ты слышала. Я называю Беч. Имя отца — Кадырбеч... Лучше говори по фамилии: товарищ Пшимахов.

Я вспомнила: абхазы, среди которых я жила, нередко называют отца сокращенным именем. Посторонний так обращаться к старику не смеет.

— Товарищ Пшимахов! — позвала я как можно ласковой.

Он не повернулся, замотал головой:

— Сиди, разведчица. Не надо твоего мяса!

Я окончательно растерялась, посмотрела на женщину:

— Как быть, а?

Она не успела ответить. На подъеме от дороги появились какие-то люди. Сыпал густой снег, их было плохо видно. Когда подошли ближе, я разглядела — два старика. Такие же дряхлые, как и наш.

Наш старик закричал, замахал руками:

— Э-эй, Петрович!

Ему ответил хриплый голос:

— Я Петрович... Ты чего здесь, а, Пшимахов? Мы к тебе, а ты, оказывается, здесь... С Новым тебя годом!

Один из путников подошел, тяжело опираясь на палку... Второй остановился в отдалении.

Наш старик показал рукой на пещерку:

— Тут у меня дочка с внуком. С тобой кто?

— Коваленко Семен. Помнишь его? Еле живой...

— Что такое?

— Фрицы из автоматов... всю семью. — Петрович стал говорить тише, я еле слышала. — Возвращается, понимаешь, домой — хата сожжена, старуха, невестка, племянница... Всех кончили. Он хотел

хоронить... я его увел. Неровен час, и нас бы того. Комендантские зверствуют. Это ужас — чувствуют свой конец.

Помолчали. Наш старик задает вопрос:

— Как из города вышли?

— Ты выходил, и мы вышли. Партизанские времена совсем, что ли, забыл?

Вот когда я наострила уши. Неужели партизаны? Вдруг и наш старик партизан? Такой дряхлый? Ну и что, разве не бывает?.. Тогда понятно, что обиделся на мое секретничанье.

— А через эту вот дорогу? — спрашивает наш старик.

Петрович ответил:

— Теперь стало полегче. Их артполк отсюда смылся. Их наши засекали и разбомбили. Вот и перебазировались поближе к совхозу. На этой дороге одни патрули — проскочить можно. Хотя движение, конечно, большое. С перевалов фрицы вывозят тысячи раненых. Комендантские и эссовцы вывозят из города что только могут...

Меня оттолкнула дочка старика и закричала вниз:

— Иван Петрович, это я, Куарэ! Нашего Ахмеда не видели?

Пришлый старик весь осветился:

— Здравствуй, маленькая... Твоего муженька я давно не встречал.

Тут приблизился третий старик. Он был страшен. Лицо в кровоподтеках, сам весь в глине. Пальцами раскрыл глаз пошире.

— Э, дочка. Твой муж Ахмед Мухарбиев, что ли? Дней пять назад я его видел. Он тебя искал или твоего старика, а нашел другого...

— Кого? Что такое вы говорите?!

— Ты слушай, слушай, Мухарбиева. Был один человек... сильно раненый. Разоружил охранника, бежал из гестапо. Так вот, твой Ахмед повел его в горы... Может, они давно на лесном кордоне. Вы Ахмеда тут караулите, а он вас там ждет...

Наш старик поднялся, поздоровался с подошедшими за руку.

— Мы Ахмеда не ждем, тут находимся по другому делу... Ай, ну и сильно ж тебя помяло, Коваленко. Прыгал, что ли, с поезда?

— Прыгал... Ездил по картоплю для своих... Кормить теперь некого. Вы не ждите Ахмеда. Тот сильно был раненый, которого он тащил... Они прошли, а потом, бачу,— патруль с собаками. Спрашивают меня — я им в другую сторону показал...

Наш старик нахмурился:

— Ахмед, значит, на кордоне? Э, Куарэ! Ты иди, что ли, с ними... Шагайте, ребята, мой дом открыт. Я своих из города выручил, иди, иди, Куарэ, я пока тут побуду.

Женщина с мальчишкой, прихватив узелок, стала понемногу спускаться из пещерки. А меня терзали мысли: они партизаны, они уйдут. Говорили, что артполк передислоцировался... Значит, я неверные передала сведения... Ахмед — он, наверно, тот самый.

Я себя потеряла — ринулась вниз, чуть не сбила с ног дочку старика:

— Товарищи, товарищи!

Какие уж там товарищи, мне они в прадеды годятся. Видят — замурзанная девчонка скатилась им под ноги. Но сама-то я себя понимала взрослой. Вскочила на ноги, обвела всех троих взглядом:

— Вы... вы партизаны?

Развеселила стариков. Я такого хохота давно не слышала. Просто даже дико: сами как тряпичные, их ветер качает — и вдруг смеются.

Хорошо хоть недолго смеялись. Первым сделался серьезным Петрович. Смотрит в глаза и говорит:

— Мы-то партизаны... Правда, не теперешние, а с гражданской войны. Против беляков партизанили. А ты кто будешь?

Наш старик не дал мне ответить:

— Секрет. Она секретная, что ли... Вот не знаю — верить, а может, не надо?

Он рассказал, что уложил в пещерке для дочери с внуком полынь, а потом пошел их искать в город и долго не мог найти, а потом нашел, но потерялся Ахмед...

— Что Ахмед! На обратном пути залезаю в пещерку — чую, нюхательным табаком пахнет. Ненормально, да? Стал рыться-копаться — парашют нашел, рацию нашел. Ждем разведчика, парашютиста ждем — вдруг девчонка. Вот эта...

Коваленко перебил нашего старика:

— Подожди-ка, Пшимахов, я что вспомнил. В ночь на двадцать пятое молодая дивчина прямо в траншею к немцам спустилась. На следующий день гестаповцы ее напоказ водили...

Меня колотить стало:

— Какая из себя? Чернявая или беленькая?..

Они видят, что я трясусь, молчат, ждут. Я с собой кое-как со владела и говорю:

— Нас, девчат, трое: Даша, Полина и я. Мы подруги. Нас вместе выбросили... Вот вы не верите... честное комсомольское. Это... это... Даша или Полинка...

Петрович мне кулак показал:

— Эй, не имеешь права!

Я опешила:

— Права? Но ведь вы свои...

Наш старик обнял меня за плечи:

— Держись, плакать нельзя!

Я не плакала. Задышалась от горя и слабости, от мыслей, от того, сколько навалилось и сколько надо было помнить и понимать. Эти тусклые старики бодрили меня, и я сама себя бодрила. Боялась, что уйдут и я останусь одна. Они знают, где совхоз, куда перекочевал немецкий артполк... Так все удивительно — сыплет и сыплет снег. Мы друг друга видим — больше ничего не видно. Под ногами шумит ручей. Вдруг я вспоминаю про Ахмеда, как он у меня попросил бумагу для курева и я дала ему листовку. Смотрю на дочку старика — ее мальчишка затих. Сказать ей или нет? У меня погибла подруга, у нее погиб муж. Он меня защищая погиб. Но ведь мог и уйти... Сказать или не надо?

Вот как случается у разведчиков. Не всегда в голове порядок.

Вдруг говорю:

— Время идет! — И вынимаю из кармана часы.

У них ни у кого не было часов. Они смотрят — на моей ладони часы кировского завода. И дочка старика тоже смотрит. Потом они на меня посмотрели: что это я говорю и зачем показываю часы? А я продолжаю свое. Твердым голосом, как единственная среди них военная:

— Девять часов двадцать минут... Я сержант Красной Армии на посту. И я вам говорю и предупреждаю: в любую минуту может начаться артобстрел моего участка дороги. Вас как гражданских лиц прошу — уходите выше, дальше в горы. И кого увидите из гражданских, если они прячутся вблизи, пусть уходят. Поскорее.

Оказалось, я заговорила правильно. Старики подтянулись. Что-то усвоили и чуть только передо мной не выстроились.

Тогда я сказала, и опять серьезно:

— При опасности артобстрела идти кучно не положено. Вот вы, — я показала на своего старика, — отправляйтесь вперед с дочерью и внуком. Вами уже сделано все что возможно, выражаю вам благодарность. Выньте из кармана и давайте сюда мою гранату. Вторую заберите у дочери и тоже мне отдайте... Или нет — передайте этим товарищам, если они... Вы согласны остаться со мной и мне помочь?

Петрович и Коваленко ответили четко:

— Согласны.

...Мне через двадцать пять лет очень трудно об этом писать. Хотя в памяти ясно вижу, даже лучше, чем видела тогда. Мы все были страшные в этом белом снегу. Тощие и грязные. А все-таки я твердо знаю, что именно тогда родилась как настоящий боец. Попрощалась со старым лесником и с его дочкой без объятий. Не знаю, может, даже на меня обиделись, особенно она. Я не могла ей улыбнуться — боялась, что не удержусь и расскажу об Ахмеде. Этого нельзя было делать: мало времени, а главное — не выдерживали нервы... Чуть не забыла. Я вот что еще сказала молодухе:

— Нам парашют не нужен, а тебе пригодится. Сейчас возьмешь или оставить в пещерку?

Она не успела ответить — в ста метрах разорвался снаряд. Она упала и прикрыла своим телом мальчишку. Снаряды падали справа, слева, некоторые тяжело гудели над головой и разрывались дальше. Мы все легли на землю. Вспомнив свой долг, я вскочила и полезла в пещерку за рацией. Вынесла ее и развернула антенну. Мгновенно настроилась на волну. Принялась корректировать огонь.

Когда артобстрел прекратился, старика с дочерью уже не было. Я спросила Петровича, и он сказал, что уползли за скалу, что Кадырбеч Пшимахов и сам понимает обстановку.

— Говори, что от нас требуется.

Когда я объяснила, Петрович попросил показать мой план местности и на нем отметил, где совхоз, куда перебазировался артполк с тяжелыми орудиями. Я тут же передала эти сведения в штаб. У меня не было оснований сомневаться в их точности. Коваленко совсем не мог стоять на ногах. Мы с Петровичем помогли ему подняться в пещерку, где он лег. Как раз в этот момент пробежал мимо нас мальчишка и бросил нам скомканную листовку.

Это была сводка Совинформбюро за 1 января.

Я стала кричать:

— Мальчик, мальчик!

Он не остановился.

Старики его не узнали, но они слышали, что небольшая группа школьников-комсомольцев уже недели две перетаскивает приемник из одной горной ложбины в другую, пишет сводки и разносит по всем убежищам, где прячутся горожане.

— Никакой это не подпольный центр, — проворчал Петрович.

— Но ведь дело полезное? — сказала я.

— Факт, полезное! — сказал Коваленко.

Ночь с 1 на 2 января мы с Петровичем не спали. Коваленко метался и бредил. Все трое в пещерке поместиться не могли.

Старики не жаловались, но я видела, что держатся из последних сил. И они и я изголодались. У Коваленко в мешке была сырая картошка — мелкая, такой кормят свиней. Он ее вез своему семейству, но семейство погибло, а картошка осталась.

Петрович обратился ко мне:

— Смотри, сержант, весь город в дыму. Немцы бегут. Если разожжем костер, вряд ли кто заметит. Неохота помирать с голоду.

Мы разожгли небольшой костер за скалой, испекли картошку; ничего вкуснее я в своей жизни не ела.

К середине дня весь Нальчик был окутан дымом. Петрович спустился к дороге, где, лежа за кустом, наблюдал паническое бегство немцев. Через час вернулся и отрапортовал мне, что разведывать больше нечего, и без того все ясно. Он очень беспокоился за своего друга Коваленко, который еле шевелил языком и вот-вот мог отдать богу душу.

Они были очень древние, эти деды. Они были мокрые и до того истерзанные, что я не могла смотреть на них без жалости. Опасность попадания снаряда в нашу пещерку была велика. Я стариков спросила:

— Вы можете хотя бы ползти? Пора вам отсюда уползать.

Они оба обиделись, а Петрович спросил:

— Это что? Твой приказ? Мы можем идти, а не ползти.

Мне их было очень жалко. Я боялась за них. Но в этой обстановке ничего другого не оставалось как расстаться.

И мы расстались.

Когда они уходили, опираясь друг на друга, открылось солнце, начал таять снег. Высоко в небе появились черные точки — летели наши самолеты. Я помахала рукой старикам, а сама поторопилась надеть на себя вещмешок, куда сунула рацию и комплект питания. Гранаты я отдала старикам, а себе оставила пистолет.

Черные точки стали большими, это были наши пикирующие бомбардировщики. Они развернулись для бомбежки. Я смотрела, как они круто ныряли вниз и бомбы одна за другой валились в траншеи противника, на дорогу, на немецкие транспорты; взрывы, пламя, густой дым... Выходя из пике, самолеты взмывали ввысь, пролетая прямо над моей головой.

Я поднялась высоко и уселась на открытой солнцу и ветру скале. Мне было весело, душа моя ликовала.

На третий день утром из Нальчика вышла наша пехота и двинулась в сторону Минеральных Вод. Потом пошли колонны машин с бойцами и боеприпасами. Не знаю, чем я жила, кроме восторга. Наконец сорвалась и побежала вниз. Часто падала, подымалась, снова бежала. Пробежала мимо своей пещерки. До города семнадцать километров. Навстречу мне шли наши машины. Разные — грузовые и легковые. В сторону Нальчика никто не ехал.

Эти семнадцать километров — они оказались такими длинными... Наконец-то я догадалась остановить один из грузовиков и попросить хлеба. Бойцы дали мне две буханки. Я отламывала куски всем, кто рядом со мной возвращался в город. Я пила из луж. Снег всюду растаял. Погода, на радость всем, была солнечной.

Вот и город, первая встреча с регулировщиком. Спрашиваю бойца:

— Где размещается штаб?

— А зачем тебе, девочка, штаб? — спросил он, глядя на меня с любопытством.

— Я не девочка.

— Кто же ты? — спросил боец.

— Старая старушня, — ответила я, и он рассмеялся.

— Помойся, так тебя в штаб не пустят! — Он показал на большое кирпичное здание с намалеванной на нем свастикой. Видимо, там еще вчера находился немецкий штаб или комендатура.

Перебежав улицу, я махнула регулировщику рукой и хотела войти в парадное, но часовой загородил винтовкой вход. Военский устав был мне известен, я понимала, что просьбы бесполезны, и отошла в сторонку, дожидаясь кого-нибудь из командиров. Ноги меня не держали. Сняв с плеча вещмешок, я села, прислонившись к стене. Минут через двадцать подкатила легковая машина. Подобрал полу шинели, выпрыгнул немолодой капитан и направился к подъезду. Схватив рюкзак, я бросилась к нему.

— Что, девочка? Очень есть хочешь?

— Мне надо в штаб, — сказала я и постучала по вещмешку, сквозь ткань которого выпячивали углы рации и упаковок электропитания.

— О!!! — многозначительно воскликнул капитан и распорядился пропустить меня.

В полутемном коридоре передо мной вдруг появился Сашка Зайцев — один из тех ребят, что летели со мной на разведку Нальчика. Бросив рацию, я радостно вскрикнула и повисла у него на шее. Мы в обнимку кружились по коридору, а капитан, поняв, в чем дело, стоял, глядя на нас, и улыбался. Немного придя в себя, я обратила внимание на то, что голова Сашки серебрится сединой. Мой взгляд смутил его. Резким жестом руки он провел по седому чубу, потом поднял мою рацию и повел меня в штаб.

Я скинула с головы платок и спросила Сашку:

— А у меня нет седины?

Он рассмеялся:

— Что? Завидуешь?

— Очень, — призналась я.

Мы оба рассмеялись и, толкнув дверь, вошли в кабинет.

— Товарищ майор! Разведчица Евдокимова вернулась с задания! — громко доложила я.

Майор обнял меня за плечи и, поцеловав по-отцовски в лоб, сказал:

— Ну, Чижик, большое тебе спасибо за успешное выполнение задания и со счастливым возвращением!

— Товарищ майор, — я посмотрела ему в глаза, — кто не вернулся с задания? Кто из девушек? Товарищ майор, не скрывайте!..

— Даша Федоренко здесь... — сказал он.

— А Полина?!

Майор пожал плечами.

Я уткнулась ему в плечо и разрыдалась. Майор сказал:

— Боец Зайцев, отведите Евдокимову в столовую. Пусть поест, а потом пусть поспит.

(Продолжение следует)



В. КАРДИН

★

ОТКРЫТЫЙ ФЛАНГ*

Документальные записки

ВЕЧЕРА В КЕНТАУ

На праздничной встрече 9 мая 1967 года поднялся Алексей Бессонов, в прошлом начальник дивизионной разведки, подождал, чтоб улегся ресторанный шум:

— Предлагаю не чокаясь выпить в память нашего замечательного разведчика Василия Дмитриевича Фисатида.

Молча выпили.

Некогда я рассказывал Эммануилу Генриховичу Казакевичу — он знал толк в войсковой разведке — о Фисатиде, как тот однажды взял языка.

Дело было лунным вечером. В доме на окраине села немецкий офицер меланхолично слушал патефон. Василий подкрался сзади. Скрутил офицера, платок в рот. Прежде чем унести, перевернул пластинку, повернул раз-другой ручку патефона.

Всего за Фисатида числилось полторы сотни пленных, точнее — 156.

— Артист, — оценил Казакевич, — поглядеть бы на него.

Я сказал, что Фисатида был ранен в Карпатах, отправлен в гыл и, наверное, погиб, не то подал бы голос.

Осенью 1968 года я лежал в больнице. Ко мне никого не пускали.

Заглянула нянечка Анна Ивановна:

— Там тебя друг фронтовой спрашивает. Три часа по Склифосовскому ищет. С войны, говорит, не виделась.

— Кто такой?

— Что с вами делать, дам халат. Только смотри, десять минут, не больше.

И он вошел в палату.

Вошел и присел на мою койку. Я глядел на него во все глаза:

— Василий?

— Тебе нельзя разговаривать, — тихо произнес он.

— Откуда взялся?

Он молчал. Немигающий взгляд из-под густых черных бровей, скорбно сжатые губы. Резкая складка четырехугольного подбородка.

Миновало больше полугода. 9 мая он приехал в Москву, и я увидел его снова — строгого, в черном костюме, из-под лацканов клином — ордена.

Мы поехали ко мне и просидели вдвоем до рассвета.

Мастера завтрак, я порезал палец. Вася присыпал табаком и пеплом.

— Проверенный способ. В тылу, бывало, кровотечение останавливали.

Он был ранен шесть раз. В отметилах с ног до головы. На животе белая полоса от немецкого штыка: память о рукопашной в сорок первом.

— Никогда не терял себя. А тут все забыл, ничего не чувствовал. Озверел...

Утром мы отправились к Юрию Киселеву.

— У тебя плащ найдется? Это прикрыть. — Вася склонился на орден. — Вчера можно, особый день. Сегодня не надо.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

Переходили улицу. Он намертво стиснул мою руку. Пропустили машину. Вася разжал пальцы:

— Теперь иди... У тебя такая же походка, как раньше. Одно плечо выше другого.

Сам он свободно нес мускулисто-гибкое тело, ступал легко, движения выверенны. На улице все схватывал с одного взгляда: фасад дома, марка автомашины, брикетик фруктового мороженого на лотке.

Я прежде не бывал у Киселевых. Василий ночевал у них в день приезда.

— У тебя адрес записан?

— Не надо, рядом дом с башней,— заверил он.

— Глянь в записную книжку. На Садовой башен хватает.

— Не бойся.

Он уехал к себе и слал короткие письма. Письма-донесения и письма-распоряжения.

«Работал я по спасению животноводства в степях Казахстана. Нынче зима небывалая. Старики (аксакалы) говорят, что подобной зимы не видели 30 лет. Морозы достигали 48°. Сейчас период появления маленьких ягнят. Овца, бедная, сама не выдерживает. Закрытых помещений или дувалов нет. Ничего не приспособлено, все рассчитано на подножье».

А вот — распоряжения:

«Режим и еще раз режим. Здоровье прежде всего. Надо воздержаться. Мы это видим, когда крайне приспичит, а заранее не реагируем. Мне обещали товарищи достать мед у дерева карагача по течению реки Сырдарья. Помогает от сердца. Этот мед будешь употреблять только с какао. А спиртные напитки забыть. Особенно курение».

Прислал мед и банку сала. «Кабан водится в горах Каратау. Корм его состоит из корней растений. Этот жир будешь употреблять с хлебом, а сверху жира обязательно мед».

..Обстоятельства забросили южанина Фисатиди со всей родней в Восточный Казахстан, в город Кентау.

Вначале туда прибыла его семья, он добрался позже. Городом там еще и не пахло. На офицерском атласе 1947 года мы с ним не обнаружили даже точки.

Ныне это горняцкий городок с большим индустриальным будущим. По утверждениям кентаусцев, один из самых зеленых в стране. Сюда наезжают делегации, туристы, а недавние землянки кажутся неправдоподобно далекой историей.

Часто и упрямо он повторяет: «Я живу хорошо, у меня все хорошо». Каждый раз, по всякому поводу: «Хорошо я живу, знаешь, хорошо».

Еще в Москве Василий описывал свой дом, чертил план: кухня, зал, комнаты. В Кентау я все это увидел воочию: прочно, по-хозяйски поставленный дом, залитый цементом погреб, бетонные канавки, чтоб вода не размывала фундамент, сад с виноградником, укрытым на зиму. Все своими руками.

Мы бродили по тенистым улочкам. Кентау невелик. На одной окраине чихнешь, на другой: «Будьте здоровы!» По мостовой трусил ишак, на нем пожилой казах в роговых очках и малахае. Василий коротко аттестовал встречных: хороший товарищ, общественный товарищ, товарищ — фронтовик.

Нехороших товарищей в Кентау не водилось.

Поднялась буря. Налетел ветер, загрохотал крышами. Величественные тополя крепнулись, как травинки. Мгновение — и ветер понес над землей потоки воды.

Василий остановился у чужого «Москвича», прижавшегося под деревом, кивнул хозяину. Сам распахнул дверцу. Через пять минут мы были доставлены домой. Все свершилось как само собой разумеющееся.

Город знает Фисатиди, его фронтовое прошлое. Многие пионерские дружины Казахстана носят его имя. В Алма-Ате вышла книжка Н. Наумова «Позывные разведчика — «Коршун». На первой странице портрет Василия. Красивый юноша с округлым лицом и мечтательным взглядом, аккуратный китель, нашивки ранений, ордена.

Я помню его другим: на шее бинокль и автомат, в черной треугольной кобуре парабеллум, на поясе кинжал, спереди и сзади гранаты, карманы оттопырены, в каж-

дом по «вальтеру», из-за голенищ кирзовых сапог — рожки автоматов («Взорвался бы — почище бомбы»).

Н. Наумов рылся в архивах, в старых подшивках, постарался восстановить увлекательные и опасные эпизоды. Книга полна восхищения перед героем, и язык не поворачивается побранить автора за пристрастие к преувеличениям.

Я поинтересовался, как Вася относится к «Коршуну»:

— Все там правда?

Он улыбнулся:

— А сколько процентов полагается?

Слава у Фисатиди не только фронтовая. Свыше двадцати лет он работает на кентауской автобазе. Работает, как и все, за что берется, на совесть. Я читал письмо, адресованное в городской комитет партии:

«Руководителем хлебоуборочной кампании с начала до конца был начальник эксплуатации тов. Фисатиди В. Д. Мы убедительно просим вас постоянно на период уборочной кампании закреплять за совхозом имени XXII партсъезда коллектив кентауской грузовой автобазы».

Когда небывалая зима шестьдесят девятого года перемела дороги, столбы по проводам утонули в снегу, Фисатиди вел в горы автоколонны с сеном. Дни и ночи сквозь стужу, метельные заслоны.

Он освоился в степи, сблизился с коренными жителями; казахское хлебосолецство выручило в тяжелый час. Уезжая к брату на Черное море, Василий тоскует по Кентау. Но и дома, в степном городе, минутами что-то тревожит: не вернуться ли? Отчаяная земля, полуденное небо...

Уже на вокзале, когда я садился в поезд, он спросил:

— Ты бы как решил?..

«Я живу хорошо»... Дом — полная чаша. В доброй семье все ладится. Лена уже замужем («Знаешь, повезло, Одиссей — тактичный товарищ»). Старший сын Дмитрий почитает родителей и технику, учится и работает. Семиклассник Коля, левый крайний нападающий, великий знаток футбола, без запинки перечислит состав любой команды. Для него нет бога, кроме Пеле. По заказу сына Василий пишет портрет знаменитого футболиста. Еще в 1940 году Вася окончил художественное училище, и теперь это произошло. Пеле ведет мяч прямо на зрителей...

Четкость, искони свойственная Василию, чувствуется теперь в налаженности семейного уклада. Кажется, чего еще надо?

Я прижился в домике по Пионерскому переулку. Меня уже не удивляет, что забором живет Пенелопа, что предстоит свадьба Венеры. Не удивляет осколок Эллады в казахстанской степи.

Днем сбегают на полчаса соседки, меня приглашают на кофе. Гадают на гуще. Мне выпадает короткая дорога с двумя удачами, мне должны деньги, но какой-то мужчина не отдает, коварная женщина выпадает. Но хорошее тоже предвидится.

Мне всего милее в Кентау вечера. Из комнаты долетает казахская, узбекская, русская речь — телевизор в новинку, его редко выключают. Мы с Василием на кухне. Он потягивает пиво. Кончается бутылка, выходит на крыльцо, там целый ящик. В ногах возится настырный котенок с тугим белым брюшком.

Говорим о войне.

Да, Василий здесь, с семьей, с автоколоннами, «МАЗами» и «Татрами». Но еще и там, на войне. Больше чем кто бы то ни было. Для него она никогда не кончается. Про него эти строчки:

На нас до сих пор военные сны,
Как пулеметы, наведены...
И снаряд, от которого случай спас,
Осколком во сне настигает нас...

— Среди ночи просыпаюсь, не верю: я это? Живой? Мои это дети? Моя жена рядом?

Многих на фронте держала надежда: смерть не для меня, уцелею. Рядом падал убитый — «смерть опять проходит мимо». Василий, наоборот, был уверен: ему не

вернуться. Доколе может длиться игра с костлявой. Как бы он ни изловчался, она свое возьмет, и не с такими справлялась. Радовался удаче: жив, приволок пленного. Но не забывал: удача может быть последней. Надо смотреть в глаза правде. В глаза смерти.

— Перед заданием норовлю забежать в медсанбат, поглазеть на девчат. На случай, если не вернусь...

Выжил. Трудится. Он дома, рядом родные, вокруг все спокойно. Но гремят выстрелы, зовут умирающие.

Всем тяжело давалась война, но не каждому из нас так, как Василию. И не каждый себя так в ней нашел, как он.

Я рассказываю ему: вот он, уходя в тыл, заставляет своих разведчиков попрыгать — не брэнчит ли что-нибудь, хорошо ли все пригнано. Сам прыгает, а другие слушают.

Он доволен.

— Так, так, верно.

Ему сейчас всего дороже то, что помню и я. Сам же он бережет в памяти все до мелочей. Как, захватывая пленного, оглушил его ребром ладони, как схватил, перебрал через себя, на лету ударил локтем в бок. Не ударишь — быстро опомнится, набросится сзади. Ударишь — часа на четыре выведен из строя. «Быстрота и еще раз быстрота».

С такой же обстоятельностью описывает подготовку поиска. Когда удавалось, поиск проигрывался от начала до конца в своем тылу на сходной местности, в расчете на проницательного противника.

Почему взял с собой этих солдат, а не тех. Как часами высматривал, затаившись в траве на нейтральной полосе. Как выбирал время — лучше всего около двух ночи: меньше ракет, слабее зоркость у противника, ко сну клонит.

Искусство разведчика — это и искусство перевоплощения. Напаять зеленый мундир не штука; Василий не раз облачался в него. Ты влезь в шкуру гитлеровца, предугадай его настроение. «Нужна полная внутренняя бутафория». Будь готов к тому, что все произойдет совсем иначе, не так, как рассчитывал. И не спеши радоваться.

Весной сорок четвертого года — ночью еще прихватывал морозец — после долгого перехода остановились в отдельном домике. Все как будто удачно. Немцев не видно, не слышно. Василий прилег отдохнуть. Разведчик, стоявший часовым, зашел в избу.

— Погреться, видишь ли, захотел, ряженки захотел.

А тут — гитлеровцы. У наших оружие в углу, у них — в руках.

Дремавшего в другой комнате Василия — автомат рядом — разбудил «хальт!». Он ногой распахнул дверь и дал длинную очередь. Оба немца грохнули замертво. Под обмундированием у одного обнаружили хромовую кожу. Очередь прошила ее дырочками. С трудом выкроили потом пару сапог для Василия.

...Повезло — врасплох застали троих немцев. Двое возились у коновязи, третий сидел верхом.

Василий выскочил из-за угла с парабеллумом, и все трое согласно подняли руки. Вася показал знаками: подойдите ближе. Еще ближе. Сорвал автомат. Третий все сидел на лошади с поднятыми руками.

— Лошадь на меня глядит, головой качает. Глаза большие, умные. Какие были немцы, я забыл. Лошадиную морду, глаза помню.

Василий рассказывает истории, которые я уже слышал от Тупикова, непременно уточняя подробности.

В Василевичах, что верно, то верно, он часов восемь куковал на дереве. Но не один, с радистом. Держал связь со штабом дивизии. Еще бы просидел, но немцы могли запеленговать.

— В Карпатах ты толкнул Ивана? Когда немец в него целился?

— Было. Толкнул — слабо сказать. Швырнул — метров пять летел...

Да, к Днепру двигались вместе. Противник еще держался на левом берегу. Не только перейти реку — выйти к ней невозможно.

Фисатиди предпочел пробираться с проводником. Никакая карта его не заменит.

— На карте, съемка тысяча девятьсот тридцать третьего года, — домик лесника. Подходим — и на местности в самом деле домик... Я старику хозяину напрямую: «Мы

разведчики. Веди к Днепру»... Почему прямо? Вероятно, почувствовал доверие. Разведчику сверх всякой информации нужен нюх на людей. Иначе в тылу конец. Дед согласился. Повел лесом. Километров двадцать восемь. Уверяет: немцев нет и в помине. Вдруг — тени в маскировочных халатах. Дед не испугался: «Не может быть, чтоб немцы». Кричит: «Не стреляйте, товарищи! Это свои!» Оказался прав. Разведка Шестьдесят девятой дивизии... Я перед ледом виноват, — сокрушается сегодня Василий. — Все дед, дед. Не записал фамилии. Ему причиталась медаль «За боевые заслуги». Самое малое. А я — дед, дед. Стыдно даже... Тебе Иван сказал, что мы сперва у немецкого штаба перерезали связь?..

Обычно в газетах писали: взяли языка или привели контрольного пленного. А откуда? С переднего края язык не всегда полезен. Уже известно, какая часть перед нами. Важнее знать, кто в глубине, на подходе. Надо проникнуть подальше в тыл, взять не первого попавшегося, а подходящего языка. И через всю вражескую оборону доставить его к своим.

Под Тернополем захватили в плен полковника из свежей дивизии. Привели целехонького. Генерал Киселев благодарит разведчиков: «Спасибо, сынки!» Полковник Самуэльсон, начальник штаба: «Будете представлены к награде».

А от пленного полковника ничегошеньки не добились. Молчал как рыба.

Допустим, взяли нужного, толкового, разговорчивого. Все данные нанесли на карту. Но завтра карта эта представляет скорее исторический, чем оперативный интерес. Снова наблюдать — обнаружена новая огневая точка, новый изгиб хода сообщения. Снова — через минные поля, проволочные заграждения, спирали бруно...

— За день не достану из планшетки карту, не нанесу чего-нибудь — плохой день.

Ночью ли, на рассвете, вечером Киселев вызывал Фисатиди, ставил разведчикам, как выражается Василий, «цель-задачу».

— Разведчили несли потери. За счет кого пополнял роту? — спрашиваю я.

— Из раненых брал. Кто уже служил в пехоте. По доброму желанию. Приходили и молодые. Про разведку знали по книжкам. Мечтали. Таких тоже брал. Хорошей мечтой надо дорожить...

— Ошибался?

— Я не господь бог. Один, помню, новичок замешкался на нейтралке. Я решил откомандировать в пехоту. Объяснил ребятам: в разведке нужна смелость. Но голова тоже нужна. Кто с поздним зажиганием, с дурцой, тому тут не место...

Все дни в Кентау я убеждался: голова Василия Фисатиди устроена так, как того требует войсковая разведка.

Мы гуляли, и он, сам того не замечая, профессионально оценивал «рельеф», определял «ориентир». Речь заходила о юношеском увлечении рисованием, и он рассказывал, как поднимал карту, как любовь к пейзажной живописи помогала ему подмечать малейшие изменения на местности. Хвалил своего Колю: хорошо учится, увлекается спортом, но жаль бросил дзю-до.

Дзю-до, джиу-джитсу — страсть Василия. Василий каждую свободную фронтальную минуту тренировал солдат.

Мы сидим на кухне. Василий начинает очередную бутылку «жигулевского». Из комнаты доносятся последние известия.

— Дукля, Дукля... — Вася прикрыл глаза. — Наши навалом полегли... Возле генерала Киселева разорвалась граната. Радист — Анисимов, да? — ранен. Мягкие ткани предплечья... Чех один попался. «Хенде хох» без сопротивления. Даже охотно. Показал, где немцы. Схватил гранату с деревянной ручкой...

— Ты дал?

— В разведке, дорогой, всегда риск. Сплошной риск... Он метнул гранату куда надо. Потом у нас в роте картошку чистил. Я б его взял себе. Не разрешили...

У Василия есть еще одна область дорогих ему воспоминаний. курсы офицерской переподготовки. Он побывал на них. Совершил тридцать прыжков с парашютом. После курсов ему присвоили звание майора. Помнит день присвоения и номер приказа.

...Хорошо живет Василий Дмитриевич Фисатиди, ни на что не жалуется. Про него пишут в газетах, он получает письма даже с Камчатки.

ДИВИЗИЯ И ДИВИЗИОНКА (ОКОНЧАНИЕ)

Через редакцию дивизионки — я подсчитал — прошло десять человек. У иных недолг был срок газетной службы; у Юры Уткина еще короче Зачесова — месяца полтора-два. Очень ему хотелось сшить галифе из новенькой немецкой шинели, и портного отыскал первоклассного. Портной обещал «пану капралу» выполнить заказ к вечеру. Это было 4 августа в Саноке...

Юра — самый молодой в редакции. Даже мне он казался пацаном — тугие красные щеки, толстые губы. По-мальчишески дурачился, зычно хохотал.

Сержант по званию, связист по специальности, он прибыл к нам из стрелкового полка. Я познакомился с ним в землянке батальонного КП. Он дремал с телефонной трубкой, привязанной к уху.

— Наш поэт, — гордо показал комбат.

Юра вскочил, одернул гимнастерку.

Кто знает, получился бы из Юры поэт или нет. Стихи он сочинял легко, любил слово, знал поэзию.

После ухода Дажина на курсы наша газета оказалась без стихов, и Гороховцев добился: сержанта Уткина временно вопреки штатному списку откомандировали в редакцию.

Он с готовностью брался за все: стихи так стихи, гранки так гранки, за заметками в полк — пожалуйста, обед сварить — «пять минут, и бульон готов». Учился набирать, записывал по радио. Погрузка — первым подставлял широкую спину, раздобыть канистру бензина — в два счета.

Был бы он поэтом или нет — пустое гадание. Но наверняка был отличным товарищем...

Не помню, каким образом на исходе войны залетел в нашу редакцию лейтенант Иван Кононов. Помню конопатый нос, веселый чуб. Писать Ваня был не горазд, но рисовал, умел резать по дереву, линолеуму. Для нашей газеты — дар бесценный: ни фотограф, ни цинкография нам не полсжены.

Жил Кононов весело и безоглядно.

— Дай совет. Хочу жениться.

— Женись.

— Ты с душой подойди, спроси, на ком.

— На ком, Ваня?

— Тут одна в ансамбле. Советуешь?

— Валяй.

— А где я с молодой женой жить буду, ты подумал?

Я не подумал, однако Ваня женился.

Были еще люди вокруг редакции. Политработники, командиры, штабники, солдаты — любители печатного слова. Представится случай — такой человек заскочит в редакцию, при первой возможности напишет заметку.

Военфельдшер Анатолий Афанасьев сочинял стихи и по собственному побуждению и по заказу редакции: «Надо, Толя».

Садится, пишет. В редакции он свой, есть время — торчит целый день, остается ночевать. Он у нас на положении домашнего врача — аспирин от всех болезней. В разговорку вошло: «Силен, как Толя в медицине».

Иные заходили посидеть, порассказать. Одно время зачастила девушка — командир санитарного взвода. Робко спрашивала, нельзя ли послушать музыку. Маленькая, хрупкая.

Дочь генерала-кавалериста, она не пожелала служить в отцовской дивизии. Предпочла обыкновенную пехоту.

Рассказывала красочно, метко. Так же красочно ругалась. Я ее упрекнул. Отбилась с вызовом:

— Вам можно, а нам на фронте в тысячу раз тяжелее — и нельзя.

В другой раз согласилась:

— Наверно, прав. После войны не отучишься.

В бою она круто командовала своими нерасторопными, пожилыми санитарями. Пистолет в руке, густая ругань в воздухе.

Отучиваться после войны ей не пришлось. Она не дожила до «после войны».

...Новый редактор, прибывший на смену Дажину — назову его Мурашов,— первой же фразой расположил к себе:

— Ох и достается же вам, ребятки.

Ходит сторбившись, вперевалку. Руки висят до колен, пальцы слабые, сжимаются в бледный, вялый кулачок. Мягкие волосы отступили на лбу, поредели на макушке.

— Отдохнул бы, Прокоп Степанович, всех дел не переделаешь.

Посмотрел подшивку — понравилась. Поговорил с наборщиками — похвалил. Пробежал заметки — одобрил.

Сердечный человек майор Мурашов, заботливый. Работать не любит. Или не может — усталый, болезненный.

Майсурадзе он не приглянулся. Мурашова это несколько не огорчило. Нашел выход:

— Ребятки, кто из вас будет на КП, покажитесь начальству.

Развертывалось летнее наступление 1944 года. Позади оставались руины Тернополя. (В Тернополе запомнилось: полосатая немецкая зенитка, неподвижно вытянувшаяся в небо, на сиденье наводчик с опущенной головой, заряжающий навалился животом на казенную часть, подносчик как бежал — растянулся на земле с длинным медным снарядом в руке. Все убиты..)

Прячусь от обстрела под днище сторевшего танка. Там мертвый красноармеец. Раненный, он заполз сюда умирать. Я взял у него комсомольский билет, из медальона извлек свернутую трубочкой бумажку с адресом. После написал родителям о гибели сына...)

В составе 38-й армии дивизия крушила глубокою — местами до полсотни километров — вражескую оборону. Пехота взаимодействовала с танками. Когда удавалось сбить немцев с очередного рубежа, едва поспевала за машинами. Каждый день — слава новых имен. Десятки из них — на страницы дивизионки. В заметках, очерках, стихах, в списках награжденных.

В общем валу наступления неприметной точкой катился редакционный автобус. Его обгоняют самоходки, танки теснят к обочине, то он в колонне машин с боеприпасами, то среди бензовозов, то нагоняет обозы, то сам уступает дорогу напористым «виалсам». Маленьким шариком бежит он по взбаламученным дорогам.

На остановках набиралась, версталась газета, стучала в очередной раз сваренная, заклепанная «бостонка». Тираж допечатывался на ходу.

Наступление — тоже потери, кровь. На ближних подступах к Львову я потерял одного из фронтовых друзей — капитана Воловикиса. До сих пор Лида Гаркавенко, плача, вспоминает, как он умирал у нее на руках. Плачет от жалости и от восхищения его мужеством. И прожить последние часы тоже надо уметь...

Стояли погожие летние дни, без тяжелой июльской духоты прошлого года. В один из таких дней — 27 июля — мы вступили во Львов.

Кажется, было воскресенье. Город светился праздничным светом. Нарядные, смеющиеся женщины в белом. Ликующая смесь русской, украинской, польской речи. Никогда не слышанное «леды, леды!» — мороженое! Из переулка — отряд рабочей гвардии: красные повязки на рукавах, немецкие винтовки.

К быту привыкаешь всакому. К угрозе смерти не привыкнуть. И не привыкнуть к чувству, с какимходишь в город, избавленный от врага. Враг еще всюду: на стенах приказы со свастикой и узкокрылым орлом, на мостовой — машины со странными номерами. Его газеты, журналы, его мундиры на убитых, штабелями сложенные снаряженные ящики, ранцы, обнажившие свое содержимое: пластмассовые баночки для масла, тюбики с пастой, разноцветные конверты, безопасные бритвы, глиняные трубки с выгнутым чубуком. В ратуше на портрете — в рост фюрер, тупой и надменный; на полу служебные бумаги, картонные папки с металлическими кольцами...

Сейчас сорвут портрет, поверх распоряжений со свастикой наклеят приказ № 1 советского коменданта, уберут с тротуаров недвижимые тела, с мостовых отбуксируют черные от гари танки.

Во Львове нам повезло. В брошенной немцами тилографии — «американка», портативная печатная машина куда совершеннее нашей допотопной «бостонки».

Как удачно все складывалось!

Дивизия развивала наступление. Мы ехали сперва по шоссе Львов—Перемышль, потом взяли южнее, по дороге, вившейся между высот — начинались Карпаты. Полки форсировали Сан, и 4 августа нам надлежало быть на западном берегу, в Санокке. Автобус спешил под горку. Навстречу своей гибели.

По прибрежному шоссе мы двигались в общей колонне с немцами. Они не обратили внимания на автобус — происхождения он был неясного, контуров неопределенных, цвета защитно-грязного. Нам и в голову не приходило, что обгонявшие нас бронетранспортеры — гитлеровские. Какая-нибудь новая модель либо присланы союзниками. Откуда здесь взяться немцам?

Однако это были они. Воспользовавшись отставанием левого соседа, избрали как раз эту дорогу.

Лишь заметив в кустах нашего прячущегося регулировщика, мы смекнули: дело неладно. Отвалили в сторону, вышли из машины покурить, обсудить положение. Но неестественность соседства обнаружили не мы одни. Фашистский транспортер из тонкоствольной пушки грохнул сзади по нашему автобусу, обогнул его, перевернул турельную пушчонку, грохнул спереди.

В масштабе победной Львовско-Сандомирской операции этот гитлеровский прорыв — булавочный укол. Но немецкие стальные гусеницы опустили на свернутые в тюки парусиновые палатки. Укрывшиеся на броне автоматчики били вдоль улиц, по окнам, пушки — по домам (в городской больнице лежали наши раненые), по автомашинам, повозкам.

Наутро стало известно: в Санокке оставались Иван Денисович, Юра Уткин.

Через несколько дней Санок был вновь освобожден. Мы с Прокопом бродили по его улицам, по булыжной мостовой со следами недавней трагедии. Искали Юру, Ивана Денисовича. Тщетно.

...Спустя месяц вышла наша дивизионка, набранная новым шрифтом, отпечатанная на новой «американке»...

Осень застала дивизию на мокрых от дождей карпатских склонах. Линия передовой петляла по ущельям, горным склонам, обрывалась, непредвиденно восстанавливалась. Раненый проковыляет уже километров пятнадцать, поверит, что в безопасности, в тылу, — вдруг очередь. Противник почти всегда наверху, он тебя видит, ты его — слышишь.

Места эти славятся красотой. Старик поляк сказал, что в их края — в Закопане, Крыницу — на горные курорты съезжались люди со всей Европы, со всего мира. Свои туристские трости украшали металлическими нашлапками с названиями карпатских городов и перевалов. Мы верили и не верили: сюда по доброй воле, отдыхать? Развлекаться? (В 1968 году в Крынице я не в силах был представить себе черный от минных разрывов снег на лесистых нагорьях со сверкающими лыжнями, на звонком льду весело кружащихся катков.)

Как бы туго ни приходилось нам в редакции, с каким бы трудом ни давался каждый номер, все это несравнимо с участием солдата-пехотинца в Карпатах. Окоп и тот толком не отроешь в неподатливом грунте. Чуть отроешь — залет проливной дождь. Ранения тяжелые, чаще всего в голову — мины и снаряды рвутся в ветвях, в кронах деревьев.

Мурашов и вовсе сник. Едва притрагивается к заметкам, черкнет раз-другой по гранке.

Зато развернулся новый литсотрудник Бениамин Мартиросов. Не такой, впрочем, уж новый. Его направили к нам после откомандирования Зотина.

Уныние — понятие, недоступное для младшего лейтенанта Мартиросова. Холод, сырость, грязь — ну и что? Стреляют, бомбят? На то война. Не просидит лишнего часу в редакции, но и в полку не застревает... Туда-сюда, взвод, рота, батальон — быстро, увлеченно.

— Забыл с одним лейтенантом поговорить. Сейчас смотаюсь. Оставьте пожрать...

Он любил и умел разыскивать смелых солдат, писать об отважном. Лез в самую

гущу, под огонь. И неохотно организовывал отклики, праздничные заверения. Это у него называлось «собирать гай-гуй». Придуманное им словечко прижилось в нашей редакции.

Он, кажется, постоянно ждал повода рассмеяться. А когда повод долго не подвертывался, обходился без него.

— Что с тобой, Бенья?

— Вспомнил одну историю...

На захваченных продскладах его интересовали лишь варенье, конфеты, соглашался и на эрзац. Раздобыть сахару, яиц, взбить гоголь-моголь — праздник, Мартиросов заставлял каждого полакомиться, нетерпеливо ждал одобрения, грозился:

— Все сам съем, губы вытру, скажу: ничего не было!

Так его в детстве пугала мать. Ей он шлет открытки — десяток строк крупных каракулей. На письмо ему не хватает усидчивости.

Мурашов и Мартиросов — люди разного склада. Оба это чувствуют и избегают друг друга. Но Мурашов ценит, конечно, Мартиросова, а Мартиросов проявляет к редактору необходимое почтение. Он умеет изображать исполнительность: «есть», «так точно», «будет сделано». И все на свой лад, по собственному усмотрению.

Однажды вечером нам пришлось впопыхах бежать из карпатского села — на улицу откуда-то выкатились два «фердинанда». В спешке мы оставили на столе банку с сахарным песком. Она не давала Бене покоя. Гороховцев не на шутку рассердился. Мартиросов благородно вознегодовал:

— Как можно, чтобы я допустил такое мальчишество!..

Стремительно, с первого взгляда влюблялся в полек, украинок, русинок, в медсестер, врачей. Влюблялся и задаривал лакомствами.

Сладкоежка, он спокойно переносил отсутствие всякой еды. Любитель пофрантить, приходилось — ночевал в окопах, зарастая смоляной щетиной. Никогда не жаловался, не отчаивался. Сохранял веселое дружелюбие.

И это его смертельно оскорбил трус, шкурник.

Расскажу по порядку.

Дивизия занимала оборону. Время от времени немецкие орудия обрушивали огневые налеты. Снаряды залетали и в тылы полков, падали вокруг редакции. Два разорвались на косогоре, за которым укрылась батальонная кухня. Какой-то кашевар вскочил с перепугу на нашу лошадь, стоявшую под седлом. И — наутек. Мы с Беней в погону. Но не настигли бы, не перехвати беглеца старшина, командир хозяйственного взвода батальона.

Перед нами, затравленно дыша, стоял солдат с жирным, потным лицом. Правая рука в кармане шинели.

— Вынь руку! — приказал Мартиросов.

Солдат не шелохнулся. Старшина схватил за руку, резко рванул. Напряженные пальцы кашевара сжимали «лимонку». Старшина разжал кулак.

— Хад, хад ты ползучий! — иступленно повторял немолодой украинец-старшина. — Вы ж поглядите, — звал он нас в свидетели, — другой раз норовит тикать... Слабость у него, хадины, в коленках... Лошадь у добрых людей угнал...

И вдруг молчавшего до этой минуты дезертира прорвало истерической руганью. Не в господа бога, не в белый свет. Она была обращена на Мартиросова. Я даже сразу не сообразил.

— Сволочь, ваше место — сапоги чистить, шахер-махер делать... Всех бы ваших перевешать.

Смуглый Мартиросов небывало побледнел.

Не помня себя я развернулся и что было сил врзал по заплывшему лицу, лоснящемуся от трусливого пота...

Война близилась к концу. Мы уже имели кое-какое представление о фашистском изуверстве, камерах уничтожения, лагерях, опутанных колочней проволокой. Ненависть ко всему этому стала частью нашего существования, нашей долей на годы.

Но так близко, на расстоянии удара кулаком еще никто не выплескивал передо мной премудрость, какой гитлеровцы накачивали своих солдат и пытались заразить наших.

По сей день стоит передо мной жирное, с капельками пота лицо, растерянное и ненавидящее...

Мурашов все чаще жаловался на недомогание, на гибельные Карпаты, откуда, уверял он, никому не вернуться.

— Устал я, ребятки, с самого начала воюю. Эту «за бэ зэ», — он показал на медаль «За боевые заслуги», — еще в сорок первом отхватил... До чего все надоело. Домой тянет — спасу нет... Фурункулез замучил. В госпиталь бы...

Вскоре наш редактор уложил свой «сндор», прочувственно распрощался, надписав мне на прощанье фотографию: «Помни Карпаты» — и убыл с направлением в госпиталь. Еще недели через две мы получили от него открытку: «Привет из столицы нашей родины».

Редактором дивизионки стал Гороховцев, а на его место прибыл капитан Белорыбка — неторопливый, полноватый, по тогдашним нашим представлениям пожилой, а следовательно, для работы в многотиражке малоприспособный.

Мартиросов подмигнул:

— Тюлень.

Прокоп развел руками:

— Все от бога и от начальства.

Не приглянулся нам капитан Белорыбка. Сильно мы были проникательные. Спасибо, что Борис Никитович, оказавшийся куда умнее нас, никогда не напоминал о кислой встрече, какую мы ему устроили.

Сельский парубок из бедняков, он многое успел повидать, многому научился у жизни. Был во всем тщателен, методичен, дотошен. Человека гражданского по складу и облику, его отличала врожденная дисциплинированность. Ему не приходилось смирять себя. Он из тех штатских, которые так и не научились носить форму, однако прониклись армейским духом. Мы молча признали старшинство Бориса Никитовича, хоть он на это и не претендовал. А он принял наш быт, наши установления и учил Мартиросова «собирать гай-гуй». Очень он полюбил это словечко. В послевоенных письмах пользовался им.

Отношения у нас четверых сложились надежные, ровные. Так бы и жить, работать до брезжившего уже впереди дня победы.

Но война до последнего своего часа — война. В марте сорок пятого Мартиросов не вернулся вечером в редакцию. И утром нет. Гороховцев, сдерживая тревогу, послал меня искать.

В полковой санчасти я встретил раненного в грудь Сергея Жаданова. Голый по пояс, перебинтованный, с посиневшими губами, землисто-серым лицом, он привалился на носилках, ждал эвакуации. Да, Мартиросов ранен. Кажется, в голову, кажется, не вывезли... Я поцеловал на прощание Сергея — когда-то он провожал меня в госпиталь, теперь я его — и отправился на поиски...

По густой траве, переваливаясь с боку на бок, плетется длинная фура. Угрюмый поляк не понукает лошадь. Наверное, опасен каждый толчок. Я иду рядом, поправляю сено, подтыкаю край одеяла, проверяю, не сползла ли повязка. По замызганному бинту расщелывается желтое пятно — мозговая жидкость. Мартиросов в забытьи, мешая русские и армянские слова, зовет мать, иногда меня.

В Бельско-Бяла — специализированный, для черепных раненых, госпиталь. С полком вносим Мартиросова в сортировку. На минуточку он приходит в себя.

— Расстегни задний карман... Забери на память... Ты завидовал...

Плоский бельгийский браунинг, изящная игрушка для стрельбы по мухам.

16 марта я писал отцу:

«Недавно тяжело ранен Бенья Мартиросов — мой лучший друг последнего времени. Рана почти безнадежная — в череп, проникающая. Осколок вынуть не удастся. Уже начался менингит».

Из письма 24 марта:

«У меня самое главное, что Бенья выжил. Кризис, видимо, миновал. Он уже все время в сознании, говорит, улыбается, постепенно становится человеком. Но все это, конечно, не очень твердо. Ведь осколок-то остался в мозгу и возможны самые неожиданные мозговые явления, в том числе и смерть».

...Так я писал, не зная, что самого отца уже нет в живых, что он умер 20 марта 1945 года...

А Мартиросов выжил.

В первых числах апреля мы с Гороховцевым приехали в Бельско-Бяла. Навезли, каких раздобыли, сладостей. Обрадовались, увидев прежнего Беню. В сером до полу халате он расхаживал по большой комнате, обносил гостинцами соседей, смеялся.

Полковник, главный хирург, харьковский профессор с вьющимися бакенбардами, назвал дату операции. Однако в последнюю минуту передумал. Объяснил нам примерно так: осколок небольшой, но добраться до него трудно, закапсулируется и, возможно, беды не принесет; войне вот-вот конец, в хорошей больнице, с хорошей аппаратурой легче принять верное решение, при необходимости — прооперировать.

После войны долгие годы от Мартиросова не было ни слуху ни духу. Лишь в 1961 году в разговоре со случайным знакомым выяснилось, что Беня в Баку.

Я прилетел в Баку. Без предупреждения пришел к Мартиросову.

Он спал, радостно-растерянный поднялся навстречу. Я не верил глазам своим — так мало он изменился. Только седина...

Не только. Я присмотрелся — взгляд у Мартиросова стал настороженный.

Осколок в мозгу давал себя знать. Жизнь, случалось, била наотмашь. Но было надежное прибежище — семья: жена, сын. Была решимость работать несмотря ни на что.

..Ежедневно в бакинской городской газете колонка информации. Недавно я узнал: ее ведет Мартиросов. И с облегчением подумал: Беня на своем месте.

Нет-нет подавал весточку Белорыбка. Последний раз мы виделись, когда он перед демобилизацией заглянул ко мне в Станислав (так тогда назывался Ивано-Франковск). Думали, прикидывали, куда ему ехать. Письма он присылал короткие. Не в его характере распространяться о собственном житье. Знал я о нем мало, все намеревался съездить к нему на Днепропетровщину.

В ноябре шестьдесят девятого года получил письмо, написанное чужой рукой.

«Почему я, муж дочери Бориса Никитича Белорыбки, а не он сам вам пишет, догадаться не так уж трудно...

Последнее время он очень болел. Наконец ему сделалось немного лучше, и он выписался из больницы. Оделся в приемном отделении, взялся за входную дверь, вернее за ее ручку, и упал. А через некоторое время, несмотря на принятые медиками меры, он скончался. Вот так.

И писать об этом больно, и не написать нельзя...

С привегом. Павел Хоменко.

3.XI — 69 г.

Р. S. Умышленно опущу письмо 4.XI-69 г. Пусть печальная весть не омрачит праздника».

Не уцелела подшивка. Разрозненные номера у многих из нас — в альбомах, повиданных виды полевых сумках, старых папках, перетянутых шпагатом, на дне ящиков, выдвигаемых по особым случаям. Желто-серые листы пористой газетной бумаги, призывные шапки, коротенькие заметки, темные прямоугольники клише, сбитый шрифт...

Дивизионка — не к чему обольщаться — отнюдь не легопись дивизии. Лишь строчка в ее истории.

Время ужимает строку. Но не гасит.

ПУТИ И ВСТРЕЧИ

На станции Туркестан — это в Чимкентской области — я соскочил с подножки — и прямо в объятия дежурного милиционера. Он сжал меня, расцеловал.

— Узнаешь?

— Ширеев, артполк? — Я был не совсем уверен.

— Правильно говоришь. Салы Ширеев, ординарец капитана Кларина... Гостем будешь, барашка резать будем... Плохо по-русски говорю, да? По-казахски не можешь? Эх ты. Генерал Киселев мог...

Подбежал еще один — и это наш! Из артполка, Джилдас Джалдасбеков.

Вечером на праздничном столе Ширеев развернул красочно разрисованный боевой путь дивизии. Наверху в узорчатой рамке портрет хозяина: «Ветеран 140-й дивизии Ширеев Салы».

Когда я собирался в Ивано-Франковск, меня без устали напутствовали:

— Обязательно зайди к Королевой!

В аэропорту встретила Валя Васильева.

Когда-то ночью при форсировании Десны генерал Киселев приказал наградить тоненькую отчаянную девчонку. Она бросалась за ранеными в бурлящую воду, на плащ-палатке волокла окровавленных солдат. В рукопашной застрелила офицера-гитлеровца и все сокрушалась, потеряла фуражку, не совладать с волосами...

Валя погрузила, тяжело ступала. Мы медленно шли по городу. На углу Чапаева и Шевченко придержала меня за локоть:

— Подожди чуток... Голова...

Постояли. Двинулись дальше.

Анну Сергеевну Королеву я узнал прежде, чем она меня. Мы для нее тогда были «конечности», «проникающие ранения», «полостные операции», «ампутации». Менялись раненые, менялись хирурги. Неизменными оставались ее руки с инструментом, салфеткой, тампоном — неутомимые руки старшей операционной сестры.

— Неужто помнят меня?

Улыбка счастливая, смущенная.

После войны Анна Сергеевна трудилась в больнице, в санатории. Вернулась в Прикарпатье еще в 40-х годах, осела в Ивано-Франковске. Квартирка неважная¹. Без водопровода. Ведро нелегко носить — руки слабые, ноги больные...

Голая лампочка свешивалась над столом. Анна Сергеевна пригубила из рюмки.

Подползла одинокая старость. Только Валя Васильева да Зина Павлова, добрые души, навещают, шлет письма Катя Камышлова. Свет в окошке — далекая 140-я.

Много лет я думал навесить Сергея Анисимова, радиста, последние месяцы — адъютанта генерала Киселева. Нередко попадался, бывало, на глаза быстрый русоголовый паренек с РБ за плечами. Когда после войны меня перевели в армейскую газету — в ее штате числился радист, — у меня мелькнула мысль об Анисимове. Два года прослужили вместе. Сдружились. Одно время мне негде было жить, я спал на койке Сергея, благо ночью ему записывать тассовскую диктовку. Он приходил под утро, отодвигал меня к стене, ложился рядом. Днем все возвращалось в рамки субординации:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться.

Демобилизовавшись, Сергей переквалифицировался в линотиписта.

— Не узнал?

Верно, узнал я его с трудом. Лицо стянуто плотной сеткой морщин. Зубы через один. Ссохся, сгорбился.

Жаловался — ноет язва, пошаливает сердце, напоминает о себе эмфизема легких.

Годы катком прошли по Сергею. Но в существе своем он прежний, чистый человек.

— Задумаюсь: лучше б меня убило, кто бы другой выжил, принес бы больше пользы. Общая жизнь наладилась бы лучше...

Весь день мы не расстаемся. Пьем чай с брусничным вареньем — старшая сестра прислала с Урала.

— погоди, ты ж у меня на свадьбе гулял, — спохватился Сергей. — А нынче весной я дочку замуж выдал...

О чем бы ни говорили, приходим к одному: быстро, ох как быстро течет время. Обидно. Но как ни быстро, как ни мнет нас, а свиделись. И никуда нам неохота идти.

Невелик грех — заменить имена. Да рука противится. Обойдусь без имен.

Она говорила: Он. Не рассказывала — исповедовалась.

¹ Мы послали коллективное письмо секретарю Ивано-Франковского обкома КПУ с просьбой улучшить жилищные условия А. С. Королевой. В декабре семьдесят первого я прилетел в Ивано-Франковск справлять у Анны Сергеевны новоселье.

..Двадцать пять лет. Забыть пора. А лягу с мужем в постель — слезы сами текут. Муж у меня золотой человек. Я его пальца не стюю. Относится с уважением. Сын хо- роший, ходит в седьмой класс. Мне все завидуют, а я, дура, ночами реву.

Кто сам не испытал, не понять. Он командир батареи, на НП. Я санинструктор, на мне раненые, больные. Я туда-сюда. Но все за телефонистом слежу, который дер- жит связь с НП. Раз повторяет команды, значит, Он живой. В голове разное: снаря- дом прямое попадание, немец подкрался, дал очередь в голову, бомба в траншее...

Им сейчас что — ходят по улице в обнимку. Мне не то чтоб обняться — по те- лефону бы голос услышать. Ничего больше не надо. А увижу — все клеточки дро- жат. Раз не удержалась, ночью пошла одна на НП.

Он меня старше на девять лет. В Омске жена, интересная из себя, дочке четыре года. Об этом у нас не было разговора. Никогда не обещал, что мечтает на мне же- ниться. Да и вообще какие разговоры. Мало разговаривали.

Спать ложились со всеми на нары. Возле меня никто не ложится. Одно место оставляют. Он придет. Руку на меня положит... Ручища у него как у медведя... Глаза голубые.

..Накрыл нас обстрел в хате. Прислонилась к стенке. Он меня прижал, держит. Смелый был, а дрожит. За меня боится. Тело его чувствую.

...У нас и плохое было. В Чуровичах — такой населенный пункт — пошел посты проверять, нет и нет. Я глаза не смыкаю. Навестил, думаю, цивильную — там была одна... Рассветает, заявляется. Скидывает ремень, наган под подушку. Ложится рядом, руку закидывает. Я ка-а-ак руку сброшу и бегом. Потом я с него допрос снимала. «За- ходил, говорю, к ней?» — «Заходил». — «Красивая?» — «Ничего из себя». — «А с ней был?» Чего-то объяснял. Вроде нет. Не знаю, может, и сбрехал. Думаю, сбрехал. После она ему слала письма. Он показывал. Так, ничего особенного.

Он меня тоже сильно ревновал. Мне пошли кубанку. Хочется покрасивше хо- дить. Он взъярился: «Откуда кубанка, кто подарил?» Забрал.

Перед смертью я его видела минут за несколько. Он стоял у машины. Наган в правой руке. Был уже раненный в плечо. Наган держал возле груди.

Потом тело нашили. Снежком припорошило. Скула разбитая, синяя. Прикладами, значит, добивали. Две дырочки во лбу. Выходные отверстия на затылке.

Сидела я над ним... Ничего во мне нету. Слезинки не пролила. А теперь вот — реву...

От пола до потолка — стеклянная стена, схваченная алюминиевым переплетом. По ту ее сторону Иртыш, по эту — ресторан «Маяк».

За столиком напротив — мужчина лет под шестьдесят. Серый пиджак, из-под широкого лацкана орденская планка, рядок выцветших ленточек. Щеки впали. Очки без оправы. Зачесанные назад седые волосы.

— Простите, я не ослышался, вы упомянули Абраменко? Не сочтите за труд; как его имя?

— Николай.

Глаза прищурены, веки дрожат.

— А отчество?

Мы с-товарищем переглянулись: в те времена обходилось без отчества.

— Когда он погиб?

— В конце сорок четвертого.

— В конце, говорите... Он не из Сумской области?

— Не похоже. Мы проходили Сумщину. Он бы сказал.

— Мог и не сказать.

— Мог.

— Простите, бога ради, нарушил вашу беседу.

Через пять минут:

— Извините меня. Ваш Абраменко — офицер?

— Вначале был сержант. Погиб старшим лейтенантом. Командовал батальоном.

— Батальоном... Стрелковым батальоном... Не из танкистов?

— Пулеметчик.

— Бывало, и танкист делался пулеметчиком.

— Бывало. Но кто-нибудь из нас знал бы.

— Ваш Абраменко — украинец?

— Возможно.

Не проходит и пяти минут:

— Каков он из себя? Извините, прошу покорно.

— Плотный, волосы темные.

— Вы уверены, что он в начале сорок третьего был сержантом?

Все мы трое в одно время получили по лейтенантской звездочке.

— Еще раз приношу извинения. Не смею больше досаждать вам.

Подозвал официантку. Расплатился. Поклонился нам...

Года три назад я получил письмо от Ивана Маломанова — кружными путями он разыскивал мой адрес. «Я тебя нашел, и это уже до конца».

В дверь постучали. Я не успел ответить, не успел как следует разглядеть. Мы обнялись, уткнулись друг в друга. Молчали. Как-никак четверть века.

Не разлучались всю неделю. Утром Иван звонит в гостиницу.

— Живой? Позавтракал? Жаль. Я сей момент.

Слоняемся по Омску. Маломанов спохватывается, сует двухкопеечную в автомат — как там служба? Он замполит госпиталя.

С другими бывало и так: пока говорим о прошлом, о дивизии — все хорошо, дальше — порог. С Иваном никакого порога. О его делах мне известно все, о моих — ему.

У Ивана память, обращенная на собеседника. Он норовит о тебе же рассказать: каков ты был, в какую попал передрагу, чем ему запомнился. Стараюсь его сбить:

— О себе б, товарищ Маломанов.

В каждом полку, батальоне бывали безотказные люди. Прикажут: сделай. Сделает. Прикажут: обеспечь. Обеспечит. На самое опасное, в отчаянную минуту командир посылает такого, зная: шлет на верную почти гибель.

Самым безотказным и удачливым в 96-м полку слыл, вероятно, Маломанов. Вначале сержант в роте, где был замполитом Гороховцев. Потом комсорг батальона, потом полка.

Куда только не посылали, какие только дыры им не затыкали — ему хоть бы что. Контужен — несильно, ранен — неопасно. Отлежится в санчасти — и в батальон. Осколок прорезал партбилет, царапнул по груди. Перебинтовали — потопал дальше.

...Как когда-то давно-давно, сидим мы рядом, смеемся. Ваня сгоняет к носу морщинки.

...Пока я писал эти свои заметки, Иван Маломанов уволился в отставку и отдался давно вымечтанному, разлюбозному делу — пчелам. От него пришла новогодняя открытка: «Да будет мир, хлеб и мед!»

Я бы мог вернуть Ивану его слова: «Я нашел тебя, и это навсегда».

Многим из тех, кого знал когда-то и с кем вновь свела недавняя судьба, готов я повторить эту фразу-пароль.



Из американской поэзии

МНОГООКОННЫЙ ДОМ

Подобием такого дома представилась видному американскому критику М. Каули литература США конца XIX — начала XX века. Каули вел речь о прозе: оно и не удивительно, потому что к тому времени американская поэзия как самостоятельное явление национальной литературы еще не сложилась, хотя фундамент для нее уже был в творчестве Э. По, Г. Лонгфелло, У. Уитмена, Э. Дикинсон. С 1910—20-х годов положение, однако, изменилось.

Данная подборка современной американской поэзии не антологическая, но что ни поэт — то живое явление нынешней американской литературы, что ни стихотворение — окно в мир. Дом действительно многооконный. Окна, конечно, очень разные, но в современной архитектуре такое разнообразие даже и поощряется.

В многоголосоце американской поэзии XX века есть, однако, своеобразная и органическая общность, которая проявляется прежде всего в бережном отношении к традициям. Преемственность устанавливается быстро и надежно: своя родословная есть и у разговорного, и у напевного, и у риторического, и у интеллектуального направления нынешней американской поэзии.

Среди поэтов риторического (по его собственным уверениям, повествовательного) склада почетное место занимает Робинсон Джефферс (1887—1962). Р. Джефферс — поэт крупных масштабов, эпической образности, вечных тем, раскованной ритмики: стихотворения его чаще всего строятся как ораторские периоды. Единение своего существования с жизнью природы, включение его в неистовый и трагический круговорот рождений, смертей и обновлений было поэтической темой и жизненной задачей Р. Джефферса. Поэту он отводил роль обличителя и провозвестника и сам постарался сыграть ее в полной мере. В одном из лучших своих стихотворений, «Сияя, гибнущая республика», он презрительно распротился с растлевающей человеческую душу «имперской» цивилизацией США XX века и, по американской традиции, удалился от людей («чтобы лучше их слышать») — только не в лес, как за сто лет до него сделал философ и поэт Г. Д. Торо, а на берег Тихого океана.

Дениза Левертов (род. в 1923 году) — уроженка Англии, сестра милосердия во время второй мировой войны — выпустила свой первый сборник «Двойной образ» в 1946 году в Лондоне. Юная поэтесса была неоригинальна, грешила мелодекламацией и сентенциозностью, и сборник ее никого не заинтересовал, хоть в нем и сказался не легкий опыт человечности, закаленной в соприкосновении с людскими страданиями и смертью. Этот опыт остался скрытым источником всей ее поэзии. Дениза Левертов в 1948 году переселилась в США и лишь в 1957-м опубликовала там свой второй сборник «Здесь и сейчас». Ее сразу заметили и начали считать в первой десятке молодых поэтов. Свободный стих, максимально приближенный к разговорной речи и подчиненный внутреннему ритму непосредственного переживания или припоминания, детальная описательность, обостренное внимание к неприметному и повседневному — таковы основные черты новообретенного поэтического стиля Д. Левертов. Новые сборники появляются один за другим с промежутком в один-два года. В середине 60-х годов Д. Левертов вслед за мужем присоединилась к движению протеста против вьетнамской войны, и в этом была не только жизненная, но и поэтическая последовательность. «Нам не нужны новые формы смерти, — писала она. — Я говорю о жизни». Перед всяким человеком она видит задачу воздвигать «лестницу Иакова» (название ее сборника 1961 года), лестницу добрых дел; перед каждым поэтом «ответственность — по-

ведать о том, что он видит, чтобы невидящие прозрели: ведь все мы — продолжение друг друга».

Первый сборник Арчибальда Макклиша (род. в 1892 году) вышел в 1917 году; в 20-х годах он попал под влияние Элиота и Паунда и «переболел» модернизмом; о появлении нового, глубоко самостоятельного американского поэта свидетельствовала его поэма «Конквистадор» (1932), отмеченная национальной премией. Плодовитый поэт, Макклиш завоевал себе репутацию в первую очередь произведениями большой формы — поэмами и стихотворными драмами; лирика его зачастую кажется фрагментами ораторий. Начиная с 30-х годов органическим свойством его поэзии стал пафос гражданской ответственности, прославление воинствующего гуманизма и демократического традиций американской истории. Многие стихотворные приемы его декламационной, насыщенной политическим содержанием поэзии определило многолетнее сотрудничество с радио; стихи его обычно рассчитаны на самое непосредственное, лозунговое, пропагандистское воздействие.

Ричард Уилбер (род. в 1921 году), уверенным и твердым шагом вышедший на поэтическую сцену в 1947 году, с тех пор опубликовал четыре сборника, из которых самый большой успех имел «В посюстороннем мире» (1956). Если же искать его поэтическую родословную, то надо будет обратиться к традициям английской лирики, восходящим к XVI—XVII векам, поэтам-елизаветинцам и метафизикам. Это традиции дисциплины стиха: его строгого, изящного и законченного построения, отчетливости поэтических формул, изобразительной пластичности. В поэзии Уилбера властвует радостное чувство реальности мира, его осязаемости, вещественности и красоты.

Огден Нэш (1902—1972) — один из самых популярных в США поэтов комического жанра. Приметливый и доброжелательный, веселый и едкий наблюдатель американского быта и нравов, Нэш выработал свою особую форму стихотворного анекдота. Между тем каждое его стихотворение — это своеобразное размышление: недаром его называли «рифмующим эссеистом». О. Нэш писал «обо всем и еще о многом другом», и его нескончаемый перечень поучительных нелепц вполне заслуживает титула «сатирико-юмористической энциклопедии» американской жизни, присвоенного ему в статье, сопровождавшей одну из его публикаций в СССР («Иностранная литература», 1966, № 9).

«Она сделала себя самой собственной задачей, и поэзия ее — отчет о выполнении этой задачи. Стихи — главы автомифологии». Так сказал о Сильвии Плат (1932—1963) ее муж, английский поэт Тед Хьюз. Последней главой «автомифологии» оказалось самоубийство. Сильвию Плат называли «серебряным соловьем» американской поэзии, и ее песня оборвалась на самой высокой ноте: посмертную славу принес ей сборник «Ариэль» (1965). Поэзия С. Плат — ярко-мелодичная, преисполненная изобразительной экспрессии и озабоченности судьбами современного мира (так, во многих стихотворениях она стремилась пережить изнутри трагедию жертв нацизма) — вовсе не отличалась «самокопанием», и не это имеет в виду Т. Хьюз. Поэтесса пыталась достичь напряженнейшего единства, полной неразличимости жизненного и поэтического переживания, пыталась «остановить мгновенье». Остановка оказалась трагедией, но трудно сказать, чего в ней больше: человеческой ли слабости или поэтического перенапряжения.

Сгушенная, причудливая образность стихов Теодора Рётке (1908—1963) вызывала, с одной стороны, довольно неуместные, раздражавшие самого поэта восторги, с другой — упреки в излишней усложненности и субъективности. Все, однако, сходится на том, что Рётке — поэт с редкостным мелодическим чутьем стиха и что оригинальность его поэтического мышления глубоко содержательна. В творчестве его заметен сдвиг от строгой формы и ритмики к свободному стиху, от коротких миниатюр к стихотворным сюитам, «в которых я пытался ритмически воспроизвести само движение сознания, проследить духовный путь лирического героя (вовсе не мой собственный)». Поэту, писал Рётке, «иногда случаем удается воссоздать жизненную целостность в одном стихотворении». Самому Рётке это не раз удавалось. Стихотворение «Пробуждение» — заглавное в сборнике, получившем в 1953 году Пулитцеровскую премию.

РОБИНСОН ДЖЕФФЕРС

ШТОРМОВАЯ ПЛЯСКА ЧАЕК

Шторм крепчает, дождь, мрак и ревуший ветер,
 И чайки пляшут свою штормовую пляску —
 Обычно они над водой, но теперь под небом
 Кружатся, пляшут обыкновенные чайки.
 Поверьте, в небе для ваших голодных клювов нет ни рыбешки,
 Ни тени рыбешки, оно лишь пустыня из воздуха.
 Высоко в небе
 Серые крылья и белые несутся над штормом.
 Что вы там делаете? Там нечего есть! «Мы любимся штормом».
 Как и нам, красота им знакома, они предаются ей всем летучим
 сердцем,
 всей крылатой своей ненасытностью.

ВЫБИРАЮ СЕБЕ МОГИЛУ

Я сказал вам однажды в стихах — читали вы их или нет —
 О восхитительном месте, куда смертельно раненные
 Олени идут умирать; их кости лежат вперемешку
 Под листьями у сверкающего ручейка в горах; и если
 У оленей есть души, им это нравится, и рога и ребра довольны.
 Пора и мне выбирать могилу.
 Положите меня в восхитительном месте, подальше от человека —
 Только не кладбище, только не стены и статуи,
 Только не колумбарий и, ради бога, не панихида!

Если я, человек, не менее драгоценен,
 Чем быстрый олень или ночная охотница — пума,
 Мне должно быть отрадно лежать с ними рядом.

ЧТО ОСТАЛОСЬ

Это правда, что половина величья пропала.
 Машины и модернистские зданья заповили пейзаж.
 Над горным Кармельским шоссе не парит орел,
 На него не выходит пума — ее мы однажды видали
 Лет тридцать назад. Все же по милости божьей
 У меня есть участок гранитной скалы, на которую Тихий
 Океан навалился своей дикой тяжестью; есть деревья, которые я посадил
 В молодости; зеленые хлыстики из-под руки
 Выросли, несмотря на хищный морской ветер.
 И приняты в лоно природы, и цапли сердитыми голосами
 Кричат у их ветвей. За все это надо платить;
 Окружные налоги съедают весь мой доход, и кажется сумасшествием
 Держать за собой три акра прибрежного леса и маленький низкий дом,
 Который я строил своими руками, и ежегодно давать за право владения
 Цену новенького автомобиля. Ничего, деревья и камни этого стоят.

Уже смеркается. Сам я стар, жена моя умерла,
 А вся жизнь заключалась в ее глазах. Мне-то надо сосредоточиться,
 Прежде чем я проникну в прекрасные тайны
 Листьев, камней и звезд. А ей это было просто.
 О, если бы все человечество могло проникать в красоту!
 Тогда бы в мире прибавилось радости и люди, быть может, сделались
 чуть благородней — как сейчас полевые цветы
 Благородней, чем род Адама.

ЖАЖДУТ ПОХВАЛ

Гёте, говорят, был великим поэтом; Пиндар, быть может, был великим
 поэтом; Шекспир и Софокл —
 Вне всякого сомнения. Я думаю о немногих счастливых,
 Которые успели раскрыться.
 Я думаю о Кристофере Марло,
 Как в пьяной сваре солдат проткнул ему глаз ножом,
 И юность вместе с мозгами выплеснулась на трактирные доски. Я думаю
 о молодом Китсе,
 Как он сходил с ума от невоплощенных замыслов, как, умирая в Риме,
 молил о глотке воздуха. Я думаю об Эдгаре По
 и Роберте Бернсе. Я думаю о Лукреции, как, не закончив стихотворение,
 он пошел и покончил с собой. Я думаю об Архилохе,
 Как он усмеялся с безумной горечью. Я думаю о Вергилии,
 Как, выхаркивая свои легкие, он в отчаянье умолял друзей уничтожить
 его стихи.

И все-таки молодые люди
 До сих пор приходят ко мне с рукописями и книгами,
 Как жаждут они быть поэтами, жаждут похвал, жаждут кончить, как Китс.
 Я думаю, они сумасшедшие.

Перевел АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ.

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

ФОНТАН

Не говори, не говори, что нет воды,
 способной смягчить наши высохшие души.

Я видела
 фонтан, он бил из скал.
 Ты пил из этого фонтана,
 и около тебя

я отыскала опору, чтобы
 припасть к прохладной струе.

СВОБОДА

Она
 девчонкой,
 налегке,
 Поток искр рядясь в порфиру,
 С горящим факелом в руке
 Бежит,
 смеясь,
 навстречу миру...

Когда ж ее малютка дочь
 Играет в сене у амбара,
 Она бросает факел прочь —
 Во избежание пожара.

С ВОЗРАСТОМ

Двадцатилетним я считал,
 Вникая в сущность мирозданья,
 Что ни разумных в нем начал,
 Ни правды нет,
 ни состраданья.

И сколько горестных событий
 С тех пор узнал и мир и я...
 Но вздрогнет вдруг душа моя
 От радостных первооткрытий.

ГАЛАН²

Они повесили его,
 Но удержаться не могли —
 И обезглавили его
 И сердце, вырезав, сожгли.

И ни могилы, ни креста,
 Ни слова громкого о нем...
 И все-таки его страшась,
 Язык сожгли его и дом.

В Гвадасе — кол для головы.
 В Чарале — эшафот для ног.
 В Сокорро — правая рука.
 В Сан-Хиле — левая рука...

И если сыновья твои,
 Сокорро, Богота, Сан-Хил,
 Забудут, как погиб Галан,
 То камни закричат: «Он жил!..»

² Чернорабочий Хосе Антонио Галан в 1781 году возглавил народное восстание в Новой Грамаде (на территории нынешней Колумбии). Восставшие добились выполнения своих требований, но когда они разошлись по домам, испанские войска оккупировали район восстания. Все завоевания трудящихся были уничтожены, а Хосе Галан, призвавший народ к новому восстанию, был предательски схвачен и зверски казнен 30 января 1782 года. (Прим. перев.)

ГЕРМАНСКИЕ ДЕВУШКИ! ГЕРМАНСКИЕ ДЕВУШКИ!³

Вам хорошо знакомы эти всадники?

Кто нас спросил? Листва деревьев? Звуки
Вечернего рояля — или листья?
Кто нас спросил об этом в поздний час
Сквозь шелест лип и звуки пианино?

Вам хорошо знакомы эти всадники —
Орава на конях разгоряченных,
В блестящих сапогах, пропахших потом,
В кавалерийских бриджах мародеры. —
Что по газонам скачут и по клумбам,
Что под навесом прижимают вас
И в блузку лезут наглыми руками,
Что представляют истинного немца —
Хохочут и подталкивают в бок?..

Вам хорошо знакомы эти всадники?

Кто спрашивает? Взломанные двери?
Убитые в предутреннем рассвете?
Кто спрашивает нас — они или двери? —
В тот ранний час, который видит мертвых
В тюремных рвах и, вздрогнув, будит женщин?..

Нам хорошо знакомы эти всадники!
Весь этот сброд, горлающий в пивных,
Из бывших полицейских, парикмахеров,
Владельцев лавок, продавцов, портных —
С задами толстыми, смешные в униформе,
Они идут под барабанный бой
Или под гром оркестров, багровея...

Вам хорошо знакомы эти всадники?

Кто нас спросил об этом на скамейке?
Зачем мы дверь оставили открытой?
И что нас разбудило на заре?..
Мы, мы дорогу палачам открыли!
Ворота наши, наши двери, окна —
Для флагов, устрашающих оркестров,
Для этих вот обманутых лжецов!..

Вам хорошо знакомы эти всадники?..

ОБ ИСПАНИИ

Они ответят за это.

За слезы никто не ответил, но они ответят за это.

³ Впервые опубликовано в специальном антифашистском номере журнала «Нью Мэссиз» от 17 декабря 1935 года с подзаголовком: «Безвозмездно доводится до сведения мистера Херста и прочих публицистов».

Вы слышите? —
 «Мы были молодыми. И мы погибли.
 Помните о нас».

Вы слышите? —
 «Все, что могли, мы совершили,
 Но дела до конца не довели».

Вы слышите? —
 «Мы жизнь свою отдали.
 Но только завершение борьбы
 Откроет всем, что дали наши жизни».

Вы слышите? —
 «Что наша смерть для нас?
 Вы придадите смысл ей и значенье».

Вы слышите? —
 «И наша жизнь и смерть
 Упрочат мир и новые надежды —
 Иль бесполезны? Вы должны ответить!»

Вы слышите? —
 «Мы оставляем вам
 Все наши смерти.
 Дайте им значенье.
 Мы были молодыми.
 Мы погибли.
 Земля и люди,
 помните о нас...»

Вы слышите?

1944.

НЭТ БЭКОН⁴

Могилы Нэта Бэкона
 Найти нельзя.
 Могилей Нэту Бэкону —
 Сама земля.
 Но дух Нэта Бэкона
 Убить нельзя!

Богатые и важные
 Его клянут.
 Богатым и напыщенным
 Он — Страшный суд.
 Свободные и гордые
 Это имя чтут.

Паразиты хвалят
 Деспотов не зря —
 Кормится при деспотах
 Всяческая тля.
 Кровью Нэта Бэкона
 Вскормлена земля.

Перевел И. ПОПОВ.

⁴ Натаниэль Бэкон (родственник знаменитого английского философа Фрэнсиса Бэкона) был руководителем восстания мелких землевладельцев в Виргинии в 1676 году против английского колониального гнета. Это восстание явилось провозвестником грядущих боев североамериканских колонистов против гнета метрополии. Позже организаторов народных восстаний в Америке часто называли бэконистами. (Прим. перев.)

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ

После последних известий окна спокойно темнеют;
 Как Атлантида, покорно город отходит ко сну:
 В ласковом иле постелей —
 В темную тишину.

И просыпается ветер. Ветер, шурша, рассыпает
 Сор посеревших, забытых дневных новостей
 Ворохом ветхих листков,
 Крыльями мертвых статей.

Вести летят и, сбиваясь над статуей в стаю,
 Бьются в бесстрастную бледную маску лица —
 Так на пиру воронье.
 Кружит, найдя мертвеца, —

Или, взметнувшись и тотчас развеявшись прахом,
 Шепчут о чьих-то мечтах, об ушедших делах,
 В самоубийстве жестоком
 Тихо теснятся в углах,

Корчась, калеча слова. Расхлеставшимся снегом
 Злобно змеется у ног полисмена в пыли,
 Слобно опять по России,
 Вздываясь с сожженной земли,

За императором мстительно гонится вьюга.
 Да, долгод путь через ночь... Лишь к утру
 Дикторский голос, как голубь
 Чистый на черном ветру,

Вырвет людей из кошмаров. Из пасти подземки,
 Слобно из мрачного мира тревог и страстей,
 С ворохом новых газет
 И привычных, как сон, новостей

Люди спокойными реками выльются в улицы,
 Утро разгладит морщины встревоженных лиц
 И заглушит тишину
 Пеньем разбуженных птиц.

Перевел АНДРЕЙ КИСТЯКОВСКИЙ.

ОГДЕН НЭШ

Я И НЕ ПОДОЗРЕВАЛ, ЧТО УЖЕ ПОЗДНО

Мужчина без часов! Без тени сомнения вот какое сравнение
 я считаю наиболее близким —
 Это сода без виски.
 А какое движение характерно для любого мужчины и поэтому
 каждому знакомо?
 Это выбрасывание вперед левой руки без видимой причины и
 взгляд на часы, даже если они остались дома,

С того самого мгновенья, когда мужчины появились на свете,
 а может быть и ранее,
 Они сами перед собой расставили и сами собой запутались
 в бесчисленные распорядки и расписания.
 Будь то любовники, игроки в гольф или железнодорожные инженеры,
 Время всегда являлось существеннейшим фактором их карьеры.
 И поэтому мне это кажется по меньшей мере странно,
 Когда мужчина не знает, явился он поздно или слишком
 рано.
 И даже часы на столбе ему не помогут, ибо он не может ни
 взять их с собой, ни подладить под них свой маршрут.
 И самое большее, что они могут, это служить для сравнения
 с часами наручными и показывать от случая к случаю,
 что по сравнению с часами на руке они безбожно врут.
 Есть одна мысль, которая выскакивает из подсознания мужчины
 (я сам замечал это за собой не раз),
 И эта мысль — который теперь час?
 А женщины не любят часов, они их терпят только тогда, когда
 они вправлены в любимые ими колье, брошки, или браслеты,
 Или в какие-либо другие достойные их предметы.
 Да, женщины не нуждаются в часах, и это очевидно
 Ибо на циферблатах их часов без микроскопа все равно ничего
 не видно.
 Время есть нечто, к чему они относятся с поистине женским
 негодованием,
 С чем они постоянно борются, отрицая его существование.
 А впрочем, определяя женско-мужские отношения ко времени,
 очень не просто разобраться в чаще различных обстоятельств
 и причин.
 И лишь одно доподлинно известно: что гораздо чаще мужчины
 ожидают женщин, чем женщины ждут мужчин.

МИСТЕР ОРМАНТЬЮД И ЕГО НЕВЕСТА

Однажды жил на свете некий Ормантьюд, о намерениях которого
 лучше не говорить бы.
 Ибо его единственным намерением была счастливая женитьба.
 В чем он и преуспел и был почти полвека счастлив по уши
 С единственной, которую любил, себя не помняши.
 Все брачные дни и ночи его были сплошным блаженством,
 Потому что все чувства его следили за каждым ее жестом
 Он на лету ловил любой ее каприз
 Как самый драгоценный приз.
 А на губах у него, так и не выпорхнув в свет, умирали остроты,
 Которые не могли не родиться в ответ на ее анекдоты.
 Если правда была на его стороне, он не вступал с супругою
 в спор никогда,
 А спорил только уверенный вполне, что он настолько не прав,
 что даже ей посрамить его не стоило никакого труда.
 И какая бы ни была на лице его мина,
 Рядом с ней он всегда помнил о том, что она — фемина.
 И превращал в фетиш свое внимание к любому вылетающему из
 ее горла звуку:
 Когда она лаяла, он мяукал.

Каждый, кто знал о его постоянстве, пророчил им золотую свадьбу,
но накануне вечером, не помня о том,
Его обожаемая отравила его, не в силах больше вынести ужасного
состояния быть вечно непонятой.

Перевел АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,

СИЛЬВИЯ ПЛАТ

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Любовь тебя завела, как золотые часы.
Акушерка тебе пошлепала пяточки, и твой крик
Занял место среди стихий.

Мы хором обрадовались тебе. Новое извятие.
На музейном сквозняке твоя нагота отенила
Нашу прочность. Вокруг тебя мы как стены.

Я тебе мать не больше,
Чем облачко, след которого
Исчезает на зеркальце, чтоб отразить тебя.

Твое мотыльковое дыхание
Всю ночь мерцает среди алых роз. Я проснулась,
И в ушах гудит далекое море.

Крик — и я сползаю с постели, грузная, как корова,
Пестрая в викторианской ночной рубашке.
Твой кошачий чистенький ротик раскрыт. Квадрат

Окна, белея, глотает звезды. А обновляешь
Свою пригоршню звуков;
Ясные гласные пляшут, словно воздушные шарик.

ВЕСТНИКИ

Мир улитки на блюде листа?
Чужой мир. Отвергни его.

Уксус в закупоренной бутылке?
Отвергни. Он ненастоящий.

Золотое колечко с солнечным бликом?
Ложь. Ложь и горе.

Мороз на листе, белоснежная
Плавильня потрескивает, болтает

Сама с собой на каждой черной
Альпийской вершине.

Замешательство в зеркалах,
Море разбило свое серое

Зеркало —
Это любовь, любовь, мое время года.

Перевел АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ.

ТЕОДОР РЁТКЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ

Рожденный спать, я медлю с пробуждением.
Я предскажу судьбу — страшней не станет.
Указывает путь само хождение.

Мы верим чувству: что узнать и где мне?
Я слышу Бытие, таков мой танец.
Рожденный спать, я медлю с пробуждением.

Людей вокруг так много. Где же ты?
Земля священна; к ней, такой далекой,
Указывает путь само хождение.

Мой Лес в огне; скажите, в чем тут дело?
Вот низкий червь взбирается высоко;
Рожденный спать, я медлю с пробуждением.

Но у природы много важных дел
Для нас с тобой; итак, вздохни глубоко —
И снова в путь, учиться у хождения.

Перевел В. ГЛОЗМАН.



ПУБЛИЦИСТИКА

Д. КУЗОВЛЕВ,
первый секретарь Шекснинского райкома КПСС
Вологодской области



ЗАБОТЫ СЕЛЯНИНА

Полемические размышления

I

Что и говорить, нелегко живется нынешнему председателю колхоза. Хозяйство у него большое, хлопотное. Встает он чуть свет, дел всегда по горло. Идет ли посевная, наступит ли страдная пора заготовки кормов и уборки урожая, придет ли на землю зима (о которой у иных городских людей бытует представление, что это та самая отдушина, когда крестьянину впору удариться в спячку) — сколько забот и тревог приносят они председателю. Продукцию вырасти, убери, сдай. Корма заготовь и в срок и впрок. Бригадиров в свои планы посвяти, убеди, специалистам обо всем расскажи. Удобрения приготовь, сохрани, вовремя вывези на поля. Запчасти, стройматериалы достань, о фондах подумай, договора нужные заключи... Фонды на стройматериалы выколотил — теперь подрядчиков найди, проектантов разыщи, все дела с ними обмозгуй, уладь. А если не удалось какое-то дело, на кого тогда взваливает председатель все беды? Конечно, на районные организации.

...И вдруг такого хозяйственника однажды ставят во главе района. Словно предлагают: а ну, побудь, дескать, теперь в нашей шкуре!

Раньше председательская голова болела за «тысячи центнеров», теперь секретарская печалится за «тысячи тонн». Но не в тоннах, однако, дело. Для того чтобы заполучить эти «тонны сельскохозяйственных продуктов», нужно организовать труд людей, устроить их жизнь, распорядиться толково землей, машинами, удобрениями, наладить уход за скотом, короче — организовать нормальное течение социально-экономической жизни целого района.

Шекснинский район, правда, не очень велик, однако же и не мал. Расположен он в центральной части Вологодской области, близ города Череповца, нашей знаменитой северной Магнитки. С севера на юг район пересекает водная магистраль — Волго-Балт, с востока на запад прорезает недавно построенная автодорога Вологда — Ленинград. Территория района составляет 2,5 тысячи квадратных километров, из которых одна треть — водные просторы с рыбой, дичью.

Пашни насчитывается 46 тысяч гектаров, еще столько же лугов и пастбищ. 428 сел и деревень объединились в 19 колхозов и совхозов, которые содержат свыше 26 тысяч голов крупного рогатого скота, до 7 тысяч свиней и свыше 2,5 тысячи овец. Не перевелись и лошади — есть чистопородные рысаки. Но на полевые работы выходят теперь 750 тракторов, до 200 зерновых и льянных комбайнов, сотни силосных, картофелеуборочных и других машин. Всего населения в районе 35 тысяч человек, из них на селе — 23 тысячи, выходит, на каждую деревню в среднем по 53 жителя. И хотя сельских рабочих насчитывается не более шести тысяч человек, управляемся с сельским хозяйством не хуже других северных районов.

Растет урожайность полей, поднимается продуктивность животноводства. 1972 год не в счет, так как был он и для нас на редкость засушливым, а вот в 1971 году собра-

ли с каждого гектара по 20,2 центнера зерна, а от коровы надоили в среднем без малого 2800 литров молока. Район произвел 33,5 тысячи тонн зерна, 30 тысяч тонн молока, свыше трех тысяч тонн мяса. Большие площади занимает лен. Наш район в основном колхозный, а потому крепко держится за эту доходную культуру. Если посчитать в рублях, то всей продукции сельского хозяйства шекснинцы производят на 18—19 миллионов и реализуют ее на 15—16 миллионов рублей в год. На девятую пятилетку запланирован прирост — 25—30 процентов, и прирост этот за исключением 1972 года в основном обеспечивается.

В районе есть и промышленные предприятия, которые реализуют продукции на 42 миллиона рублей. Но сейчас речь не о них — о сельском хозяйстве, о том, как мы с ним управляемся. И тут надо упомянуть разные районные службы и организации, созданные для того, чтобы руководить полеводством и животноводством, помогать сельским труженикам: Сельхозтехника, машинно-мелиоративная станция, Межколхозстрой, Сельэлектромонтаж, Дорсельстрой, Сельхозмонтаж, наконец, производственное управление сельского хозяйства при райисполкоме. Кажется, занимайся этими учреждениями, обеспечивай партийное руководство, что называется, нажимай на рычаги — и дела на селе пойдут исправно. Однако нажимать не так просто и не всегда удается. На кого нажмешь, если, скажем, парку гусеничных тракторов требуется в год 15 тысяч звеньев для ходовых траков, а Сельхозтехника их получает 8 тысяч. Другой вопрос. Колхозы и совхозы района планируют объемы капитального строительства в три-четыре миллиона рублей (и это их крайняя нужда), а мощность строительных организаций не более двух миллионов.

Специалисты рассчитали: чтобы иметь устойчивые урожаи зерновых по 20—22 центнера с гектара, нужно завозить не менее 25 тысяч тонн минеральных удобрений, а мы получаем только 15—16 тысяч. Выходит, и этого мало и того не хватает.

Но «мало», «не хватает» — это еще полбеды. Можно наращивать мощности, коптить силы, искать внутренние резервы. Другое дело, когда чего-то нет вовсе, не дают, вроде как не положено. Все колхозы и совхозы обзавелись собственными мастерскими. Здесь им приходится производить не только текущий ремонт, но зачастую и капитальный. Нужда заставляет. Из 750 тракторов сельскохозяйственного назначения районное отделение Сельхозтехника принимает в ремонт только 300 тракторов (это их посильный годовой план), 150—200 тракторов обычно не требуют капитального ремонта. И все равно на долю сельских мастерских остается немало: до 300 тракторов, почти весь комбайновый и автомобильный парк, тысячи прицепных машин. Если прибавить к этому ремонт животноводческого оборудования, складского и сушильного инвентаря, то станет вполне очевидным, какую роль играют колхозные и совхозные мастерские. Значение сельских мастерских теперь никто не оспаривает, даже Министерство сельского хозяйства. Но вот проблема: где взять для них токарные, фрезерные, строгальные и другие станки? Была бы потребность в одном, двух станках — у шефов можно бы выпросить. Нет, десятки их нужно! А Сельхозтехника такое количество дать не может, ей свой станочный парк обновить не удастся, хотя известно — на устаревшем оборудовании технического прогресса не добьешься.

Да в одних ли станках дело? Не успеет прибыть на склад Сельхозтехники какой-нибудь ходовой товар, а сельские инженеры тут как тут — рвут прямо из рук. Управляющий ведет ходок в управление сельского хозяйства, а то и в райком партии. «Пусть главное районное начальство делит фонды».

А оборудование для животноводческих ферм? Для вновь строящихся еще кое-что выделяется, а со старыми дворами одна канитель. Все ратуют за механизацию, а «механизации» этой явно недостает. Доильные аппараты дели поштучно, водопроводные трубы, транспортеры — на метры. И во все это поневоле вмешивается райком, за всем следит райисполком.

II

А что крестьянину делать? Просить городскую промышленность, чтоб та живее откликнулась на сельские нужды. Город тоже просит у села побольше молока и мяса...

Конечно, всем известно, что город не оставляет нужды села без внимания. За последнее время увеличился поток машин, удобрений, появились некоторые технические новинки, расширились объемы мелиоративных работ. Только за два года девятой пятилетки, как сообщило недавно ЦСУ, капитальные вложения государства в сельское хозяйство достигли 28 миллиардов рублей. Это вселяет в тружеников сельского хозяйства бодрость и уверенность, что дело будет двигаться вперед и развиваться применительно к требованиям жизни.

Однако, на наш взгляд, сейчас селу нужна не столько количественная сторона поставок и вложений, сколько качественная, то есть их комплектность и завершенность. Скажем, пахотных тракторов, зерновых комбайнов поступает на село все больше и больше, но их все больше и простаивает, так как не хватает механизаторов. Зато остро недостает землеройных машин, автокранов, экскаваторов, мощных бульдозеров, автогрейдеров, кусторезов, автосамосвалов, погрузочных средств. А это, в свою очередь, ухудшает использование людских ресурсов села, которые, как известно, не увеличиваются — сокращаются из года в год. В нашем районе, например, ежегодное убывание рабочих рук из сельской местности держится на цифре 500—600 человек и не имеет тенденции к понижению. А средний возраст трудоспособного колхозника перешагнул за сорок лет. Поэтому нам нужны комплексы машин, к тому же более энергоемкие.

Но сложился и устойчиво держится до сих пор неверный взгляд на колхозы и совхозы: им, дескать, не след иметь мощную технику за исключением пахотных тракторов и зерновых комбайнов большой мощности. Да и эта оговорка касается скорее южных и восточных районов, а не нас, северян. И вот ни в одном из наших колхозов или совхозов нет бульдозеров, сработанных на базе трактора «С-100». Мало поступает и бульдозеров средней силы — «Т-74», «ДТ-75». Экскаваторы — только марки «Э-153». Хорошие машины, но слабоватые, непригодные для земляных работ. Про автокраны, мощные экскаваторы и самосвалы наши председатели не смеют и мечтать. Этих машин не хватает даже межколхозным строительным организациям. Вся землеройная техника идет только по прямому назначению — в государственные мелиоративные отряды.

А выкопать полевой пруд, насыпать дорожное полотно, отрыть силосную траншею в колхозе, совхозе все равно надо. Вот и хитрят руководители хозяйств, изворачиваются, правдами и неправдами заманивают технику мелиораторов на эту неплановую работу. Хотя такое растаскивание им же во вред. Придет мелиоративный отряд землю облагораживать, а его разбазаривают по разным «шабашкам». Как говорится: один беспорядок вызывает другой, а потом дальше в лес — больше дров.

Мало достается нашим хозяйствам и погрузочно-разгрузочной техники. Видимо, в Госплане и в Госнабе полагают, что проблема погрузки и разгрузки на селе не слишком острая. Но вряд ли такое мнение справедливо. Вот, к примеру, подсчеты по нашему району. За 1973 год труженики села погрузили и разгрузили вручную 16 тысяч тонн минеральных удобрений, свыше 100 тысяч тонн органических, 60 тысяч тонн грубых и сочных кормов, всю продукцию, сдаваемую государству (свыше 50 тысяч тонн), посевной материал, лес, дрова, уголь и другие грузы — более 70 тысяч тонн. В районе из 6 тысяч трудоспособных сельских работников в полеводстве и на так называемых разных работах трудится не более 1,5 тысячи человек. Если отбросить женскую половину и подростков, то грузчиками могут практически работать не более 500—600 человек. Цифра «300 тысяч тонн» ручных грузов сама по себе еще не страшна, но когда ее разделишь на 500 человек, выходит по 600 тонн на брата! Эту ношу с помощью рефрена известной песни «Эй, ухнем!» не возьмешь, не поднимешь. Даже если эти 300 тысяч разделить на все трудоспособное сельское население, и тогда выйдет по 50 тонн на человека. А эта цифра отпугивает молодежь. Не случайно от молодых людей, убегающих из села, слышишь всегда стереотипное: «Что мне тут делать, мешки ворочать?!» Сельский труженик терпеливо ждет, когда же научно-исследовательские институты досконально изучат все насущные проблемы села и обеспечат выпуск нужных машин. А пока суд да дело, пока ученые думают, селянин тоже не спит, ищет выход из затруднений, приводит в действие свои внутренние резервы, зани-

мается творчеством. Собственно говоря, дело это тоже нужное. Нельзя сидеть сложа руки.

Что же, ищем, находим, творим. Только иные наши «находки» наводят на грустную мысль, потому что они лишний раз показывают, как еще далеко отстоят некоторые институты и предприятия от сельского производства. Много лет промышленность выпускает доильные установки «молокопровод». Теперь из ГДР стали поступать похожие установки «импульс». Они рассчитаны на то, чтобы смешивать молоко от 100, 200 и более коров, а сотню буренок опекает не одна доярка. Обезличка в труде известно, к чему приводит. На фермах такое смешивание молока оборачивается вечной руганью, недовольством. Конечный результат — потеря материального стимула и уход с работы. Что бы институтам приглядеться к практической работе животноводов, посадить кого надо за чертежные доски и... изобрести наконец автоматический счетчик молока. А пока этого счетчика нет, наши умельцы-механизаторы «изобретают велосипед» — рвут «молокопровод» на части, создают «петли» отдельно на каждую группу коров. Все это удорожает животноводческое оборудование, задерживает процесс механизации. А всего-то и дела — счетчик!

И другого рода есть у нас изобретения. Известно, например, что основная масса соломы идет в корм скоту. Предпочтительнее, когда она подается в запаренном виде. Но промышленность выпускает такие запарочные котлы, которыми редко кто пользуется. Котлы маленькие, неудобные, емкость их обеспечит в лучшем случае запаркой группу коз, а не коров, к тому же весь производственный процесс рассчитан на тяжелый физический труд. И опять же сельские механизаторы изобретают свои запарочные агрегаты, приделывают к ним транспортеры, подводят пар, воду.

А сколько забот у сельского труженика со льном. Северный шелк не даром дается. Любая крестьянка знает, что он до восьми раз побывает в ее руках, прежде чем попасть на перерабатывающие заводы. Сев, химическая прополка, уборка, околот и расстил льна теперь механизированы. А вот сьем, перевозка и сортировка льнотресты еще проводятся вручную. И это сводит на нет эффект, получаемый от механизации первых пяти операций. Кроме того, работать вручную со льном умеют только престарелые колхозники, молодежь этому не хочет учиться. Руководители хозяйств заявляют в один голос: «Вот отойдут от дел бабушки-дедушки на селе, кто будет возиться со льном, если к тому времени не подспеет комплексная механизация?» Не случайно поэтому посевы льна в северных областях с каждым годом сокращаются. Совхозы специализированных трестов первым долгом изгоняют эту канительную культуру начисто с поля. Хоть и рентабельна она, но очень уж трудоемка.

Нас, сельских руководителей, беспокоят некоторые организационные неурядицы. Возьмем самое наболеее — строительство на селе. Невелики наши собственные силы, но и они на городской манер разрознены, то есть так «заспециализованы», что подчас за трубой не видно завода, а за конторой — предприятия. Нет, мы вовсе не против специализации (и об этом еще скажем), но всему свое время и разумный предел. Разумная специализация — добро, но поспешность ради моды порождает только зло. Взять, к примеру, районные организации Межколхозстрой, Дорсельстрой, Сельэлектромонтаж и просто Сельхозмонтаж. У всех есть техника, гаражи, свои конторы имеются, а в них начальники контор, специалисты, замы и помы сидят. Зачем все это? Разбрасываем только силы. В летнюю пору эти организации еще полнокровны, так как образуют сезонной рабочей силой (из шабашников), а зимой, почитай, одни конторы и остаются. Взять бы да объединить их в одно управление, не нарушая внутренней производственной специализации. Тогда контора — одна, база — одна и все ресурсы — в кучу. Руководство и снабжение сосредоточить в одних руках. Сила! Действуй, маневрируй и техникой и всеми другими ресурсами, благо поле действия одно — село.

Нельзя, говорят, — специализация. И вот на пути живого, нужного дела то и знай встают ведомственные перегородки, не всякому удастся обойти их или объехать. Повторяю, мы не против специализации; вот когда строительной техники будет в достатке, тогда и межколхозным организациям можно поступать на городской манер. А сейчас иной раз выходит, что специализация становится синонимом мельчания и распыления.

Уже несколько лет существует Министерство сельского строительства. Министер-

ство нужное, и создавалось оно на радость селу. Объемы строительного-монтажных работ его исчисляются теперь миллиардами. Только нашим колхозам, мягко говоря, от этого пока не слишком много радости. Для государства, для народа нет разницы, чьи они продукты получают: колхозные или совхозные. Минсельстрой же в совхозах ведет строительство, а в колхозы его не заманишь. Возьмем наш трест Череповецсельстрой, объемы строительных работ которого шагнули за десяток миллионов. Но подлинно колхозного и на миллион не наскребешь. Одна из мехколонн треста обслуживает наш район, который на три четверти колхозный. Из объема строительного-монтажных работ в полтора миллиона рублей в год на колхозы у этой мехколонны приходится не более 100 тысяч.

Строители могут возразить: «Позвольте, а разве склады сельхозтехники, комплекс профтехучилищ не касаются села?» Касаются. Всех касаются — и колхозов и совхозов одинаково. Но есть еще и свои, кровные нужды, притом неотложные, горящие. Если же и дальше трест будет возводить то, что лишь «касается села», то строители уйдут от нас далеко. В конце концов, и черная металлургия касается села, потому что без металла никакого трактора не получится.

III

С точки зрения научно-технического прогресса сельскохозяйственное производство отстает от промышленного на целую эпоху. Как ни парадоксально, но этой отсталостью село обязано прежде всего самому себе. Чтобы убедиться в этом, совершим небольшой исторический экскурс. Скотовод и землепашец — первые профессии на земле. Еще на заре цивилизации земледелец для облегчения своей доли выдумал ремесла, из которых произошли прикладные искусства и промышленность. Родимые детища села, встав на самостоятельные ноги, так быстро зашагали, что далеко обставили в пути своих прародителей. Обставили, но не оставили, хотя между новым и старым производством установились довольно странные отношения. Промышленность не могла и не хотела существовать без сельского хозяйства, сельское же хозяйство долгое время развивалось и шло особняком. Отношения между деревней и городом были с самого начала похожи на «милые» распри отцов с блудными сыновьями. Современное крестьянство пожинает плоды этих заблуждений.

Но было бы исторической несправедливостью во всех нынешних бедах видеть ошибки только прошлого. Нынешние поколения, может быть, совершают их не меньше своих предков. Мировая статистика говорит о том, что энерговооруженность сельского труженика, а следовательно, и производительность труда резко еще отстают от вооруженности и производительности промышленного рабочего. По логике вещей должно быть все наоборот — сельскому хозяйству надо иметь больше технических средств, ибо использование машин на селе носит и всегда будет носить сезонный характер.

Словом, с какой стороны ни подойти к проблемам села, обнаружишь, что нужды его удовлетворяются медленнее, чем того требует жизнь. Здесь мы сталкиваемся с явлением, которое можно назвать эффектом запоздания.

В конце 50-х годов было решено ликвидировать МТС, взять курс на материально-техническое укрепление колхозов, то есть передать им всю технику, поднять экономическую заинтересованность крестьян в результатах своего труда. Это было революционным шагом — сельское хозяйство сразу же расправило плечи, резко двинулось вперед. Но хотя производство сельскохозяйственных продуктов у нас не сокращается, а растет, стране нужно все больше и больше зерна, молока, мяса. Факт становится очевидным — село не поспевает за развитием промышленности.

В чем тут дело? Опять налицо эффект какого-то запоздания. Трудно с ходу сказать какого именно. Это только люди, далекие от села, умудряются легко и просто устанавливать диагнозы. На самом же деле сельская жизнь весьма сложна. Сложна переплетением коренных исконных явлений с всевозможными новинками, привнесенными извне, тугими узлами противоречий, нити от которых расходятся и вширь и вглубь. Веками жила себе деревенька. Тихо, мирно, в стороне от больших столбовых дорог. А теперь вихрем взметнуло ее — пошло, поехало! Сложна сельская жизнь еще

и потому, что привлекает теперь внимание всех слоев общества. А это и хорошо и плохо. Все говорят о деревне, все ее учат, все о ней пекутся и заботятся. На село ринулся поток информации, к которому крестьянин не был подготовлен. Он часто теряется от такого изобилия: то ли ему работать, то ли слушать, что про него говорят.

События захлестывают деревню. Она иной раз не успевает оглядываться на крутых поворотах. Вчера еще было много народу, но не хватало техники. Сегодня, наоборот, техники много — людей не хватает. Попробуй тут сразу перестроиться. Не так давно крестьянин, попав на сельскохозяйственную выставку, стоял как замороженный, любясь экспонатами. Теперь смотрит на них через телевизор уже разочарованно, качивая головой: иной раз в пору работников ВДНХ зазывать к себе, чтоб те поглядели, какие на селе новинки.

И все же село не поспевает за городом. А это значит, не поспевают и те учреждения, институты, предприятия, которым надлежит заботиться о его развитии. Система управления и снабжения то и дело дает где-то осечку.

Начнем анализ общей проблемы с досадных мелочей, хотя некоторые из них живут и держатся давно и уже перестали быть мелочами. Десятки лет со страниц газет и журналов не сходит тема запчастей. Тема, что называется, навязла у всех в зубах.

В нашем районе, например, ежегодно колхозы и совхозы приобретают техники на 1,5 миллиона, а запчастей — на 300 тысяч рублей. Тут и не посвященный в разные технические нормы человек скажет, что маловато отпускается запчастей, если их стоимость в 5 раз меньше стоимости самих машин. Заметим — только новых. Если же вспомнить про старые, выйдет и того меньше. А крестьянин испокон веку понимал, что тележные колеса и оси изнашиваются гораздо быстрее, чем сама телега. Во всяком случае, он еще с зимы заготавливал ошей по несколько пар. Промышленность этой мудрой традиции почему-то не следует.

Кажется, никакого выхода нет. Мало — и всё. А выход все-таки и в этой ситуации есть. Его подсказывают простые наблюдения за жизнью сельских механизаторов. На складах запчастей нет, а с рук купить — пожалуйста. Отчего это? Умудренный горьким опытом сельский механизатор всегда откладывает на черный день то одну, то другую деталь. Раззява ты, а не механизатор, если нет в твоём «личном загашнике» пятка ходовых подшипников, десятка форсунок и свечей, набора всяких там питательных трубок и других дефицитных вещей. У иного оборотистого, «техничного» парня таким образом полтрактора лежит на чердаке, а то и целый трактор. Это я по председателскому опыту знаю. Однажды в колхозе было уж очень туго с запчастями. А на дворе — уборка урожая. Меня и надоумил старый механик скупить заколоченные дома выбывших механизаторов. Купили эти дома. И на чердаках нашли все необходимые запчасти. Что, сказка? Нет, самая что ни на есть горькая быль. Пока каждый механизатор сам себе ремонтник, запчастей не напасть.

Недавно в районе снова во весь рост встал этот вопрос. Каких только мер не принимали, а механики, инженеры, все одно говорят: нет запчастей. Решили разослать представителей управления сельского хозяйства по колхозным кладовым. Проверили, установили. У одного резины по два комплекта на каждую колесную машину, у другого и по комплекту не наберется (46 колесных тракторов стоят «разутые»). Одно хозяйство сумело набрать запчастей в стоимостном выражении к полученной технике один к двум, другое — один к шести. Конечно, все эти ненормальности устранимы, но они результат заявок на авось, а главное, они говорят все о том же — о стремлении отложить что-то про запас, оставить на черный день. Достаточно организовать специальные ремонтные бригады в колхозах и совхозах — запчастей, пожалуй, хватит. Такой опыт в некоторых хозяйствах есть, например в колхозе имени Ленина Ленинградской области. Но он медленно распространяется. Здесь не только традиция и инерция старого виноваты, — сельским мастерским не хватает, как говорилось уже, нужных станков, оборудования и спецмашин для технического обслуживания и организации ремонта. Эффект запоздания и тут сказывается — одна проблема упирается в другую.

Модной темой до сих пор является проблема сельской миграции. Одни зовут молодежь на село, другие, наоборот, из села. Думается, журналистам надо бы осторожнее выступать с подобными рекомендациями, больше оглядываться на ученых.

У тех имеются расчеты, как можно заменить техникой отток из села рабочей силы. Сошлемся на местный расчет. В нашем районе около 800 доярок, коров 11,5 тысячи. Нагрузка на доярку не превышает 14—15 коров, а на одного работника фермы — 9—10 коров. На передовых механизированных фермах нагрузка поднимается до 25—50 и даже до 100 коров. Если увеличить среднюю нагрузку до 50 коров, доярок понадобится только 230 человек. Возьмем зарплату — и при ручной и при механизированной работе она составляет 150 рублей в месяц. Экономия во втором случае только на фонде зарплаты получится свыше миллиона рублей в год. За эти деньги можно построить 6—7 комплексно-механизированных дворов на 200 голов каждый. Экономично? Безусловно. Почему же руководители хозяйств не спешат? Не хватает строительных мощностей, новейшего животноводческого оборудования. Подчеркнем — новейшего оборудования, потому что до сих пор так называемая комплексная механизация охватывает далеко не все процессы животноводства, порой одни механизмирует, другие, наоборот, затрудняет, утяжеляет.

Я говорил уже о проблеме счетчика молока. Но не только в нем загвоздка. Промышленность давно освоила кормовые транспортеры, которые широко применяются. Однако и у них есть существенный недостаток — крайних коров кормят вволю, дальние держат впроголодь. А всего-то и дела — выпустить раздвигающиеся решетки перед кормушками. И будет восстановлена коровья справедливость. Но нет пока таких решеток.

Проектные институты настойчиво совершенствуют способы раздачи сена, силоса и почему-то упорно не замечают, что в рационе животных есть жидкие корма, корнеплоды, запарки, минеральные добавки. А ведь раздача этих компонентов — более трудоемкая операция, чем раздача сена и силоса. По нашему мнению, надовстать на иной путь — создавать кормовые цеха, где все корма подготавливались бы, смешивались, а потом раздавались в одном потоке. Разнообразие кормов как раз и затрудняет их раздачу по так называемой многоканальной системе.

Механизация любой работы считается завершенной, когда она охватывает весь производственный цикл от начала до конца. В этой части навозу больше всего не повезло. Проектанты, видимо, считают, что его достаточно выпихнуть со двора. А хранение, погрузка, транспортировка их пока мало интересует. Повсеместно поэтому добрая треть навоза растекается у дворов, портится, гибнет. В тех областях, где созданы фабрики торфо-навозных компостов (фирма «Новый свет» Ленинградской области) местные хозяйства предпочитают компосты покупать на стороне и не забываются о «своем» навозе. Работать вручную с ним стало дорого. К чему это приводит, показывает невеселый опыт нашего района. По скромным подсчетам, весь скот дает 200—230 тысяч тонн навоза, а на поля попадает не более 130 тысяч тонн. Тонна навоза — центнер хлеба, об этом знает каждый крестьянин. Неплохо было бы, если б к 33 тысячам тонн, которые мы получили в 1971 году, прибавилось еще 10—12 тысяч тонн зерна. А ведь наш район не исключение. Таким образом, решив комплексно проблему хранения навоза в целом по стране, мы сможем поднять урожай примерно на четверть. Затраты, конечно, потребуются, но они быстро окупятся. В одном из наших колхозов — имени Калинина — местные умельцы спроектировали и построили навозохранилище на 500 тонн, в котором можно хранить полугодовой запас навоза от фермы в 100 голов. Все процессы по загрузке-выгрузке в нем механизированы. Правда, самодеятельность стоит дороговато, хранилище обошлось в 50 тысяч рублей. Мы подсчитали: на строительство таких навозохранилищ для всех ферм потребуется 5 миллионов рублей. А ежегодная прибавка зерна в 10 тысяч тонн даст дополнительный доход колхозам на миллион с лишним рублей, по сверхплановым закупочным ценам — почти на два миллиона. Значит, всего за три года затраты на хранилища полностью окупятся. Как говорится, игра стоит свеч. Но если сельскую «самодеятельность» заменить работой научно-исследовательских и проектных институтов, экономический эффект безусловно повысится. Мы вправе ожидать, что научные учреждения будут заниматься не только судьбами традиционных технологий, но и разрабатывать совершенно новые технологические приемы. Я уже вел речь про трудности с раздачей и приготовлением некоторых видов кормов. Спросите у любого председателя, как у него дела с запаркой соломы, он непременно вздохнет: «Беды угол с ней, окаянной».

И районные руководители знают про этот «угол», знают, чего стоит измельчить, запарить, раздать 15—20 тысяч тонн соломы. 300 механизаторов каждую зиму оставляют свои тракторы и уходят на фермы, становясь там рабочими дробильных установок, кочегарами котлов, скотниками, механиками. А 300 стальных коней в это время бездельничают, «проедают» амортизацию.

Не случайно ленинградцы, горьковчане вместо запарки начали применять консервирование соломы прямо в поле, в траншеях. Мы ознакомились с этим методом. Метод, что и говорить, хорош, перспективен. Но поскольку он зиждется опять же на самодеятельности, то не хватает многих «приправ», без которых консервирование не пойдет широко. А почему бы здесь институтам не заглянуть в самый корень проблемы и не взять, как говорится, быка за рога? Разработать такой комплекс машин и такую технологию, чтобы солома вслед за комбайновой уборкой сразу отвозилась на консервацию или превращалась в какой-то другой переработанный вид корма, сдобренный всеми необходимыми добавками.

И еще важно, чтобы создатели проектов машин для сельского хозяйства хорошо знали деревенскую социологию, а потому могли бы заранее предвидеть, на каких ручных работах колхозы и совхозы вскоре споткнутся, где у них не хватит рабочей силы. Теоретические расчеты говорят, что на многих операциях в сельскохозяйственном производстве можно облегчить труд крестьянина, механизировать и высвободить рабочие руки. Но практика пока еще не идет в ногу с теорией. И перед нами снова уже знакомый эффект запоздания.

IV

Уход сельской молодежи увеличивает встречные потоки городских шефов на село. У железнодорожников есть твердый закон — встречные грузы не перевозить, то есть не устранять встречные потоки одинаковых грузов. Нехудо бы этот закон применить и к некоторым людским потокам. Сдается, что иные промышленные предприятия словно специально набирают рабочую силу про запас, чтобы выполнить план шефской помощи. Получается — у села отнимают, а потом ему же этой силой и помогают. Руководители на селе стали все чаще замечать: вчерашний малец, убежавший в город, вдруг прибывает в качестве шефа в соседний колхоз, а малец соседа таким же порядком появляется в другом хозяйстве. Разменяться бы мальцами — и делу конец.

Но разменяться они не могут. Мальцы принадлежат уже не селу, а городу. Теперь представим, во что обходится государству операция, связанная с такой вот переадресовкой молодежи. И не только молодежи. Средний сельский труженик нашего района производит продукции в год примерно на три тысячи рублей. Строительный рабочий в наших краях — на 12—15 тысяч, а металлург Череповца — на 40—50 тысяч рублей. Они же в основном наши шефы. Городские шефы отработывают в колхозах и совхозах района ежегодно 40—50 тысяч человеко-дней. Замечено, что производительность шефа на селе в два раза ниже производительности сельского труженика. Это и понятно. Шеф — временный работник, у него нет той сноровки, что у селянина на полевых работах. Да и предприятия, как правило, сохраняют ему среднюю зарплату по месту работы, так что он не утруждает себя, сочетает приятное с полезным — и труд, и отдых. Мы подсчитали, во что это обходится государству. Оказывается, город терпит свыше трех миллионов рублей дополнительных издержек. И это только на один наш район. В кругленькую сумму следует расценивать городской «подарок» селу. Если бы городская промышленность оставляла «подарок» у себя дома и использовала его на дополнительную механизацию и автоматизацию производства, то с подъемом собственной производительности она поменьше бы забирала людей из села. Отсюда видно, что некоторые сельские проблемы давно переместились в город, ему их в первую очередь и решать. Конечно, без шефства пока не обойтись. Но настало время навести в этом деле порядок.

Шефство должно покоиться на иных началах: помоги подшефному хозяйству так отрегулировать свое производство, чтобы оно обходилось без привлечения посторонней рабочей силы. Ведь если в каком хозяйстве с механизацией и организацией труда нелады, ему шефов возить не перевозить.

Сошлюсь на пример двух наших колхозов. Они соседи, и сравнение от этого будет более наглядным. Колхоз «Шексна» — крупное, развитое хозяйство, но шефов использует только на полевых работах. Более слабому колхозу «Пример» шефы подругому помогают: возводят склады, мастерские, механизмируют фермы, строят клубы, магазины, дороги. И результат налицо: «Шексна» с каждым годом запрашивает рабочей силы все больше и больше, «Пример» в основном обходится своими людьми, хотя их не больше, чем у соседей. Теперь это хозяйство по урожайности догоняет передовые колхозы. Главная миссия шефства — передавать селу необходимые культурные и производственные навыки, обмениваться передовым опытом и тем самым крепить союз рабочего класса с крестьянством.

Важно, чтобы шефствующее предприятие знало экономику и производство подшефного хозяйства, его сильные и слабые стороны, знало, в чем это хозяйство нуждается, в какие периоды и какой категории работников ему не хватает. Руководители подшефного колхоза или совхоза, в свою очередь, должны знать возможности предприятия. Неразумно, когда, скажем, инженер едет на село простым рабочим, выполняет несвойственную работу, а в то же время на селе простаивает нужная машина, испорчены механизмы или имеются еще какие-нибудь технические неполадки. Инженера куда полезнее и в селе использовать для работы по специальности, чем превращать на время в подсобного рабочего.

Мы стараемся делать так, чтобы руководители, специалисты шефствующих предприятий держали тесную связь с колхозами, совхозами. Их приглашают на общие собрания колхозников, на балансовые комиссии совхозов, знакомят с планами и нуждами села. А затем вырабатывается совместный план-заказ, который рассматривается в райкоме партии и ставится на контроль. Областной комитет партии строго контролирует план шефской работы, составленный в городах и районах.

V

Управлять современным сельским хозяйством сложно. От председателя колхоза или директора совхоза требуется солидная подготовка: он должен знать основы земледелия и животноводства, хорошо разбираться в экономике, строительстве и инженерном деле, иметь юридические и правовые знания, наконец, быть неплохим социологом. А главное, он должен иметь обостренное чувство нового. Кажется, все это прописные истины. Но они усваиваются нами скорее в теоретическом плане, нежели практически. В жизни нередко на командные посты в колхозах и совхозах выдвигают по иным принципам. Кое-кто и сегодня считает, что руководитель должен быть обязательно человеком в годах, как говорят в народе — солидный, с соответствующим голосом и крепкой рукой, внушительной осанкой. А все остальное, дескать, потом. Мы у себя поломали эту традицию, и вот почему. Наряду с другими важными проблемами села все-таки самой важной, самой гжучей остается проблема молодежи. Если в каком-то селе молодежи нет, если она вся разбежалась, то, считай, песня тамошнего хозяйства спета. Такое село ничто уже не спасет — ни техника, ни шефы!

Отсюда и наш лозунг: проблему молодых решать самим молодым. Это не просто красивые слова. За последнее время мы подобрали и выдвинули на должности председателей колхозов, директоров совхозов молодых агрономов, инженеров, зоотехников, значительно обновили кадры партийных, советских и комсомольских органов на селе. Из 19 руководителей хозяйств у нас 10 в возрасте от двадцати пяти до тридцати лет, остальным тридцать—сорок лет или чуть больше. Все они за малым исключением имеют высшее образование. Забот и тревог с молодыми командирами производства, конечно, много. Но работа райкома партии, райисполкома и других районных учреждений от этого становится интереснее, содержательнее, динамичнее.

А между тем молодежь умеет быстро разворачиваться, начинает сразу показывать себя. Сила молодых вырастает из доверия к ним. Для примера сошлюсь на самого себя. Передавая в 1969 году колхоз «Заря» (самое крупное хозяйство в районе) молодому агроному Владимиру Бухонину, я, честно говоря, здорово побаивался: а не пустит ли этот парень, хоть он и с высшим образованием, колхоз по ветру? «Заря» имеет территорию в 17,6 тысячи гектаров, на которой разбросано 33 деревни, пашни

около 5 тысяч гектаров (что по нашим северным условиям немало), около 3 тысяч голов крупного рогатого скота, развитое свиноводство. Колхоз растянулся с севера на юг на тридцать километров. Сложное, большое хозяйство! И народ в этом колхозе зубастый, палец в рот не клади. Но Бухонин в первые два года навалился на землю, то есть подтянул культуру земледелия, поднял урожайность. На третий год, смотрим, вокруг него уже образовался крепкий штаб молодых специалистов (за каждым из них он съездил, и не раз, в институт). Колхоз отстроил школу-десятилетку с интернатом. А потом директора школы избрали секретарем парткома. Директором же подобрали другого учителя. В общем, всех дел молодого председателя не перечислять.

Я изредка навещал «Зарю» и часто морщился: не по-моему делают. Все перекроили, переименовали. Не колхоз, а пионерская организация вышла. Но «пионеры» настойчиво шли своей дорогой. Владимир Бухонин и секретарь парткома Александра Скороюкова поручили главным специалистам спланировать будущее своих отраслей — полеводства, животноводства, разместить производственные объекты, наметить планы механизации, мелиорации, сеть будущих дорог. Начали специалисты с дорог. Теперь у нас многие говорят: «Трудно «выдумать» дороги, остальное легко приложится».

В «Заре» такие дороги определили, проложили на карте и начали строить. А к ним привязали перспективные деревни, будущие фермы, сушилки, склады, другие объекты производственного и культурно-бытового назначения. Специалисты отказались от принципа «всем сестрам по серьгам», а собрали все серьги в кулак, то есть они предусмотрели концентрацию и специализацию производства. Из 15 ферм крупного рогатого скота наметили к развитию только три, все свиноводство решили сосредоточить в одной бригаде, картофельные поля передвинули поближе к дорогам, в одну-две бригады (раньше выращиванием картофеля занимались здесь 7 бригад), и даже лен сконцентрировали, на что раньше вряд ли у кого другого поднялась бы рука.

Короче говоря, в «Заре» составили и разработали в деталях план социально-экономического развития на десять—пятнадцать лет. Примеру «Зари» последовал колхоз имени Кирова. Там тоже пришел к руководству молодой специалист Вениамин Логинов. А вскоре и в других хозяйствах заговорили о социальных планах, о специализации и концентрации, о будущем своих деревень. Пришлось создавать районный Совет социального планирования, обобщать опыт передовиков, объединять и корректировать усилия, браться за проблемы, которых отдельным хозяйствам не решить. Определили в целом сеть районных дорог, средства других коммуникаций, размещение предприятий торговли, бытового обслуживания, развитие газификации на селе, план строительства школ, клубов, детских садов и яслей. Из 428 сел и деревень у нас перспективными признано только 50 и столько же к ним прилегающих, как бы «спутников». Остальные населенные пункты предстоит перенести. Процесс этот сложный, мучительный, вызывает он бесконечные споры и сомнения. Но жизнь сама ставит вопрос о слиянии мелких деревень, и никуда от него не уйдешь. Правда, делать это надо осторожно, трижды продумав и взвесив все за и против.

Я уже говорил выше, к чему может привести поспешная специализация, например в сельском строительстве. Еще горше было лет десять назад, когда впервые заговорили о внутрихозяйственной специализации сельскохозяйственного производства. Иные руководители колхозов и совхозов поняли ее упрощенно: выбирай себе одну какую-нибудь отрасль, остальные по боку. Началось повальное изгнание овец, кур, свиней. Ликвидировать «отрасль» проще, чем найти ей замену. А заменить кур, овец, свиней ничем не смогли. Потом понадобилось много усилий, чтобы создать птицефабрики, свиноводческие и овцеводческие комплексы.

Кстати, в последние годы министерства здравоохранения и просвещения тоже начали проводить на селе своеобразную специализацию больниц и школ, сливая и укрупняя их. Делается это с добрым намерением: пусть вместо мелких и слабосильных учреждений появятся новые, крупные, современные. Но торопливость и тут подвела. Мелкие школы, больницы закрываются, а крупные, современные создавать вроде бы и некому и незачем. Ведь процесс слияния деревень и сел далеко еще не завершен. Потому сельские учреждения откатываются в города и райцентры. А это ускоряет процесс ухода молодежи из села. «Больницы нет, школы нет, завтра, может быть,

и магазин закроют — чего тут оставаться?» — рассуждает молодежь дальних деревень, настраиваясь в город. И руководителям хозяйств забот много прибавилось. Начнут они машины распределять — неволью становятся в тупик: то ли за удобрениями ехать, то ли ребят в школу отправлять, то ли бабушек и дедушек, кои с утра сидят у конторы, везти в райбольницу...

Сложный клубок проблем приходится ежедневно распутывать сельским руководителям. Для такой работы нужны крепкие головы. Это под стать молодым. На повестку дня перед селом во весь рост встают три кита — концентрация, специализация, кооперация. Другого пути нет. Ведь что там ни говори, ни делай, а от известной утечки рабочей силы из сельской местности до конца не избавишься, поскольку развивающейся промышленности, строительству будут постоянно требоваться новые кадры.

Селу не всегда есть резон сетовать на этот неизбежный процесс: чем больше рабочих разных отраслей промышленности будут обслуживать сельского работника, тем выше станет его собственная оснащенность и производительность. Пусть меня правильно поймет читатель. Если я сожалел о сельском малолюдь, то лишь только в том случае, где оно ниже всякой нормы, где уход молодежи опережает темпы сельской механизации. О сельском многолюдье я тоже имею ясное представление. Оно еще большее зло, чем малолюдь. И тот, кто его ждет, возлагает на него надежды, — безнадежно отсталый человек. Он просто не догадывается, что многие нынешние беды и трудности села берут свои истоки из недавней многолюдности. На многочисленных примерах я старался показать, что при известной механизации на селе можно обойтись и малыми силами. Почему промышленный рабочий может производить продукции на 50—70 и более рублей в день, а селянин только на 10 рублей? Дай сельскому труженику необходимое техническое вооружение — и он ни в чем горожанину не уступит. Но широкая механизация потребует немедленной концентрации и глубокой специализации производства. Закономерно поставить другой вопрос: все ли в сельском хозяйстве поддается концентрации и специализации? Мне кажется, об этом красноречиво говорит опыт передовых хозяйств страны. Собирая такой опыт, анализируя, подтверждая его расчетами, невольно убеждаешься, что концентрации и специализации поддаются все отрасли, правда одни легче, другие труднее: молочное производство, мясной откорм, выращивание племенного молодняка, льноводство, заготовка кормов, не говоря уж о зерновом хозяйстве, картофелеводстве и овощеводстве. Передовые хозяйства уже начали возводить крупные животноводческие комплексы, закладывать долгие культурные пастбища. Нужно, чтобы этот процесс не ограничивался только животноводческим комплексом (белгородский метод), а сочетался с концентрацией и специализацией в полеводстве. Проводимая повсеместно мелиорация земель пока что предусматривает осушение и окультуривание отдельных угодий. А надо, чтобы попутно решались и другие коренные вопросы сельского хозяйства — укрупнение полей севооборота, сселение мелких деревень, строительство новых дорог и благоустроенных поселков (вот тогда-то можно брать за реорганизацию школ, больниц и других сельских учреждений).

Короче говоря, требуется не совершенствование отдельных отраслей хозяйства, а комплексное переустройство села. Жизнь показывает, что такой подход — самый верный. Этот вариант развития сельского хозяйства во всю ширь открыл бы простор и для межхозяйственной кооперации. Всем очевидна польза кооперации, но очевидна опять же в теоретическом плане. А практически осуществить ее мешает многое — те же трудности в строительстве и механизации плюс живучие традиции старых колхозов и совхозов («И хуже, да в своей луже»). Скажем, появились первые агрегаты по приготовлению витаминной травяной муки («АВМ-0,4») — непременно давай такой агрегат каждому совхозу и колхозу в полную собственность. И о своем комбикормовом заводе тоже мечтает каждый хозяин. Председатели, директора ждут не дождутся, когда промышленность наладит массовый выпуск этих машин и агрегатов. А стоит ли расплывать силы и средства? Не взять ли советам колхозов дорогостоящее оборудование в свои руки, чтобы строить подсобные предприятия на паевых началах, кооперируя средства колхозов? Всесоюзному Совету колхозов можно бы взяться и за другую неотложную проблему сельского хозяйства, проведя ее через кооперацию. Сколько

сил и времени отнимает у колхозов, совхозов сбыт выращенной на полях, произведенной на фермах продукции! Капитальное это дело и, заметим, специфическое. Создать бы в районах (а где и в области) специальные сбытовые конторы. Эти конторы, имея транспорт и штаты заготовителей, быстро приладились бы к местным условиям и спокойно, по графику осуществляли бы вывоз молока, скота, зерна, картофеля и других продуктов. Некоторые виды продукции можно заготавливать самим предприятиям. Во Франции, например, льнозаводы покупают у фермеров продукцию прямо на корню. У нас хорошо бы освободить колхозы, совхозы от сортировки и вывозки льнотресты. В осенние и зимние месяцы у сельского труженика много других неотложных дел: вывозка удобрений, ремонт техники, усиленная работа в животноводстве.

* * *

Я изложил свой взгляд на некоторые проблемы сельского хозяйства. Проработав двенадцать лет председателем колхоза, я не только размышлял об этом, а многое испытал, что называется, на собственной шкуре. Теперь старый опыт дополняется новым — работой в сельском райкоме.

Возможно, и взгляды и убеждения мои в чем-то спорны, неточны, а стремления и призывы слишком безудержны. Верным остается одно — стремление действовать.

За последнее время партия, государство сделали многое для подъема сельского хозяйства. На девятую пятилетку вновь отпущено для этой цели сто двадцать девять миллиардов рублей. Будет непростительно, если эти «капиталы» сработают не в полную силу.

Нужно, чтобы они производительно сработали.



ФЕЛИКС НОВИКОВ



ДОМА И ЛЮДИ

Работы архитектора Феликса Новикова хорошо знают не только его коллеги, но и люди, далекие от этой профессии. Он один из авторов проекта Дворца пионеров на Ленинских горах, главный архитектор проекта Института электронной техники, построенного в городе-спутнике Москвы Зеленограде, строящегося высотного комплекса на Тургеневской площади в Москве. Новиков — лауреат Государственной премии РСФСР, член правления Союза архитекторов. Ф. Новиков выступает по проблемам архитектуры на страницах периодической печати. Неоднократно печатался он и в нашем журнале.

«Ум мой, сердце мое и мое знание не пощадят ни моего покоя, ни моего здравья».

Василий Баженов. Слово на заложение Кремлевского дворца.

Жить — значит, строить. Естественную потребность — иметь крышу над головой — ощутили самые первые обитатели планеты. Шалаши и пещеры были их укрытием от непогоды, лес и камень — подножным материалом, руки — орудием производства. Опыт передавался из поколения в поколение. Появились каменные и железные инструменты. Люди строили. И наверное, еще в первобытном обществе определилась одна из древнейших человеческих профессий — профессия строителя. Постройки были сугубо утилитарными — стены, кровля, очаг. Должно быть, прошли тысячи лет, прежде чем человек ощутил потребность видеть прекрасное не только в природе, но и в собственных своих творениях. Тогда и выделился из числа древних строителей первый архитектор — тот, кто, по определению Джорджо Вазари, «удобнее других распределял и приспособлял помещения... который проектировал их с наилучшим вкусом». Он — сверхстроитель — стал во главе артели. И тогда кто-то другой сказал ему: «Построй мне...» И это был первый его заказчик. С той поры ведет свою каменную летопись история зодчества. Она в древнейших храмах, дворцах и погребениях, в еще не раскопанных городах и в еще не найденном Китеже. Она на старых улицах современных наших городов, она продолжается в каждом новом строении, она непрерывна. История зодчества — отражение судеб народов и цивилизаций: борьбы, войн, революций, побед и поражений. Она не только в камне, но еще и в личных судьбах творивших ее людей — мастеровых и зодчих. История эта знает немало драматических событий. Одним выкалывали глаза, дабы не могли они вновь создать что-либо великое, другие предавались казни и изгнанию, третьи — их множество — пережили трагедию разрушения своих произведений. Но были среди зодчих и такие, чей талант по праву ценили и почитали современники.

История зодчества (и древняя, и та, которая складывается сегодня) есть также история взаимоотношений людей — архитекторов, заказчиков, строителей — и между собой и с обществом, для которого они строят. Заметки эти не столько о прошлом, сколько о сегодняшнем дне, в котором, как и в прежние времена, взаимодействуют люди, создающие каменную летопись своего времени.

Итак, архитектор и...

ЗАКАЗЧИК

Заказчик — владыка, заказчик — монарх, иные вельможные заказчики, олицетворявшие власть и богатство, обращались к услугам зодчего, имея в виду двоякую цель. Храмы и дворцы, другие строения призваны были не только служить прямому своему назначению, но еще символизировать власть и демонстрировать богатство. Творение архитектора должно составить и славу его владельца, и увековечить его имя. Для такого дела нужен был талант зодчего, избранного среди соплеменников или приглашенного из дальних стран. Ему излагалась задача, он привлекал подрядчика, с него и спрашивалось. Но заказчик платил и потому повелевал и указывал. В известном смысле он творил и сам заодно с архитектором. В каждом великом творении зодчества отражается еще и талант заказчика. Это справедливо замечено Вальтером Гропиусом: «...расцвет греческого искусства во многом зависел от мужества и широты взглядов вождя греков, Перикла, который мобилизовал все финансовые и художественные ресурсы нации, чтобы воздвигнуть Парфенон». В Парфеноне слились воедино усилия Перикла и гений его зодчих Иктина и Калликрата.

Но заказчик бывал капризным и своенравным, бывал и просто самодуром, мелочно вмешивавшимся в каждое решение архитектора, который издавна жаловался на постоянное вмешательство в процесс творчества множества влиятельных лиц, имевших то или иное отношение к постройке. Вазари свидетельствует о времени создания знаменитого флорентийского купола: «В этом городке каждый считает себя призванным знать в этом деле столько же, сколько и испытанные в нем мастера, в то время как очень мало таких, которые действительно понимают...»

Немало интересных фактов, показывающих взаимоотношения архитектора и заказчика, содержит история русского зодчества. Русская знать строила широко и богато, не щадя государственной казны. «Стройка дело дьявольское,— писала Екатерина II барону Гримму,— она пожирает деньги, и чем больше строишь, тем больше хочется строить». Увлечение Екатерины строительством сопровождалось многими капризами, часто приурочивалось к чьему-либо визиту, требовало немедленного исполнения ее воли. Кому не известна хрестоматийная история Царицынского дворца, гневное распоряжение императрицы о разрушении баженовского творения.

Русские архитекторы нередко оказывались жертвой политических событий и взаимоотношений в царской семье. Известно влияние политических соображений на судьбу баженовского Кремлевского дворца. Но мало кто знает о другом великом произведении русского зодчества — дворце в Пелле. Это о нем, творении Ивана Старова, Екатерина писала: «Все мои загородные дворцы только хижины в сравнении с Пеллой, которая воздвигается как феникс». Дворец был безжалостно разобран Павлом, ненавистником всех начинаний матушки, для нужд строительства Михайловского замка. Осталось от него только одно изображение... на веере.

Поистине нелегко было зодчим творить при царском дворе. Безапелляционно вмешивался в работу придворных своих мастеров Николай I. На эскизах картин, предназначенных для Исаакиевского собора, ставил письменную резолюцию: «Поднять горизонт, переставить фигуры в картине — правую на левую, а левую на правую сторону».

Но русские зодчие отнюдь не всегда были молчаливыми исполнителями царской воли. Свою авторскую волю противопоставлял монаршему вкусу Чарльз Камерон. Члены императорской семьи писали управляющему Павловска: «Попросите Камерона именем бога... чтобы он дал проект отделки в Павловском дворце по вкусу Павла Петровича». И в другом послании: «Скажите ему напрямик, что его поведение несносно, и по-приятельски посоветуйте ему быть осторожнее, если он хочет, чтобы продолжали к нему обращаться». Взойдя на престол, Павел не простил Камерону ни его своевольия, ни расположения к нему Екатерины и «высочайше повелеть соизволил, чтобы архитектор Камерон в Царском Селе не жил и чтобы находившиеся при нем помощники и ученики на казенном содержании были у него отобраны».

Великие произведения русского зодчества создавались мастерами архитектуры в нелегких условиях. А ведь были еще и крепостные зодчие. Герцен рассказывает о своей последней встрече с Витбергом, когда тот сказал ему, прощаясь: «Если б не

семья, не дети... я вырвался бы из России и пошел бы по миру: с моим Владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр, рассказывая им мой проект и судьбу художника в России!» Одних преследовали неудачи, другим сопутствовал успех. Одни умели подчиняться, другие счастливо разделяли склонности своих хозяев, третьи стояли на своем. Но все они вместе совершили творческий подвиг, оставив в наследство народу великую архитектуру. Семнадцатый год был рубежом и в истории русского зодчества. Самодержавные заказчики отошли в прошлое.

* * *

Должно быть, для современного западного архитектора взаимоотношения с заказчиком также представляют серьезную проблему. И здесь творческая воля мастера, его опыт и убеждения нередко сталкиваются с капризами частного лица, заказавшего проект.

«Мой идеал был совершенно определенным,— заявил в интервью Франк Ллойд Райт,— я был совершенно уверен в том, какими путями я должен идти. Еще в начале своего жизненного пути я должен был выбрать между честным выражением своих взглядов и лицемерным смирением. Я выбрал откровенное высокомерие». «В первую очередь я заинтересован в хорошем проекте»,— говорил Мис ван дер Роэ и подчеркивал, что заказчику следует предлагать только один вариант проекта. — «Только один! Всегда... Заказчик не должен выбирать! Как он может выбирать? Никогда не говорите с заказчиком об архитектуре. Говорите с ним о его детях».

Или — Вальтер Гропиус: «Архитектуре необходимы убежденность и собственное руководство. Ее нельзя создать с помощью заказчиков или института общественного мнения». А вот еще примечательный ответ Ле Корбюзье на предложение премьер-министра Франции построить коллективный дом в Марселе: «С одним условием: я буду свободен от каких бы то ни было предписаний и указаний свыше».

Должно быть, не случайно четверо крупнейших зодчих буржуазного Запада утверждают одну и ту же мысль — право архитектора строить по собственному усмотрению. Ведь каждый из них в большинстве случаев сталкивался с частным лицом и был вынужден своим авторитетом, способностью убеждать противостоять капризам заказчика. Но только такие крупные мастера, прошедшие большую жизнь, утвердившие свое право на самостоятельность решений, могут себе позволить подобные высказывания. Для большинства других западных зодчих эта проблема остается одной из самых острых проблем творчества. И только изменение социальных условий способно создать объективные предпосылки для свободного творчества зодчего.

* * *

Обратимся теперь к своим заказчикам. Для советского архитектора заказчиком всегда является социалистическое общество. Выполнение любой программы представляет собой в конечном счете составную часть той огромной деятельности народа, которая называется созданием материально-технической базы коммунизма. И тем не менее представление архитектора о заказчике всегда персонифицировано. От имени министерств и ведомств выступают конкретные, облеченные доверием люди, и многое в судьбе проекта и постройки зависит от того, как понимают эти люди свою функцию в процессе созидания.

Архитекторы по-своему классифицируют заказчиков. И если не разделяют их на «скупых» и «щедрых», то, во всяком случае, отличают тех, кто способствует делу, проявляет глубокую заинтересованность в результате общего творческого труда.

Принципиально новое во взаимоотношениях заказчика и архитектора определяется тем, что оба они состоят на государственной службе, оба являются выразителями интересов общества и оба в ответе перед ним. В этих новых отношениях заложены и новые творческие возможности для зодчего, объективно свободного от произвола заказчика. Впрочем, я хотел бы заметить, что эти возможности не всегда используются. Ведь в каждом случае сталкиваются живые люди — люди разного общественного положения, разного жизненного опыта, разного темперамента.

Наблюдая работу своих товарищей, анализируя собственные поступки, я прихожу к выводу, что, помимо известных законов генетики, определяющих различные наслед-

ственные категории, есть еще генетика профессиональная. Какими-то неведомыми путями наследуем мы от своих предшественников-архитекторов устаревшие нормы поведения, так же как, замечал я, наследуют их и заказчики. И хотя нынешний заказчик не указывает архитектору: «...на избранном месте... дом мне положить легкий, покойный... купальни и бани в хорошем вкусе сделать...» (Потемкин Старову); и хотя архитектор не обращается к заказчику: «Покорнейше прошу меня решить резолюцией о некоторых сомнениях по воле Вашего сиятельства...» (Старов Шереметеву) — тем не менее иной заказчик ведет себя так, как будто строит он по личной прихоти, а иной архитектор воспринимает его указания как закон. Но это частность, объективно же — я вновь это подчеркиваю — и заказчик и архитектор равно ответственны перед лицом советского общества.

Новые социальные условия создали новые отношения, новые возможности. Государство ведет огромное строительство. Но, должно быть, еще не удастся использовать эти условия в полной мере, если градостроительный эффект нашей деятельности не всегда оказывается удовлетворительным.

Государственную линию в вопросах градостроительства и архитектуры проводят в жизнь люди — заказчики и архитекторы. Но несмотря на высокую степень централизации строительной политики, в разных республиках и городах страны достигается различный результат. Значит, в каких-то звеньях она осуществляется правильно, а в каких-то ошибочно. Эта проблема выражается, на мой взгляд, формулой: директива — исполнение. Если проанализировать сегодня известное постановление 1955 года, направленное на борьбу с излишествами и положившее начало нового этапа в советской архитектуре, то легко убедиться: в нем нет указаний, из коих следовало бы однообразие застройки, характерное для последующих лет. Нет там и призывов к тому ограничению номенклатуры домов или к строительству таких квартир, которые вызвали впоследствии справедливую критику населения. Всего этого в директиве не было. Положения этого документа были верны и разумны, они и сейчас могут служить руководством к действию. Но на разных уровнях разные люди — заказчики и архитекторы — по-разному реализовывали одни и те же положения. Я не стану обращаться к примерам положительным — они известны. Лучшие произведения советского зодчества — отдельные сооружения, комплексы, городские ансамбли — по достоинству отмечены высшими премиями страны. Полезнее попытаться проанализировать корни отрицательных явлений. Потому что они привели к немалым материальным, моральным и эстетическим потерям. К материальным в тех случаях, когда создавались недолговечные конструкции и узлы, требовавшие в скором времени ремонта, реконструкции, дополнительных затрат. К моральным — в тех случаях, когда созданные ценности морально устаревали прежде, чем старели физически. Наконец, к очевидным эстетическим потерям, которые нет нужды иллюстрировать. Примером противоречия между директивой и исполнением может также служить политика в вопросах этажности. Какой из крупных градостроительных проектов не подвергался многократной «прополке» за время его реализации? При этом, если речь шла о повышении этажности, башни возникали в случайных местах, без должного обоснования. И наоборот, в жертву противоположной тенденции приносились обоснованные вертикальные композиции. Этажность пульсировала, как сердце большого аритмией. То так, то этак трактовались объективные экономические категории.

Людам свойственно увлекаться решением поставленных задач. Совместными усилиями заказчики и архитекторы способны довести практическую разработку любой разумной доктрины до очевидной крайности.

Я хотел бы в той же связи коснуться еще одной градостроительной проблемы — проблемы сноса строений. Директива здесь была ясной и обоснованной. Но всегда ли она столь же и обоснованно проводилась в жизнь? Сразу должен оговориться. Речь не о памятниках истории и культуры и не о сокровищах зодчества — об обыкновенном доме, честно отслужившем свою службу человеку. И так ли важно, сколько в нем этажей, — он состарился. Трещат половицы широких паркетных досок, каких не делают уже нынче, сгнили деревянные балки перекрытий, в трещинах стены и лестничные марши, обнажилась дранка штукатурных потолков — дом умирает естественной смер-

тью. И что же? С досадой я наблюдаю, как то тут, то там в центре Москвы подобные дома начинают реконструировать. Даже двухэтажные. Ставятся заборы, монтируются леса. Из дома выбрасывается решительно вся его начинка — перекрытия, перегородки, лестницы, столярка. И все это делается вновь. И здесь уже не может быть речи о стандартных элементах — все индивидуальное. Но что же остается? Только стены. А ведь они и в новом доме составляют не столь уж большой процент его стоимости. Здесь же стоимость стен просто отрицательная величина. И вот в итоге реконструкции получаем мы новый старый дом, нередко стоящий на пути намеченных Генеральным планом серьезных градостроительных мероприятий.

В большинстве случаев это происходит потому, что на новое строительство денег не дано, а на реконструкцию — пожалуйста. Вот мы и «реконструируем», сохраняя для видимости хотя бы одну стену.

Бесспорно, больные дома надо лечить, но мертвые воскрешать не следует. В конечном счете, сохранение здания требует точно такого же обоснования, как и его снос.

Я думаю, очень верно сформулировал эту проблему Корбюзье в своей работе «Лучезарный город»: «Замена пришедшего в негодность объекта таким же, но новым не может дать экономического эффекта... Перестроить обветшалый центр города, возвести на его месте новый, более эффективный... это значит сразу же на основе одного решения, одной продуманной концепции открыть в центре города алмазные копи».

Разумеется, проблема реконструкции центра Москвы крайне сложна. В связи с ней нередко вспоминают о принципах бережной реконструкции Ленинграда или Парижа. И к Москве необходимо исключительно бережное отношение. Но есть одно историческое обстоятельство, решительным образом повлиявшее на судьбу города, его последние очевидны и сегодня. Москва на двести лет уступила свое стольное положение Петербургу. На двести лет! Если бы этого не случилось, то, быть может, не было бы теперь в центре города ни одного здания, которое не являлось бы памятником архитектуры. Но это не так. Здесь множество обветшалых строений, не представляющих никакой ценности. И мы теперь намерены приступить к реконструкции столичного центра.

К сожалению, занимаясь массовой застройкой свободных территорий, мы упустили сложные проблемы центральных районов. Здесь нет ресурсов тепла и воды, устаревшие канализационные коллекторы — необходима серьезная инженерная реконструкция подземного хозяйства. Центр Москвы не подготовлен к нужным объемам нового строительства. И потому по разным причинам, осуществив частичный снос на Таганской, Добрынинской, Октябрьской, Тургеневской, Колхозной, Арбатской площадях, на площади Павелецкого вокзала, мы еще долгое время будем созерцать их в полуруинном состоянии. Для некоторых из них нет пока убедительных проектов, нет реальных заказчиков. В Москве есть еще одна острая проблема — необходимость завершения начатых, но неоконченных ансамблей. Ограничение административного строительства приводит к мысли строить и в центре на площадях и магистралях жилые дома. Что же произойдет в итоге создания таких ансамблей? Мы займем площадки, удобные для административных зданий, и построим жилища в заведомо неподходящих местах. А в то же время потребность в административных помещениях на практике удовлетворяют. Освобождают порой добротные жилые дома в тихих кварталах центра и превращают их в неудобные и несовременные учреждения. И еще одно обстоятельство. Административное строительство все-таки ведется многими заказчиками в небольших объемах, рассеянных по всему городу. Быть может, следует кооперировать их усилия и создать комплексы, дающие градостроительный эффект. Есть ведь за рубежом множество примеров строительства крупных конторских зданий, сдаваемых поэтапно внаем различным фирмам и предпринимателям.

Я считал своим долгом коснуться этих проблем реконструкции столицы и хотел бы в этом свете привести здесь очень важные для меня, архитектора, слова товарища Брежнева, сказанные в широком смысле, но имеющие прямое отношение к нашему делу: «Мы должны работать сегодня так, чтобы наши дети и внуки могли возводить все новые и новые этажи того здания, которое мы строим, а не переделывали бы то,

что уже сделано». Будь на то моя воля, повесил бы я такой плакат в кабинете каждого заказчика, каждого руководителя, имеющего отношение к проблемам градостроительства.

В чем же корень тех досадных явлений, о которых шла речь? И заказчики и сами архитекторы не всегда оказываются на высоте положения. Мне случалось наблюдать, как архитектор, призванный быть в решении градостроительных вопросов опорой для своих руководителей, сам ищет опоры у них. Он стремится согласовать свое решение так, чтобы сделать заказчика, городскую власть, как бы своим соавтором и, стало быть, переложить часть своей профессиональной ответственности на плечи других, вышестоящих людей. Но если предложение исходит от самого заказчика, архитектор подчас некритически принимает его, тем самым также избегает ответственности. Многие ошибки в градостроительстве — следствие нерешительности, робости, скованности, и еще, если хотите, неумеренного усердия, ведущего к очевидным перегибам. И потому нет-нет, но случается — один некомпетентный человек небольшим усилием воли оказывается в состоянии опрокинуть мнение нескольких осведомленных специалистов. Тут бы и возразить. Но, увы, как известно, гражданское мужество встречается реже, чем воинское. Проще согласиться.

Градостроительство — дело сложное, связанное с огромными материальными затратами, с гигантской работой людей, требует немало мужества. Мужество необходимо прежде всего для того, чтобы принять решение; во-вторых, для того, чтобы его защищать; мужество необходимо, наконец, для того, чтобы отвечать за него. Необходимо и заказчику и архитектору.

Перейдем к другой сфере взаимоотношений: архитектор и...

ПОДРЯДЧИК

Издавна был он руководим архитектором.

И за морями и у нас на Руси. И так уж повелось, что работы исполнялись «во всем по показанию архитекторскому». Можно перечитать многочисленные фолианты и найти свидетельство тому, что Джакомо Кваренги ломал даже хорошо исполненную вещь, если она не отвечала его проекту. Можно убедиться по достоверным документам, что по требованию Ивана Старова контора строения Александровской лавры задерживала выплату денег подрядчику «до исполнения назначенных архитектором переделок». Зодчий отвечал и за прочность здания. Когда 22 февраля 1834 года ураган обезглавил Троицкий собор, Василий Стасов монаршей волей был посажен под арест на десять суток.

Против нарушения проекта резко выступал Чарльз Камерон. Обнаружив неверно уложенные балки, он гневно пишет заказчику: «Я поэтому объявляю для своего оправдания и для чести своего отечества, что вышеупомянутая работа не по моему рассуждению и повелению исполнена, и против оной сим протестую подписанием своей рукой». Можно найти немало подобных свидетельств.

Но что-то мне никак не встречалось какого-либо документа или хотя бы косвенного упоминания о проекте, отклоненном подрядчиком, или об изменении проекта «по показанию подрядчика».

Материальная ответственность архитектора перед заказчиком тоже была вполне ощутимой. И когда при строительстве Павловской больницы по оговору «смотрителя при строении» великий Матвей Казаков — уже глубокий старик — был обвинен в растрате казенных денег, сенат, рассмотрев дело, определил: «Сделать ему, арх. М. Ф. Казакову, выговор с запрещением заниматься впредь казенными строениями». Сын зодчего — тоже архитектор — скрывает от отца решение сената и пишет в своем прошении: «Прошу удалить от моего родителя столь незаслуженное поношение, которое, если бы дошло когда-нибудь до его сведения, конечно, убило бы его... потратив разом всю славу...» Ответственность зодчего в прошлом была полной — за прочность, за смету, за качество, за красоту, но и права его также были широкими. Примерно так оно и было до относительно недавнего времени.

Уважаемый наш архитектор, один из зачинателей крупноблочного строительства в стране, профессор Борис Николаевич Блохин рассказывал мне, как он девятнадца-

тилетним юношей — не архитектором еще, а только лишь помощником архитектора — впервые появился на стройке. «Меня слушались беспрекословно,— заметил он,— но зато потом, когда мне было уже за шестьдесят и я уже был умудрен опытом, с моим словом на стройке можно было не считаться». Впрочем, я помню и сам, как двадцать лет назад пришел для авторского надзора на первый свой объект — обыкновенный по тем временам жилой дом. Там в тридцати сантиметрах от планировочной отметки земли уже появлялась первая архитектурная деталь — профиль, завершающий цоколь. Затем чуть выше начинался руст со строгой горизонтальной и вертикальной разбивкой. Еще выше промежуточная тяга, а там над нею арка. Над аркой снова карниз, а над ним колонна с базой и с энтазисом (утонением каждого последующего блока ее ствола), а затем капитель, и снова карниз, и снова колонна — и так до десятого этажа, который тоже увенчан карнизом со сложными профилями. Обыкновенный по тем временам дом. А мне двадцать пять и стройка у меня первая. Дружно мы работали со строителями. Они строили, я вел надзор, а потом и принимал дом. И не припомню я случая, чтобы выполнялось что-либо с отступлением от проекта. Но это было двадцать лет назад. А потом был год 1955. И все решительно изменилось. Изменилось к лучшему. Стандартизация, экономичность, массовость. Мы стали строить много, и это главное. Создавалась мощная строительная индустрия. Словом, шел тот процесс, который наблюдали и вы, читатель. Реальные плоды его общеизвестны. Должно быть, и у вас в кармане ключи от отдельной квартиры. Но все мы наблюдали и отрицательные явления, сопутствующие этому процессу. Снижение качества строительства, уровня градостроительных решений, эстетических критериев в архитектуре. Общеизвестно и это — я не хочу здесь вдаваться в подробный анализ причин и следствий, связанных с взаимодействием архитектора, промышленности, подрядчика, и потому, что мне самому уже приходилось писать об этом в «Новом мире» семь лет назад, и потому, что об этом много сказано и написано моими коллегами. С той поры прошло без малого двадцать лет. Прогресс в архитектурном творчестве тоже, должно быть, очевиден. За эти годы мне довелось работать со многими трестами, с десятками строительных управлений. И не как-нибудь, а от первого эскиза до символического ключа открытия.

Мы, авторы, так или иначе добивались исполнения проекта. Но сколько же было неоправданных трудностей, сколько усилий затрачивалось на то, что должно было получаться само собой. Мои товарищи могут заметить: не мне говорить об этом. И действительно: тот, кому поручались строить уникальные комплексы, понимает, что он находился в относительно лучших условиях. Но я ведь вижу и то, что происходит вокруг меня. Архитектору трудно работать с подрядчиком, с промышленностью. В том же пятьдесят пятом году права его были ограничены. Более того, многие функции, испокон веку осуществляемые творцами — зодчими, были переданы исполнителю — подрядчику. И тот, естественно, стремясь к защите своих узкопрофессиональных интересов, волей-неволей приносил ущерб общему делу.

Весь опыт моего поколения архитекторов говорит об одном: пора, действительно пора поставить все вновь на свои места! И слова в названиях архитектурно-строительных журналов (это же нелепо, что строительство впереди, а архитектура за ним следом), и зависимости в архитектурно-строительном процессе. Вернуть архитектору его правовое положение — это значит создать реальную основу для того, чтобы спросить с него по полному счету и за прочность, и за смету, и за качество, и за красоту.

А теперь, читатель, перейдем к извечной коллизии — архитектор и...

АРХИТЕКТОР

И вновь вспомним прошлое.

Ему ведомо немало примечательного, относящегося к созданию великих произведений. Бывало, что столкновения архитекторов, побуждались завистничеством, конкуренцией. Но еще больше было проявлений благородства, фактов, свидетельствующих о высоком профессиональном уважении друг к другу истинных мастеров. И когда участники конкурса на двери Флорентийского баптистерия Брунеллески и Донателло добровольно уступили пальму первенства Лоренцо Гиберти, Вазари по достоинству оценил их поступок: «За это они заслужили больше похвал, чем если бы создали сами

совершенное произведение. Счастливы мужи, которые, помогая друг другу, наслаждались восхвалением чужих трудов, и сколь несчастливы ныне современники наши, которые, принося вред, этим не удовлетворяются, но лопаются от зависти, точа зубы на ближнего».

И в среде русских зодчих царила атмосфера товарищества и взаимной поддержки. Высоко ценил Джакомо Кваренги творчество Камерона, с почтением относился к работам Растрелли и, по свидетельству очевидцев, всякий раз проходя мимо Смольного монастыря, снимал шляпу и говорил: «Вот это церковь!»

Бывало, однако, и обратное. Фельтен всячески препятствовал Камерону в получении академического звания. Модюи оставил немало документов, подтверждающих, как настойчиво пытался он отстранить Огюста Монферрана от строительства Исаакиевского собора. Словом, случалось всякое. Подчас обстоятельства сталкивали мастеров против их воли. И должно быть, Казакову стоила немалых огорчений необходимость перестраивать Царицынский дворец после учителя своего — Баженова.

В старину, как и ныне, архитекторы роптали, если крупное сооружение строилось без соревнования мастеров: «Как можно для векового здания и не сделать конкурса?» Архитекторы всегда сознавали высокую честь, счастливую возможность построить монументальное сооружение. И это тоже заметил еще Филиппо Брунеллески: «...те зодчие, которые не имеют в виду вечность строения, этим самым лишены любви к грядущей славе своей и не знают, для чего они строят». В этих словах заключена частица того профессионального комплекса, который мы, современные архитекторы, по законам той же профессиональной генетики унаследовали от своих предшественников. Но сегодня наша архитектурная среда организована куда сложнее. Многослойная структура современного архитектурного цеха таит в себе истоки новых, свойственных нашим дням «конфликтов» архитектора и архитектора.

Зодчий, единолично осуществляющий все профессиональные функции, канул в Лету. Теперь, кроме архитектора проектирующего и строящего, есть еще архитектор-георетик, архитектор-эксперт, архитектор — составитель норм и циркуляров, архитектор-директор, архитектор — заместитель директора по хозяйственной части; каких только нет архитекторов!

В сложной структуре архитектурного цеха далеко не все способствует творческому процессу. Читатель, должно быть, понимает, что она не может функционировать без повседневной переписки, текущей вверх и вниз по ее многоствольным каналам, и, стало быть, не может не отнимать у творческого человека, сидящего за чертежным столом, уйму рабочего времени.

Что могу я сказать в утешение своим коллегам? Как ни странно, но это тоже не ново. Иначе зачем же Баженов писал Екатерине: «Вверенное мне в.и.в. производство столь огромного в Москве здания (Большого Кремлевского дворца.— *Ф. Н.*) должно было, по званию моему, упражнять все мои мысли и тщание. Я обязан, однако ж, по несчастью, употребить вместо того большую по моей непривычке часть времени на чтение указов и писание моих представлений... Такое начало заставляет меня опасаться, чтобы сия переписка не сделалась со временем единственною моею работою...»

Так что и это тоже наследие.

Но есть в современном архитектурном цехе одно новое обстоятельство. В нем вся структура построена на основе организационной деятельности зодчего. Творческая сторона дела учитывается ею только косвенным образом. Здесь нивелируются люди с различным творческим потенциалом, равно оцениваются творческие усилия в создании уникального здания и сугубо утилитарного сооружения, типового проекта и его «привязки». Вследствие этого односторонне складываются внутриведомственные взаимоотношения. Этим же объясняется заметное в последние годы тревожное явление — уход талантливой молодежи в иные области художественного творчества. Туда, где материальное поощрение непосредственно связано с проявлением таланта и одаренности, где непосредственной творческое самовыражение. По той же причине в сферу организационной деятельности уходят опытные и способные люди, чтобы таким путем достигнуть большего материального вознаграждения.

Огюст Монферран был прав, утверждая: «Кому же из нас неизвестно, что великие архитекторы создают не звания, а великие работы». Видимо, нам нужно понять, что

в архитектурном сословии высшая должность — автор. Я думаю, что в разрешении этого противоречия заложены немалые резервы нецелеустремленно расходуемой творческой энергии. В конечном счете будущие успехи нашего зодчества в руках тех, кто творит за доской, им и должно быть отведено первое место во всей архитектурной иерархии.

Архитектура — дело государственной важности, здесь не обойтись без всестороннего контроля. И наш брат может предложить несуразное, необоснованно распорядиться материальными ресурсами, денежными средствами. Но, честное слово, странно, когда где-нибудь в утверждающем органе многоопытный и признанный зодчий сталкивается, к примеру, со своим однокурсником, в жизни не державшим в руке кирпича, и тот по положению своему имеет право поучать и указывать, как и что делать архитектору. Быть может, это лишь издержки необходимой организации? Но как бы там ни было, я думаю, что в сегодняшних условиях, когда художественным проблемам архитектуры мы стали придавать должное значение, всей организационной структуре необходимо обратиться лицом к зодчему. Ведь иной раз в своей же организации не найдешь поддержки в споре с подрядчиком или заказчиком. Это там, на Западе, «заказчик всегда прав», раз уж из своей мощны платит. А в наших условиях в подобных спорах надо всегда иметь в виду и творческие устремления архитектора.

Но архитектор архитектору рознь. Диплом еще не удостоверяет таланта. Способность создавать шедевры дается не каждому. В прошедшие годы архитектурной безликости мы сами, архитекторы, принизили значение понятий «автор», «мастер». Стали традиционными огромные авторские коллективы, в которых нивелировалась роль людей, игравших в творчестве решающее значение. Архитектура сделалась безымянной. Быть может, читатель задумывался над тем, почему почти каждая усадьба XVIII века, являющаяся сегодня памятником архитектуры, связана с именем какого-либо выдающегося мастера. Видимо, в ту пору будущий владелец ее, вкладывающий в постройку свои личные средства, выбирал зодчего, которому можно довериться, чье имя в сознании власть имущих ассоциировалось с респектабельной архитектурой, достойной их вельможного сана. Разумеется, подобные аналогии несколько натянуты. Но часто ли наши ведомства, обращаясь в проектные организации, задумываются над тем, в чьи руки попадет задание? Отдают ли они себе отчет в том, какого архитектора следовало бы предпочесть? Я думаю, что пропаганда успехов нашего зодчества должна носить персональный характер.

Творческое лицо архитектора — его постройка. Еще в 1965 году Московский Совет принял решение «устанавливать на вновь сооружаемых зданиях специальные доски с указанием фамилии автора проекта». Однако где же эти доски? Попробуйте отыскать их на зданиях СЭВ, телецентра, нового цирка. Не найдете.

Правда, после смерти Алексея Викторовича Щусева, Ивана Владиславовича Жолтовского на их постройках были начертаны имена авторов. Но кому бы это понравилось, если бы читатели узнавали имена поэтов и романистов, слушатели — композиторов и музыкантов, зрители — режиссеров и актеров только после их кончины?

Есть еще в архитектуре и проблема плагиата. Возможно, по государственному соображениям хорошую постройку целесообразно повторить. Но ведь сказано: «Одним из важнейших прав, предоставляемых авторам советским законом, является право на обозначение имени автора при любом использовании его произведения». Вот даже как — «при любом»! Но это для драматургов и композиторов. А для архитекторов? Ничего подобного. Встречаю в журнале публикацию о Доме ученых в Новосибирском академгородке. Узнаю в его комплексе концертный зал Московского дворца пионеров. И ни слова об этом.

«Действующее законодательство не допускает самовольное, без ведома и согласия автора, включение в его пьесу дополнительных текстов, написанных другими авторами». А в архитектурное произведение можно вносить что угодно. Я однажды увидел на выставке очень знакомое московское сооружение, повторно построенное в Ленинграде. О качестве оформления интерьера, сделанного по эскизу ленинградского автора, уведомляла аннотация: «Пример дурного вкуса». Должно быть, нашему Союзу архитекторов следует подумать обо всем этом.

В нашей творческой среде немало примеров настоящего товарищества, творческой поддержки и помощи. Нередко бывает, что придешь к эксперту или к высокому руководителю архитектурного дела и встретишь и внимание, и дружескую помощь, и полное понимание своих творческих проблем. Это еще со студенческих лет воспитывается добрая традиция помощи товарищам. И теперь, так же как десятки лет назад, если зайдете вы в предзащитные дни к дипломантам Московского архитектурного института, то непременно увидите, что над их проектами склонились головы многочисленных друзей, называемых по старой традиции «рабами», помогающих чертить и красить. Впрочем, читал я где-то, кажется у Золя, что водились они еще в прошлом веке в парижской «Ecole des beaux arts», только назывались иначе. Так что и эта традиция тоже унаследована нами. Вот такие добрые традиции поддержки и товарищества, высокой творческой солидарности должны мы всячески развивать в нашем Союзе архитекторов СССР — профессиональной организации, ведущей свою более чем столетнюю историю, со времен создания первого в России Московского архитектурного общества.

А теперь обратимся к новой теме: архитектор и...

ДРУЗЬЯ ЕГО

Друзей у архитектора множество. Среди его заказчиков, среди строителей и, конечно же, среди советских людей, для которых он творит.

Я встречал друзей архитектора и среди министров, поддерживавших интересные предложения зодчего, и среди рабочих-строителей, охотно выполнявших трудные детали сооружения потому только, что они видели — получается красиво. Я слышал на собрании архитекторов Алтайского края выступление директора Барнаульского домостроительного комбината. Он обращался с просьбой сделать застройку интереснее, дома красивее. Он сказал: «Пусть будут дополнительные детали. Формы мы сделаем. Металл найдем...» Конечно же, он друг архитектора. В том же Барнауле в крайком партии беседовали мы с ответственным сотрудником отдела строительства. Он говорил: «Мы не вполне удовлетворены работой архитекторов. Нам бы хотелось, чтобы город был краше, примечательней, чтобы застройка его имела свое лицо». И этот человек тоже друг архитектора.

И все те, кто пишет в редакции газет и журналов глубоко заинтересованные письма с критикой нашей практики, и те, кто организован в общество охраны памятников зодчества,— все это наши друзья. Все люди, любящие архитектуру, внимательно изучающие старину, радующиеся нашим сегодняшним достижениям,— все они друзья архитектора, их миллионы. И потому творить для нашего народа — большое счастье. Особенно тогда, когда произведение удастся и ты видишь — оно имеет успех.

Но люди строги, они требовательны, они постоянно остаются не удовлетворенными тем, чего достигают сами, и тем, что делается для них. И в этом выражается плодотворный закон беспредельного движения жизни.

Друзья архитектора — они задают вопросы. Им интересно все. В чем черты современного стиля в зодчестве и где его национальные проявления? Что может новая архитектура дать душе человека? Может ли она взволновать, порадовать, удивить? Где проявления ее причастности к пластическим искусствам? Или, быть может, сегодня от архитектуры и не нужно всего этого требовать?

Им, друзьям архитектора, я постараюсь ответить.

* * *

В любом городе, если только он не очень молод, можно в том или ином качестве проследить все этапы развития нашей архитектуры. Вы, конечно же, отличите то, что составляет его историческое прошлое — памятники зодчества, выделите сооружения первых послереволюционных лет, здания 30-х годов, авторы которых робко начинали «освоение наследия». Следы войны теперь, как ни странно, более заметны в городах востока страны, там кое-где еще остались бараки, поспешно сооруженные в пору эвакуации. Вы увидите в любом городе аркады и колоннады (годы послевоенные), и — чем дальше, тем гуще — излишества (начало 50-х годов), и, наконец, «Черемушки»

(в каждом городе «Черемушки» — новые жилые районы, сначала пятиэтажные, теперь и девять, двенадцать, четырнадцать этажей), и общественные здания — стекло, алюминий, бетон. Все на глазах, каждый день, куда бы ни шел человек. И люди смотрят, иногда задумываются над тем, что окружает их в городе, иногда сопоставляют и сравнивают и, что называется, переоценивают ценности. Так, помнится, открылись нам однажды в новом свете постройки 20-х годов. Так теперь нет-нет и услышишь похвальное слово колоннаде и как бы невзначай брошенное: «А не пора ли архитекторам сделать шаг назад?» И уж совсем озадачила меня фраза, прочитанная недавно в профессиональном журнале: «Разве преданные анафеме высотные дома 50-х годов не кажутся нам теперь менее ужасными, чем казались в 60-х? Разве не кажутся нам «легкие» стеклянные сооружения 60-х годов убогими и невыразительными теперь, через 10 лет?» И вот уже вопросы друзей архитектора переключаются с вопросами профессионалов. Если «кажутся», то надо бы выяснить почему. И значит ли это «кажутся», что должны мы, архитекторы, «сделать шаг назад»? И почему же «кажутся»?

Я думаю, потому, что в современной нашей архитектуре зачастую еще господствует схематизм — не простота, а примитивность формы. Редко в каком сооружении встретите вы лобовно прорисованную деталь, привлекающую взгляд человека. А вот в архитектуре «с излишествами» они были в избытке. В той архитектуре, хоть я и сейчас вижу отрицательные ее черты и тенденции, одно качество все-таки было — человечность.

То, что мы создаем теперь, — машинная архитектура. Ей не хватает теплоты, извечно свойственной архитектуре, рукотворности. Посмотрите — мы стали делать жилые дома интереснее, обогатили их пластику балконами, лоджиями. Но вот они стали большими — в девять, шестнадцать этажей, — более протяженными и подчас в новых районах производят едва ли не такое же унылое впечатление, как прежняя пятиэтажная застройка. Масса домов выросла по вертикали и горизонтали. Ей недостает членения формы. Вертикальные ритмы лоджий не решают проблемы. Здания нуждаются в более сложной пластической разработке. Но я видел в Вильнюсе новый жилой район Лаздынай, где все сделано архитектором по человеку — и масштаб домов, и детали, и продуманные маршруты движения, и разнообразные пространства между домами. Человечность — вот что должны мы вдохнуть в современную архитектуру.

И друзья архитектора и профессионалы высказывают порой точку зрения, утверждающую, что «модные» стеклянные «коробки», распространившиеся в наших городах представляют собой чуждую нам архитектуру, заимствованную с американских и иных зарубежных образцов. Я не стану отрицать того, что в нашей практике можно встретить примеры эгигонства, но стеклянная «одежда» зданий — это прежде всего новые возможности строительной техники. Технические средства, которыми располагают архитекторы мира, примерно одни и те же. Но если зодчий находит убедительное применение этим средствам в сочетании с оригинальной композицией, своеобразием архитектурной формы, исключаются какие-либо ассоциации. Такова, к примеру, башня здания СЭВ. Убежден — никто не скажет, что это «не наша» архитектура. И никто, я надеюсь, не назовет ее убогой и невыразительной.

Но я хотел бы заметить, что представление о зарубежной архитектуре как об архитектуре стекла, бетона и алюминия по меньшей мере поверхностно. Заблуждаются и те, кто полагает, что высотные дома 50-х годов не имеют прототипов среди небоскребов США, сооруженных в начале века. И сегодня в той же Америке зодчество развивается в различных направлениях, и в том числе в направлении «неоклассицизма», разновидностью которого была официальная итальянская архитектура времен диктатуры Муссолини и архитектура гитлеровской Германии, нашедшая свое предельное выражение в недостроенном кошмарном «колизее» Нюрнберга.

Однако неудовлетворенность «легкими» стеклянными сооружениями все-таки остается, и питается она в немалой степени стремлением увидеть свои национальные черты в современном нам зодчестве.

Попытки решения этой проблемы видел я в Ташкенте, где в новых постройках появляются забытые было традиционные орнаментальные мотивы, выполненные в традиционных материалах. Среди новых проектов встречаются и такие, в которых увлечение декоративными элементами доходит до полного тождества с проектами двадца-

тилетней давности. Такой путь к поиску национальных форм в архитектуре, мягко выражаясь, не самый сложный. Все это мы уже проходили.

Что такое стиль, национальный стиль? Я слышал определение: современный стиль в архитектуре — это комплексное индустриальное строительство. Но ведь и комплексность и индустриальность — это методы строительства. Стиль выражается в другом — в характерных тенденциях, приемах, в конкретной архитектурной форме, свойственной времени и месту, в конечном счете народу, создающему архитектуру. Но я думаю, что истинно национальной становится каждая оригинальная архитектурная форма, возникающая на данной земле. Таковы, например, прекрасный стадион «Раздан», сооруженный недавно в Ереване, памятник жертвам геноцида, возвышающийся над городом на одном из его холмов, небольшой, но мастерски сделанный летний кинотеатр в центре армянской столицы. Для меня эти сооружения, лишенные традиционных орнаментальных мотивов, представляются более армянскими, чем иные современные здания Еревана, обладающие формальными декоративными признаками национальной принадлежности. Новое постепенно входит в нашу жизнь. Оно не сразу, а со временем становится частью национальной культуры. И быть может, уже не мы, а последующие поколения найдут имя тому стилю, который мы создадим. Они точно определят его характерные черты, свойственные ему приемы и формы. Проявления стиля будут, вероятно, многообразны.

Современное наше зодчество, располагающее огромными техническими возможностями, станет непременно многообразным. В одном я уверен — не реминисценции, не подражание прошлому будут его примечательностью. Но я не хотел бы кому-либо навязывать свою точку зрения. Быть может, кто-то думает иначе и докажет свою правоту. В конце концов, если бы люди были терпимее к различным творческим проявлениям, кто знает: быть может, история искусства знала бы меньше трагических судеб художников, умерших в забвении и почитаемых посмертно. Но я думаю, что сказанное еще в прошлом веке венским архитектором Отто Вагнером: «Современное искусство должно дарить нам современные, нами самими созданные формы, выражающие то, на что мы способны, наш образ жизни», — остается верным. Ведь Баженов, Казаков, Росси, создававшие русскую архитектуру своего времени, не копировали своих предшественников, хотя, не сомневаюсь, отдавали должное их таланту.

Новая наша архитектура — явление сложное и развивающееся. Она еще проявит себя в формах, дающих человеку множество ярких впечатлений — волнующих, неожиданных, удивляющих. Создание ее — дело мастеров талантливых и разных, способных средствами современной строительной техники выразить художественные идеалы своего времени. Именно своего. Я убежден, пути назад у нас нет. И хотя путь вперед труден, незнаком, не пройден никем еще, только он сулит нам новые открытия, в которых и состоит смысл творчества. Трудности на этом пути очевидны. Мы создали строительную индустрию, которой не научились еще управлять. Мы еще должны обратить ее в средство — гибкое, не ограничивающее наше творчество, а, напротив, способное ответить на все запросы. Именно в этом вижу я смысл индустриализации. Не заданное ограничение, а самоограничение должно сопутствовать творчеству. Мы, архитекторы, при этом не имеем права забывать и проблемы экономики. С циничным заявлением Монферрана: «Что мне за дело до денег, раз не я их плачу» — никто из нас согласиться не может. Это как раз то, что наследовать мы не имеем права. Как бы ни возрастали требования к художественной выразительности архитектурного произведения, отношение зодчего к проблемам экономики останется критерием его профессиональной и гражданской ответственности. Говорят, будто Наполеон заметил однажды, что женщины и архитекторы способны разорить любое государство. Я не берусь судить о том, утрачена ли эта способность женщинами. Что же касается архитекторов, то они время от времени подтверждают правоту мнения императора. «Излишества» появляются в архитектуре и сегодня, хотя и совсем в иных формах, чем в прежние времена. В некоторых нарочитых композиционных приемах, в неумеренном злоупотреблении дорогими материалами. У нас теперь вновь начинают появляться здания, которые поражают зрителя главным образом тем, что они очень дорого стоят. Думаю, что дело здесь не обходится без щедрого вмешательства заказчика, без его «купеческого» размаха. Иван Владиславович Жолтовский любил повторять в назидание своим ученикам:

изречение Древних: «Архитектор не смог сделать красиво и поэтому сделал богато». Подобные высказывания не следует забывать. То же самое подразумевал и видный американский архитектор Минору Ямасаки, заявив: «Я верю в умеренность, но не в экономическую умеренность, а в умеренность эстетическую».

Впрочем, возможны, наверное, случаи, когда не следует скупиться на большие расходы. Герцен рассказывает — граф Милорадович советовал архитектору нижнего храма Христа сделать колонны из монолитного гранита, и когда кто-то заметил, что привоз колонн из Финляндии будет дорого стоить, он возразил: «Именно поэтому-то и надобно их выписать. Если б гранитная каменоломня была на Москве-реке, что за чудо было бы их поставить». И Герцен замечает: «Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром». Может быть, в каких-то исключительных случаях и мы сочтем нужным рассудить подобным образом. И еще, я думаю, что затраты, превышающие наши нормативные представления о стоимости сооружения, оправданы в тех случаях, когда архитектор экспериментирует, создает острые, оригинальные, выразительные формы, впервые осуществляет те или иные пространственные или технические решения, и, стало быть, финансируется тот или иной шаг на пути прогресса и архитектуры.

Люди — друзья архитектора спрашивают: должны ли быть все здания в городе прекрасными или только некоторые? Конечно же, должны быть прекрасными все. Жилые дома по-своему, дворцы по-своему. Но если меня спросят, будет ли это когда-либо, я отвечу отрицательно. Почему? Потому что никогда не случится такого, чтобы каждый архитектор был в равной мере наделен талантом, чтобы все мы создавали только лишь одно прекрасное. Быть может, это хорошо? Иначе люди бы и вовсе перестали ценить талант и мастерство художника. Но в постоянном стремлении к прекрасному есть вечный вдохновляющий смысл жизни и творчества.

И наконец, последнее. Архитектор и...

ЕГО ВРАГИ

Первый враг архитектора — война.

Сколько погибло от пушечных ядер и огня бесценных и неповторимых памятников! И какими бы ни были искусство и фантазия реставратора, они никогда не восполнят нам навеки утраченных произведений архитектуры.

Великий Парфенон погиб при осаде Афин от взрыва расположенного в нем порохового склада. Только счастливое стечение обстоятельств помешало маршалу Мортье выполнить приказ Наполеона — взорвать Кремль. Но сколько погибло в московском пожаре 1812 года! Сколько в войнах предыдущих и последующих! Сколько великолепных памятников зодчества потеряли мы в последней жестокой войне! Этих потерь нам не вернуть. И как бы ни было очевидным противоречие, состоящее в том, что немало великого было сооружено людьми в память военных побед, и в том, что тот же московский кремль был в первоначальном виде своим сооружением оборонительным, разве не ясно, что еще одна мировая война может и вовсе не оставить на нашей планете следов созидательного гения человечества.

Пожары — второй враг архитектора. Пожары стихийные, пожары нечаянные, пожары в дни пьяных и буйных торжеств. Москва горела и в мирное время, горели Новгород и Псков, страшным пожаром горело Чикаго, сотни и тысячи городов и сел. И они унесли несчетное число культурных ценностей. Но история зодчества знает и другие пожары — поджоги, устроенные людьми злонамеренно и сознательно.

И хотя Станислав Ежи Лец со свойственной ему иронией заявил: «Не буду возмущаться Геростратом, пока сам не смогу убедиться, каким был этот храм Дианы в Эфесе», я все же полагаю, что он действительно был великолепен. Иначе зачем же древние отнесли его к числу немногих своих чудес? В конце концов, им хватило бы и шести.

Но дело, однако, не в этом. Куда важнее то, что лавры Герострата с тех пор не дают людям покоя. Именем Герострата вдохновляясь, должно быть, Нерон, поджигая Вечный город. Ему последовали и другие поджигатели, которых история знает во множестве. Но не только огнем уничтожают геростраты сокровища зодчества.

Сколько раз облеченные властью и движимые тем же тщеславием люди разбирали прекрасные строения предшественников, дабы из того же камня возвести новые постройки во славу собственного имени. Такая участь постигла многие античные памятники. Подобное в истории зодчества случалось, увы, нередко. Ну, а каким именем назвать наших собственных геростратов, разобравших десятки великолепных русских церквей? Нет, не для возведения новых великих сооружений, а так, попросту для хозяйственных нужд. Я не стану говорить о тоновском храме Христа Спасителя. Замечу только, что сорок лет назад найти в Москве участок для монументального здания было куда проще, чем ныне. Можно вспомнить много неправданных жертв. И Красные ворота, и Сухареву башню, во имя сохранения которой академик Иван Александрович Фомин тщетно бился, не щадя сил и здоровья. И как хорошо, что теперь мы, одумавшись, восстановили триумфальную арку Бове, и Московские ворота Стасова в Ленинграде, и многое еще восстанавливаем во славу русской культуры.

Но геростратовщина — явление многоликое. Мелкое тщеславие движет теми, кто так или иначе, но все же стремится внести свое имя на скрижали истории. Это они, жалкие геростраты, испещряют своими именами стены монастырей, церквей, древние крепости. «Здесь были...» — и т. д. Толпами ходят они от памятника к памятнику, оставляя свои автографы на штукатурке, на мраморе, на граните даже.

А вы представьте себе архитектора, который от эскиза к эскизу ищет ритмы ограждений лоджий на фасаде своего дома. Он настойчиво стремится достичь такого чередования глухих и открытых ограждений, чтобы они составили рисунок, приятный для глаза прохожего. Но вот в погожее летнее воскресенье герострат, владелец этой лоджии, выходит в маечке и полосатых пижамных брюках, вооруженный листом фанеры и всяческим столярным инструментом. И забывает наглухо свою лоджию. Ко всем чертям легит задуманный архитектором рисунок. Герострат этим не удовлетворяется, но возьмет еще широкий флейц, баночку зеленой масляной краски и выкрасит ею стены и потолок своего владения. А вслед за ним появится в зеленой лоджии любезная его геростратиха и развесит на веревочках разноцветное исподнее. Такое встречается часто. И вот IV пленум правления Союза архитекторов Узбекистана принимает резолюцию: «Пункт 10. Через Союз архитекторов и печать обратиться к населению с призывом не портить жилой фонд, не безобразить фасадов жилых домов...»

Но это все мелкие геростраты — одиночки, любители. Есть иные — они организованы. В их руках средства и техника. Действуют они по плану, должным образом утвержденному и финансируемому. Что там один балкон! Они могут целую улицу «украсить» красными, желтыми, зелеными листами стеклопластика, каждую улицу в свой цвет. И засверкают балконы на фасадах разных времен и разных авторов. Эти организованные геростраты не только перекрашивают — они еще и перестраивают фасады и интерьеры, ставят перегородки в вестибюлях и холлах, выкраивая дополнительные комнатенки. Они застраивают открытые архитектором пространства под «ногами» зданий, строят жалкие клетушки под лестницами. Они поработали даже в храме зодчества — Моспроекте, поставив нелепые заборы и перегородки. Им нужны «площадки». Увлекательное и, как им кажется, полезное занятие.

Но есть, дорогой читатель, еще одна область геростратовщины — наглядная агитация. И пусть поймут меня правильно; я не против наглядной агитации как таковой. Но сколько же никого ни к чему не призывающих текстов и безвкусных изображений безобразит фасады и интерьеры наших общественных зданий! Сколько громоздких, дорогих и убогих стендов, тут и там расставленных на площадях и улицах наших городов и поселков, на заводских дворах, в парках, на стадионах, на стройплощадках! Даже в Москве случилось мне видеть огромные фототранспаранты, на которых лица передовиков производства смыты дождями и забрызганы грязью. Это он, герострат, поставил в своем отчете галочку и не смотрит уже на пришедшие в негодность плоды своего оформительского творчества, только лишь компрометирующие большое и нужное дело. И с каждым значительным событием в жизни нашего государства множится и распространяется оформительская безвкусица и пошлость. Это дело надо вырывать из рук геростратов. Пусть им занимаются люди умные и талантливые — быть может, специально подготовленные, обладающие не только политическим тактом, но и высоким художественным вкусом. Мы должны оградить от геростратов наши парки

и скверы, где они во множестве наставили серебряных пионеров и прячущихся в кустах пограничников, стоящих на постаментах с облупившейся штукатуркой. Один из них изобразил на отвесном гранитном валуне выборгского парка «Монрепо» обезображенного Маяковского, другой на виду у всего города превращает свой балкон в стеклянный «скворечник», третий... Пожалуй, достаточно.

Но геростраты постоянно действуют. Они обладают завидной энергией. Они неизменно выискивают источники финансирования для своей антихудожественной деятельности. Их множество. Они среди нас. Берегитесь геростратов!

* * *

Я был бы необъективным, если бы не признал: многое из того, что делается геростратами, происходит по вине архитектора. И как ни горько мне это сознание, дело обстоит именно так.

Архитектор должен был заметить: люди не любят лоджий и балконов с прозрачными ограждениями. Ему известно, что есть решения, предусматривающие открытые для наружного воздуха и скрытые от глаз прохожих пространства для сушки белья. Я знаю, что часто хозяйственников побуждает к перестройке нового здания нужда в чем-то, чего не предусмотрел архитектор. Я знаю, что очень редко архитектор задумывается над тем, где в его сооружении найдут свое место доска почета, стенная газета, плакат, портреты. Архитектор иной раз прокладывает дорожки в парках, по которым людям неудобно ходить. И тогда они волей-неволей прокладывают свои, удобные. Число примеров можно приумножить, но все они говорят об одном: там, где архитектор противодействует тем или иным процессам жизни, они проявляются во вред архитектуре. И если вы спросите, не хочу ли я тем самым сказать, что архитектор в подобных случаях сам и оказывается своим врагом, отвечу утвердительно. Именно так оно и происходит. Ведь геростраты действуют там, где бездействует архитектор. Больше того, архитектор порой и сам выступает в роли герострата. Это ведь не без него принимались решения об «украшении» балконов той или иной улицы. Кое-где безобразное оформление площадей и проспектов делается с его участием. Он же, архитектор, бывает причастен и к перестройкам, которые калечат здания. И не только обычные, но подчас и памятники. Далеко не каждое старое строение остается во времени таким, каким создал его автор. Объективно меняющиеся требования жизни вызывают последующие перестройки. Бывает, что какие-то фрагменты оказываются менее долговечными, и это тоже приводит к последующей частичной реконструкции. Хорошо, если к зданию прикоснется рука мастера, равного по таланту первому его создателю. Тогда здание может обогатиться новыми наслоениями, которые сделают его еще более примечательным. Так и случилось не однажды. А если нет? Если новые перестройки совершаются людьми равнодушными и бездарными? Тогда безвозвратно гибнет произведение зодчества, а потомкам остается нечто искаленное и обезображенное.

Но вот свежий пример совсем иного рода. Серьезный и опытный архитектор реконструирует одну из немногих, но блестящих работ братьев Весниных—Дворец культуры ЗИЛА. Вносит новые современные приемы и материалы в убранство его интерьеров и представляет работу на смотр достижений советской архитектуры. Жюри в смятении. Как это оценить? В итоге дискуссии решено просить руководство Союза архитекторов создать по этой проблеме специальную авторитетную комиссию. Надо ли было перестраивать дворец по-новому или следовало все восстановить по замыслу Весниных? На этот вопрос пусть ответит комиссия. Кто же, как не мы сами должны быть примером уважительного отношения к творчеству ушедших мастеров советской архитектуры?

* * *

Архитектор работает в обществе и для общества. Его творческий труд аккумулирует в себе огромное множество человеческих интересов. Люди, кем бы они ни были по отношению к архитектору — заказчиками, или строителями, или просто теми, для которых предназначены плоды его труда, — не могут быть безразличны к тому, что он создает. Эта заинтересованность закономерно порождает причастность многих к

творчеству архитектора. И тех, которые способны помочь ему, и тех, которые могут ему помешать. Избежать столкновений с людьми может только архитектор, занятый одними лишь бумажными фантазиями. Но зодчий, призванный строить, должен еще уметь работать вместе с людьми. С теми, кто олицетворяет народную власть и со своих позиций представляет интересы общества, и с теми, кто сами и есть это общество. Уже упомянутый мною Вальтер Гропиус ставит перед собой сакраментальный вопрос: «Архитектор — слуга или вождь?» И находит на него единственно правильный ответ: «Поставьте вместо «или» — «и». Нередко сталкиваешься с крайними суждениями о свободе архитектурного творчества. Но абсолютная свобода — от профессиональных суждений, от общественного мнения, от государственного контроля — способна породить анархию, недопустимую в деле, связанном с затратами огромных средств, принадлежащих обществу. Быть может, излишни рассмотрения проектов на заседаниях профессиональных советов? Но кто из нас положит руку на сердце не вспомнит случаяев, когда разумные замечания и рекомендации товарищей по профессии оказывались уместными и своевременными? Должно быть, Тома де Томон был благодарен своему эксперту Адреяну Захарову за нелестную критику проекта биржи.

Разумеется, большой мастер способен завоевать право на доверие своих коллег. И одного взгляда на проект бывает достаточно, чтобы убедиться в том, что он сделан опытной, уверенной рукой. Быть может, не следует принимать во внимание мнение непосвященных? Но творящий для людей да прислушается к людям. Остается свобода предлагать, свобода защищать и отстаивать свои идеи, свобода бороться за их реализацию. Само социальное положение архитектора в нашей стране обязывает его видеть тенденции жизни, интересы людей, уметь находить их реальное воплощение в той материальной среде, которую он предлагает создать, убеждать людей в правильности своего творческого предвидения и строить сообразно своим замыслам. Такова наша работа. Она таит в себе возможность удачи и вероятность ошибок. В ней много трудностей и противоречий. Но и мы, архитекторы, люди. И порой, сталкиваясь с непониманием наших профессиональных устремлений, мы делимся друг с другом своими огорчениями, неизбежными в творческом труде. Кажется тогда, что жизнь проходит в мелочной суете и нам не удастся построить то, что хотелось бы.

И вот в таких сокровенных застольных беседах случалось мне не однажды слышать от своих товарищей вопрос, произносимый с драматической нотой в голосе: «Быть может, не в лучшее время родились мы архитекторами? Не легче ли работало бы архитектору в какое-либо уже прошедшее время, которое, как мы теперь видим, было временем расцвета зодчества? Или, как знать, счастливее станет архитектор в какое-то иное, будущее время?»

Я знаю, что архитектору было нелегко в прошлом, не думаю, что жизнь его станет легкой в будущем. Творчество сложно извечно. Не было такого времени в истории зодчества, которое создавало бы одни только шедевры. Это всегда удавалось немногим. Что-то непременно удастся и нам. Я убежден, что и после нас останутся ансамбли и сооружения, к которым с почтением отнесутся потомки. И потому, что наше творчество призвано отразить великое время, и потому, что среди моих товарищей по профессии немало мастеров, которые служат советской архитектуре так же самоотверженно, как служил русскому зодчеству Василий Баженов.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*Дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза*

А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ



ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ*

ЗА ЗЕМЛЮ БЕЛОРУССКУЮ

22 июня 1944 года исполнилось три года, как началась Великая Отечественная война. Войска наших западных фронтов готовились перейти в ближайшие дни в решительное наступление. Каждый из нас ждал его с нетерпением. В те дни особенно активно действовали белорусские партизаны. Они вывели из строя ряд железных дорог в тылу врага: за одну ночь на 20 июня подорвали более 40 тысяч рельсов.

Итак, все было готово к решительному наступлению. Однако на I Прибалтийском и III Белорусском фронтах операция «Багратион» началась не совсем так, как нам хотелось бы. Погода не считалась с нашими планами. Небо затянули сплошные облака, и авиацию дальнего действия (АДД) нам удалось использовать лишь частично. Накануне мы условились с И. Д. Черняховским, что первый день операции — 23 июня — он проведет на своем основном фронтовом командном пункте, оборудованном на участке прорыва 11-й гвардейской армии К. Н. Галицкого, на оршанском направлении, а я, в зависимости от обстановки, буду находиться либо на КП командующего 5-й армией Н. И. Крылова, на богушевском направлении, либо на КП И. И. Людникова, командующего 39-й армией, — юго-восточнее Витебска. С волнением ожидали мы первых вестей с поля боя. Внимательно следила за ходом событий и Ставка. Верховный Главнокомандующий в тот день неоднократно вызывал меня по телефону. Знаю, что звонил он и другим руководящим лицам на этих фронтах.

Что же принес нам первый день операции, названной именем героя Бородина Петра Ивановича Багратиона? Из-за погоды мы не смогли использовать на полную мощность не только АДД, но и фронтовую авиацию. Основную помощь наступающая пехота получила от превосходно поработавшей артиллерии. Положение войск в армиях было далеко не одинаковым. 4-я ударная армия, действовавшая севернее Полоцка, почти не продвинулась; 6-я гвардейская и 43-я армии, обходившие Витебск с северо-запада, решительной атакой прорвали фронт обороны противника и, сопровождаемые танками непосредственной поддержки пехоты и самоходными орудиями, за день продвинулись в глубину на пятнадцать километров. Вот-вот они должны были выйти на железную дорогу Полоцк — Витебск и к Западной Двине. 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта В. В. Буткова только ждал момента, когда его введут в образовавшийся прорыв.

39-я и 5-я армии, действовавшие южнее Витебска, перерезали меридиональную железную дорогу, форсировали реку Лучесу и продвигались примерно теми же темпами, что и их соседи на Прибалтийском фронте. Теперь юго-западнее Витебска у немцев оставался коридор шириною всего около двадцати километров. Нашей первоочередной задачей было быстрее соединить левый фланг 43-й и правый фланг 39-й армий в районе селения Островно. Мы — Баграмян, Черняховский и я — считали, что

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5, 7, 8 с. г.

добиться этого нужно в ближайшие же сутки. Под Витебском, как и намечалось планом, назревал котел, в котором должна была оказаться крупная вражеская группировка. Юго-западнее находились немецкие резервы. Не допустить их к Витебску можно было при условии быстрейшего продвижения наших войск в район селения Сенно. Мы решили ускорить наступление 5-й армии, чтобы не позднее вечера 24 июня ввести у Богушевска в прорыв конно-механизированную группу генерал-лейтенанта Н. С. Осликовского. Когда она войдет в район Сенно, ее в зависимости от обстановки можно будет бросить на перехват шоссеиной дороги Витебск—Лепель и в глубокий обход Орши с запада.

На оршанском направлении 11-я гвардейская и 31-я армии натолкнулись на исключительную развитую в инженерном и огневом отношении оборону сильной группировки противника. Здесь уже потерпели минувшей зимой неудачу войска Западного фронта. Теперь армии Галицкого и Глаголева, захватив четыре — шесть вражеских траншей, медленно продвигались вперед, стремясь добраться до второй полосы фашистской обороны. Между тем 5-я гвардейская танковая армия П. А. Ротмистрова — резерв Ставки — находилась в одном переходе как от 5-й армии Н. И. Крылова, так и от 11-й гвардейской К. Н. Галицкого. Ее следовало использовать там, где открывался оперативный простор для широкого маневра. Где же? Мы с Черняховским полагали, что успешное продвижение войск Крылова и группы Осликовского в ближайшие же дни сломит сопротивление немцев под Оршей. В этих условиях станет целесообразней ввести танковую армию в прорыв на участке именно 5-й армии. Затем ее следовало направить на Борисов, как и предусматривалось планом.

С утра 24 июня I Прибалтийский и III Белорусский фронты продолжали развивать наступление. Наибольшего успеха снова добились войска, сражавшиеся на витебском и богушевском направлениях. 6-я гвардейская и 43-я армии, отбивая во встречном бою яростные атаки противника, вышли к Западной Двине, с ходу форсировали ее и повели борьбу за плацдармы на южном берегу. С юга в немецкий коридор у Витебска прорвались войска 39-й армии И. И. Людникова. Стремительно продвигалась вперед и 5-я армия Н. И. Крылова. В полдень я позвонил И. Х. Баграмяну. Выяснилось, что бойцы 67-й гвардейской стрелковой дивизии, 6-й гвардейской армии на лодках, плотках, бочках и других подручных средствах переплывают через Западную Двину. Из-за сильного сопротивления врага несколько снизился темп наступления 43-й армии. Между тем от нее зависел успех окружения витебской группировки врага; соединения 39-й армии с южной стороны уже выполнили свою задачу, захлестнув кольцо. Пленные сообщали, что немецкое командование якобы просит у Гитлера разрешения отвести войска из Витебска на запад. Договорились с командующим I Прибалтийским фронтом, что он сделает все, чтобы не позже чем через день войска 43-й армии соединились с войсками 39-й армии в районе Гнездиловичей, на шоссе, ведущем из Витебска.

Поздравив через И. И. Людникова воинов его армии с успехом, я переключился на 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус В. Т. Обухова. Побеседовали с И. Д. Черняховским, обсудили положение с командиром корпуса, проверили готовность танкистов, входивших в группу Осликовского. К вечеру танки начали движение, обогнали ушедшую далеко вперед пехоту, а на следующий день, неся на себе десант автоматчиков, ворвались в Сенно. Хуже обстояло дело на левом крыле III Белорусского фронта. Поскольку 11-я гвардейская армия застряла между Днепром и болотами, которые тянулись от Осинторфа к железной дороге, перспектива на ввод здесь в сражение армии Ротмистрова отпала. Поэтому пришлось принять решение вывести 5-ю гвардейскую танковую армию в район Богушевска и оттуда, использовав прорыв 5-й армии Крылова, направить ее, обходя Оршу с тыла, на Толочин и Борисов. В связи с этим войскам конно-механизированной группы Осликовского мы поставили задачу развивать наступление от Сенно на запад, с тем чтобы, обойдя с обеих сторон Лукомльское озеро, одним флангом помочь I Прибалтийскому фронту взять Лепель, а другим — форсировать Березину и продвигаться на Плещеницы.

Верховный Главнокомандующий одобрил эти соображения и разрешил мне с 20 часов 24 июня передать 5-ю гвардейскую армию из резерва Ставки в состав III Белорусского фронта. Я немедленно сообщил об этом и командующему фронтом и П. А.

Ротмистрову¹. Должен заметить, что Павел Алексеевич Ротмистров отнесся к решению Ставки (как о передаче его армии из Ставки фронту, так и об изменении направления ее ввода в прорыв) без особого энтузиазма. Не ускользнуло это от внимания и командующего фронтом И. Д. Черняховского. Истинные причины мне не были известны, да и придавать этому особое значение вряд ли было бы правильно, если бы не тот факт, что 5-я гвардейская танковая армия, всегда блестяще проявлявшая себя, в данном случае действовала не так решительно, как прежде.

Ставка была крайне ею недовольна, и не без оснований: 28 июня Верховный Главнокомандующий в директивном письме мне, И. Д. Черняховскому и члену Военного совета фронта В. Е. Макарову отметил: «Ставка требует от 5-й гвардейской танковой армии стремительных и решительных действий, отвечающих сложившейся на фронте обстановке»². Командование приняло это указание к неукоснительному исполнению.

Хочу упомянуть об отличной работе авиации 1-й воздушной армии генерала Т. Т. Хрюкина, в значительной мере проходившей на моих глазах. Ее усилия, согласно фронтовому плану операции, сосредоточились в первый день на главном фронтовом направлении — оршанском. Незирая на плохую погоду, за четверть часа до начала атаки самолеты нанесли массированный бомбовый удар по переднему краю обороны противника на участке 11-й гвардейской армии. С началом атаки бомбардировщики и штурмовики перенесли удары в глубину вражеской обороны. Штурмовики удачно сопровождали продвижение пехоты и танков, поражая огневые средства и живую силу фашистов. А когда 5-я армия встретила серьезное сопротивление у Богушевска и я потребовал от командования воздушной армии (через командующего фронтом) помочь ей, ни дождь, ни низкие облака, стлавшиеся над нами на высоте ста метров, не помешали массированному бомбовому удару по опорному пункту противника. После моего телефонного разговора с Т. Т. Хрюкиным командующий воздушной армией немедленно перенацелил самолеты, находившиеся уже в воздухе, по направлению к Орше. В результате 90 «ПЕ-2» и 180 «ИЛ-2», изменив маршрут, повернули к Богушевску и, отлично выполнив задание, облегчили наземным войскам овладение районом.

25 и 26 июня войска III Белорусского и I Прибалтийского фронтов продолжали наступать. После того как западнее Витебска сомкнулось кольцо окружения, в городе и возле него оказалось в котле свыше пяти дивизий гитлеровцев. Положение их было явно безнадежным. Поэтому Баграмян, Черняховский и я решили, оставив для ликвидации окруженной группировки лишь часть войск, главными силами как можно быстрее продвигаться на запад, 26 июня Витебск был очищен от фашистов. Войска 39-й и (частично) 43-й армий продолжали ликвидировать витебскую группировку врага в лесах юго-восточнее города. Танки корпуса Буткова и конно-механизированная группа Осликовского успешно продвигались на запад. Основное внимание командование I Прибалтийского фронта уделяло в те дни скорейшей ликвидации очень серьезного узла вражеской обороны в районе Полоцка, прикрывавшего подходы к границам Южной Прибалтики.

5-я гвардейская танковая армия, опрокидывая врага, при активной помощи штурмовой и бомбардировочной авиации фронта к вечеру 26 июня овладела районным центром Толочин, выйдя в пятидесяти километрах западнее Орши на Минскую автостраду. При дальнейшем выдвигании на Борисов армия встретила упорное сопротивление прибывшей из-под Ковеля 5-й танковой дивизии противника. Войска 11-й гвардейской и 31-й армий заканчивали преодоление обороны противника в районе Орши. К вечеру 26 июня они сумели протолкнуть к северу и югу от города 2-й гвардейский танковый корпус, который, действуя отлично, также вышел на Минскую автомагистраль в пятнадцати километрах западнее Орши.

26 июня запомнилось мне тремя событиями. Как нам сообщили, в ночь на 26 июня 126 немецких бомбардировщиков совершили налет на Смоленск. Около 450 фугасных бомб упало в разных местах, причинив немалые разрушения. Некоторые из них были замедленного действия, и это осложняло восстановительные работы. Тем не менее в час дня железнодорожные составы с войсками, оружием, снаряжением, боеприпасами

¹ Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 2294, д. 7, л. 74.

² Там же, ф. 132-А, оп. 2642, д. 33, лл. 384—385.

и продовольствием вновь пошли через станцию, питая тылы I Прибалтийского и III Белорусского фронтов. В тот же день — новая и приятная для меня весть. Накануне я обратился к Верховному Главнокомандующему по телефону с ходатайством о присвоении И. Д. Черняховскому за отличную работу на посту комфронта звания генерала армии. Сталин посоветовал направить официальное представление. И вот на второй день решение состоялось, и я с удовольствием приветствовал Ивана Даниловича в новом звании. 26-го же вечером все фронтовые радиостанции передавали поздравления столицы войскам, освободившим Витебск, а сама столица отмечала это торжественным салютом — 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Верховный Главнокомандующий объявил в приказе благодарность войсковым соединениям и частям, принимавшим участие в освобождении города, а наиболее отличившимся присваивалось наименование Витебских.

Примерно тогда же было присвоено звание генерал-полковника начальнику штаба III Белорусского фронта Александру Петровичу Покровскому, начальнику штаба I Прибалтийского фронта Владимиру Васильевичу Курасову, командующему артиллерией I Прибалтийского фронта Николаю Михайловичу Хлебникову, командующему 6-й гвардейской армией Ивану Михайловичу Чистякову, командующему 5-й армией Николаю Ивановичу Крылову. Все они, воюя с первых дней войны, показали себя с наилучшей стороны, проявили способности крупных организаторов и умелых руководителей больших войсковых объединений в самых сложных условиях боевой обстановки.

Ставка не забывала ни одного фронта — присвоение высоких званий проводилось во всей Красной Армии. В те дни стал Маршалом Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский; войска его фронта как раз тогда освободили Бобруйск, а затем ликвидировали в бобруйском котле окруженную группировку врага.

А в неприятельском стане происходило следующее: на терпевшего неудачи командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала Эрнста Буша обрушился гнев фашистского фюрера и новым командующим группы стал генерал-фельдмаршал Вальтер Модель. После июльско-августовских поражений немецких войск его сменил генерал-полковник Ганс Рейнгардт.

Вспоминаются эпизоды, связанные с событиями в витебском котле. Окруженным фашистским войскам предъявили ультиматум о сдаче. Они попросили дать им на размышление несколько часов. На глазах наших воинов они устроили в своих подразделениях собрания, но решения так и не приняли. Когда время истекло, а ответа о сдаче не последовало, советские войска перешли в атаку. И только тогда фашисты начали сдаваться в плен, почти не оказывая сопротивления. Среди пленных были, в частности, четыре генерала. Их допросил И. Д. Черняховский, член Военного Совета III Белорусского фронта В. Е. Макаров, координировавший деятельность авиации заместитель командующего ВВС Ф. Я. Фалалеев и я. До этого они содержались порознь и не знали о пленении других. Командир 53-го армейского корпуса генерал-полковник Гольцитцер считал плен случайностью, результатом личной неосторожности и полагал, что войска его корпуса все еще дерутся под Витебском. Он просил, если возможно, проинформировать его о ходе боев за Витебск и был потрясен, когда мы предложили ему навести эти справки у подчиненных ему лиц и приказали привести командира 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Хиттера, начальника штаба его корпуса полковника Шмидта и других...

В эти дни была окончательно смята упировавшаяся флангами в болота оршанская оборонительная система врага. 27 июня Орша была очищена от фашистов. Армии Чистякова и Белоборова взяли 28 июня Лепель. Конно-механизированная группа Осличковского форсировала Березину севернее Борисова, вслед за нею сюда вышли главные силы III Белорусского фронта, наступавшие на этом направлении, а 1 июля в Борисов ворвались войска, наступавшие на минском направлении.

В своих воспоминаниях я не имею возможности приводить много примеров героизма советских воинов. Но об одном примере удивительного мужества, который тогда поразил нас, я все же хочу рассказать.

В боях за Оршу участник танкового десанта гвардии рядовой Ю. В. Смирнов был тяжело ранен и попал в плен. О дальнейшем мы узнали, когда наши части вошли в

город. В одном из блиндажей оказались протокол допроса гвардейца и прибитое к кресту тело юноши. Здесь же обнаружили книжку и комсомольский билет гвардейца Юрия Васильевича Смирнова. Он не ответил ни на один вопрос врага и погиб как герой. Гражданин Советского Союза комсомолец Смирнов не выдал военной тайны и остался верен отчизне до последнего вздоха. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя его с благоговением будут вспоминать потомки..

В масштабах фронтовой операции меня волновали в те дни главным образом три вопроса. Первый состоял в том, что успешный ход наступления наших войск и разрушения, оставленные войной на железных дорогах, с каждым новым днем все более осложняли снабжение наступавших. Вместе с начальником Центрального управления военных сообщений генерал-лейтенантом технических войск И. В. Ковалевым мы подготовили следующее письмо И. В. Сталину:

«Москва. Тов. Семенову. 1. Железнодорожное направление Смоленск—Минск является единственной магистралью базирования III Белорусского фронта. Установленная НКПС пропускная способность линии Смоленск—Минск (12 пар поездов в сутки) потребностей фронта удовлетворить не может. Минимальная потребность фронта в железнодорожных поездах в период наступательных операций будет составлять 24 пары поездов в сутки, а полная — 36 пар. Считаю необходимым пропускную способность линии довести до 18 пар — через 5 суток после открытия движения, установленного приказом НКПС; до 24 пар — через 10 суток; до 36 пар — через 45 суток.

Пропускная способность 24 пары поездов в сутки может быть обеспечена за счет постройки дополнительных развязок по земляному полотну второго, невозстановленного пути. Для обеспечения пропускной способности 36 пар поездов необходимо уложить вторые пути на протяжении 350 км от ст. Смоленск до ст. Минск с использованием существующего земляного полотна. Это потребует дополнительного выделения: рельсов со скреплениями — 400 км, шпал — 640 тыс. штук, стрелочных переводов — 150 комплектов. Для нормальной эксплуатации линии потребуются дополнительно выделить 100 паровозов и 3000 квалифицированных эксплуатационников основных профессий.

2. Железнодорожное направление Смоленск—Минск—Витебск—Полоцк имеет большое значение в обеспечении воинских перевозок при наступательных операциях Прибалтийских фронтов, а в дальнейшем оно будет одним из основных выходов к Балтийскому морю. Считаю необходимым пропускную способность этого направления довести до 18 пар поездов на 5 суток после открытия движения, установленного приказом НКПС. Прошу Ваших указаний Наркомату путей сообщения. Владимиров».

Второй вопрос, сильно тревоживший меня тогда, — по-прежнему сравнительно невысокие темпы продвижения 5-й гвардейской танковой армии. При форсировании Березины на борисовском направлении эта армия оказалась на линии или даже позади не только 2-го гвардейского танкового корпуса, но и целого ряда соединений общевойсковых армий. 1 июля, чтобы разбраться в положении вещей на месте, мы с командующим фронтом выехали на Березину. Беглый осмотр местности между реками Бобр и Березина свидетельствовал о напряженнейших боях, которые пришлось выдержать здесь танковой армии с 5-й танковой дивизией противника. Мосты у Борисова разрушены. Но некоторые восстанавливались и позволяли переправлять даже тяжелые танки. Стрелковые дивизии 11-й гвардейской армии К. Н. Галицкого уже форсировали реку и вели бои километрах в пятнадцати западнее. А 5-я гвардейская танковая армия, имея значительную часть танков на западном берегу, рассчитывала закончить переправу лишь в ночь на 2 июля и к исходу дня выйти к Острошицкому городку (восемнадцать километров северо-восточнее Минска). Я поставил Ротмистрову задачу к исходу 2 июля освободить Минск, а Черняховский тут же организовал пропуск через мост танков и самоходных орудий танковой армии вне всякой очереди. Действительно, первыми в столицу Белоруссии 3 июля ворвались танкисты. Но то были воины не 5-й гвардейской танковой армии, а 2-го гвардейского танкового корпуса А. С. Бурдейного. Как ни старался П. А. Ротмистров наверстать упущенное, его танкисты оказались в Минске позднее.

Третий вопрос, вплотную вставший передо мною к концу июня, касался дальнейшего развития Белорусской операции в целом. Еще 29 июня во время беседы с Вер-

ховным Главнокомандующим по телефону я высказал уверенность в том, что в ближайшие дни Баграмян освободит Полоцк и Лепель, а Черняховский — Борисов и затем Минск; значительная часть 4-й немецкой армии неминуемо должна попасть в окружение. В связи с этим необходимо немедленно приступить к подготовке нового этапа операции, с тем чтобы, исходя из ранее намечавшегося Ставкой плана, не допустить образования в Белоруссии вновь сплошного фронта врага, незамедлительно развивать дальнейшее наступление войск I Прибалтийского и Белорусских фронтов, окончательно очистить территорию Белоруссии от фашистов; приступить к освобождению Прибалтики и выходом войск на побережье Балтийского моря поставить под угрозу полной изоляции и окружения фашистскую группу армий «Север» и вывести наши войска к границам Восточной Пруссии и Польши. При этом значение I Прибалтийского фронта в операции резко возрастало, а потому настало время передать ему из резерва Ставки 2-ю гвардейскую и 51-ю армии. В том же разговоре я высказал предложение немедленно начать активные действия стоявших в обороне к востоку от Опочки и Себежа войск II Прибалтийского фронта. Иначе разрыв между Прибалтийскими фронтами с каждым днем резко увеличивался. Я предложил передать действовавшую на северном берегу Западной Двины 4-ю ударную армию из I Прибалтийского во II. Верховный согласился. Около 24 часов 27 июня Генеральный штаб поставил командующего I Прибалтийским фронтом Баграмяна в известность о том, что решением Ставки 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Н. Г. Чанчибадзе с 7 июля в районе Витебска поступит в его распоряжение. I Прибалтийскому были переданы также 51-я армия генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера и из III Белорусского фронта — 39-я армия генерал-лейтенанта И. И. Людникова. Эта сдвижка армий с юга на север затронула все фронты данного направления. I Белорусский передавал II Белорусскому 3-ю армию генерал-полковника А. В. Горбатова, а II Белорусский III Белорусскому — 33-ю армию генерал-лейтенанта В. Д. Крюченкина (с сентября — генерал-лейтенанта С. И. Морозова). Соответственно из I Прибалтийского во II Прибалтийский уходила 4-я ударная армия генерал-лейтенанта П. Ф. Малышева, а из II в III Прибалтийский — 1-я ударная генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева...

После того как гитлеровские войска генерал-фельдмаршала Моделя не сумели задержать наши войска на Березине, он попытался организовать оборону восточнее белорусской столицы на линии Долгиново—Логойск—Смоленск—Червень. Сюда, как и на Березину, фашистское командование перебрасывало войсковые соединения с других участков советско-германского фронта и из оккупированных стран Европы, а также охранные и специальные части группы армий «Центр». Однако затормозить продвижение наших армий они не смогли. Обходя опорные пункты противника лесами и болотами с помощью проводников из партизан, войска III и I Белорусских фронтов все ближе подступали к Минску, 3-й гвардейский механизированный корпус, форсировав реку Вилию, захватил вместе с партизанами Вилейку и отрезал врагу пути отступления на северо-запад. Танкисты 5-й гвардейской танковой армии вышли к истокам Свислочи, закрывая пути на север. Войска 11-й гвардейской и 31-й армий ворвались с востока в Смоленичи. С юга стремительно продвигались войска I Белорусского фронта. Они захватили Столбцы, Несвиж и перерезали железную дорогу на Барановичи, 3 июля войска III и I Белорусских фронтов встретились в центре Минска. Восточнее, теснимые войсками II Белорусского фронта, оказались в очередном котле основные силы группы армий «Центр». Там находились отступившие от Могилева войска 4-й немецкой армии, остатки разбитых под Витебском, Оршей и под Бобруйском 3-й и 9-й танковой армий. Яростные попытки неприятельских войск вырваться из окружения в юго-западном, южном и северном направлениях стоили им огромных жертв, но оказались безуспешными. Первоначально задачу ликвидации этой группировки врага Ставка возложила на войска II и 31-ю армию III Белорусских фронтов, а в дальнейшем — на 33-ю и 31-ю армии с передачей 33-й армии из II в III Белорусский фронт. 12 июля враг полностью капитулировал. Около 38 тысяч гитлеровцев было взято в плен, а также вся техника, снаряжение и тылы 4-й немецкой армии. В плен попали 11 генералов — командиров корпусов и дивизий и большая группа офицеров.

5 июля я посетил Минск. Впечатление у меня осталось крайне тяжелое. Город был сильно разрушен фашистами. Из крупных зданий враг не успел взорвать только

дом белорусского правительства, новое здание ЦК КПБ, радиозаваода и Дом Красной Армии. Электростанция, железнодорожный вокзал, большинство промышленных предприятий и учреждений были взорваны. Я внимательно, насколько позволяло время, ознакомился с работой инженерных войск. Они стремились как можно быстрее разминировать город. Железные, шоссейные и значительная часть грунтовых дорог, особенно дороги от Минска на Раков и далее, на Воложин, были забиты брошенной врагом техникой.

16 июля через Минск под восторженные возгласы горожан прошли, гордо печатая шаг, победным маршем партизаны, счастливые от встречи с родным городом.

Столица Белоруссии снова стала свободной. Это был праздник не только советского народа, но и всех борцов против фашизма.

Освобождением Минска и Полоцка завершился первый этап борьбы за Белоруссию. Стремясь использовать выгодно сложившуюся для нас обстановку, 4 июля Верховное Главнокомандование в директиве уточняло дальнейшие задачи фронтов.

I Прибалтийскому фронту (6-я гвардейская, 43-я, 39-я, 2-я гвардейская и 51-я армии) надлежало развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Свенцяны, Каунас, имея ближайшей задачей не позднее 10—12 июля овладеть рубежом Двинск—Нов. Свенцяны—Подбродзе; в дальнейшем, прочно обеспечивая себя с севера, наступать на Каунас и частью сил на Паневежис, Шяуляй. В директиве Ставки предусматривалось передать 4-ю ударную армию из I в состав II Прибалтийского фронта с 24 часов 4 июля, хотя срок для перехода в наступление остальных войск фронта А. И. Еременко в директиве Ставки указан не был. Войска III Белорусского фронта должны были развивать наступление, нанося главный удар на Молодечно, Вильно, и не позже 10—12 июля освободить Вильнюс, Лиду и, выйдя на Неман, захватить плацдармы на его западном берегу. Войскам II Белорусского фронта была поставлена задача не позже 12—15 июля овладеть районом Новогрудок, выйти на реки Неман и Молчадь. В дальнейшем овладеть Волковыском и наступать в направлении Белостока. На войска правого крыла I Белорусского фронта возлагалось овладеть городами Барановичи и Лунинец и к 10—12 июля выйти на линию Слоним — р. Шара—Пинск. В дальнейшем войска фронта должны были наступать на Брест, захватить его и выйти на Западный Буг, обеспечив плацдарм на его западном берегу.

Итак, проводимая войсками фронтов операция получала еще более широкие масштабы. Фронты центрального стратегического направления еще в процессе завершения Белорусской операции приступили к очищению от врага Латвийской и Литовской союзных республик. В ходе этой операции советские войска вышли на Вислу и Нарев. Красная Армия начала изгнание фашистов с территории Польши. Советские воины до наступления осени перешагнули границу и с Восточной Пруссией. Тридцать лет прошло после того, как русские солдаты проходили здесь с тяжелыми боями на запад. И вот Восточная Пруссия снова услышала русскую речь. Однако теперь на запад шли уже не бесправные и малограмотные крестьяне, погибавшие на полях сражений за чуждые им цели. На запад шли бойцы великой Страны Советов, воины-освободители, борцы с фашизмом, несшие свободу народам Европы.

На первом этапе Белорусской операции решались задачи взламывания стратегического фронта вражеской обороны. Тогда необходимо было добиться окружения и скорейшей ликвидации основных группировок противника в районах Витебска, Орши, Бобруйска и Минска. Поэтому Ставка, организуя взаимодействие фронтов, направляла их удары главным образом по сходящимся направлениям. После осуществления этих задач встала проблема организации немедленного преследования неприятеля и еще большего расширения гигантского прорыва. Теперь Ставка потребовала от фронтов нанесения ударов уже по расходящимся направлениям. II и III Белорусские фронты, сражавшиеся в центре, получили приказ наступать на запад. Фланговые же фронты как бы разворачивали стратегический веер: I Прибалтийский наступал на северо-запад, а в дальнейшем и на север; I Белорусский — на юго-запад.

В начале июля 1944 года положение на фронтах было таким; 4-я ударная армия, освободив Полоцк, продвигалась вдоль железной дороги на Двинск (Даугавпилс). Там она и перешла в состав II Прибалтийского фронта. Я настойчиво просил Верховного Главнокомандующего тогда же указать этому фронту сроки перехода его в наступле-

ние. Но этого не сделала. Полагаю, что данное обстоятельство позволило руководству II Прибалтийского фронта действовать с некоторой прохладцей. А ведь обстановка для наступления оказалась весьма благоприятной. 6-я гвардейская, 43-я и 39-я армии I Прибалтийского фронта продвигались на Двинск и от озера Нарочь — на Свенцяны. Здесь же позднее ввели 2-ю гвардейскую и 51-ю армии. На северо-запад был повернут и 1-й танковый корпус. Южнее озера Нарочь действовали 5-я, 11-я гвардейские, 31-я (частично), 33-я (позднее), 5-я гвардейская танковая армии, 3-й гвардейский механизированный, 2-й гвардейский танковый и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса III Белорусского фронта. Через Сморгонь, Ошмяны и по верхним притокам Немана они наступали на Вильнюс и Лиду.

Поддерживая самую тесную личную и телефонную связь с И. Х. Баграмяном и И. Д. Черняховским, я продолжал координировать действия их войск, когда получил от Верховного Главнокомандующего указание в ближайшее время принять на фронте в удобном для меня месте главу военной миссии Великобритании в СССР генерала Эрроуза и главу военной миссии США генерала Дина. Как сообщил И. В. Сталин, цель их прибытия ко мне как к начальнику Генерального штаба Красной Армии состояла в том, чтобы подробно информировать меня о ходе операции американско-английских войск в Нормандии и непосредственно на фронте ознакомиться с развитием наступления советских войск в Белоруссии. Моя встреча состоялась в штабе III Белорусского фронта, в лесу, вблизи станции Красная: с Эрроузом 6 июля, с Дином несколькими днями позже. По договоренности с И. Д. Черняховским для них были организованы выезд на один из участков фронта и встреча с находившимися в распоряжении фронта немецкими генералами, захваченными в плен. В честь глав военной миссии Великобритании и США командующий фронтом дал обед. Мы обменялись мнениями о боевых действиях.

6 июля я вновь просил Верховного Главнокомандующего в разговоре по телефону об ускорении начала активных действий II Прибалтийского фронта. Выдвижение правого крыла I Прибалтийского фронта вдоль южного берега Западной Двины с каждым днем все более увеличивало и без того уже значительный его отрыв от левого крыла и тем более от главных сил II Прибалтийского фронта. Это вызвало необходимость привлекать дополнительные силы для обеспечения I Прибалтийского фронта с севера и в то же время не снимало угрозы для основной части его войск, наносивших удары в штыкском и каунасском направлениях, тем более что немцы все время усиливали свою группировку в районе Двинска, нависавшую с севера над армиями I Прибалтийского фронта, снимая для этого войска, стоявшие против III и II Прибалтийских фронтов. В тот момент правофланговая у Баграмяна 6-я гвардейская армия вела упорные бои перед Друей. Селения в этом районе неоднократно переходили из рук в руки. Я доложил Сталину также и о том, что для усиления правого фланга войск Баграмяна мы к 8 июля выводим на двинское направление 22-й стрелковый корпус и постараемся успеть к тому же сроку привести в порядок после трудных боев 1-й танковый корпус. Очередное наступление мы намечали начать 9 июля.

Верховный Главнокомандующий согласился с моими доводами и обещал определить сроки перехода II Прибалтийского фронта в наступление после переговоров с командующим этим фронтом А. И. Еременко.

В эти дни был решен вопрос о подключении к операции на севере войск не только II, но и III Прибалтийских фронтов, а на юге — I Украинского фронта. По решению Ставки II Прибалтийский фронт должен был перейти в наступление с рубежа Новоржев—Пустошка 10 июля, нанося удары на Резекне и совместно с войсками I Прибалтийского фронта на Двинск (Даугавпилс); III Прибалтийскому фронту предписывалось перейти в наступление 17 июля, прорвать оборону врага и овладеть Пскофом. Переход I Украинского фронта в наступление было решено начать 13 июля, с тем чтобы, используя успех I Белорусского фронта, нанести решительный удар по немецко-венгерским войскам, входившим в группу армий «Северная Украина», освободить от оккупантов западные районы Украины. Предусматривалось, что I Украинский фронт, взаимодействуя с левым крылом I Белорусского фронта, нанесет два одновременных удара: один — из района Луцка на Раву-Русскую, второй — из района Тернополя на Жлочев, Львов, Перемышль. Тогда же было принято решение, что на севере 26 июля

возобновит наступление Ленинградский фронт на нарвском направлении. Совместно с III Прибалтийским фронтом он будет развивать наступление на территории Эстонии.

В ночь на 10 июля во время телефонного разговора И. В. Сталин подтвердил мне, что с утра войска Еременко, выполняя указание Ставки, перейдут в наступление, а так как при этом они неизбежно должны будут тесно взаимодействовать с войсками Баграмяна, то в связи с этим, сообщил он, Ставка решила координацию действий войск II Прибалтийского фронта возложить также на меня. Действия войск II и I Белорусских и I Украинского фронтов координировал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

Таким образом, советские войска, претворяя в жизнь решения ГКО и Верховного Главнокомандования, в середине июля 1944 года развернули наступление на фронте от Балтики до Карпат. Успех в Белоруссии перерастал постепенно в успех всей нашей летней кампании, тем более что наступление в Финляндии, открывшее собой эту кампанию, близилось к победному финалу.

БОРЬБА ЗА ПРИБАЛТИКУ

Хотя возложенные на меня летом 1944 года функции координировать действия еще и II Прибалтийского фронта прибавили забот, я мог теперь больше бывать на I Прибалтийском фронте, так как согласовывал его действия с работой левого соседа — с войсками II Прибалтийского фронта.

На первых порах основное внимание командующего I Прибалтийским фронтом И. Х. Баграмяна было приковано к двинской группировке противника.

Под Двинском разгорелись кровопролитные бои. Взятие 4-й ударной армией 12 июля 1944 года Дриссы сразу же облегчило нам борьбу за Двинск. Сосредоточившийся там враг уже думал не о том, чтобы ударить с севера по флангу I Прибалтийского фронта, а об обороне города. Но взять Двинск и выполнить поставленные перед фронтом задачи мы сумели бы только в том случае, если войска I Прибалтийского фронта не были обязаны наступать одновременно в западном, северо-западном и северном направлениях.

Посоветовавшись с Баграмяном, я обратился в Ставку и попросил освободить I Прибалтийский фронт от нанесения главного удара левым крылом на Каунас и разрешить нам сосредоточить усилия на правом крыле, против Двинска, нацелив уже подходившие во фронт 51-ю и 2-ю гвардейскую армии в центр, на Паневежис и Шяуляй. Я выразил уверенность, что, развивая в дальнейшем этот удар на Ригу, можно быстрее и с меньшим риском расколоть здесь немецкую оборону, выйти к Балтийскому побережью, перерезать коммуникации из Прибалтики в Восточную Пруссию и отсечь группу армий «Север» от Германии. Кроме того, это неизбежно должно было сказаться на сопротивлении немецких 16-й и 18-й армий в целом, и тогда II и III Прибалтийским фронтам легче будет наступать из Псковской области в направлении Рижского залива.

Разговор состоялся в ночь на 12 июля, перед тем как я собирался перелететь на II Прибалтийский фронт. Выслушав меня, И. В. Сталин согласился с нашими предложениями, спросил, сколько времени потребуется фронту для подготовки удара, и потребовал ни в коем случае не прекращать наступления наличными силами. Удар с вводом новых сил договорились организовать не позднее 20 июля. Условились также, что левофланговая во фронте 39-я армия, нацеленная на Каунас, вернется в состав III Белорусского фронта. В связи с этим разграничительная линия между фронтами от Пабраде пройдет через Кедайняй в долину Шушве и к Жмудской возвышенности. Тем самым Южная Литва (Вильнюс, Каунас, Принеманье) поступала «в распоряжение» Черняховского как опорная территория для действий против Восточной Пруссии. I Прибалтийский фронт окончательно поворачивался на северо-запад, к Курляндии, и на север к Риге.

В том же донесении Верховному я предложил передать от Черняховского Баграмяну 5-ю гвардейскую танковую армию и 3-й гвардейский механизированный корпус. Ответ получил через два дня. Сталин сказал, что I Прибалтийский фронт усилен двумя хорошо пополненными и вооруженными 2-й гвардейской и 51-й армиями и 3-м гвар-

дейским механизированным корпусом, в который по моей просьбе срочно направляются танки. Если учесть, добавил он, что в наступление перейдут II, а затем и III Прибалтийские фронты, то у войск фронта Баграмяна есть все условия для успешного выполнения поставленных ему, хотя и сложных, задач. Поэтому танковую армию Верховный предлагал оставить у Черняховского. Таким образом, моя попытка доказать всю выгодность перехвата коммуникаций группы армий «Север» на шяуляйско-рижском или шяуляйско-лиепайском направлениях I Прибалтийским фронтом, усиленным 5-й гвардейской танковой армией, ни к чему не привела. И. В. Сталин сказал в заключение, что при необходимости это можно будет сделать и позднее, а пока нужно сделать все, чтобы выполнить поставленные задачи имеющимися силами. В соответствии с прежде принятым решением Баграмян передавал Черняховскому левофланговую 39-ю армию. В свою очередь, III Белорусский обязан был передать во II Белорусский фронт свой левофланговый 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Предусматривалось, что Черняховский будет наступать на Восточную Пруссию только с востока, а с юга пойдут войска Захарова.

Перелетев в войска II Прибалтийского фронта, я два дня знакомился с положением на месте. Они сражались на промежуточном оборонительном рубеже противника, прикрывавшем Опочку, Себеж и Освею. Прорывая хорошо подготовленную в инженерном отношении оборону врага, 10-я гвардейская армия генерал-лейтенанта М. И. Казакова и 3-я ударная армия генерал-лейтенанта В. А. Юшкевича, сосредоточив свои основные силы на внутренних флангах, развивали наступление на Резекне. 22-я армия генерал-лейтенанта Г. П. Короткова от Освейского озера продвигалась к озеру Рушоны, чтобы вместе со своими левыми соседями — 4-й ударной и 6-й гвардейской армиями — овладеть городом-крепостью (как его называли фашисты) Двинском. Пока я находился у Еременко, Казаков и Юшкевич успели выйти на реку Великую к северу и югу от Опочки, форсировали ее и перерезали шоссе на дорогу на Себеж. Тем не менее в ночь на 14 июля Верховный упрекнул меня за медленные темпы наступления войск II Прибалтийского фронта. Передав А. И. Еременко этот упрек и обсудив с ним меры, направленные на выполнение указаний Верховного, я возвратился на I Белорусский фронт, чтобы помочь Баграмяну осуществить перегруппировку войск и с 20 июля перейти в наступление. В частности, отдал 90 танков из числа направленных в мое распоряжение на пополнение 3-го гвардейского механизированного корпуса, который должен был нанести удар на Паневежис.

Однако фронтовая обстановка вынудила меня основное внимание направить на III Белорусский фронт, осуществлявший тогда Вильнюсскую операцию. Столица Советской Литвы Вильнюс являлся крупным укрепленным узлом немцев на подступах к Восточной Пруссии. Сюда, к железной дороге Вильнюс — Лида, отошла 3-я танковая армия генерал-полковника Г. Рейнгардта, потрепанная под Витебском, а затем пополненная войсками, переброшенными с других участков фронта. 7 июля 5-я армия III Белорусского фронта обошла Вильнюс с севера, через Шегалу пробилась к реке Вилии, перерезала у Евье (Венис) железную дорогу на Каунас и, отразив танковые контратаки противника, продолжила свой рывок к устью реки Швентойн. 5-я гвардейская танковая армия сковала вильнюсскую фашистскую группировку с фронта. 11-я гвардейская армия обошла Вильнюс с юга, прорвалась к Лентварису и Тракай и у Вилии соединилась с 5-й армией. Пятнадцатитысячная группировка врага оказалась в окружении. Наши войска немедля рванулись к Каунасу и Сувалкам. Все попытки гитлеровцев деблокировать окруженных успеха не имели. Тем временем 31-я армия взяла Лиду.

13 июля 1944 года старый Вильнюс встретил советские войска. Через ворота Аушрос и к Верхнему замку на горе Гедимина проследовали наши части и подразделения. Передовые соединения ушли на девяносто километров западнее, приближались к Неману. Армия Галицкого вела бои за Алитус, армия Глаголева долиной реки Меркис пробилась к Друскининкай, кавалерийский корпус Осликовского прощупывал позиции врага на окраине Гродно. Две 5-е армии — общевойсковая и гвардейская танковая — совместными усилиями ликвидировали запоздалую попытку фашистов спасти от капитуляции вильнюсский гарнизон. После этого войска 5-й армии устремились к Кошейдарам (Кайшядорис), а 5-ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова я

решил пополнить 100 танками «Т-34», надеясь использовать ее в действиях войск I Прибалтийского фронта.

До конца июля войска III Белорусского фронта вели бои за упрочение плацдармов на западном берегу Немана. Их уверенно поддерживала с воздуха авиация 1-й воздушной армии. Отлично проявил себя здесь 1-й отдельный истребительный авиаполк «Нормандия» под командованием майора Луи Дельфино, сформированный из французских патриотов и получивший наименование Неманский.

Последняя декада июля ознаменовалась рядом крупных успехов Красной Армии. Войска I Украинского фронта разгромили фашистскую группировку под Бродами, освободили Львов, Перемышль, Станислав, форсировали Вислу и захватили сандомирский плацдарм. Армии I Белорусского фронта форсировали Западный Буг, освободили Брест, Хелм и Люблин, затем вышли к Варшаве, форсировали Вислу и захватили магншевский и пулавский плацдармы. Войска II Белорусского фронта освободили Белосток. III Белорусский фронт подступил к Каунасу. Войска I Прибалтийского фронта овладели Паневежисом, Шяуляем, Митавой (Елгавой) и, совместно со II Прибалтийским фронтом, Двинском (Даугавпилсом), 3-й гвардейский мехкорпус сумел даже, хотя и ненадолго, прорваться долиной Лиелупе к Рижскому заливу. Войска II Прибалтийского взяли Режицу (Резекне) и подступили к Лубанской низменности. Здесь отличился 130-й латышский стрелковый корпус генерал-майора Д. К. Бранткална. Армии III Прибалтийского фронта овладели Островом, Псковом и приступили к освобождению Южной Эстонии; войска Ленинградского фронта взяли Нарву.

В условиях широчайшего наступления перед фронтами вставали новые задачи. После неоднократных бесед с представителями Ставки и командующими фронтами Верховное Главнокомандование дало фронтам частные директивы. Заложённая в них идея заключалась в том, чтобы еще до осени создать предпосылки окончательного освобождения Прибалтики и удара по Восточной Пруссии, упрочить положение в Польше и подготовиться к освобождению Закарпатской Украины. С этой целью 27 июля, то есть в разгар нашего продвижения, были даны следующие указания. Прибалтийские фронты обязывались нанести решающие удары по немецкой группе армий «Север». Армии Ленинградского фронта при этом должны были наступать через Северную Эстонию, громя фашистскую опергруппу «Нарва», на Таллин, Тарту и Пярну; армии III Прибалтийского фронта — через Южную Эстонию и Северную Латвию на Валгу и Валмиеру; армии II Прибалтийского фронта — через Видземскую возвышенность на Ригу с востока; армии I Прибалтийского фронта — от Шяуляя на Ригу с юга и левым крылом на Мемель (Клайпеду); Белорусские и I Украинский фронты — на Восточную Пруссию и продолжать освобождать Польшу. Предполагалось, что армии III Белорусского фронта, взяв Каунас, выйдут к рубежу Расейняй — Сувалки и там надежно закрепятся для подготовки к вступлению на территорию Восточной Пруссии с востока, а армии II Белорусского, нанеся основной удар на Ломжу, Остроленку, левым крылом продолжат наступление к Великопольской низменности, на Млаву, главными же силами прочно закрепятся, чтобы затем ударить по Восточной Пруссии с юга, через Мазурское поозерье. Армиям I Белорусского фронта предписывалось, подойдя к Варшаве и форсировав Вислу, нанести удар в северо-западном направлении, парализовать вражескую оборону по Нареву и Висле и планировать наступление на Торн (Торунь) и Лодзь. Армии II Украинского фронта после форсирования Вислы должны были овладеть Долиной, Дрогобычем и Саноким и, захватив перевалы в Восточных Карпатах, удерживать их, чтобы через Закарпатье выйти в Венгрию, предусматривая наступление на Ченстохов и Краков.

В связи с тем, что к наступлению подключались новые фронты, 29 июля директивой Ставки Г. К. Жукову поручалось не только координировать действия, но и руководить операциями II, I Белорусских и I Украинского фронтов; я должен был не только координировать действия, но и руководить операциями, проводимыми II и I Прибалтийскими и III Белорусским фронтами. Это была новая форма управления фронтами со стороны Ставки. Она осуществлялась несколько месяцев, и использование ее говорило о гибкости Верховного Главнокомандования. Меня опыт такой работы обогатил и весьма пригодился, когда я стал Главным командующим советскими войсками на Дальнем Востоке.

В то же время появились и другие директивы Ставки, направленные на совершенствование форм управления фронтами. 30 июля в Восточных Карпатах образовался IV Украинский фронт, ликвидированный после освобождения Крыма. В его задачу входило овладение Ужгородом, Мукачево и выход на стык Венгрии и Словакии. Командующим фронтом назначили генерал-полковника И. Е. Петрова. Теперь войска I Украинского фронта могли все внимание уделить освобождению Польши, затем двинуться на Моравию или Силезию. 2 августа II и III Украинские фронты получали указания ускорить проведение Ясско-Кишиневской операции. Таким образом, Красная Армия готовилась к наступлению от Балтики до Черного моря на всех направлениях и почти одновременно. Такая история второй мировой войны еще не знала.

Какая же сложилась обстановка на руководимых мною фронтах? К концу июля 1944 года передний край проходил (с севера на юг) в Латвии от озера Лубана к Екапилсу на Западной Двине (Даугаве), оттуда поворачивал на запад к реке Мемеле, затем резко изгибался к северо-западу и, охватывая Митаву (Елгаву), выходил к Рижскому заливу возле Кемери, там, не достигнув Тукумса, сворачивал на юг и через Латвию и Северную Литву шел мимо Добеле, Жагаре, Шяуляя к реке Шешувис, оттуда на восток, к реке Невежис, далее вел на юго-запад через Неман к железной дороге из Каунаса в Вирбалис, спускался на юг восточнее Сувалок и достигал реки Бебжа западнее Гродно. Такая извилистая линия фронта сама по себе таила возможности для взаимного нанесения фланговых ударов. Наиболее сложное положение создалось в том месте, где наши механизированные соединения прорвались к Рижскому заливу. Группа армий «Север» утратила сухопутные коммуникации, связывавшие ее с Германией. Северо-восточнее района прорыва оказались немецкие опергруппа «Нарва», 18-я и частично 16-я армии, западнее — другая часть 16-й армии, южнее — 3-я танковая и прочие армии группы «Центр». Между этими двумя группами армий находились теперь войска I Прибалтийского фронта.

Гитлеровское командование начало лихорадочно подтягивать соединения к левому фасу войск I Прибалтийского фронта, особенно к Тукумсу, Добеле и Шяуляю. 2 августа вечером я доложил Верховному Главнокомандующему, что для дальнейшего выполнения поставленных задач I Прибалтийский фронт нуждается в дополнительном и срочном усилении, и вновь напомнил о 5-й гвардейской танковой армии. Кроме того, я просил перебросить сюда хотя бы один корпус из 4-й ударной армии II Прибалтийского фронта, компенсировав последнюю двумя стрелковыми корпусами из резерва Ставки. И. В. Сталин обещал выполнить эти просьбы, и на следующий день А. И. Антонов сообщил, что соответствующее решение принято. При этом танковую армию предусматривалось вывести к Расейняй и ударом на северо-запад, к Кельме, разбить немецкую группировку, сосредоточенную западнее Шяуляя. Еще через два дня Ставка разрешила вернуть на I Белорусский фронт со II Прибалтийского фронта 4-ю ударную армию в составе двух корпусов. Третий корпус направили на усиление 22-й армии II Прибалтийского фронта.

Армии III и II Прибалтийских фронтов наступали на Ригу по сходящимся направлениям. Первый начал на своем правом крыле Тартускую операцию, продвигаясь левым крылом вдоль эстонско-латвийской республиканской границы. Второй 13 августа занял Мадсну; до Риги по прямой ему осталось менее ста пятидесяти километров. В тот же день я направил в Ставку доклад, согласованный с Военным советом I Прибалтийского фронта, в котором обобщил данные нашей разведки, итоги последних боев и сообщил о создании врагом оборонительного рубежа по реке Мемеле. Нам стало известно, что там развернуто до 7 пехотных немецких дивизий, а в лесах южнее Риги сосредоточивается группировка войск для наступления с севера на Митаву (Елгаву). В то же время западнее Шяуляя зафиксировали другое скопление противника. Не исключалось, что враг попытается расщепить с двух сторон клин, вбитый нами в сторону Рижского залива. Чтобы помешать этому, мы предложили усилить 4-ю ударную армию, которая должна наступать от Крустпиаса вдоль Даугавы на Ригу, а также 6-ю гвардейскую армию, направив ее наперерез вражеской группировке; 43-ю армию мы предложили развернуть правее 51-й армии, организовав прочную оборону по реке Мемеле, уплотнить боевые порядки 51-й армии в районе Митавы, создав там недоступную для танков и пехоты оборону по реке Лиелупе и превратив этот район в мощный укрепленный узел. 3-й

гвардейский механизированный корпус мы намеревались держать наготове для нанесения контрударов в направлении всех трех железных дорог, идущих из Митавы в Лиепайскую область; силами 2-й гвардейской армии и 1-го танкового корпуса прикрывать Шяуляй, превратив его в сильный укрепленный район. Все наши предложения Верховный утвердил.

16 августа противник нанес по нашим войскам удар шестью танковыми, одной моторизованной дивизиями и двумя танковыми бригадами из Курляндии и из Жмуди. Удар под Шяуляем мы отразили, но под Тукумсом врагу удалось отеснить войска I Прибалтийского фронта от Рижского залива и восстановить сухопутную связь с группой армий «Север». Так образовался шедший через Ригу вражеский коридор шириною до пятидесяти километров. Возник почти тысячекилометровый оборонительный рубеж фашистов, протянувшийся от Нарвского залива к Чудскому озеру, от Тарту к озеру Выртсъярве, оттуда на юг до реки Гауя, по ее верхнему течению, через Видземскую возвышенность, мимо Плявиняса к реке Мемеле. Далее следовал изгиб на северо-запад, к Митаве и Добеле, откуда линия фронта спускалась на юг через Жмудь к восточнопрусской границе. Вот максимум того, чего добился здесь противник во второй половине августа.

В начале осени 1944 года мы могли подытожить наши летние достижения. Фашистскую коалицию постигли новые сокрушительные удары. В результате поражения финских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии Финляндия 5 сентября вышла из войны. Поражение румынских войск и вспыхнувшее затем в Румынии восстание заставило румынских правителей заявить 23 августа о выходе из войны и через два дня объявить войну Германии. 8 сентября вышла из войны Болгария, в тот же день объявившая войну Германии. В центре советско-германского фронта наши войска стояли перед Восточной Пруссией, на Висле и в Карпатах. Вооруженные силы Германии понесли невосполнимые потери.

Летняя кампания 1944 года явилась ярким примером суммы стратегических операций, сильнейшей из которых была Белорусская. Эта единая стратегическая задача решалась несколькими фронтами, а их локальные задачи определялись с таким расчетом, чтобы осуществление их на одном этапе создавало выгодные условия для проведения новых операций. Под руководством и при участии Генерального штаба, представителей Ставки, Военных советов фронтов, командования видов Вооруженных Сил и родов войск, главных и центральных управлений Наркомата обороны был разработан принятый Ставкой план проведения Белорусской операции. Ставка, Верховный Главнокомандующий с неослабным вниманием следили за ее ходом от начала и до конца. Нельзя отрицать, что ее успех, стремительное наступление наших войск, непрерывное наращивание силы их ударов по врагу во многом зависели от своевременного и правильного подключения Ставкой в сражение соседних фронтов, от хорошо организованного взаимодействия войск всех фронтов, участвовавших в операции, наконец, от твердости, настойчивости со стороны Верховного Главнокомандования, неизменно ощущаемых Военными советами и войсками фронтов.

Победа в Белоруссии явилась победой не одной Красной Армии, а всего советского народа. Снабдив Красную Армию первоклассной боевой техникой, боеприпасами, снаряжением, горючим, продовольствием, труженики советского тыла тем самым обеспечили исторический успех и самой операции. Вдохновителем же и организатором этой новой победы была, как и прежде, Коммунистическая партия. Политико-воспитательное значение партийной агитации и пропаганды, нацеленность лозунгов и призывов, авангардная роль коммунистов в бою — все это пронизывало фронтовую жизнь, воинские будни. Ни на один день не терялась также связь фронтов со Ставкой, которая тщательно вникала в ход событий и, если в том была необходимость, тотчас реагировала на принципиальные изменения в обстановке, немедленно фиксировала и исправляла промахи фронтового руководства и своих представителей. Чтобы не быть голословным, приведу несколько документов, относящихся ко второй половине 1944 года.

6 июля Ставка направила командующим I Прибалтийским и Белорусскими фронтами (в копии — Жукову, мне и командующим остальных фронтов) директивное письмо, содержащее анализ недостатков в управлении войсками.

Прежде всего отмечалось, что вследствие нарушения порядка передислокации штабов и командных пунктов, заключающегося в том, что они не организуют предварительно связи с подчиненными и высшими штабами на новом месте, теряется управление войсками, штабы в течение длительного времени не знают обстановки.

Отсутствие организованного руководства и комендантской службы при прохождении войсками дефиле и переправ, говорилось далее, приводит к перемешиванию частей, скоплению войск и к потере времени.

Как крупный недостаток отмечалось отвлечение главных сил для решения второстепенных задач, что замедляет темп наступления. В ряде случаев наблюдается беспечность со стороны командиров соединений и штабов, которые, продвигаясь вперед, не заботятся о разведке и охране.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывала командующим войсками фронтов и армий принять решительные меры к устранению отмеченных ошибок и о принятых мерах донести в Генштаб³. 10 июля в письме Ставки командующему II Прибалтийским фронтом говорилось о недочетах в его боевом приказе от 6 июля 1944 года: «...а) 22-я армия вместо свертывания обороны к своему левому флангу и взаимодействия с 4-й ударной армией наносит изолированный удар на Освея; б) Артиллерийские дивизии не используются на одном участке прорыва, как это Вам было указано Ставкой; в) Задачи, поставленные войскам на первый день операции, нереальны, пехота должна в первый же день пройти от 50 до 80 км, что невыполнимо». Затем следовали заново сформулированные задачи по 22-й армии: нанести удар в общем направлении на Клэстицы, Кохановичи, разрушить оборону противника в районе озера Нецердо и содействовать продвижению 4-й ударной армии. Обе артиллерийские дивизии должны были использоваться на участке прорыва 10-й гвардейской и 3-й ударной армий. Всем войскам ставились выполнимые задачи⁴.

В тот же день Ставка направила письмо командующему I Украинским фронтом: «1. Танковые армии и конно-механизированные группы использовать не для прорыва, а для развития успеха после прорыва. Танковые армии, в случае успешного прорыва, ввести через день после начала операции, а конно-механизированные группы через два дня после начала операции, вслед за танковыми армиями. 2. На первый день операции поставить пехоте посильные задачи, так как поставленные Вами задачи безусловно завышены»⁵.

Изучив решение руководства I Украинского фронта в связи с форсированием реки Сан и продвижением к Висле и в западных областях Украины, Ставка дала следующее указание: «Ставка Верховного Главнокомандования считает Ваш план использования танковых армий и кавкорпусов преждевременным и опасным в данный момент, поскольку такая операция не может быть сейчас материально обеспечена и приведет только к ослаблению и распылению наших ударных группировок. Исходя из этого, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает в первую очередь разгромить львовскую группировку противника и не допустить ее отхода за р. Сан или на Самбор». Далее шли конкретные рекомендации по использованию 1-й и 3-й гвардейских и 4-й танковой армий, 3-й гвардейской и 60-й общевойсковой армий, 1-го и 6-го гвардейских кавалерийских корпусов⁶.

Хочется привести еще несколько документов, убедительно показывающих активное вмешательство Ставки в распоряжения командующих фронтами.

10 сентября командующий Ленинградским фронтом получил следующее указание: «Ставка считает неосновательным Ваш доклад как о резком ухудшении обстановки в районе Тарту, так и о нарушении в связи с этим плана предстоящей операции. Противник имеет на всем фронте в 70 км от Чудского озера до оз. Вьрто-Ярве всего две пехотные дивизии, 8—9 отдельных потрепанных полков и боевых групп и 50—60 танков... Ставка приказывает: 1. Прекратить ненужную переписку и заняться подготовкой войск к предстоящей операции». Далее давались советы о порядке действий⁷.

³ Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 36, лл. 397—398.

⁴ Там же, лл. 399—400.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же, д. 37, лл. 39—40.

В каждой директиве фронтам Ставка точно фиксировала положение дел, обосновывая свое согласие или несогласие с решением командования. «Перегруппировка и действия войск фронта ведутся крайне медленно; ни на одном из направлений не созданы ударные группы для разгрома немецких войск, уже начавших на некоторых участках отход,— говорилось в директивном письме командующему Карельским фронтом от 10 сентября 1944 года.— На кандалакшском и кестеньгском направлениях наши войска втягиваются во фронтальные бои с частями прикрытия противника и позволяют ему планомерно отходить, вместо того чтобы отрезать пути отхода и разбить его... Прошу 10 сентября донести конкретный план действий войск правого крыла фронта с указанием группировок, порядка действий, рубежей и сроков их достижения по каждому направлению в отдельности»⁸.

Контролируя действия IV Украинского фронта, недавно развернувшегося в Карпатах, Ставка писала его командующему 17 сентября: «1. Направление наступления главной группировки фронта Вами значительно отклоняется к востоку, в результате чего теряется взаимодействие с 38-й армией I Украинского фронта. Основным направлением наступления иметь Команьча, Гуменне, Михальовец. 2. Взаимодействие с 38-й армией I Украинского фронта осуществлять постоянно, а не относить его на период после преодоления главного хребта. Возможности для такого взаимодействия имеются, и отказываться от него неправильно»⁹.

11 ноября, рассматривая положение в Закарпатье и Словакии, Генеральный штаб писал командующему IV Украинским фронтом (в копии — представителю Ставки С. К. Тимошенко): «В связи с тем, что Вами выведено в резерв армий и фронта уже более половины всех имеющихся у Вас стрелковых дивизий, становится непонятным, как Вами мыслится проведение утвержденной Ставкой операции. Даже до вывода этих дивизий из первой боевой линии поставленная Вами задача выполнена не была. Прошу срочно сообщить, как Вы рассчитываете выполнить задачу при существующем положении»¹⁰.

А через три дня в тот же адрес шла новая директива: «Количество дивизий, используемых Вами для наступления, недостаточно для решения задачи выхода на рубеж Медзилабарце, Гуменне, Михальовец. Ставка... расценивает вывод Вами почти половины дивизий в резерв фронта и армий как стремление считаться только с интересами своего фронта, не заботясь о положении соседа и общих интересах». После изложения этих фактов в директиве перечислялись меры, которые надлежало принять командованию для исправления положения¹¹.

Такой стиль руководства фронтами был характерен и для Генштаба. Так, подводя итоги, доложив их в Ставку и получив ответы на свои выводы, Генеральный штаб направил 30 ноября командующим Белорусскими и I Украинским фронтами (копии — командующим бронетанковыми и механизированными войсками, военно-воздушными силами, кавалерией Красной Армии) следующее письмо: «В летних операциях 1944 года отмечены следующие основные недочеты в организации взаимодействия подвижных войск (танковых, механизированных и кавалерийских соединений) с авиацией при действиях их в оперативной глубине: 1. Несогласованность во времени ударов по противнику подвижных войск и авиации. 2. Запаздывание вылетов авиации по вызову командиров подвижных соединений. 3. Недостаточноекрытие подвижных соединений с воздуха (на месте и в движении) средствами авиации.

В целях устранения недочетов в организации взаимодействия подвижных войск с авиацией Верховный Главнокомандующий приказал: 1. Проработать вопросы взаимодействия подвижных соединений с авиацией по опыту операций, проведенных войсками фронта. 2. Под руководством начальника штаба фронта провести командно-штабное учение командиров и штабов подвижных и авиационных соединений по отработке практических вопросов взаимодействия между ними. 3. О времени проведения учений и об итогах их донести в Генштаб»¹².

⁸ Там же, ф. 48-А, оп. 1795, д. 14, л. 216.

⁹ Там же, ф. 132-А, оп. 2642, д. 37, лл. 49—50.

¹⁰ Там же, ф. 48-А, оп. 1795, д. 15, л. 334.

¹¹ Там же, ф. 132-А, оп. 2642, д. 37, лл. 107—108.

¹² Там же, ф. 48-А, оп. 1795, д. 16, лл. 75—76.

Ставка особенно обстоятельно излагала свои доводы, когда ее предложения не совпадали с решениями командующих фронтами. Вот один из примеров.

Руководство II Украинского фронта в связи с перевооружением истребительно-противотанковых артбригад высказалось за то, чтобы рассредоточить батареи 100-миллиметровых пушек по полкам. 29 декабря 1944 года Ставка в письме командующему фронтом (копия — Главному маршалу артиллерии Н. Н. Воронову) отмечала: «Считаем неправильным Ваше предложение о том, чтобы не иметь полковой организации 100 м/м пушек внутри противотанковой артиллерийской бригады, а иметь лишь отдельные батареи этих пушек, разбросанные по полкам бригады. Во-первых, Ваше предложение учитывает лишь условия ведения оборонительного боя при отсутствии у противника большого количества тяжелых танков и самоходов, что бывает довольно редко; но оно совершенно не учитывает танковых контратак противника при наступлении, когда нам выгоднее массированное использование 100 м/м пушек, собранных в кулак в виде полка.

Во-вторых, в организационном отношении, в интересах учебы и материального обеспечения также выгоднее 100 м/м пушки иметь в одном полку бригады, а не расплывать их побатарейно во все полки бригады. В-третьих, в случае необходимости батареи 100 м/м пушек могут временно выделяться на усиление других полков бригады, с тем, однако, чтобы у них был готовый хозяин в виде командира полка и его штаба, способного в случае необходимости вновь собрать батареи в полк и массированно использовать их. В силу этого Ставка отклоняет Ваше предложение».

Я мог бы привести здесь сотни других таких же документов, свидетельствующих о роли Ставки и Верховного Главнокомандующего в руководстве фронтами. На мой взгляд, Верховный Главнокомандующий как организатор и руководитель действий наших войск был на высоте.

Вернусь к событиям, происходившим в Прибалтике.

Прибалтийская стратегическая операция включала в себя четыре фронтовые: Рижскую (с 14 по 27 сентября), Таллинскую (с 17 по 26 сентября), Моонзундскую (с 30 сентября по 24 ноября) и Мемельскую (с 5 по 22 октября). 29 августа меня освободили от руководства операциями III Белорусского фронта и поручили мне все три Прибалтийских фронта. Но с 30 сентября мне снова поручили руководство III Белорусским и I Прибалтийским фронтами, а руководство II и III Прибалтийскими возложили на командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова. 16 октября мне добавили II Прибалтийский, вобравший в себя войска из расформированного III. За Говоровым оставили только Ленинградский фронт. 8 ноября, чтобы я мог сосредоточить все внимание на Прибалтике, командующий III Белорусским фронтом был непосредственно подчинен Ставке. А зимой 1944/45 года Прибалтийские фронты снова были отданы Говорову, и т. д. Практически же до самого Нового года я почти не покидал Прибалтику, всецело занятый ее делами. Отлучался только для участия в разработке новых стратегических операций.

Осенью наши войска в Прибалтике, перегруппировываясь и пополняясь, готовились к разгрому немецкой группы армий «Север». 26, 29 августа и 2 сентября Ставка направила фронтам директивы. Карельскому, Ленинградскому, всем Белорусским, I и IV Украинским предписывалось перейти к жесткой обороне. На севере и в центре мы перед очередным рывком вперед решили переждать. Наступательные задачи ставились фронтам Прибалтийским, II и III Украинским. Войска III Украинского фронта через Плоешти и Бухарест выходили к Дунаю, а правым крылом — через Трансильванию к Восточным Карпатам. Войска IV Украинского должны были овладеть Северной Добруджей. Спустя несколько дней войска II и IV Украинских фронтов получили частные задачи продвигнуться через Команьчу и Прешов, соединиться со словацкими повстанцами и помочь антифашистскому восстанию в Банска-Бистрице.

Боевые действия в Прибалтике почти не затихали. Ленинградский фронт пока не мог сломить лобовым ударом фашистскую оборону на реке Нарве. Поэтому Говоров, получив для усиления два стрелковых корпуса и укрепленный район из III Прибалтийского, должен был перебросить одну армию через чудско-псковскую озерную горловину и от Тарту ударить на север, в ракверском направлении, чтобы угрожать с тыла нарвской группировке врага. II Прибалтийский во взаимодействии с III и I наносил главный удар на Ригу, а правым крылом — на Азербене, навстречу III Прибалтийскому

фронту. Таким образом, войска III и II Прибалтийских фронтов должны были расщепить группу армий «Север». Им удалось сделать это частично. Основную массу своих сил немцы, откатываясь под ударами Ленинградского и двух северных Прибалтийских фронтов, увели в район Риги и на Курземский полуостров.

I Прибалтийский фронт, которому я пока по-прежнему уделял главное внимание, получил задание в течение двух недель измотать в оборонительных боях фашистскую танковую группировку, не позволить ей прорваться у Митавы и Шяуляя и помешать врагу расширить прибрежный коридор из Курляндии в Лифляндию. Правое крыло войск I Прибалтийского фронта должно было, взаимодействуя с армиями двух остальных фронтов, разгромить группировку противника севернее Западной Двины и помешать ее отходу в Лиепайскую область. Для каждой армии предусмотрели оперативные направления и сформировали танково-механизированный кулак — «рижский экспресс».

Общее наступление должно было начаться 14 сентября. Четырем нашим фронтам противостояли на участке от Немана до эстонского побережья свыше 700 тысяч вражеских солдат и офицеров (56 дивизий и 3 бригады), около 7 тысяч орудий и минометов, более 1216 танков и штурмовых орудий, до 400 боевых самолетов. С нашей стороны действовали 900 тысяч человек, до 17 500 орудий и минометов, более 3 тысяч танков и САУ, свыше 2600 самолетов (вместе с авиацией дальнего действия и морской — около 3500 самолетов). С моря операцию поддерживал и участвовал в ней Краснознаменный Балтийский флот.

Перед началом боевых действий я побывал в войсках, убедился в их готовности и отличном настроении.

В середине сентября забушевала с нарастающей силой стальная метель. 18-го я докладывал в Ставку: «На фронте 6-й гвардейской армии Чистякова к юго-западу от Добеле противник с утра 17.9 повел наступление в восточном направлении силами 5-й, 4-й танковых дивизий и моторизованной дивизии «Великая Германия». Всего в бою принимало участие около 200 танков и самоходных орудий. До подхода к району действий с нашей стороны необходимых танковых и противотанковых средств противнику удалось вклиниться в нашу оборону от 4 до 5 км. Дальнейшее продвижение противника приостановлено. За день боя подбито и сожжено до 60 танков и самоходных орудий противника... С 10.00 18.9 противник возобновил наступление. До 13.00 все его атаки отбиты»¹³. Мы бросили навстречу врагу 1-й и 19-й танковые корпуса генерал-лейтенантов танковых войск В. В. Буткова и И. Д. Васильева и на всякий случай приготовили еще 5-ю гвардейскую танковую армию. Ее прежний командующий П. А. Ротмистров был назначен заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии, и теперь армию вел в бой генерал-лейтенант танковых войск В. Т. Вольский, мой давний знакомый по Сталинградской битве. Прибалтика явилась новой ступенью его военной карьеры, и в октябре того же года он получил звание генерал-полковника.

Отражая яростный штурм врага, мы на два дня задержали удар 51-й армии Я. Г. Крейзера на Тукумс. Тем временем войска II и III Прибалтийских фронтов очищали от фашистов Рижскую область. Но продвигались они очень медленно. Мы решили дать им в помощь для действия вдоль Рижского шоссе 61-ю армию генерал-полковника П. А. Белова. Войска III и II Прибалтийских фронтов приближались к Сигулде — вражескому оборонительному рубежу в семидесяти километрах от Риги. Между тем на участке немецкой 3-й танковой армии в Клайпедской области, как установила разведка, находилось не более 8 фашистских дивизий. Остальные бросили под Митаву, на выручку группы армий «Север», в состав которой 3-я танковая армия только что вошла. Получив соответствующее донесение, Ставка приняла решение перенести главный удар на мемельское направление. 24 сентября мы немедленно начали перегруппировку войск, в результате которой резко усиливалось левое крыло I Прибалтийского фронта. Под Шяуляй были собраны крепкие танковые и общевойсковые силы для удара на Палангу, Мемель (Клайпеду) и устье Немана.

Вместе с Военным советом I Прибалтийского фронта мы разработали план этой операции: она должна была осуществляться на глубину в сто тридцать километров, с

¹³ Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1795, д. 449, лл. 775—780.

прорывом шести оборонительных рубежей противника. Войска фронта выходили к Восточной Пруссии с севера. 30 октября Ставка, опираясь на наш план, приказала командующим I Прибалтийским и III Белорусским фронтами готовить наступательную операцию по овладению северной частью Восточной Пруссии. 5 октября началась Мемельская операция. Таким образом, мы опередили врага, который намечал в середине октября организовать контрнаступление под Ригой. Через пять дней, ломая отчаянное сопротивление гитлеровцев, общевойсковые и танковые объединения и соединения I Прибалтийского фронта вышли к Балтике севернее и южнее Мемеля. Группа армий «Север» вторично, и на этот раз окончательно, была отрезана от Германии.

15 октября вновь стала свободной советская Рига. Избежавшие разгрома 38 вражеских дивизий оказались в «курземской изоляции», прижатые к морю в районе от реки Барта до Тукумса, и еще три дивизии — в Мемеле. В распоряжении группировки находились такие порты, как Мемель (Клайпеда), Лябава (Лиепая), Павилоста, Виндава (Вентспилс), Мазирбе и Мерсраг. Но после Моонзундской операции мы с острова Эзель (Сааремаа) контролировали движение с Мазирбе и Мерсрага. Под ударами кораблей Балтийского флота и его морской авиации находились коммуникации и к остальным портам. Активно действовали с суши самолеты 13-й, 14-й, 15-й и 3-й воздушных армий (командующие — генерал-лейтенанты С. Д. Рыбальченко и И. П. Журавлев и генерал-полковники Н. Ф. Науменко и Н. Ф. Папивин), а также авиации дальнего действия. Не многим вражеским солдатам и офицерам удалось выбраться с Курземского полуострова. Надежно заблокировав вражеские войска, мы не тратили на них пороха, не несли жертв; предоставили их самим себе, пока группировка не капитулировала.

После 16 октября расформировали III Прибалтийский фронт. Его войска частично передавались II Прибалтийскому, частично выводились в резерв Ставки. Одновременно мне пришлось планировать вместе с командованием двух других Прибалтийских фронтов и Балтийского флота частные операции против изолированного противника. Начиная с декабря I Прибалтийский стал активно помогать III Белорусскому фронту в боях на Немане. 13 января 1945 года оба Прибалтийских фронта перешли к жесткой обороне.

Осенью и зимой на Балтийском побережье не очень приветливо. Зима 1944/45 года там выдалась особенно холодной и сырой, часто бушевал шквальный ветер. Но для наших войск он был попутным...

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛИТВИНОВ



ПОСТИЖЕНИЕ

Нравственный аспект рабочей темы

В книгах Вадима Кожевникова — неизменное переплетение двух, пожалуй, самых острых тем современной литературы: темы военной и темы рабочей. В его индустриальных повестях всегда услышишь эхо сражений, фронт же писатель изображает как огромный горячий цех, где труженики войны решают свою производственную задачу часто ценой собственной жизни.

Новое произведение Кожевникова «В полдень на солнечной стороне», опубликованное журналом «Молодая гвардия», интересно прежде всего как роман на рабочую тему. Однако тон повествованию задает все-таки война.

Да какая война! То ли компенсируя некоторый рационализм «Петра Рябинкина» — своей последней военной повести, то ли вспомнив драматические времена «Марта — апреля», Кожевников пишет картины поистине кровавые — страшные увечья, зияющие раны; попавшего во вражеский плен советского разведчика гитлеровцы привязывают к стулу и расстреливают «по частям» — сначала раздробили пулей ногу, потом руку. И смерти, смерти — на каждой странице.

Трагична история о том, как лейтенант Петухов сопровождал во вражеский тыл радистку, которая должна наладить связь с партизанами. Они летят в самолете, за которым вскоре увязывается «мессер», сбивает их, они плюхаются в болото. Придя в себя, Петухов находит летчика на месте — тот упирался лбом в приборную доску, ручка управления пронзила ему грудь насквозь, нелепо оттопырив на спине комбинезон.

Радистка же была всего только без сознания. Когда Петухов стал приводить ее в чувство, она вдруг проговорила слабо: «Убери руки, не лапай». Он заставил ее раздеться на крыле тонущего самолета и плыть в ледяной болотной жиже до твердой земли. В какой-то момент она было уже захлебнулась, но Петухов все-таки не дал ей утонуть. Пять дней потом он тащил ее по лесу на волокуше из двух жердей, — на берегу радистка свалилась с воспалением легких. Жизнь в ней чуть теплилась, и Петухов, чтобы привести девушку в чувство, то обращался к ней со страстными речами, то крестил непечатно и даже стрелял у ее уха из пистолета, он дул ей в рот, менял взмокшее белье и сушил на себе.

Когда они все же добрались до партизанского охранения, вид у Петухова был ужасный — рваное исподнее, содранные ладони, лицо, изъеденное комарами и гнусом; словно контуженный, он не в состоянии был произнести и двух слов.

Потом он и она будут не раз возвращаться в мыслях ко всем этим страстям — как там было, что он сказал, что она, как подумалось, почувствовалось, каждая малая деталь: она поцеловала летчика в мертвые губы, потом Петухов оттирал с нее, с голой, болотную слизь своей рубашкой, а в партизанской землянке, едва ступив на порог, в полубреду, она стала налаживать радицию....

Будут возвращаться не только потому, что перенесли столько бед, но и потому, что там родилась их фронтная любовь — связистки Сони и лейтенанта Петухова.

А любовь эта как началась нескладно, так и продолжалась, в ссорах и «принци-

пах» — оттого, что встретились два колючих и самолюбивых характера, и еще оттого, что война мало приспособлена для любви и всего такого. Нужно сказать, что Петухов внешне (как и положено героям Кожевникова) был парнем неказистым, даже жалковатым — бесцветные глаза и скулы углами, а усы такие редкие, что один вышестоящий начальник даже позволил себе пошутить, что волос у них какого-то «подмышечного качества».

Петухов никак не мог уразуметь, за что ему такое счастье — Сонина любовь, и в несвойственной для него роли фронтового сердцеда чувствовал себя в высшей степени неуверенно. Выводили из себя улыбочки вокруг, и в штабе и в траншее. Едва только Соня появлялась в расположении роты, как бойцы со всех сторон принимались советовать, как ей проще найти лейтенанта в окопном лабиринте. А он еще совсем недавно был столь праведен в их глазах!

Мучил страх за Соню и за себя самого — что станется с ней, если несчастье! Как-то она сказала: обвешусь гранатами и под немецкий танк...

Считая себя человеком крайне дальновидным, Петухов на всякий случай стал готовить Соню к беде, уверяя, что у нас незаменимых нет. И только сильная любовь помешала ей подумать, что Петухов, несущий такую околесницу, просто-напросто дурак.

Перед большим наступлением роте Петухова приказано провести разведку боем. Накануне вечером Соня пришла к нему в землянку, они проговорили всю ночь, и он заснул наконец, скорчившись рядом и прижавшись губами к ее ладоням. Потом рота дралась врукопашную с немцами-смертниками, в могильной тесноте траншей рубила их лопатами, душила, отдирала пальцы, пытающиеся выдавить тебе глаза. Сломив первый рубеж, пошла на второй вслед за нашим огненным валом, хрипя и задыхаясь от пыли, горячего воздуха, отравленного порохом. Бойцы, набросав трупы на вал колючей проволоки, перебирались по ним навстречу пулеметному огню...

Соня приехала к нему во фронтовой госпиталь, где они опять-таки умудрились поругаться — в который раз. Поругались потому, что весь он был «составной», кость к кости его сложили хирурги и заковали в гипс, и еще предстояло ломать и снова складывать, — он решил, что т а к о й ей не

нужен и, верный своей методе, стал «отваживать» любимую...

К концу войны они поженились.

Уже говорилось, что у Кожевникова своя писательская страсть — сводить войну к рабочему знаменателю. «Труженики войны» — так когда-то он назвал сборник вещей, написанных еще во фронтовые годы; суть «Петра Рябинкина» и «Особого подразделения» выражена в мечтаниях одного из героев: научиться на войне «спокойно и дальновидно» управлять своей психикой на основе «опыта и разумного расчета».

Может показаться, что «Полдень» в этом смысле изменил привычному — слишком много в нем кровавой стихии и того иррационального, что связано с наваждением любви.

Однако на самом деле и «Полдень», в общем, стоит за «разумное» отношение к войне, хотя при этом и подчеркивается — не в одном разуме дело. Ведь и в истории Петра Рябинкина, собственно, не все было так просто: тот действовал все по расчету да по расчету, а в конце концов, когда потребовалось послать кого-то на верную смерть, послал своей командирской волей себя самого вопреки всем уставным правилам.

Как бы с этой самой отметки «Полдень» и продолжает развивать мысль (отнюдь не новую в военной прозе, как не новую в самой действительности) о разумном расчете, берегущем фронтовика от излишней крови, и о высших проявлениях той солдатской нравственности, которая куда сложнее всех законов самосохранения. И мысль эта не гонится за скорыми и однозначными ответами: все, что касается нравственности, мало похоже на какую-либо «злобу дня». Войны кончаются, а с этим еще жить да жить.

Казалось бы, просто: рабочая рационалистичность на фронте ничего иного не означает, как гуманистическую заботу о человеке, — какие противоречия могут родиться от столь ясной посылки? Но отношения между героями «Полдня» то и дело возмущаются жесткими спорами.

Вот во время разведки боем приданный пехотинцам танк совершает беспримерный подвиг — идет на бронепоезд тараном. Бойцы склоняют головы над танковой башней, отброшенной взрывом и еще дымящейся на траве. Но и пораженные подвигом,

они все-таки думают о том, что если бы танкисты немного погодили, бронепоезд подорвали бы саперы, они уже подбирались к полотну со своими фугасами.

«Погорячились танкисты. Герои, факт! Но надо советоваться. Мы на их машине не просто так катались, а для взаимодействия, для того, чтобы их машины сберечь и, значит, их самих тоже... Если можно было по-другому бронепоезд своротить, почему не испробовать?»

Так говорит командир орудийного расчета по фамилии Лазарев. Этот в высшей степени рассудительный человек до войны был слесарем-сборщиком по судовым двигателям. Рабочее его происхождение дорого Кожевникову — с особым вниманием прислушивается он к речам таких людей, к их пониманию нравственного, этического. Он специально задерживается на разговоре комбата Пугачева с бойцом-часовым о том, что этому рабочему человеку, токарю до войны, представляется особо важным в послевоенном устройстве: «Ребята без отца растут, разве жена одна толкует все, что надо? Без отцовского авторитета не справится. Вернемся, делов по горло, а у кого и семьи поломаны, а у кого совсем отцов нет... Сейчас желательнее народишко не только победой обрадовать, а побыстрее жизнь отладить...».

Автор подчеркивает, что и у героя его, у лейтенанта Петухова, хоть он и пошел на войну со школьной скамьи, кость все равно рабочая — парень рос в семье ремонтника мартенов, и когда они с Соней впервые заговорили о любви, Петухов ни с того ни с сего вдруг стал вспоминать, как у отца лицо всегда лупилось от ожогов и как он постоянно придумывал приспособления, чтобы облегчить свой ручной труд.

В рассказе о фронте рабочая тема уже пульсирует довольно отчетливо, и за ответами на многие острые вопросы, затронутые фронтовиками, писатель чаще всего обращается именно к рабочей нравственности.

От рабочего Лазарева — пусть он и не значится среди главных героев — как раз и пошел в «Полдне» тот непростой разговор о гуманизме на войне, который, однажды вспыхнув в штабной землянке, возникает снова и снова — и перед боем и после боя. Комбату Пугачеву решительно не понравилось, что сержант Лазарев взял в свой расчет — как бы на поруки — парня, которому место среди штрафников:

испугался танка, так и драпал с гранатой в руке, еле отняли. Рогный Петухов застывает за Лазарева: этот смекалистый и хозяйственный сержант способен сделать порядочного солдата из любого хлюпика. Но это-то комбата и возмущает! «Если б Лазарев не на хлюпика время тратил, а взял бы стоящего, он бы из него героя воспитал, а не просто так себе солдата»...

За Лазарева вступается и политработник Конюхов. Для него, человека с философской жилкой, умение сержанта дорожить каждый человек — целая жизненная программа, наш завтрашний день. Он рассуждает: важно то, как мы вернем солдата в его родные места, обескровленные войной, может быть, с пошатнувшимися нравственными устоями. И в этом свете «филантропия» Лазарева во сто крат дороже гвардейской гордости Пугачева, который известен среди других комбатов тем, что всеми силами отпихивается от «хлюпиков», способных разбавить его фронтовую элиту. Жару в споре поддает капитан Лебедев: ему, видите ли, победа в бою «среднячка» дороже даже победы героя...

Такие соображения и вовсе взрывают комбата, у которого пороховой нрав, характер его — свся нравственная проблема. Или мы не на войне, кричит он в сердцах, если для кое-кого героизм — уже дело десятое! Видите ли, мы и гуманисты, и человеколюбцы, сколько прекрасных слов говорится, но вот у тебя, Лебедев, рука прокушена, что же ты, когда душил гитлеровца, не подумал, что он тоже человек, личность, что у него жена и дети? Или ты, Петухов, сам я видел, как в атаке всадил штык человеку в грудь, а потом уперся сапогом, чтобы вытащить. «Как же при всем этом разговорчики о красоте человеческой, о возвышенном? О том, что каждый хляк, мандражист мне вроде как родственник, которого я должен потом, в мирные условия, как светлую личность довоспитать и доставить на радость народу? Да он мне сейчас может обойтись в такое, что через него настоящий боец может пасть, потому что хляк этот подведет в бою. К чему это все? Сейчас главное — расколошматить их к чертовой матери».

Аргументы Пугачева, конечно, ничего не решают в споре. Как, впрочем, не разрешают его и афоризмы Лебедева, даже тот гвоздевой, что, по замечанию автора, произнесен «проникновенно и тихо». Афоризм этот — не что иное, как осторожная под-

мена аргументации (ход, давно известный в формальной логике): «Война нечеловечески трудна для человека тем, что он убивает человека, но убивать в себе человека — вот это преступно, какими бы побуждениями понятными ни руководиться».

Вопрос о «хиляках» и гуманистах так и остается открытым. Но сама напряженно звучащая в романе нравственная струна не затихает, ее постоянно слышишь в судьбах людей, в философских ответах: то генерал Лядов примется рассуждать о гуманистической основе нашей стратегии, постоянно стремящейся к окружению врага, расчленению его группировок, а значит, и к сохранению жизни немецким солдатам, которых фашистские полководцы превратили в смертников; то Конохов, вспомнив челюскинскую эпопею, станет доказывать, что «героизм — мировоззрение народа, его исторический опыт, если хотите — идеология... Способность к героизму заложена в человеке, нужно только отыскать пути к раскрытию этой способности».

Случается, что автор, словно усомнившись в своевременности философских споров на войне, как бы даже дает задний ход. В романе выводится малосимпатичная фигура некоего бронбойщика Сквородникова, который, по общему приговору, и шкура, и барахольщик, и хамло. Один только Пугачев, защищая свою линию, нахваливает бронбойщика: «Жалуются на него, а мне — хрен с ним, пусть шерстью зарос, зато больше всех танков наколотил и еще наколотит. Вот тебе и не чистенький... Зато в бою — гвоздь, надежный».

Мы уже готовы — вслед за историей гибели героического танка, историей труса, взятого на поруки, — со всей серьезностью приняться за толкование этой непростой фигуры в нравственно-этическом аспекте: ведь и в самом деле, с одной стороны, в человеке все должно быть прекрасно, «хороший солдат — это хороший человек» (афоризм, запомнившийся еще со страниц «Петра Рябинкина»); но с другой — битые фашистские танки, война идет...

Однако автор будто пошутил над этой нашей серьезностью: вскоре выясняется, что бронбойщик Сквородников никакой не барахольщик и не хамло, а просто человека замордовали канцелярские бюрократы — армейские ошибочно сообщили на село, что он пропал без вести, а сельские быстро лишили семью положенного пособия, Сквородников, не в силах сла-

дить с этой казуистикой, стал поневоле заниматься накопительством на войне, чтобы хоть как-то помочь своим родным...

Все свелось к фельетону, к чисто «крокодилскому», и нам незачем было хвататься за тяжелое этическое-нравственное оружие. Как, впрочем, и спешить зачислять в актив серьезной проблематики некоторые умильные наблюдения над солдатской нравственностью — вроде того, как солдаты, скажем, едят после боя. Автор живописует: вот они дождались небыстрой походной кухни, уселись с котелками на коленях, стараются, чтобы кто-то не поймал на лице торопливости, судорожного движения скул. «Это была та высокая человеческая воспитанность, душевная, гордая, тонкая чувствительность, которая превыше всякой иной прописной, ибо это было выражением самоуважения, самодисциплины и даже как бы продолжением той доблести, какую они выказывали в бою, побеждая животный страх, присущий каждому».

Разные вещи здесь поставлены в чересчур прямую связь, между тем как в жизни, мы знаем, все это куда сложнее, куда менее массовидно — будь то «гордая чувствительность» или голодное движение скул: все-таки ест каждый по-своему.

Более прав писатель, когда старается высветить правду о солдатской нравственности не с помощью вставных фельетонов или глубоких умозаключений насчет мелких фактов, а через развитие главной человеческой коллизии романа — судеб Пугачева или Лебедева, истории «неположенной» на войне окопной любви Петухова и Сони. В этом случае даже кажущиеся противоречия в формировании образа героя — и те идут от жизни. Петухов может поклясться, что «охлаждает» чувство Сони своими постническими разговорами о заменимости незаменимых исключительно от великой любви к ней, а нам ясно видна в этом и определенная душевная глухота, и неверие вообще в нравственные устои любимого человека.

Или другое, не менее противоречивое. Поначалу кажется, что рота зубоскалит над влюбленным лейтенантом, но со временем мы начинаем понимать, что солдаты даже как бы гордятся Сониным выбором, от души желают добра своему командиру, молodomу парню. Снайпер Захаркин по своему стариковскому праву без обиняков говорит Петухову, что, дескать, полюбить Соню не грех, ее порядочность по глазам

видно («Как чистое небо, ясные, не как у других финтифлюшек из того же, скажем, санбата») и что пренебреги лейтенант этой любовью — для всей роты будет обида. «Я пожилой, я в этих делах понимаю, из сочувствия вам советую».

Снайпер говорит это, не отрываясь от прицела, он в засаде и ему, в общем, не до разговоров, но ненароком затронутая проблема настолько жгуча для Петухова, что он все-таки не удерживается от вопроса: хорошо, ну, а что бы Захаркин посоветовал ему, будь на месте этой связистки да его собственная дочь?

«Захаркин поерзал, побряхтел, признался:

— Это вы меня поймали за самый нерв. Хотя дело вполне человеческое, а возражал бы со всей отцовской строгостью. На фронте тоже себя соблюдать надо. Ваш верх, ничего дальше не скажешь.— Попросил: — Вы меня больше разговором не занимайте. А то мой меня еще и укокошит. Я его манеру знаю».

Выходит, что у Захаркина есть большое и гордое наше, есть и смиренное малое мое — только неизвестно, что из них весомее... Это на фронтовых страницах «Полдня» возник еще один вопрос к нравственному кодексу. И ты уже думаешь: спрашивает герой, спрашивают обстоятельства, спрашивает автор — кто-то будет отвечать?

Когда «Полдень», обратившись к заводской действительности, к послевоенному устройству Петуховых, приобретает черты типичного произведения на рабочую тему, он все равно и тогда остается романом о любви, о нравственных устоях современника. Если романисты часто не знают, что делать со своими героями после свадьбы, то Петуховы, поживившись, только-то и начинают понимать любовь в ее человечески нормальном, мирном варианте. На войне все было против нее — и начальство и каждая пуля, летевшая с немецкой стороны. Но любовь все превозмогла, выжила, это ли не счастье!

Только теперь до Петухова доходят не слишком складные слова Петухова-отца, сказанные о матери когда-то, в далекие довоенные времена: «Без нее мне бы ничего не светило... Как до такого понимания дойдешь, через всякие дрязги, мелочи переступишь, пересилишь их, тут вот и наступает долговременная пора сознательности,

чего ты достиг в жизни... Есть человек наиглавнейший, который не только с тобой прожил, но и тобой живет и, как себя, тебя понимает. Вот такой фокус и есть — жена».

Сегодня и Петухов-младший понимает «такой фокус» — Соня для него значит бесконечно много, если не все. У отставного лейтенанта оказался темперамент настоящего Отелло. Когда они идут вдвоем по улице, жена кажется ему «обольстительно прелестной», и если прохожие оглядываются, то и он оглядывается на них — со свирепостью. Он устраивает ей сцены по поводу прозрачных чулок или платья, которое обтягивает, «не платье на тебе, а просто как купальный костюм, все заметно»; он требует, чтобы Соня пудрилась не тогда, когда уходит из дому, а когда возвращается — только для него одного.

В этом смысле можно сказать, что Петухов мало изменился с достопамятных времен, не прибавил ума. Впрочем, кого любовь не делала дураком.

Для Петуховых не подходит привычное: живут душа в душу, эти, при всей своей колючести, жили будто одно дыхание на двоих, были друг для друга и совестью и критерием нравственности. «Говорю с тобой так, словно думаю вслух обо всем, даже неинтересном и глупом», — признается Соня. А Петухов, страхась предстать перед ней заспанным и всклокоченным, рано утром на цыпочках обычно пробирается в ванную, умоется, побреется, тогда только будит ее: «Вот такая ты для меня самая лучшая, и я единственный, кто тебя такую знает, самую великолепную, теплую... И первый, кого ты видишь, — это я!»

Кожевников очень ценит все, что связано с любовью Петуховых, и это дает ему возможность взглянуть на серьезную производственную тему как на очень «личную», даже интимную. В этом есть свой расширительный смысл. Мы чуть ли не с ножом приступаем к «производственному» роману, только от него одного и ожидая открытий в большой рабочей теме. А он — как правило, «бесчеловечный», апсихологичный — так мало на что способен... Искать же надо на путях многих и разных — и в бытовом романе, и в интимных коллизиях, там прежде всего, где есть настоящий интерес к сокровенному, к душевной жизни современника.

Что же касается Сони с ее любовью к Петухову, то она самым естественным об-

разом «вписалась» в перипетии и подробности производственной жизни своего Петухова — от личного неотъемлемо ни то, что с Петуховым происходит в цехе, ни то, что происходит с самим цехом (а ему трудно, как и Петухову, — производство после войны с муками перестраивается на сеялки и кровати-раскладушки).

Будет время, и Петухов, пройдя заводскую школу, волей судеб окажется директором мебельной фабрики, и в новом городе он немало удивит вышестоящее руководство своей фантастической привязанностью к жене.

«Мы все тоже не холостяки, — с некоторой скорбью произнес замначальника. — Но за чем вам подобное обстоятельство так усиленно подчеркивать?»

Попытка Петухова объяснить, что жена для него «вроде как я сам, но только в особом обличье», мало что проясняет. Тем более что вскоре жену Петухова видят на фабрике воочию — осторожно идет по цеху немолодая женщина в серой вязаной кофте, хромая на одну ногу. «Кое у кого, — замечает по этому поводу автор, — даже возникло подозрение: возможно, Петухов некогда допустил аморалку и настолько сильно за это потерпел, что теперь вынужден энергично афишировать к супруге привязанность, скрепленную, очевидно, выговором в личной карточке».

Чтобы ничего подобного не пришло в голову и читателю, писатель, собственно, и вынужден был вернуться к началу начал — к самолету, рухнувшему в болото, к волокуше из двух жердей...

Однако до директорства Петухову еще бесконечно далеко: пока он начинает в цеху с ученичества. И то обстоятельство, что совсем недавно он командовал целой ротой, был отцом своим солдатам, на первых порах мало чем помогает. Заводская жизнь оказывается такой штуковиной, где все надо добывать самостоятельно, обламывая ногти, — с самого начала, от печки.

Петухову на первых порах вроде бы даже повезло учить его взялся великий мастер токарного дела Золотухин, старик редкостью вездливый и своевольный. Но когда прошли недели обучения, этот Золотухин сказал без всякой деликатности: «Ну хватит, кое-чего нахватался, а теперь сгинь насосем. Нет в тебе дара...» И словно пришиб этими словами самолюбивого Петухова.

По опыту своему и официальному разряду некогда прославленный комроты стоял теперь где-то рядом с мальчишками из ремесленного училища. Не без изумления осознавая такое свое положение в мире, Петухов и начинает от нуля свой путь в рабочий класс — по малости, понемножку набираясь заводского ума-разума.

Впрочем, было бы не совсем справедливо сказать, что вчерашнее фронтовое ровным счетом ничего не значило для сегодняшнего ученичества. Как бы там ни было, а за станок встал человек, уже прошедший серьезную жизненную школу, коммунист. Фронт сформировал Петухова в главном. И хотя потом его душевный мир еще будет подвергаться многим и разным воздействиям, эти нравственные сдвиги не могут идти в сравнение с теми, что происходят в подобных случаях, скажем, в душе помянутых тут мальчишек из «ремеслухи» или какогонибудь крестьянского парня с глухого хутора.

Естественно, что на мальчишку или хуторянина завод действует оглушающе. Может показаться, что и рабочая проблематика при этом получает свою эффектную остроту — все вокруг бьет по чувствам. Но это только кажется. В большинстве подобных случаев речь идет не столько о рабочих людях, сколько о парадоксах социально девственной души. Чувственный эпатаж, эмоциональная взвинченность — слабая помощь в художническом исследовании современной рабочей психологии. Да, мы знаем, как разительно наше время ускорило многие процессы, но нравственное на общем фоне все равно остается самым медленным движением. И для того, чтобы увидеть и понять человека в труде, важно не столько душевное ошеломление, сколько будни и постепенность, — здесь все в микродвижениях, микроприбавках, складывается по крупице. Но зато в такой поступательности процесса — сила, необратимость. Крупица, да весома. По малости, не быстро поворачивается человеческая душа, но поворачивается-то все в нашу сторону. Не этим ли, собственно, и жив художественный психологизм в советской литературе!

Начинает свой рабочий путь Петухов, и ничего удивительного, что в первые недели у него темно в глазах — от неумелости, от дикого напряжения. Но потом будто светлеет в цеху: впервые у начинающего токаря что-то получается.

Когда Петухову дали обрабатывать заго-

товку, а марку металла забыли указать, он вскипел и пошел жаловаться бригадиру. Тот молча подставил заготовку под наждачный круг и показал: токарь должен понимать металл уже по одной искре, обязан свое дело двигать умом, быть ему хозяином, а не просто служащим при станке.

Таких назиданий в «Полдне» немало, все новые открытия Петухова в заводской действительности так или иначе обретают свои формулы. Вот к примеру, одна из них: «Повседневность рабочего труда, постижение всех его тонкостей требуют от человека терпеливого, тщательного, последовательного накопления опыта овладения своей волей, вниманием, душевным настроем».

Эти слова могли бы составить важную строку в каком-нибудь кодексе рабочей морали. Но понятно, что для романа любых умных и к месту приведенных формул дороже реальные, «пластичные» раскрытия происходящего во внутренней жизни героя. Надо ли говорить, что и в «Полдне» прежде всего выделяешь страницы вроде той, где изображается Петухов за станком — с трусостью, неведомой даже на фронте, следит он за резцом, гонимым бешеной скоростью, — резец все ближе к роковой черте, за микроскопическим пределом которой брак, позор. И человек чувствует вдруг, как у него вспотели ноги и багрово горят уши. Из цеха Петухов выбирается после смены на своих потных ногах чуть живой, обесиленный этим постоянным страхом, как бы не запороть деталь. Убедительно переданное внутреннее состояние!

Петухову кажется, что долго в таком «нервном режиме» он просто не протянет, что жизнь кончилась. Но въедливый Золотухин уже что-то приметил новое в молодом токаре, ни с того ни с сего изрекает: это в тебе, Григорий, рабочая косточка лезет. «Как зуб мудрости. Вначале болит, но что это означает? Зрелость!»

Много от жизни и в той истории, которой бы подошло кодовое название — и попытание славой. Пусть она в «Полдне» изложена с определенной долей шутливости — соответственно характеру Петухова, тем не менее в ней есть достаточно важное откровение о заводских нравах, о той моральной атмосфере, что царит в рабочем коллективе.

А дело было так. Золотухин решил дать фронтовику подзаработать на сапоги. Для старого производственника этот фокус не-

сложен: человека ставят на легкую операцию, подбрасывают наряды с других станков. Петухов и сам того не понял, как оказался на Доске почета: вдруг два плановых задания на втулках!

Все завертелось вокруг передовика: выходя из цеха, Петухов теперь нос к носу сталкивался со своей физиономией, увеличенной до огромных размеров, о Петухове писали газеты, Петухова выбирали в президиумы и приглашали на другие предприятия для обмена опытом.

В приливе благодарности он вздумал было поделиться своими лаврами со старым Золотухиным, но тот шуганул его с каким-то непонятым остервенением: «Ты меня со втулками не касайся и даже не упоминай. Шимпанзе за сахар такому обучить можно, не то что человека». И Соня, сначала страшно обрадовавшаяся неожиданному успеху своего Петухова, вскоре стала замечать чутким взглядом, как он мнетя и туманится при распросах о рекорде...

Между тем на заводе ситуация стала приобретать почти что драматические формы: наготовив своих втулок на год вперед, Петухов перешел к более сложной операции и — запорол работу. Тут бы его искусно и — фронтовик Петухов уже стал для дирекции завода наглядной агитацией: вот как может справиться всякий, даже новичок, с трудностями, которые лихорадят производство! Цеховому начальству крепко влетает за Петухова: не создали передовику необходимых условий, проявили политическое недомыслие. Недомыслие исправляют — Петухову теперь вручают такой полуавтомат, который чуть ли не сам собой выщелкивает детали. Имя спасено для Доски почета, однако старый Золотухин и вовсе перестал замечать своего ретивого ученика. Вообще какая-то странная пустота образовалась в цеху вокруг него, столь широко прославленного: уж не от зависти ли? — жалуется Петухов Соне.

Но и у Сони он не находит сочувствия. Кажется, кому бы, как не жене утешить обиженного! Но ведь это Соня. Именно она-то, в конечном счете, и оказывается той наиболее действенной силой, которая разрешает щекотливый производственный конфликт.

Она сказала ему: «Может, тут какая-нибудь неправда есть? Ты вдумайся!» Она напомнила, как было на фронте, когда истребитель танков Лазарев наотрез отказался от фальшивых звезд, перенесенных со ста-

рой пушки на новую. Больно было глядеть в растерянные глаза Петухова, однако она сказала все, что обязана была сказать. И еще сверх того — самое нужное: я тебя такого, какой ты есть на самом деле, на фронте полюбила и сейчас люблю изо всех сил. И лучше всех тебя знаю, какой ты не хвастливый и очень правдивый...

Короче говоря, дело завершается тем, что Петухов приходит в цех и, к великому неудовольствию начальства, категорически требует вернуть ему старый станок, продолжает с того, на чем остановился. И портрет его в конце концов снимают, и все входит в свои берега: Золотухин и Зубриков во внеурочное время помогли Петухову как следует отладить старый станок, и он как прежде стал бегать к ним за советом в каждом трудном случае, а они разговаривали с ним «не как старшие с младшим, а как с равным себе». Золотухин даже в гости пригласил, с женой.

Снова и снова Кожевников подступает к одному и тому же: хочет понять современную рабочую психологию в прямой связи с процессами труда, с его социалистической природой, с нынешним состоянием производственных отношений.

У этого труда есть удивительная способность внутренне укрупнять человеческую личность.

Не так давно Кожевников выпустил большой том своих очерков и репортажей состроек страны разных лет, главным образом довоенной поры. Называется он «Годы огневые» (изд-во «Советская Россия», 1972). В очерках, посвященных незабываемым 30-м годам, о таком «укрупнении» — особенно много, можно подумать, что имеешь дело со специфической чертой именно первых пятилеток: рабочий люд только осознавал себя, свои возможности в социалистическом труде, воплощался в жизнь ленинский завет: «Вопрос состоит в том, чтобы сознательный рабочий чувствовал себя не только хозяином на своем заводе, а представителем страны...»

То, что подмечал очерк, упрочивал рассказ. В новелле «Сорок труб мастера Чибирева», с которой, можно сказать, и начался рабочий герой Кожевникова, начался сам Кожевников как автор рабочей темы, строитель заводских труб мужичонка Чибирев словно распрямлялся с каждой новой «свечой», задымившей в новом краю. Когда-то труд был враждебен рабочему человеку, отчужденному от плодов производства, был

его муклой: трубы Чибирева оказались удачным символом социалистического труда, понимаемого как созидание, как непосредственное участие рабочего человека в строительстве нового мира. Все сорок труб были у народа на виду, все верно служили республике, и мужичонка-каменщик вдруг однажды подумал, что от этого он стал «знаменитый, все равно как Пушкин».

Меняется с годами характер производства, усложняется труд, но это в нем продолжает сохраняться первоначально: человек, трудясь, самоутверждается на земле, становится «длинноруким» — своей работой будто обнимает целую землю. Переживая нечто подобное вместе с молодым токарем Петуховым, думаешь, что, как и в первые пятилетки или в годы послевоенных испытаний, наш труд этим же будет отличаться и в будущем, в самые победные годы научно-технической революции. Это чувство — «материковое» в рабочей психологии, именно оно бережет в сознании трудовых людей саму цепь времен, неразрывную в годах и эпохах.

Один из героев «Полдня» говорит, что истинно рабочий человек начинается тогда, когда он не просто точит деталь, но проникнут пониманием, «для чего она предназначена, что она значит в общем целом, тогда ты — туз, личность! Не исполнитель, а творец. Нужно, чтобы каждый всегда знал конечную цель назначения своего труда»... Критерий, можно сказать, полезный не только для станочников.

В истории роста Петухова есть внешние вехи, хорошо различимые невооруженным глазом. Вот он, одолев в конце концов проклятую вибрацию и освоив скоростные режимы (об этом в романе рассказывается с большой увлеченностью), снова выбивается в передовики. И люди в цеху начинают величать его Григорием Саввичем. Официально это и есть звездный час Петухова — рабочего человека.

Однако, кто знает, может настоящим токарем Петухов становится еще и не с «Григорием Саввичем», — становится тогда, когда ему однажды хватает внутреннего зрения дотянуться до той «конечной цели», с которой «исполнитель» превращается в «личность», а ладонь воочию ощущает всю действительную тяжесть сработанной детали.

Петухову увиделась земля, которая ждала их сеялок, — в освобожденных от фашистов районах она была искалеченной,

одичавшей, истощенной, ее душили кустарники и полосовали осевшие окопы. «Павшая, мертвая, она лежала, словно сраженная насмерть. Люди, приходя на пожарища, вселялись в землянки, строили шалаши, покрывая их дерном, и, первобытно впрягаясь в плуги, старались оживить землю. В деревенских кузнях ковали серпы, лемеха, косы, лопаты, потому что землю готовили к посеву лопатами. К лопатам с короткими черенками привязывали веревки и волокна их по борозде, словно малые лемеха... Им помогала вся страна и завод, на котором работал Петухов, самым сейчас жизненно важным — сельскими машинами, ибо только машинами можно было ускорить возвращение и восстановление той прежней жизни, ради которой они не щадили своей собственной».

Этой думе рабочего человека о дальних полях не откажешь в глубине понимания гражданского назначения труда, в искренности чувства: так близка вчерашнему фронтовику боль земли, на которой он воевал!

Сегодня о Кожевникове можно сказать, что среди современных авторов он уже ветеран рабочей темы. В разные годы писатель «испытывал» ее самым разным материалом — в «Заре навстречу» писал о рабочем классе октябрьских канунов, а в «Особом подразделении» рассказывал о строителях Асуанской плотины.

И вот после Асуана, после «Знакомьтесь, Балувей!» — повести о строителях современных газовых магистралей, он обращается к рабочей теме в ее теперь уже давнишнем послевоенном «срезе». Почему? Наверно, ответить можно так. Если искать зерно этой темы именно в особенностях рабочей психологии, в особенностях социалистического труда, то нигде, как в послевоенные годы, не прочерчиваются так резко внутренние связи между производственным и сокровенно людским — в восстанавливающейся промышленности, в налаживающемся мирном труде для людей воплощались все их нужды и надежды, труд был словно исцелением боли, субстанцией самой жизни. Не потому ли в «Полдне» заводские люди, перенесшие войну, понимают металл не просто как материал для поделки, а как «нечто очеловеченное»: в нем словно сгусток усилий многих людей, в нем дела и дни таких же, как ты, работяг. С подобным «очеловечением» металла мы уже сталкивались в «Особом подразделении», но сколь

пронзительней звучит этот мотив здесь, в послевоенной разрухе, в годы после грозы.

Снова, как и во фронтовых главах романа, нравственная тема выступает на первый план. Композиционно роман видится так, будто военными главами был задан некий тревожащий писателя вопрос, а вот теперь на него отзываются заводские страницы. И отклик этот содержит нечто такое, что неожиданным образом осложняет всю философию произведения.

Там спорили до хрипоты, до кулаков о понимании настоящего человека и настоящей человечности, но часто не успевали договорить, «доформулировать», потому что в спор вмешивался то летящий прямо в землянку снаряд, то сигнал к атаке, когда надо было кончать рассуждения о гуманизме и идти сражаться, убивать немцев, а после боя препровождать в военный трибунал труса, который, может, в принципе хороший и душевный человек... И комбат Пугачев, разгорячившись, кричал умным спорщикам, что плохо понимает на фронте такую нравственную идеальность, с которой можно пожалеть труса или помешать герою, бьющему фашистов.

И вот теперь, когда Петухов на заводе, когда все говоренное раньше о нравственности и ее истоках можно конкретно обнаружить в тех самых «микродвижениях» рабочей психологии, которые, на мой взгляд, всего ценней для решения большой рабочей темы, теперь-то вдруг и приходит эта мысль: а существует ли вообще некая особая ф р о н т о в а я нравственность, пусть она и воспета в нашей литературе много раз и Кожевников, возможно, один из самых ревностных ее певцов?

Привычно слышать: фронт — лучшая школа нравственности, фронт воспитывает, создает. Но при этом мы знаем, что нравственное в человеке — это нечто очень глубинное, складывающееся долгими годами, а не вдруг. Нравственное — от поступательной трудовой деятельности, от созидательности жизни. Оно, собственно, и есть их душевный опыт, реальный результат.

И как ни привычно было бы сказать, что вот конкретно и Петухова воспитала война, однако, приглядевшись, понимаешь, что все более или менее человечески ценное он обрел не столько в рукопашных, сколько в общении с Лазаревыми и Лебедевыми, с людьми, которые «правились» на войне «всегдашними» советскими законами и нравами, жили тем, что было воспитано в них,

накоплено довоенной мирной жизнью. В этом-то и был главный залог их душевных сил.

А война — позволю себе так сказать, — она скорее потребляла, чем создавала. Хотя, несомненно, нигде как здесь, на грани жизни и смерти, не обнаруживалась так резко сама сущность человека, нигде так не обострялись внутренние черты характеров — куда там мирным будням!

С таким подходом по-своему углубляется и неотступная идея Кожевникова — изображать войну как поприще производственной умелости. Дело не просто в том, как «производительней» бить фашистов, понимание войны как труда восходит к главной теме всего творчества писателя: социалистический труд, личность нового мира. Вовсе не отвергая мысли насчет фронтовой школы нравственности, заводская одиссея Петухова говорит об истоках нашей морали многосложней и диалектичней, чем это бывает в иных «чисто фронтовых» повестях, — и потому приближенной к истине.

Понятно, почему всякий раз, когда фронтовая действительность ставила нравственную проблему особенно резко, автор «Полдня» обращал взгляд неизменно к людям рабочей профессии. Из всех они выделялись своим удивительно ясным образом мышления. Они словно цементировали фронт, эти люди, своей нравственной силой, самостоятельностью морали. Такое обращение понимаешь как закономерный писательский интерес к классовой природе нравственности, к классовости в ее конкретных проявлениях.

И здесь самое время сказать к слову, что именно классовое вообще есть ключ ко всем более или менее сложным проблемам рабочей темы.

Это так, даже если при этом будет замечено, что в действительности есть немало авторов, которые всю жизнь пишут о рабочем классе и преспокойно обходятся без какого-либо углубления в проблему классовости. Воплотить ее в искусстве чрезвычайно трудно.

Еще Горький в статье «О пьесах» (1933) сетовал на то, что характерно классовое иные литераторы норовят «наклеивать человеку извне, на лицо», в то время как «классовый признак не бородавка, это нечто очень внутреннее, нервно-мозговое»; в настоящем произведении искусства этот признак определяет всю психику персона-

жей, «он всегда с различной степенью яркости окрашивает человеческое слово и дело».

К сожалению, с горьковских времен наша литература не так уж далеко продвинулась на этом направлении. Мало сделано литературоведением, не много преуспели и другие социально-общественные науки. Больше того, появляются исследования, в которых эта проблема вообще сворачивается. Скажем, в труде с многообязывающим названием «Структура общественного сознания» можно прочесть, что в настоящее время в нашем обществе «четко не выделяются классовые сознания как специфические структурные образования, поскольку интересы еще сохраняющихся при социализме классов совпадают...»¹.

Другие исследователи резонно возражают против принижения классового — в книге Г. Л. Смирнова «Советский человек» говорится о подобных утверждениях как о неточных и преждевременных. «Действительно, следует вести речь о совпадении коренных интересов рабочего класса и колхозного крестьянства, а точнее — об общности их коренных интересов... Но ведь имеются и классовые различия и специфика формирования сознания классов... Эти различия социально-классового порядка определяют существенное содержание социалистических общественных отношений, важные аспекты политики государства»².

В сравнительно новом исследовании, посвященном столь важному аспекту классовой психологии, как духовный мир рабочего человека, не без горечи констатируется, что «до сих пор еще недостает фундаментальных работ, раскрывающих процесс формирования и развития духовной жизни социальных групп советского общества, в частности ведущей его силы — рабочего класса»; что «теоретические проблемы духовной жизни и духовной культуры исследованы и освещены пока недостаточно»; что нравственная проблематика, связанная с таким глубочайшим чувством, как «чувство хозяина общественной жизни страны, в первую очередь хозяина производства», в нашей научной литературе «специально почти не рассматривалась», «не раскрыта даже

¹ А. К. Уледов. Структура общественно-го сознания. Теоретико-социологическое исследование. М. «Мысль». 1968, стр. 245.

² Г. Л. Смирнов. Советский человек. Формирование социалистического типа личности. М. Политиздат, 1971, стр. 260—261.

сама сущность этого явления»; что трудность, возникающая при рассмотрении вопросов о том, как в рабочей нравственности отражаются главенствующие черты классовой психологии, что собой представляет классовое содержание и направленность морали, такая трудность «связана как с недостаточной теоретической разработкой вопроса, так и недостатком необходимых социально-этических исследований»³.

Надо ли говорить после этого, сколь нелегка творческая доля художника, берущего на себя единолично задачу, перед которой еще в долгу целые отрасли науки, — все приходится добывать эмпирически, непосредственно из жизненного потока, из житейских фактов и характеров. Могут сказать: так ли плох путь? Во всяком случае, исключительно тяжел — это уж точно!

Есть простая жизненная логика в стремлении автора «Полдня» рассматривать особенности классовой психологии непосредственно в связи с исследованием внутренних движений характера — ведь речь идет о классовой психологии, этом, по словам Горького, «очень внутреннем, нервно-мозговом».

Для Кожевникова очевидно, что особое, специфическое в рабочей психологии его героев предопределено особым социальным опытом класса, особым его положением в современном социалистическом обществе — как наиболее революционной, организованной и активной силы. Десятки и сотни примеров из непосредственной действительности подтверждают, сколь конкретно это понятие «лидерства» рабочего класса — не только экономической, но и духовной силы нации. Именно в людях рабочего класса получили наибольшее развитие черты социалистической нравственности, а отношения, укоренившиеся между ними, стали основой морального кодекса всех строителей новой жизни.

В свете этих истин все полнее раскрываются натуры героев «Полдня», особенности их мироощущения. По-человечески так понятно овладевающее Петуховым душевное чувство сопричастности с рабочим классом — он уже не новичок на пороге, но частица потока, где «каплей льешься с мас-

сами». Герою дорога даже внешняя похожесть рабочих людей друг на друга: «В цехе, во время работы, их лица обретали всеобщее выражение трудовой озабоченности, и чем углубленней человек был занят своим делом, тем больше он походил на других, столь же ревностных тружеников». И конечно, Кожевников не был бы Кожевниковым, если бы упустил возможность прокомментировать этот момент соответствующей публицистикой: «Если такое существо, как человек, сформировал труд, то понятно, почему в общем труде люди обретали общее в своем рабочем облике, во взглядах и миропонимании...»

Петухов, отнюдь не сентиментальный человек, испытывает щемящее чувство гордости, когда думает: и я один из них. Это в нем истинно классовое — когда за деталями к сеялкам рабочий видит далекие поля, когда в слитке металла различает слитные усилия всего трудового люда.

Но постепенно, как во всякой настоящей диалектической системе, все углубляющееся классовое сознание приводит Петухова к тому, что называется единством противоположностей: оказывается, ему, рабочему человеку, мало «литься каплей». Скорее даже напротив — в коллективе всего важнее твоя рабочая самостоятельность, резко выявляемая индивидуальность.

Еще в той трагикомической ситуации, когда Петухов «самоснимался» с Доски почета, он впервые услышал из уст разгневанного директора завода: «Все вы народ штучный, экземпляры...» Со временем он и сам стал все отчетливее распознавать в людях признаки такой «штучности».

«Штучность» — это когда старый токарь, обнаружив, что технологи завысили припуски, собирает после смены всю обильную стружку в кулек, несет на весы: на одну чашу — деталь, на другую — отходы. И по тревоге поднимает на ноги всех технологов и конструкторов: «У вас совесть есть?»

Это такое странное на первый взгляд поведение «штучных», когда они, самые опытные станочники, отнюдь не спешат немедленно откликнуться на звонкий лозунг скоростничества, чего-то тянут, соображают. Им, видите ли, сначала требуется разобраться в состоянии станочного парка, в профессиональной подготовленности тех, кто берет обязательства на шумных собраниях — чтобы человек работал, а не «выкладывался» весь за какой-то месяц, чтобы если уж скоростничество, так надолго,

³ Духовный мир советского рабочего. Опыт конкретно-социологического исследования. Под редакцией М. Т. Иовчука, Л. Н. Когана. М. «Мысль». 1972, стр. 23, 24, 185, 297.

«Все у них — в деле, от дела, в связи с делом. Неспроста известному нам Золотухину так нравится присказка собственного сочинения: «Кто классно работает, тот и есть рабочий класс». Наверно, это очень в характере самого рабочего класса, который всегда отличался тем, что его духовное было и непосредственной жизненной практикой, а с его материальным тесно связано и идеологическое, и нравственное, и эстетическое.

«Класс — кто работает классно». Потому и нет на заводе главнее их, людей, «классно» работающих. Петухов подмечает, что «начальствовали они тем, что в мастерстве своем обрели независимость. По тонкостям и обширности знания своего дела они стали настолько недосягаемы, что им никто не мог ни скомандовать, ни приказать... Цех подчиняли они своей молчаливой умелостью, тем, чего человек может достигнуть величайшей собранностью, сосредоточенностью, пожизненной, ясной и убежденной увлеченностью своим трудом. Именно от них исходили те нормы отношения к труду, которые составляли духовные черты достоинства рабочего. И каждый, видя их работу, рабочие повадки, всегда ощущал точно, чего он пока только достиг и чего можно достигнуть, поднявшись к вершинам мастерства».

Об иных рабочих героях «Полдня» с уверенностью можно сказать как о людях зрелой социальной мысли, их поступки отвечают серьезным критериям социальной этики — той, что помогает выявиться в человеке всему лучшему.

Петухов упрямо пробивается в «штучные». И это славный путь, хоть на нем, как, скажем, в случае с Доской почета, встречается и немало курьезного. Но и посмеиваясь над простодушием героя, читатель тем не менее нисколько не обманывается в серьезности авторских намерений.

Вот Петухов картинно потрясает перед Соней толстенной пачкой денег, а та не сразу берет в толк, отчего такая радость — за эти деньги и курицы на рынке не купишь, люди живут в основном продкарточками. Но для Петухова в этой символической пачке — признание его мастерства, приобщение к асам производства. И когда Соня наконец понимает это, она произносит со всей возможной искренностью: «Ты прости меня, Гриша, я ведь совсем не подумала: раз получка чуть больше, значит, ты отличился, справился...»

О Зубрикове в семье Петуховых говорят с почтением — это едва ли не самый знаменитый на заводе рационализатор, добившийся, чтобы детали к сеялкам делали взаимозаменяемыми, как это было с боевым оружием. И надо же, чтобы именно Зубриков стал для Петухова, молодого парторга, причиной горького расстройств: Петухов от доброты душевной предложил на собрании, чтобы рационализатор первым получил новое жилье, а Зубриков сам же его и высмеял, нелестно обозвал...

Обескураженный Петухов объясняет дома Соне: «Он меня даже в подхалимаже за это заподозрил... У кадровых, или, как Ленин их квалифицировал, у рабочей этой интеллигенции, своя особая тонкая этика, высокий обычай — свою рабочую репутацию всегда перед коллективом во всем в чистоте содержать. Ну я на это и наколдился...»

Петухов еще не умеет смотреть на дело с широтой, какая отличает Зубрикова. У того идея: нужно всю страну из разрухи вытаскивать, «поправляться людям после войны надо через облегчение труда», — а уж со страной и мы разбогатеем. «Во марксист!» — простодушно восклицает по этому поводу Петухов, невольно улавливая самое зерно в поведении «штучных» — осознанность их классовых интересов, когда любая малость соотносится с большой целью, обнаруживая в конкретном поступке живые связи между деянием и духовным началом, между этическим и идейным.

Автору «Полдня» хочется говорить о классовом чувстве словами, которыми люди говорят о хлебе, о семье. В жизни ведь так оно и приходит к человеку, это классовое самосознание, — когда рабочий принимает свою большую получку, как принимают медаль, и строит страну, как строят жилье самому себе, и непосредственно трудом своим направляет курс целого завода. Это близко к горьковскому пониманию рабочего класса — силы, которая «учится мыслить на процессах нашего труда» и «осознает весь мир как свое хозяйство»; это люди, «у которых классовое, революционное самосознание уже переросло в эмоцию, в несокрушимую волю, стало таким же инстинктом, как голод и любовь»⁴.

По рабочим характерам в «Полдне» можно даже предположить, что социалистиче-

⁴ М. Горький. О литературе. М. «Советский писатель». 1953, стр. 594, 601, 602.

ский труд органически несет в себе нравственное начало — порой даже независимо от нашей субъективности, от понимания или непонимания такой его особенности.

Еще в «Особом подразделении» было: молодой человек экскаваторщик Буков, далекий от очагов культуры — профессия без конца носит его с одной новостройки на другую, с Волги на Нил, он словно бы всю жизнь за рычагами, — однако вот с учеными и модными молодыми инженерами этот Буков неизменно на равной ноге. Похоже, сам труд держит экскаваторщика на гребне времени, само дело его удивительно современно, слитно с движением действительности. Оттого и не отстает от века бывалый солдат Буков.

Этот этический залог в заводском труде хорошо ощущается и через рабочую историю Петухова и его товарищей. Если старый Золотухин рассказывает о самом страшном своем сне, то в этом сне — словно расстроенная совесть рабочего человека, для которой органически несовместимы труд и халтура: «...Канал ствола снится. Будто он весь от моей фрезы в бороздах и я в него, как лилипут, влез и воровато шабровкой борозды снимаю, а наверху, как на заводской трубе, люди стоят и на меня сверху с презрением взирают...» Имманентно нравственное звучит в рассуждении мастерового человека о том, что честно сработанное изделие всегда воспитывает людей в добре, в то время как халтурное развращает, губит в человеке уважение к труду, позволяет и свою работу делать кое-как.

Много раз описано в рабочей прозе, как сталевар спасает сталевара от огненного потока — нежданного выброса металла. Кожевникову эта ситуация потребовалась в «Полдне», чтобы сказать, что героическое и гуманистическое как бы заложены в самих нормах производства. Старший сталевар Попов Сережа успел отшвырнуть Саида Нугманова с пути раскаленной лавы, а сам не увернулся; когда же его выходили врачи и в больничную палату заявился Саид со всем своим семейством, с женой и детьми, чтобы позвать спасителя на благодарственный плов, Сергей объясняет ему, что все это положено по законам производства: старший у печи отвечает за всех других, пусть хоть и ценой своей жизни.

Когда Петухов на своих ватных от страха ногах, пошатываясь, завороженно следит за бешено стремящимися резцами, перед

ним ведь встает не только проблема брака и позора, здесь престижная сторона куда сложнее: одно дело — что скажут люди, а другое — что должен будешь сказать себе сам. На заводе существуют официальные нормы допусков при обработке деталей, но у настоящих станочников есть еще и своя норма, моральная. И она много строже: чем точнее деталь, тем дольше ей жить, и тонкость ее обработки означает не только мастерство, «но и все высокие духовные, нравственные качества, присущие ее создателю».

Мука Петухова тем больше, чем яснее ему: существует некая заповедная страна мастерства, где все у людей по-другому, там словно мысли светлей и чувства благородней, там человек идет на «трудное и рискованное не для заработка, а во имя торжества рабочего искусства». Заповедная страна и рядом и будто в другом измерении, в другой этической плоскости.

Нужно видеть, с какой завистью и тоской наблюдал Петухов в те времена за поведением в цеху кого-нибудь из «штучных», настоящих мастеров: как тот, встав к станку, сразу подбирается весь и лицо его приобретает умиротворенное и в то же время углубленно сосредоточенное выражение, исполненное воли и решимости; как гудок на обед словно возвращает его из какой-то иной действительности, очнувшись, мастер минуту озирается вокруг недовольно и недоуменно, не сразу отходит от станка — что-то там протирает, быстрым ласкающим движением ладоней касается обработанной детали; а какие у него бывают жалостливые глаза, когда подсобник уже окончательно уносит готовую деталь, — словно расставание навсегда...

Воистину можно сказать, что в таком вот труде человек действительно находит нечто удовлетворяющее многим его нравственным, духовным, даже эстетическим запросам. И наивными кажутся иные живые картинки, столь привычные в производственных романах, когда вопросы нравственности решаются простым голосованием, а об азах общечеловечия люди узнают из параграфов морального кодекса. Кто-то, а художник должен понимать, что такое не привносится в рабочую жизнь из готовых параграфов — кодекс только переводит на язык логики то, что уже реально существует, что внутренне накопилось в труде, в социалистических производ-

ственных отношениях, в рабочей психологии.

О «Полдне» появились рецензии, критикам далеко не все нравится в нем — даже тем, кто настроен к роману совершенно благожелательно. А. Дымшиц в «Литературной газете» писал, например, что интересно задуманный образ разведчика Лебедева выглядит пунктирным, а политработник Конюхов «декларативен» — его скорее слышишь, чем видишь. В. Баранов в «Литературной России» говорил о том, что «плотность текста» порой оборачивается конспективностью и заострение отдельных качеств героя приводит к известной утрате многогранности его характера, что иные герои «Полдня», подтверждая концепцию книги, однако «обогащают ее в меньшей степени, чем она того заслуживает».

Это так. Роман Кожевникова действительно местами то рыхловат, то конспективен, не всегда в нем найдена верная мера публицистического и собственно романного. Но если в нем есть нечто искупающее недостатки, так это образ Петухова. Он истинный сын своего трудного и героического времени, этот простецкий отставной лейтенант с его жидкими усами и неистребимой влюбленностью. Судьба его своими острыми углами то и дело цепляется за какие-то очень важные политические, социально-нравственные, этические проблемы — и «проблематика» оборачивается чертами характера, живыми накоплениями души.

Уж на что Соня, кажется, знает своего Петухова с фронтовых времен вдоль и поперек, но и ей со временем открывается все новое в натуре ее беспокойного супруга. И когда Петухов в конце концов все-таки попадет в заповедную страну мастеров, он будет уже совсем не тем Петуховым, который думал о товарищах по цеху во времена своего фальшивого взлета: заведуют моей славе, что ли?

Он теперь и шире характером, и раздумчивей, и как-то совестливей. Рабочая его биография словно пошла по второму кругу — снова приглашают делиться опытом, только уже не думым, а настоящим. И теперь для него важнее всего сказать с трибуны не столько о заточке резцов, сколько о том, как несут свою рабочую честь по жизни люди, подобные Золотухину или Зубрикову. Самогорящий талант в работе, о котором Кожевников пишет сорок лет, с времен трубного мастера Чибирева,

как бы укрупнился, стал талантом в жизни.

Навсегда распрощавшись с заводом, совсем в другом краю, в другом городе Петухов окажется директором мебельной фабрики, но многое в нем будет то и дело напоминать о цеховой школе — воистину школе жизни. Это завод научил его тому, что он теперь втолковывает своим мебельщикам: от качества их продукции зависит само мироощущение трудового человека. И с бракоделом или прогульщиком, донельзя огорченный, Петухов считает нужным беседовать «не столько о его вине, сколько о всех его жизненных обстоятельствах, взглядах». По-заводски просто, с веселой злостью пошлет он подалее некоего сановного заказчика, пожелавшего иметь у себя на дому кресла великодержавного стиля. И без оглядки схватится с опасным человеком, уличенным в моральной нечистоплотности, хоть эта схватка и сулит Петухову немалые неприятности.

В сугубо личных представлениях Петуховых о нравственности отражен некий конкретный исторический опыт народа. И психологический анализ в этом случае, отмечая душевные перемены в герое, стремится схватить не только и не столько «крученность» данного характера, сколько хочет поймать летучие признаки определенных перемен в общественном бытии, в социальном сознании.

Петухов растет как личность, выказывая все новые добрые качества своей непосредственной натуры. На какие-то моменты он становится так хорош, что кажется — за его плечами вырастают крылья, которые легко могут понести его в грядущее царство разума.

Это у Кожевникова бывает — иногда он начинает живописать поступки и чувства, не хочу сказать «ангельские», но, по крайней мере, требующие каких-то специальных художественных объяснений, особенно на фоне нашей, в общем, еще нелегкой жизни и отнюдь не идиллических нравов. За пристрастие к изображению таких «будущих чувств» Кожевникова в разные времена много хвалили, а случалось, и пеняли автору. Вспыхивали споры, и иные из критиков брали на себя труд обстоятельно объяснить, откуда это у художника. Так, В. Ермилов писал, что «дело все-таки не в личных достоинствах людей, как бы ни были высоки и драгоценны эти достоинства, а прежде

всего в реальности, материальности таких общественных отношений, которые порождают все человеческие достоинства и по своей сути требуют от людей все более высоких человеческих качеств»⁵. К сожалению, весь пафос этого утверждения снимался уже первыми словами: «Дело все-таки не в личных достоинствах людей...»

Критик Л. Цилевич, разбирая повесть «Знакомьтесь, Балувей!» и поразившись там этическому максимализму молодых рабочих, демонстрирующему «подчеркнуто, напряженно, иногда почти экзальтированно» (вроде сцены покаяния Зины Пеночкиной в своем грехопадении на общем комсомольском собрании), толкует это как «моральный критерий новой, космической эры»⁶. Вера Смирнова в свое время резонно критиковала Кожевникова за попытку в повести «Знакомьтесь, Балувей!» опереться на искусство античности, которое якобы лепило не столько современников, сколько прогнозировало людей будущего⁷.

Иосиф Гринберг, совсем недавно выпустивший первую, насколько мне известно, большую монографическую работу о творчестве Кожевникова (хочу сказать к слову, что в целом эта работа вдумчивая, очень сочувственно относящаяся ко всему, что делает писатель), в деликатной форме предостерегает художника, изображающего душевную жизнь своих героев, от «преувеличенной чувствительности», от риторических завышений: «Как только Кожевников начинает вести отвлеченные риторические разговоры, убедительность изложения начинается на глазах падать»⁸.

В этих наблюдениях критиков — и когда они оправдывают писателя и когда предостерегают — есть свой резон.

Вот и в новом романе Кожевникова некоторые герои (и Петухов в их числе), в общем, натуры сугубо земные, в какие-то моменты вдруг выказывают себя совершен-

нейшими романтиками в сфере нравственных отношений.

Ни на минуту не призадумавшись, комбат Пугачев дарит свой офицерский аттестат малознакомой девушке, забеременевшей на фронте от некоего ловеласа: «...Пугачев, случайно узнав об этом, выписал свой аттестат на имя этой вольнослужащей с почты и приказал своему порученцу передать аттестат ей».

Критики говорили об экзальтации — словечко это и впрямь лучше других могло бы охарактеризовать те формы, которые приобретает у бойцов их любовь к своему ротному Петухову: «И Петухов чувствовал, знал, что так деликатно солдаты пытаются внушить ему, будто в потерях нет его вины, а всю вину они берут на себя, словно по строгому уговору, что бы там ни было, а авторитет своего командира, его самочувствие сберечь».

Радистка Нелли Коровушкина, подруга Соня, перед войной вышла замуж за товарища-калеку, которого вовсе не любила, просто выказывала свою порядочность: «Как вышел мой школьный приятель из госпиталя, собственно, не вышел, а на костылях висел, ну что ж, я настояла и стала его женой». (Эта история рассказывается для изуродованной на войне Ольги Кошелевой, которую собирается взять в жены Лебедев. Во второй раз Нелли-вдова решает выйти замуж за Пугачева, когда видит, как страшно искалечен он во время атаки. «Вы мне не нравились оттого, что красавчик. А теперь... — Она низко склонила свое лицо к его изуродованному, с вывороченными краями разошедшейся опухающей раны, дохнула в губы. — Дети у нас с вами будут красивыми. Уверена».

Соня, хоть и изранена вся, но активно занимается на фронте донорством, в результате чего «у нее было обнаружено тяжелое заболевание: она, пренебрегая правилами, слишком часто вызывалась быть донором»...

Мы помним, как новатор Зубриков возмущался, когда ему хотели дать новую квартиру. Его благородство станет еще разительней, если сказать об обстановке, в которой живет этот гордый человек: «...Живет за занавеской в общежитии. Теща-старуха, жена, трое детей и брат-инвалид, однорукий, младший лейтенант, а теперь ночной сторож. Жена, теща, дети на койках спят, а они с братом на полу, между коек, на матрасе».

⁵ В. Е р м и л о в. Образ нового человека в повести «Знакомьтесь, Балувей!». Сб. «Литература и новый человек». М. Издательство АН СССР. 1963, стр. 156.

⁶ Л. Ц и л е в и ч. На главном направлении. Вопросы развития современного советского романа о рабочем классе. М.—Л. «Советский писатель». 1964, стр. 284—286.

⁷ В е р а С м и р н о в а. Современный портрет. Статьи. М. «Советский писатель». 1964, стр. 55.

⁸ И. Г р и н б е р г. Вадим Кожевников. Рассказчик и его герои. М. «Советская Россия». 1972, стр. 64.

Вместе с Зубриковым в цеху работает Ольга Махоткина, сборщица, про которую известно, что от мужа она получила два известия в один день — его письмо с фронта и похоронку. Эта Махоткина «письмо мужа всем в цеху читала, очень патристическое, чтобы дух людям поднять, а про похоронку скрывает. И долго скрывала. И пенсию даже не ходила получать, чтобы люди не знали, что она вдова, и не стали ей чем-нибудь помогать, когда все и так в помощи нуждались». (А у Махоткиной своих двое детей да еще девочка-сирота, удочеренная в войну.)

Взяв в ученицы двух сельских девушек, токарь Золотухин не просто стал учить их своему искусству, но и поселил у себя, уступив комнату и перебравшись в кухню на раскладушку, «стирал их белье вместе с бельем жены». То и дело что-то изобретая или рационализируя в цеху, Золотухин никогда не оформляет свои предложения для денежной премии, безвозмездно делится изобретенным со всяким, кому интересно...

Примеры такого бесребреничества героев «Полдня» можно было бы приводить и приводить.

Бесребреничества? Нет, для героев Кожевникова такое определение даже как-то не подходит, ведь в этих их поступках не обнаружить и тени чудачества или блажи души. Это ее норма. Для кого-то, возможно, тут и могло быть что-то особенное (в войну тем более), но только не для этих, горделиво вставших над издержками быта и несовершенством нравов!

«Будущее чувство» — вот крепкий орешек для художественного психологизма. Тем более для тех художников, которых волнует проблема современной рабочей психологии. Романисты и рисуют такие чувства постоянно, видя в них ростки будущего, но немало и робеют перед ними. Как грозная глыба нависает в этом месте знаменитое упреждение Льва Толстого, что в литературе можно выдумать все, кроме человеческой психологии.

Белых пятен в литературоведении немало, но этот толстовский афоризм разработан и растолкован в науке наилучшим образом.

«В отличие от историка писатель не в состоянии ограничиться общей перспективой грядущего, он должен найти реальное многообразие и конкретное изображение человеческих характеров, но именно над

этим меньше всего властна фантазия художника».

Это мы читаем в книге «Теория литературы» — коллективном труде, созданном видными нашими литературоведами из Института мировой литературы имени А. М. Горького, труде, являющемся на сегодняшний день последним словом в области теории художественного мастерства.

Дело не ограничилось авторитетом одного Льва Толстого, на помощь призван еще и Леонид Леонов, заметивший в «Дороге на океан» насчет неудачных попыток нарисовать человека грядущего: «Но так же, как, создавая богов, дикарь наделял их человеческими свойствами, мы не сумели создать племена, отличного от наших современников».

И чтобы совсем уж доказать, что дело это нешуточное, авторы «Теории литературы» даже несколько припугивают тех, кто взялся бы за характеры будущего: «Будь это возможно, и художественная правда искусства стала бы второй действительностью. Диалектика души — есть не что иное, как отражение реального мира, пересаженное в голову и сердце человека. Никакой другой диалектики, а потому и психологии, нет и не может быть»⁹.

Мы и сами знаем, что это опасно, даже нелепо: никакой другой психологии, помимо той, какая есть, «нет и не может быть». И тем не менее взоры художников — от Чернышевского до Маяковского — все равно тянутся к героям будущего. Горького, имя которого только что было упомянуто в связи с названием института, выпустившего «Теорию литературы», не только не пугала перспектива нечаянного возникновения «второй действительности», он ратовал даже за «третью действительность» — именно так он называл в своих теоретических работах действительность будущего; он утверждал ее практически в характерах героев «Матери», в Кутузове из «Клима Самгина», в персонажах очерков о Советском Союзе.

Тем не менее спорность проблемы, теоретический разнобой — все это не могло не заронить сомнения даже в умы писателей, наиболее приверженных горьковскому завету стараться смотреть на настоящее гипотетически, с вершины будущего.

Кожевникова постоянно тянет в эту за-

⁹ «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер». М. АН СССР. 1962, стр. 146.

ветную область, едва ли не каждым своим героем ему хотелось бы заглянуть в грядущее. Но настоящей уверенности в своей художественной правоте нет.

Где-то писатель пробует заслониться мраморными торсами античных греков. Где-то он, словно страхуясь, осторожно ставит знак вопроса: «Действительно, какой он, этот человек грядущего? Как узнать его черты, по каким признакам угадывать? А если попробовать внимательно и терпеливо взглядеться, скажем, в чету Балуевых: вдруг уже есть в них нечто такое похожее?» Это говорится всегда на грани спасительного юморка.

Неким спасительным щитом выглядит порой и то самое, что в зависимости от обстоятельств в критике называют то публицистикой, то риторикой (например, на фронтовых страницах «Полдня» о высоте человеческого чувства Конюхов рассуждает таким образом: «Психика человека — это, конечно, совокупность воли, настроений, чувств, эмоций, привычек, черт характера, но есть нечто повелительно высшее — мировоззрение. И в бою оно воплощается в самообладание, выдержку, расчетливость, расторопность, волю к действию...» и т. д.).

И юморок и публицистика — это все та же форма писательской страховки. Но бывает и так, что автор, словно устав объясняться и оговаривать, рисует характер — словно движется броском вперед, через огонь, как бы с некоторым даже вызовом говоря: да, вот такие, да, представьте себе, так, а не иначе мои герои чувствуют и поступают, что вас в этом удивляет? Или вы, читатель, не отдали бы своего офицерского аттестата девушке, соблазненной подлецом, не отказались бы от премии за рационализацию, от новой квартиры, когда вокруг столько нуждающихся?!

Однако старик Золотухин о подобном способе доказательства сказал бы: «Берет на бога». В литературе это не метод. Говоря о чертах будущего в психологии современника, приходится все-таки всякий раз их доказывать — психологически, социально, житейски. Как раз здесь-то и требуется особая художественная основательность!

Если искать защиты от Толстого — так у Толстого же: в его «диалектике души», в пластичности характеров, в глубинной достоверности человеческих поступков.

Когда-то в уста своему любимому герою Балуеву Кожевников вложил слова о том, что труд в нашем обществе — «это самая точная мерка морали, нравственности и чего хочешь».

К этой бесспорной мысли он добавил нечто такое, что вызвало энергичный протест отдельных критиков повести. Он добавил: «Каждый должен сердцем понимать и беречь каждого человека, для себя беречь, потому что все на всех работают и все во всех заинтересованы. А отсюда мораль: от нравственности каждого человека зависит мое материальное, жизненное благополучие».

Критиков покорило такое утилитарное сближение понятий — «нравственность» и «материальное благополучие». Выходило, что герой Кожевникова только потому и добр и нравствен по отношению к ближним, что это ему материально выгодно.

Теперь Кожевников написал другую книгу, где материальное и нравственное снова оказались в опасной близости, хотя и в несколько иной расстановке: он говорит о том, что социалистический труд обязательно нравствен, что первично этическое содержится уже в материале труда — в этом слитке металла, что лежит на теплой человеческой ладони.

В «Полдне» Петухов, директор мебельной фабрики, прямо говорит о таких связях: «Значит, что? — повторял Петухов твердо. — Все мы взаимозависимы. Что плохо сделаем, то плохим в чем-нибудь другом для нас же и обернется...»

Можно подумать, что это лишь о качестве мебели, но писатель, чтобы не оставалось какой-либо недомолвки, добавляет от себя: «То есть Петухов говорил о том, что внушали ему некогда учителя-мастера, такие, как Золотухин и Зубриков, уча его рабочей совестью».

Труд, совесть, хорошая жизнь. Так эти понятия и остаются в книгах на рабочую тему нераздельными.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Финк. Решающий фактор. — Игорь Золотусский. Монолог с вариациями. — Леонид Зорин. Вторая жизнь Михаила Светлова. — Ю. Манн. Двухтомник ученого.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Пархоменко. Наука, техника, общественный прогресс. — О. Орестов. Фабриканты лжи.

Литература и искусство



РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

Сергей Снегов. Над нами полярное сияние. Повесть. «Нева», 1973, №№ 4, 5.

Герои Сергея Снегова «Над нами полярное сияние» щедро делятся своими наблюдениями над современной литературой. Умный, образованный изобретатель Березин считает, что под влиянием «теории прагматиков» в художественной литературе «укрепилось бесстрастное описательство, а психику оттеснили в подтексты». Тут же он приводит пример ненавистой ему манеры изображения: «Иванов вышел на шумящую, переполненную улицу, оглянулся, подумал, высморкался, погода была холодная, он запахнул пальто, еще с минуту поразмышлял и решительным шагом направился в гастроном». Прочитывая эту фразу, Березин говорит: «Мне мало поверхностной внешности, я требую глубины переживания и мысли».

Многое в этих высказываниях сомнительно. Вряд ли кто согласится, что именно прагматизм — та философия, которой руководствовался автор приведенного отрывка, и отнюдь не влиянием «теории прагматиков» следует объяснять подчас встречающиеся откровенные слабости нашей современной прозы. Не очень удачно звучит и

осуждение «поверхностной внешности», словно есть еще какая-то внутренняя внешность. Наконец, едва ли верно и то, что «оттеснение» психики в подтекст — это недостаток, непосредственно связанный с бесстрастным описательством. Правда, все это говорит не автор, а инженеру Березину такого рода смысловые неточности можно и простить. Тем более что основной пафос его высказываний совершенно справедлив: от художественной литературы читатель и на самом деле вправе требовать глубины переживаний и мысли.

Другой вполне положительный герой — инженер Казаков — справедливо иронизирует по поводу распространения в литературе шаблонной схемы: «Злодей консерватор затаптыгает прекраснородушного новатора». Подобный шаблон подходит, по его мнению, «для обтекаемой повести». А «в жизни все посложней».

Читателю нетрудно догадаться, что здесь определены эстетические позиции самого Сергея Снегова, и с ними вполне можно согласиться. При этом возникает естественное желание выяснить, насколько же писа-

телю удалось реализовать собственные декларации.

С. Снегов хорошо знает жизнь, о которой пишет. Это сказывается не только в точности внешних примет заводского интерьера или пейзажа. Гораздо важнее, что не вызывает сомнений жизненность основного конфликта повести. Автоматизация производства, которая должна обеспечить будущее завода, создает трудности в борьбе за выполнение сегодняшнего задания. И хотя герои Снегова отнюдь не делятся на консерваторов и новаторов, они сталкиваются и конфликтуют, ибо для одних, «цеховиков», главная задача — обеспечить план, а другие, «научники», колдуют над новой техникой, решительно отвлекаясь от сиюминутных интересов и тревог.

Привлекая внимание читателя к этому противоречию, С. Снегов уже тем самым делает доброе дело, ибо выявляет вред узкого, одностороннего, метафизического подхода к решению производственных задач. О метафизике я вспомнил недаром. Сам С. Снегов — и в этом бесспорное достоинство повести — уловил, что в производственном конфликте, который он изображает, кроется философская проблема.

В чем основная беда и узких делая и мечтателей, оторвавшихся от повседневных земных забот? На первый взгляд именно беда, а не вина их — в метафизичности мышления, в неумении схватить диалектику явлений. Тот же Березин в разгар производственного спора напоминает о том, как «Ленин упрекает Канта за выискивание в каждом явлении отдельных причин, и хвалит Гегеля — тот во всем искал всеобщей связи».

Именно неумение диалектически мыслить и должно предстать в повести источником производственных неурядиц. При этом окажется, что между бедой и виной тоже есть прямая, жесткая связь. Споры мастера Пантелеева, упрямо отстаивающего интересы «цеховиков», с «научниками», ему мешающими, внезапно оборачиваются тяжелой аварией. Останавливается производство, в опасности жизнь хорошего рабочего человека Трифона Рыбарчука.

Замысел С. Снегова, безусловно, интересен и социально значителен.

У нас немало написано о том, что сегодня производственные успехи во многом зависят от нравственного облика человека, от его добросовестности, правдивости, преданности делу. С. Снегов расширяет поста-

новку вопроса, привлекая внимание читателя к тому, что в условиях научно-технической революции одним из решающих факторов становится мировоззрение инженера, его философская подготовка. Грех таить нечего, есть еще немало доморощенных технократов, убежденных, что уровень их профессиональной подготовки определяется знанием специальных дисциплин. Для них связь «философии» и «производства» представляется чем-то туманным, неопределенным, даже вряд ли существующим. Повесть Снегова решительно направлена против такой наивности и ограниченности. Писателю удастся убедительно доказать, что мастер Пантелеев, узкий ремесленник, который решительно отделяет «технику» от «души» и «морали», ныне в командире производства не годится.

Прицел у С. Снегова верный и дальний. Он ведет речь о том, что многие недостатки в работе промышленности возникают оттого, что на командных постах оказываются люди без философского кругозора, ограниченно, метафизически мыслящие. Его Пантелеев не рутинер, не лодырь, не бракодел. Он честный труженик, его портрет годами висит на Доске почета. Но сегодня, в условиях крутых технических перемен, остро ощущается необходимость духовного, мировоззренческого роста людей, нового уровня мышления, умения видеть свое производство в развитии, нужны способности представить, каким будет завтрашний день, и работать так, чтобы максимально сближать настоящее и будущее.

Если бы Снегову удалось художественно воплотить эти очень современные мысли, повесть «Над нами полярное сияние», бесспорно, заслуживала бы высокой оценки как произведение новаторское. Но, к сожалению, в повести опущен разрыв между авторскими намерениями и их осуществлением.

Основным сюжетным узлом книги становится авария. Она происходит в тот момент, когда Рыбарчук, правая рука Пантелеева, решает прийти на помощь «научникам». Враждующие стороны — работники цеха и экспериментаторы — начинают сближаться, протягивают друг другу руки. И как раз в этот момент — взрыв! Ситуация острая, драматическая. Цех остановлен, человек в опасности, на заводе появляется следователь. Если причина аварии в непродуманности экспериментов, они должны быть прекращены. Если виновато враждеб-

ное отношение к новой технике, будут сделаны решительные, далекоидущие выводы.

На протяжении многих страниц идет рассказ о расследовании причин аварии. Одни пытаются понять ее причину, другие винят себя, волнуются, пишут заявления. Руководство завода должно принять ответственное решение о возможности продолжить научные эксперименты. И вдруг неожиданный ход: все сводится к безумному озорству. Авария оказывается результатом пустой случайности. Прессовщик Панкрат Коровских решил подшутить над своим товарищем, повысил давление воздуха, а «Рыбарчук перепугался, не за те краны схватился... Вот так и произошло несчастье».

Конечно, поступку Коровских можно найти нравственно-психологические основания. Есть прямая связь между легкомыслием и безответственностью, а следовательно, и в этом сюжетном решении сохраняется мысль о низком нравственном уровне как причине производственных бед. Но Коровских для основного конфликта фигура второстепенная, и автор, переключая на него внимание читателя, отвлекает от главного, тем самым наносит ущерб цельности замысла своей повести.

Фигура Коровских написана с откровенной нарочитостью. «Даже имя с отчеством, даже фамилия — это всех особая, не Иван, не Константин, не Михаил. Панкрат, да еще Феофилактович, а надо всем — Коровских!»

Видимо, постоянный разлад с Пантелевым следует объяснить неприятными свойствами характера Коровских, его откровенным злым недоброжелательством. Мастер даже считает, что у Панкрата есть определенная «система взглядов, оправдывающая нерадивость и нестарание». В цехе Коровских сторонились, был он резок и недружелюбен.

Но истоки его недоброжелательности, социальные основы «системы взглядов» остаются нераскрытыми, уступив ссылкам на личную необычность.

Таким образом, выясняется, что виновником аварии был человек одинокий, особенный, на других не похожий. Ощущение случайности, даже исключительности самого факта аварии резко повышается.

Здесь Снегов, на мой взгляд, допустил ошибку, над которой стоит поразмыслить. Возможны ли в реалистическом произведении, стремящемся к типизации, образы и детали исключительные, необыкновенные?

Вопрос этот для осведомленного читателя риторический. Еще Гоголь говорил о праве художника изображать необыкновенное как «совершенную истину» обыкновенного. Эта гоголевская мысль получила глубокое научное обоснование как раз благодаря торжеству диалектики, за которую С. Снегов справедливо ругает в решении технических вопросов. Но диалектика, раскрывая связи единичного и общего, случайного и закономерного, дает единственно верное решение и этой эстетической проблемы. Хорошо известно, что сущность постигается труднее, чем ее внешние проявления. А в искусстве с его конкретно чувственной определенностью это особенно очевидно. Изображение исключительного может позволить художнику-реалисту вырваться за пределы факта, сделать скачок из круга эмпирических наблюдений к раскрытию общих закономерностей жизни. Любое преувеличение, любой отход от обыденности возможны и оправданы, если они высвечивают и обнажают сокровенную суть этой самой обыденности.

Можно ли считать, что образ Панкрата Коровских выдерживает такую нагрузку? Это опять-таки вопрос риторический. Чрезмерный акцент на оригинальность Панкрата сделан в ущерб социальной типичности. Его озорной поступок движет фабулу, но не мысль. А если центральное событие происходит за пределами основного конфликта, то в повести разрушается определенная художественная целостность. И тогда исключительность характеров и ситуаций, теряя свои познавательные цели и возможности, приобретает совсем иную функцию: возбуждает любопытство читателя. Подчеркиваю: любопытство, а не любознательность. Это отчетливо проявляется в повести, когда производственные и мировоззренческие столкновения вдруг отступают перед детективным развитием событий. Следствие о причинах аварии становится самостоятельным моментом повести, а ее важнейшая общественная проблематика исчезает.

Если необыкновенное не разъясняет истину обыкновенного, оно превращается попросту в средство развлечения. Индивидуальное тогда отвлекается от социального и его изолированное существование разрушает те самые «всеобщие связи», за признание которых так ратовал писатель устами инженера Березина.

Наглядный пример такой однобокой ин-

дивидуализации — рассказ о семейных бедах начальника цеха Овсяникова. Дело не только в мелодраматическом тоне этого рассказа. Болезнь Лиды очень слабо связана с основным содержанием повести.

История с отрицательным резусом, ничего не прибавляя к решению основного конфликта, по-своему увеличивает так называемую «читабельность». Детективная загадка главной сюжетной линии и сентиментальность другой, побочной, служат одной и той же цели. Но, выигрывая в занимательности, повесть проигрывает в решении социальных проблем. Таково неизбежное следствие, когда писатель оказывается не в состоянии перешагнуть через барьер случайности. Еще Энгельс предупреждал, что признание необходимым любого факта ведет к «пустой фразе», к тому, что не случайность будет объясняться необходимостью, а наоборот — необходимость будет сведена к порождению голых случайности. В искусстве пустая фраза возникает и тогда, когда случайность живет отдельно, сама по себе, вне социального осмысления.

Повести вообще не хватает полноты, емкости, пластичности в изображении жизни. Отсутствие художественной убедительности связано не только с несобранностью, неорганизованностью сюжета, но и с явной невыразительностью, недописанностью характера.

В повести С. Снегова решительно осуждается те писатели, у которых «душа человека, его мысли, его чувства сводились к его поступкам». Изображение одних поступков и впрямь обедняет человека, но для прозаика отнюдь не меньший грех лишить своих героев действенного начала. Между тем инженер Березин, своеобразный авторский рупор, высказавший многие важнейшие истины, поступков не совершает. Формально его называют главой «научников», немало говорят о его одаренности, да и сам он ораторствует предостаточно. Но, ничего не совершив, он не может вызвать читательских симпатий. И самое важное: высказывая верные мысли, но не совершая ничего существенного, Березин тем самым не доказывает того, что собирался доказать — необходимости для современного инженера мировоззренческой глубины.

В той же роли умного резонера выступает директор завода Корольчук. Его место в конфликте не найдено, и поэтому он функционирует, а не живет.

Один из очевидных просчетов Снегова заключается в недооценке изобразительной силы слова (в книге есть такие, например, смысловые неточности: «Рыбарчук, невысокий, живой белорус», «Мы с Лидой, еще студентами, сделали два аборта», «Лида в каком-то сумрачном такте с муками ребенка металась на постели», «...выявилась реальность из тьмы непредвиденного»), в том, что характеры героев слабо раскрываются не только в поступках, но и в речах, диалогах. Разные персонажи разговаривают крайне похоже, речь их снивелирована на одном среднеграмотном и не очень выразительном уровне. Эта языковая нивелировка разрушительно действует на правду характеров. Убедимся в этом хотя бы на одном примере.

Вот С. Снегов изображает полярное сияние:

«На западе вспыхивали красноватые костры, костры разгорались, пламя из красного становилось зеленым и желтым, костер вдруг превращался в светоизвергающий вулкан — десятки пылающих струй исторгались в стороны, цветная лава разливалась по небу. Небо с каждой секундой светлело, пожар захватывал север и восток, звезды стгали в жару, уже ничего не было вверху, кроме ошалело несущегося желтого и зеленого пламени, — скоро огонь захватит всю ночь, затопит смутно притаившуюся внизу землю!»

А вот описание мыслей и ощущений мастера Пантелеева, возникших у него под воздействием «небесного спектакля».

«И Миша в этом бесновании мыслей, превратившихся в силуэты, являлся смутно-зеленоватым факелом, а Оля была желтой, и фиолетово змеился, пронзительно вдруг наклонялся Коровских, и красными распущенными языками метался Овсяников, и скорбно синим — широко опадал Рыбарчук, а сам Пантелеев, он тоже себе являлся, проносился бурно-грязноватым, он был поблекший и тусклый, мастер испытывал к себе брезгливую жалость, он не хотел всматриваться в себя».

Пантелеев до этой сцены рисуется автором как человек ограниченный, лишенный душевной тонкости, с узким кругозором. Он вступает в открытый конфликт с сыном, грубо оскорбляет его невесту. И вдруг — такие неожиданные, нарочито разукрашенные фантастические видения. Цельность образа страдает, определенность

характера теряется. Но должен признаться: раздумывая о внезапном эстетическом прозрении Пантелеева, я заподозрил здесь существование особого психологического подтекста. Может быть, поэтические впечатления от северного сияния должны раскрыть читателю человеческие потенции Пантелеева, все те хорошие душевные его качества, которые позволяют Снегову завершить повесть вполне благополучным финалом?

Ведь именно Пантелееву суждено найти ошибку «научников» и помочь им успешно завершить работу. Но если Снегов и впрямь хотел поэтизацией Пантелеева подготовить благополучное разрешение конфликта, то это лишний раз демонстрирует его художе-

ственные просчеты. Именно финал повести вызывает возражения, ибо и здесь торжествует случайное переплетение обстоятельств. А по смыслу конфликта его разрешение должно было зависеть от духовного роста людей, от углубления их мышления, от повышения уровня их сознательности и гражданской активности. И все же мне хочется кончить рецензию добрыми словами в адрес С. Снегова, ибо писатель чутко уловил новый этап в духовной жизни технической интеллигенции, поставил проблему, всестороннее художественное исследование которой еще впереди.

Л. ФИНК.

Куйбышев.



МОНОЛОГ С ВАРИАЦИЯМИ

Энн Ветемаа. Маленькие романы. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат», 1972. 336 стр.

Посвятив «Маленьким романам» целую подборку материалов, «Литературная газета» (1973, № 20) предпослала им слова из доклада В. Бээкмана на последнем съезде писателей Эстонии: проза Ветемаа «заняла заметное место в нашей литературе», в творчестве писателя особенно важен его интерес, связанный с мерой «этической и социальной ответственности человека».

«Маленькие романы» Э. Ветемаа изданы по-русски в Таллине, но эхо от них уже перелетело границы Эстонии. О. Ветемаа спорят, о Ветемаа пишут.

Виной тому талант автора и некоторая необычность темы. Все четыре романа посвящены, по существу, одному герою, более того, герой этот — лицо отрицательное. Романы написаны от имени этого лица, и автор как бы отсутствует в них. Но вот что отвечает на вопрос о позиции автора сам автор (в том же номере «Литературной газеты»): «Все четыре романа — действительно истории предательства. Так они и были задуманы мною... Теперь... следовало бы ответить на вопрос «почему?»... Действительно, к чему столько предательства, если в жизни встречается отнюдь не меньше самопожертвования: зачем рассматривать плохое, если в жизни нас окружает гораздо больше хорошего? Это серьезный вопрос. Признаю, что писал о мелких душах именно для того, чтобы бороться с ними, анализировал их, чтобы осудить».

Это авторское объяснение облегчает мою задачу. Я старался сосредоточиться на психологии героя Ветемаа, на узловых пунктах его нравственного состояния. Мне важно было увидеть этот темный мир изнутри — так, как увидел его прозаик. Написанная до выступления Э. Ветемаа в «Литературной газете», рецензия может читаться как послесловие к нему, как мое понимание того, что автор назвал анализом и борьбой с предательством.

Когда герой Энна Ветемаа попадает в собор, на него не находит «то самое чувство», которое испытывает женщина, когда она собирается рожать: чувство полноты существования и оправданности его. Герой пытается симулировать это чувство, искусственно вызвать его, он запирается в церкви на ночь и ждет... но не находит, душа остается пуста — ничто не посещает ее. И со дна пустоты, как изжога, поднимается зависть. Она жжет и душит, смешивается с отчаянием и раздражением, с жадной наполнить и с иронией по поводу своей недостаточности.

Герой смеется над слепотой полноты, над животной насыщенностью ее и избыточностью, но сам тянется к ним, как тянется из темного подвала картофельный росток, лишенный солнца. Образ картофельного ростка взят мною у Ветемаа, он сравнивает с ним стихи Руубена Йллиме, героя романа «Усталость». Душа Руубена — под-

вал, где всходит этот росток при свете одинокой совести. Когда-то Руубен предал своего учителя, профессора Каррика, профессор Каррик давно в могиле, он растворился в земле и сам превратился в свет и воздух, а его ученик так и не может подняться.

Истощенный и измотанный своим предательством, он уже ни на что не способен, кроме сознания непоправимости случившегося. Исповедь Руубена — это мучительное прокручивание пластинки, на которой записана история падения, история жизни в падении. Весь остаток сил брошен на то, чтобы выложиться, высказаться. И высказаться до конца. Это желание крайности, абсолютности истины о себе — как бы вызов полноте, которая недостижима, как бы попытка возместить ее иной полнотой — отрицательной.

Инерция самообнажения так сильна, что герой готов даже переступить границы приличия, — он ничего не хочет скрывать в себе: пусть все, все знает о нем читатель! Он упивается этим бесстрашием своего бесстыдства и возгорается от вида того, что оно открывает в нем.

В его вызове есть и смелость и страх остановиться: лишь бы его слушали, лишь бы он говорил, а что дальше — не важно. В «дальше» он не хочет заглядывать, там — темнота. Отталкиваясь от нее и стремясь к ней (конец все равно будет), он напоминает отчаявшегося, который от страха смерти готов покончить с собой.

Эта отрицательная энергия саморазоблачения дает положительный эстетический результат: на наших глазах создается характер, подобие которому трудно сыскать в современной прозе. Это тип человека неверующего, сладострастно укоренившегося в своем неверии и вместе с тем взывающего к вере. Взывающего с озлобленностью, со всем запасом иронии человека XX века и с простодушием новорожденного.

Какое бы имя он ни носил в романах Ветемаа, он — одно лицо. И Руубен Иллиме, и Свен Вооре из «Монумента», и Яан из романа «Яйца по-китайски» — все они духовные двойники, близнецы-братья, которые передают эстафету исповеди друг другу.

Слово «эстафета» опять-таки в духе Ветемаа: его герои часто пользуются спортивной терминологией. Жизнь для них — некий забег на дальнюю дистанцию, соревнование с преодолением препятствий. Яан, стоящий у исхода жизни, говорит, что он близок к

«финишу», Свен Вооре, только начинающий бег, признается, что «берет старт в соревнованиях по разряду мастеров».

Пройти первым — вот один из стимулов бега. И, наконец, пройти, не сойти с дорожки, выдержать — ослабленный вариант той же идеи. Спорт безжалостно выбрасывает тех, кто сходит. А жизнь для героя Ветемаа — спорт. Впрочем, как говорит Свен Вооре, не только спорт, но и наука и искусство.

Эту мысль он развивает в своем трактате о приспособленчестве, который является программой его житейской этики. По мнению Свена, именно приспособленчество — этика, ибо оно помогает миру держаться в равновесии. Все остальные формы поведения ущербны по отношению к нему. Они или впадают в крайности, или сами являются крайностями. Крайности же — это то, до чего не может «унизиться» гибкий ум Свена.

Ставка Свена Вооре — ставка на логику, на рационализм приспособленческой этики, учитывающей опыт прошлого. Что может дать крайность? Только крайность. Ожесточение порождает ожесточение, кровь — кровь. Все это было... Так рассуждает Свен. «Было там (в его трактате. — И. З.) «аналитическое приспособленчество», раскрывающее слабости партнера; было «дезорентирующее приспособленчество», расчитанное на недооценку твоей личности... было «зеркальное приспособленчество» — партнер видел тебя насквозь, но в то же время понимал, что это предусмотрено, — в результате два толковых человека оценивали друг друга по достоинству; кроме того, было еще «эстетствующее приспособленчество» на предмет самоувеселения и «спортивный подхалимаж», разработанный специально для тренажа приспособленческой техники».

Все эти приемы герой Ветемаа успешно демонстрирует на практике. Роман «Монумент» и есть, по существу, демонстрация приемов, показ возможностей, которые предоставляет ему теория приспособленчества. Здесь все рассчитано: и срок исполнения, и качество, и необходимое укладывание в норму. Выше нормы герой не хочет прыгать: это не входит в условия игры.

Поэтому и интрига, и расстановка сил, и сама драматургия сюжета здесь опытные, готово-экспериментальные. На дорожку выпускаются три типа, три представителя

трех точек зрения: Айн Саарма — талант, Магнус Тээ — бездарность и Свен Вооре — ни то и ни другое. Магнус Тээ держится за те времена, когда он лепил бюсты, Айн творит по-новому, а Свен Вооре творит в своей сфере, в сфере сталкивания этих двух крайностей.

Обстоятельства охотно подыгрывают Свену, как, впрочем, подыгрывают и партнеры. И та и другая сторона как стороны неумеренные делают глупости, и Свен пользуется ими. Он прикидывается и тем и другим и играет на слабостях того и другого. В романе, правда, есть еще одна сторона — скульптор Тоонельт, но она выключена из игры. Роль Тоонельта и состоит в том, чтобы быть выключенным, взирать на игру свысока. Это тоже входит в задачу эксперимента.

Когда успешно финишировавший Свен стоит перед монументом, любуясь своей победой, Тоонельт вырастает перед ним, как бог из машины, и спрашивает: «Интересно было бы знать, каково у вас на душе». Вопрос риторический, и обращен он скорей к читателю, чем к герою: пусть читатель знает, что поступок Свена не остался безнаказанным, он отмищен вопросом Тоонельта.

Сам же Свен Вооре вряд ли смутится им. Для него укор Тоонельта все равно что укор бога. А бога он не признает.

Земная калькуляция героя «Монумента» рассчитана на земные дела. Что же касается небесных, то он и их готов свести на землю. Бог, по замечанию Свена, швейцар на Высшем суде, который, как и швейцар в ресторане, не пускает только олухов. Умный человек пройдет. Ход мысли Свена Вооре неумолим: раз бог создал людей по своему образу и подобию, то и он, Свен, подобие бога. И еще неизвестно, в ком бог воплотился истинно — в таких, как Айн, или в таких, как Свен.

Пока это лишь игра ума, игра силлогизмов, соответствующая общему стилю игры в романе. Свен Вооре резвится, ему тридцать лет. Ветемаа, в свою очередь, как бы «резвится» с ним. Он играет со своим героем, зная что тот все равно попадет в ловушку. Никуда он не денется, нравственно он банкрот, хотя физически, может быть, и окажется в победителях. Эта игра иногда переходит в азарт исполнения, и ловкость письма берет верх над чувством.

Поступки свои Свен Вооре объясняет действием среды, но порок заключен в нем

самом и развивается имманентно, как развивается и растет рак в теле Яана в романе «Яйца по-китайски». Причем порок этот не ощущается им как порок, а скорее наоборот, как здоровье, жизненная потенция, без которой он не может существовать.

Именно он доставляет ему удовольствие. Именно он влечет и вдохновляет. Когда Свен грешит, он на подъеме, он возбужден и полон сил. Стоит ему уклониться в сторону «человеческого», как он уже тряпка, рефлектирующий слизняк.

В такие минуты Свен Вооре расслабляется. Он чувствует «второе и третье кровобращение» скульптур Айна, его посещают мгновения вдохновения. Но они тут же улечиваются. Может, вся его хитрая философия игры в жизнь не что иное, как бессилие человека, которому не выпал счастливый билет? И который он должен тащить исподтишка?

Свен Вооре не задает себе этих вопросов. Задавать лишние вопросы не его амплуа, это амплуа Руубена Иллиме и Яана, которые уже сошли с дорожки. Они финишировали, и у них есть время на размышления.

Руубен Иллиме — это выдохшийся Свен, Свен уставший и разуверившийся в своих теориях. Он уже не смеется над богом, он мстительно оглядывается на него, требуя ответа. Почему его жизнь сложилась так? Почему он предал, а не кто-то другой? И за что ему этот крест?

Он спешит в храм, чтобы задать эти вопросы Иисусу Христу. Но распятый Христос молча смотрит на него сверху. Руубен вслушивается в музыку органа, но и та не отвечает ему. Профессиональным ухом он отмечает гром органного пункта, модуляции и лигатуры темы, но сверх этого ничего не слышит. Душа Руубена глуха к божественному смыслу музыки. И тогда он в остервенении набрасывается на старика, разучивающего хоралы. А если бы твою мать потребовалось распять, чтоб спасти Христа, ты пошел бы на это? — кричит он, испытывая что-то вроде удовлетворения палача.

Герой «Усталости» хочет верить — верить хотя бы во что-то или в кого-то. Но старик прав: «Разум тут бесплоден. Это как с музыкой: если она ничего у нас не вызывает, значит, это в вас чего-то недостает, а не в музыке».

В сердце Руубена недостает любви, ему нечем верить, и в этом его трагедия.

Любовь съедена предательством, муками совести, эгоизмом одиночества. Она съедена ожесточением, неуважением к себе.

На ее месте распустился синий цветок — тот самый цветок, который застыл в стихах Руубена рядом с манекенами, стоящими в окнах магазинов. Как и те, он бескровен, безжизнен, фиолетово-ненатурален. В нем нет соков.

Одиночество — вот рак, который грызет изнутри героев Ветемаа. Даже находясь среди людей, они не могут забыть, они остаются один на один с собою. Контакта с миром нет — мир им враждебен, ибо стремится к близости.

Одиноким чувствует себя Арне («Реквием для губной гармоники») на сборе ветеранов войны. Он в войне не участвовал. Он убил немца Курта, но немец убит им из ревности. И уж совсем одинок Яан, который мечется по своей палате, глядя на далекое зарево города, в котором перегорели страсти дня. Это зарево кажется ему терновым венцом, сиянием безысходности. И даже молодой бодрый Свен, который нравится женщинам и умеет играть в «естественного человека», болезненно страшится близости.

Сближение для всех них страшной одиночества. Они не приемлют его кожно, телесно.

Вот почему они так враждуют с женщиной и не любят детей. Дети вызывают у них мысль о проигрыше, об эгоизме нового поколения, которое вытолкнет их из жизни.

Они с брезгливостью думают о собственных женах, любовницах, приятелях. Их острое зрение отмечает дефекты в их лицах, несовершенства. Глаз видит ущербное, распадающееся, стареющее. В молодом же его раздражает чрезмерность, выпирание плотского.

Особенно этот мотив физического неприятия мира силен в исповеди Руубена Иллиме, героя романа «Усталость». Здесь что ни лицо, то испорченный снимок: оно или передержано, или недодержано в проявителе. Мир вокруг Руубена как бы облучен усталостью. Он двигается и живет замедленно, а если и убыстряет бег, то это похоже на истерику, на какие то дерганья, на агонию.

И даже женщина не может спасти Руубена от одиночества. Наоборот, она усугубляет его, ибо сближение с ней минутно и вызывает стыд. Сближение с Маарьей Каррик происходит на холодной постели,

в пустой квартире профессора Каррика, который только что умер. Еще не прошли положенные сорок дней, отведенные для его памяти, а Маарья и Руубен уже согрешили, но согрешили без чувства, без желания. С тоскою глядит Руубен на ее «грустные пуговичные соски» под платьем, думая, что если он когда-нибудь коснется их, то «только из чувства долга». Лишь раз Маарья вызвала у него вожделение, и то это было в день похорон профессора, когда он увидел ее худые коленки, на которых обвисли траурные чулки. Через них просвечивала ее белая кожа, похожая на цвет «воздушно-нежного ядра кокосового ореха» или на «живот ящерицы».

Белая кожа — это, кажется, единственное, что герой готов принять в женщине. Белая и нежная, как кокосовое яблоко, кожа у Агнес, «белый овал» — Яаника в романе «Яйца по-китайски». Белизной бересты, белизной миндаля отдает кожа Кристины — героини «Реквиема для губной гармоники». Белая шея у Леа в романе «Усталость».

Все эти женщины похожи одна на другую. Они сонно-неподвижны, меланхолично-вялы. Они возбуждаются только тогда, когда речь заходит об их прямом деле — деле продолжения рода. Пожалуй, одна Леа исключение из этого списка: она девочка. Но и ей, как думает Руубен, предстоит рожать и она превратится в женщину.

Сонность женщины, ее равнодушие к игре, которую ведет мужчина, раздражает героя. В противоположность ему она знает, что делать, и это дает ей равновесие. Он же все время срывается, рефлектирует, нервничает, впадает в амбицию. Гибко-всезадный в отношении обстоятельств, он в отношении женщины всплывчиво-амбициозен. Женщина для него не только партнер-антагонист, она — сама природа, которая в своей большой игре отвела ему ничтожную роль. Он смертен, а она вечна, он растерян, она спокойна. Она молча воспроизводит себя, не задумываясь, нужно ли это, морально ли это. Ее нравственный закон — само воспроизведение, а она твердо стоит на нем.

Бессмертность этого белого, отталкивающе-теплого, притягивающе-чужеродного смущает ум героя. Он силится постичь эту загадку, но не хватает духу. Самолюбие берет верх: обидно! обидно! обидно! И он топчет в своих монологах женщину, поносит ее. Зарясь на ее белую кожу, он ее

винит в сластолюбии, алчности, ненасытности. Он сравнивает ее с личинкой, лошадью, пчелиной маткой, с круглой луной, с желто-глухой тыквой.

В «Яйцах по-китайски» это ощущение женщины достигает наивысшего ожесточения. Здесь достается самой богородице: та недалеко ушла от Агнес, от Кристины, от тыквы.

Глядя на свои высохшие ноги, на кожу, приближающуюся к цвету кожи мертвеца, Ян в страхе бежит под окна палаты Яники и молит о пощаде. Он хочет последний раз побыть возле нее, отдаться ее теплу и, может быть, на миг почувствовать себя живым. Но и здесь его постигает фиаско. Яника, облученная радием, бесплодна. Она пуста, она сама говорит о себе: «дупло», «падала». Это наказание, это насмешка.

В финале «Ян по-китайски» возвратившийся из больницы (у него оказался не рак, а всего лишь доброкачественная опухоль) Ян сидит в кухне, прислушивается к звукам шипящей яичницы на сковородке и видит, как синяя муха ползет по окну. Смерть, перед лицом которой он шел на исповедь, оказалась ложной. Ему нет даже и этого вознаграждения. Он остается жить — со своей психостенией, с этой синей мухой на окне, с желто-круглой яичницей на сковородке, с белой Агнес, хозяйничающей на кухне.

Куда же ушли его силы, во что они вылились? Кто он теперь? Все тот же червяк, раздавленный жизнью, или воскресающий Одиссей, вернувшийся в свою Итаку?

Нет, он не Одиссей, хотя его скитания по собственной душе напоминают сюжет Гомера. Это тоже одиссея, но одиссея старения, разложения, безнадежной отдачи потенци в пустоту. Духовно-творческое выедено, осталось плотское. Вот почему он бежит к Янике, чувствуя «дрожь настоящего», эту подмену бессмертия. «Слепое, тупое, случайное дало мне жену», — рассуждает Ян и хочет слиться с этим тупым и случайным и исполнять его волю. «Плодитесь и размножайтесь!» — кричит он, не желая знать о Перводвигателе «колеса»: пусть «карусель вертится!».

Даже собственную болезнь, разрастающийся и разбухающий в нем рак, Ян готов возвести в ранг творца, ибо это творчество плотское. Расти, расти, расти! — вот призыв рака, призыв максимализма плоти, претен-

зии ее зарвавшегося честолюбия. Оно сродни подпольной гигантомании героя Ветемаа. Он тоже посягает на все и так же готов неистовствовать в отрицании и в плотской страсти.

Еще в детстве Ян вычитал в книге о китайской кухне рецепт, по которому можно приготовить сладостнейшее блюдо из куриных яиц. Для этого их надо зарыть в землю и через несколько лет откопать. Яйца превратятся в лакомство, равного которому нет на свете. Вот кашево яйцо порока — безумная жажда наслаждений! Она — исток, первая клетка, из которой вырастает то отталкивающе-страшное, что рисует воображение Яна. Ян зарыл эти яйца в землю, убил, чтоб животню упиться сладостью, произросшей из их гибели.

Нравственный рак Яна вырос из этой первой клетки. Он жрал и жрал его душу, пока не привел ее к пустоте.

Это пожирание, поедание внутреннее мастерски написано Ветемаа. Оно написано с ожесточенностью, как бы бросающей вызов ожесточенности разрушения. Картины болезни вдохновляюще точны, почти эпичны. Этот негативный эпос создает особую атмосферу четырех романов, которые можно назвать романами ночных открытий.

Ночью человек остается один на один с миром, иллюзия синего неба и облаков разрушается: открывается черный провал, усеянный звездами. Кто мы в этом провале? Кто бросил нас в него и зачем? — спрашивает он.

О том же думает и Арне в «Реквиеме для губной гармоники». Роман этот более чем какой-либо другой экспериментален. Здесь все вопросы героев сведены под крышу церкви. Кулак Йоханнес, рабочий парень Хейки и рефлексор Арне плюс Бог должны «разыграть» свой спектакль. Только на этот раз обстоятельства усугублены войной: действие происходит на захваченной немцами территории Эстонии.

В «Реквиеме...» война должна все поставить на свои места: на этот раз бескровной игры быть не может, игра сознательно устраивается так, что кровь — неминуемая расплата за поступки. Посредник спора — пастор Якоб бессилен помочь Хейки, Арне и Йоханнесу. Так же бессилен и его бог. Он не воспротивился приходу немцев на эстонскую землю. Он дал Курту возможность убивать эстонцев. Он же смотрел с

неба, когда Арне убил Курта. Он и теперь смотрит с креста на то, как Йоханнес убивает Хейки.

Ситуация романа вторична, но первородно-подлинны чувства героя, его тоска по поводу несоединимости с миром, тоска одиночества. Это его родная стихия, и он в ней силен. И здесь, на какой-то грани иного сознания, на грани отчаяния в день смерти Хейки, он возвышается до порыва, который зажигает над его судьбой оправдательную звезду. Он поднимается на крышу колокольни и с нее видит землю — песчаную, неяркую Эстонию, и не только ее, а всю землю вообще, всю природу, весь живой мир, который вдруг оказался не чужд ему.

Этот момент прозрения, момент выхода из слепоты эгоизма — высшее достижение

его ослабшего духа, как и высшая точка в беспощадно реалистической прозе Ветемаа.

Сцена на колокольне происходит утром. Это единственное утро в жизни героя Ветемаа, которого он не боится, которому отдается без страха. До этого его тревожил свет дня, ему казалось, что он выставляет напоказ его «бесшерстно-гладкое тело», его помыслы. Призывая ночь, он гнал свет — свет разоблачающий.

Теперь он радуется ему. На этой высоте сознания, минуты непрочного воссоединения с миром он ничего не боится. Страх — вечный спутник его отрицающей мысли — покинул его. Он дал место надежде, свободе, освобождению.

Что ж, не поздно еще и для него.

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ.



ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МИХАИЛА СВЕТЛОВА

Ты помнишь, товарищ... Воспоминания о Михаиле Светлове. Составители
Л. Либединская и Э. Паперный. М. «Советский писатель». 1973. 335 стр.

Книги из серии «Писатель в воспоминаниях современников» — одни из самых читаемых. Они вызывают понятный и вполне определенный интерес. Это прежде всего интерес к личности писателя, интерес, все повышающийся год от года. Каким был этот человек, чье наследие нас восхищает, учит, будоражит или, во всяком случае, привлекает внимание? Соответствует ли он тому своему облику, который уже сложился в нашем воображении? Тому, что утверждал в своем творчестве? Каков он был в общении, в пристрастиях, в образе жизни и манере поведения? Что и кого любил, что и кого отвергал?

Я уже сказал, что этот интерес читателя к писателю растет, и растет ощутимо. Иных это умиляет («Не правда ли, в этом сказывается общее уважение к литературе?»), иных раздражает («Что ни говорите, есть в этом нечто обывательское, нездоровое, — важны книги, а не те, кто их пишет»), но, так или иначе, перед нами данность, с которой необходимо считаться.

Думается, что наш век при всем том, что он привел в движение огромные массы, что он привык мыслить и оперировать «глобальными категориями», одновременно чрезвычайно обострил внимание к отдельной личности.

Объяснение этого парадоксального на первый взгляд явления может лежать как

в самой диалектичности общественного сознания, так и в общечеловеческой потребности иметь своих избранников, которым в зависимости от их значения можно отдать сердца или, по крайней мере, внимание.

Я не хочу уподобить писателя «звезде», хотя некоторые наши товарищи уже достаточно тиражированы голубым экраном, я хочу лишь заметить, что интерес к личности писателя, нравится это пуристам или нет, будет расти в прямой пропорции с интересом к его творчеству. И это естественно и закономерно в эпоху коллективных действий и личной ответственности.

А теперь представьте, что речь идет о писателе, которого мы знаем не по мону-ментам, не по учебникам и хрестоматиям, а который еще только вчера радовался нашими радостями, печалился нашими печальями — одним словом, жил с нами одною жизнью, был с одним из нас.

Но вот он ушел, и вдруг мы чувствуем, что, казалось бы, столь знакомые будни стали приметам времени, письма стали документами, фразы — высказываниями, а сам он, наш вчерашний спутник, фигурой, принадлежащей истории литературы. Все то, что при жизни человека (и, прежде всего, большого человека) казалось частностью, приобретает после того, как его не стало, некий высший смысл, в котором

предстоит разобраться, который надлежит постичь.

Итак, перед нами воспоминания о человеке и поэте, оставившем нас меньше десяти лет назад. Причем сам герой воспоминаний в силу своей натуры не был затворником, допускавшим к себе избранных. И если склонность к уединению, к дистанции, способствует атмосфере значительности и некой тайны, предшествующей созданию легенды, то легендарность Михаила Светлова, напротив, выросла из его общительности, доступности, естественного демократизма.

Эти черты, освещенные к тому же сопутствовавшей поэту репутацией знаменитого остролова, в той или иной мере отразились во всей книге, создавшей в определенном смысле весьма цельный образ. Другой вопрос, достаточно ли этот образ объемлен и вмещает ли он в себя всего Светлова.

Думается, что, прежде чем вынести то или иное суждение, следует, во всяком случае, учитывать, что образ того, о ком вспоминают, сознательно или подсознательно отвечает душевной потребности тех, кто вспоминает. При всей своей достоверности, перед нами безусловно романтизированный Светлов.

Слово «романтика» ассоциируется обычно с полетом, с порывом, стремлением вдаль, ввысь, с известной приподнятостью над грешной землей. Однако, как выясняется, в определенные периоды романтический герой может представлять в подчеркнуто земном облике. «Сидит на стуле Добрая Стулалая Романтика в усталом пиджачке», — пишет Роберт Рождественский в опубликованных в этой книге стихах. Романтика отыскивается во внешней будничности, в отсутствии претензий. В эпоху растущего благосостояния она выражается в неприязнательности, в надбывности, — Маргарита Алигер не случайно озаглавила свои воспоминания «Шуба на меху». В них рассказывается о том, как Светлову против его воли была куплена теплая шуба и как он, ни разу ее не надев, настриг из ее подкладки хвостики для ребячьих забав. Этот мотив разрабатывается и другими мемуаристами. По страницам книги с веселой шуткой на устах шагает чудаковатый человек, не слишком приспособленный к жизни, приветствующий мужчин словом «старик», женщин — словом «старуха», тех и других — словом «босьяк», немножко Ходжа

Насреддин, немножко Пиросмани, немножко бравый солдат Швейк.

Сказать, что образ этот не соответствует правде, было бы, очевидно, неверным. Известно, что существует душа и маска. Известно, что долго носимая маска в конце концов становится душой, форма сливается с сутью.

Слово «маска», бесспорно, неприменимо к Светлову. Но думаю, что, как истинный художник, он некогда — в ряду других образов — создал и свой, который в конце концов стал реальным Михаилом Светловым.

В этом нет ровно ничего предосудительного. Более того, это прекрасно. Подобная творческая работа над собственным образом есть одновременно превосходная форма самовоспитания.

Блестящий образец подобной работы явил нам Чехов. Этот внук крепостного, сын лавочника, выросший в шумной, суматошной семье, уже к своему тридцатипятилетию поражал окружающих редким аристократизмом духа, независимостью, душевным изяществом. Даже своей «южной» любви к жизни во всех ее проявлениях он сумел придать благородную сдержанность выражения.

Думается, что и образ Светлова, так хорошо знакомый его современникам, был не только даром небес, но и результатом большой внутренней работы. Он защищал его от многих испытаний, на которые щедра жизнь, и помогал сосредоточиться на творчестве.

Выше я упомянул о его естественном демократизме, качестве, которого так или иначе коснулись все авторы этого сборника. Оно также было непосредственно связано с его стихами. Сознательно или неосознанно — этого нам никто не скажет, — но Светлов понимал, что основа его поэзии заключена в ее приближении к повседневности. В его растворенности в общей жизни и было необщее выражение его лица. Для него не существовало понятия «поэт и толпа» и даже «поэт и народ», он мог быть поэтом, пока чувствовал себя частицей народа, который он предпочитал называть населением.

Да, столь привычное для каждого из нас слово «народ» было для него уж слишком величественным, слишком патетичным. Слово «население» звучало более интимно и сохраняло возможность той доброй иронии, которая оставляла ему право быть самим

собой. В этом, как мне кажется, и кроется смысл знаменитого светловского юмора — этот юмор всегда выручал, когда оказывался бессилён пафос.

Мне все же не хотелось бы создать впечатления, что читателям сборника предстает несколько облегченный образ художника.

В конце концов, необходимо учитывать и то обстоятельство, что создан он, так сказать, по горячим следам. Время определит меру того, что было открыто всем и что осталось в глубине, скрытое даже от дружеского взгляда.

Зато несомненно, что сборник создан искренними и равнодушными людьми. Быть может, лишь в двух-трех случаях авторы воспоминаний выходят на первый план, слегка отесняя покойного поэта. Но это почти неизбежные издержки подобных изданий. Значительно важнее, что, прочитав книгу, мы видим, как неразрывно была связана история этого человека с историей его страны.

Николай Коробков, Михаил Сосновин и Иван Рахило проводят нас по пыльным улицам южного украинского города, где протекает детство Светлова, по вздыбленной революцией, пестрой, неблагоустроенной Москве, где шла его юность. Вместе с юношей из Екатеринослава, почти мальчиком, полным великих надежд и нерастрченных сил, мы совершаем его путь — юного провинциала, явившегося в столицу, внешне столь традиционный и, однако же, так не похожий на биографии всех его литературных предшественников.

Ибо он был рожден не завоевателем, а поэтом. А быть поэтом значило для Светлова «все отдать». В этом видел он смысл и назначение поэзии в юности, так ощущал он ее, когда писал свою знаменитую «Гренаду», своих «Живых героев», «Итальян-

ца» и много, много других стихотворений — до последних дней жизни.

Яков Хелемский в своих этюдах знакомит нас со Светловым тех лет, когда его имя уже победоносно прозвенело по стране, и, сам еще молодой человек, он уже помогает войти в литературу новой поэтической поросли. Семен Гушанский вводит в атмосферу 30-х годов, когда Светлов обратился к театру, познав радости и горести, почти неизбежно связанные с драматургическим дебютом.

Вместе с рассказчиками мы приближаемся к «роковым сороковым».

Лев Славин, Б. Бялик и командир стрелкового батальона В. Славнов представляют нам Светлова — солдата, мужественного человека, надежного боевого товарища.

...Потом была война...

И мы, как надо,
Как Родина велела, — шли в бой.

И с нами шла «Наховка» и «Гренада»,
Прекрасные ровесники твои.

О, как вело, как чисто пело Слово!
Твердили мы:

— Не сдай! Не уступи!

...Звени, военная свирель Светлова,
Из голубой, из отческой степи..

(Ольга Берггольц)

И так шаг за шагом приходим мы к его последним дням, дням общего признания и тягостного конца, взволнованно воссозданных в воспоминаниях Н. Федосюк и В. Кулешовой.

Я не упомянул других авторов отнюдь не из невнимания к их работе. Все вместе они показали нам человека, сумевшего при всех обстоятельствах остаться самим собой. И пусть даже образ поэта создается скорее вширь, чем вглубь, вся книга с первой до последней страницы дышит искренней любовью к Михаилу Светлову.

Леонид ЗОРИН.



ДВУХТОМНИК УЧЕНОГО

Д. Благой. От Кантемира до наших дней. М. «Художественная литература». 1972, т. 1, 559 стр.; 1973, т. 2, 463 стр.

Настоящий двухтомник, появление которого совпало с восьмидесятилетием его автора, члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Дмитриевича Благоего, может служить творческим отчетом ученого. Хотя отчетом по необходимости неполным: такие крупные, известные каждому филологу его

труды, как «История русской литературы XVIII века», два тома монографии о Пушкине, естественно, не могли быть включены в это издание. Да и некоторые небольшие статьи исследователя, написанные давно, но не потерявшие своего научного значения, оставлены за бортом двухтомника: назову

лишь опубликованную в начале 20-х годов работу «Тургенев — редактор Фета».

Но зато двухтомник дает представление о некоторых постоянных чертах творческой деятельности автора. О широте его научных занятий, обнимающих почти два с половиной века отечественной литературы — «от Кантемира до наших дней». О разнообразии жанров, в которых он работает, — от монографии, исследования до небольшого критического отклика и «речи-слова». Наконец, просто о труженичестве ученого — труженичестве замечательном, поистине не знающем усталости, длящемся вот уже почти полвека.

Из работ, включенных в двухтомник, я бы поставил на первое место те, которые автор объединил названием «Диалектика литературной преемственности».

Вот, к примеру, давняя статья Д. Благого «Тютчев и Вяземский». Присмотримся к ней внимательнее: это пример того, что сегодня называют типологическим сопоставлением. Сходство-различие обоих поэтов последовательно описывается во всех биографических и творческих аспектах. Вначале автор выявляет факторы, которые, как он считает, послужили «широкой и глубокой основой» художественного взаимодействия: принадлежность обоих поэтов к одному и тому же слою старинного и просвещенного дворянства, вытесняемому всем ходом общественного развития с авансены истории; одинаковая оппозиционность, резкая враждебность к казарменному и чиновничьему образу жизни при одинаковой же враждебности, смешанной с чувством жалости, к тем, кто отваживался вступать с ним в борьбу, к революционерам и к радикалистам, к «жертвам мысли безрассудной», как называл Тютчев декабристов.

Потом исследователь переходит к биографическим контактам двух поэтов, и выясняется, что наряду с обоюдной большой симпатией, с тяготением друг к другу их отношения были осложнены и разномыслием и спорами. «А спорить им было о чем»: с одной стороны, питомец новейшей немецкой философии и консерватор в славянофильском духе; с другой — «вскормленник культуры французского XVIII века», убежденный западник.

Далее ученый намечает творческие параллели; вначале это лишь общее сходство — то, которое бросается в глаза уже «при простом просмотре оглавления стихов» обоих поэтов; потом, все более раз-

укрупняясь, масштаб исследования доводится до отдельных строф, строк, поэтических образов.

Такой анализ можно назвать настоящей «грамматикой поэзии» (пользуясь выражением Д. Благого, служащим ему в качестве названия другой статьи). Однако она необходима для понимания более крупных частей поэтического контекста. Иначе говоря, масштаб исследования вновь «укрупняется» и в поле зрения автора теперь развитие Вяземским и Тютчевым важных философско-поэтических тем — таких, как бездна, зло, разрушение и т. д., обнаруживающих и сходство и различие их художественной мысли.

Статья Д. Благого интересна не только своим конкретным содержанием (ко времени ее первой публикации связи этих поэтов не отмечались и не описывались), но и методикой подхода к «диалектике литературной преемственности». То же самое можно сказать о статье «Александр Блок и Аполлон Григорьев», о статьях, посвященных работе Пушкина над сюжетами и темами мировой литературы — «Фауст в аду (Об одном неизученном замысле Пушкина)» и «Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой».

От конкретных художественных явлений, от диалектики творческих связей писателей Д. Благой переходит к двум другим задачам. Одна, говоря словами ученого, состоит в том, чтобы «от изучения отдельных явлений подняться на более высокую ступень познания законов, ими управляющих», то есть законов литературного процесса. Здесь я бы отметил ту энергичность, с какой ученый почти в каждой своей работе настаивает на применении к литературе известной диалектической идеи спиралевидного развития. В художественной истории мы сплошь и рядом сталкиваемся со знакомыми, уже являвшимися прежде феноменами, однако последние, при всем «типологическом сходстве, представляют собой отнюдь не возврат к старому», но некое новое качество на (используя выражение Ленина) «великом круге (спирали) развития человеческой мысли вообще». Как два завитка спирали, соотносятся, по мнению ученого, русский романтизм первых десятилетий XIX века и неоромантизм рубежа XIX—XX веков, а связующим звеном между ними явилось творчество Тютчева и особенно Фета — об этом Д. Благой пишет в специальной работе о Фете «Мир как красота».

Другая задача — это раскрытие законов строения художественного произведения, его архитектоники, или, как у нас еще недавно любили говорить, придавая задаче «литучёбовский» акцент, раскрытие «художественного мастерства». Этому посвящен большой раздел второго тома (названный «Литература как искусство»), а в нем — обширное исследование о творчестве Пушкина. В свое время Белинский писал, что «особенная принадлежность поэзии Пушкина» — «полнота, оконченность, выдержанность и стройность его созданий». Д. Благой и ставит своей целью раскрыть законы этой единственной гармонии.

У Д. Благого острый взгляд; читатель его двухтомника — и специалист и просто любитель литературы — найдет массу тонких наблюдений, неожиданных сопоставлений и аналогий. Вот несколько примеров, я привожу их почти наугад и без пояснений, перечислительно. В статье «У истоков советской литературы» интересно сопоставлена известная пушкинская формула о «русском бунте» с высказываниями Блока о революции 1905 года. В статье «От Евгения Онегина» к «Герою нашего времени» проведена нить между пушкинской характеристикой Грибоедова в «Путешествии в Арзрум» и главным персонажем лермонтовского романа. В статье «От Пушкина до Горького» обращено внимание на то, что Кольцов «знаменательно сопоставляет творчество Пушкина в стихах его памяти с образом леса — глубоко народный образ-символ воли, неоднократно именно в таком смысле употреблявшийся и самим Пушкиным». И так далее — всех подобных примеров привести здесь невозможно.

В любых размышлениях автора главенствующее место занимает Пушкин. Д. Благому свойствен настоящий «пушкиноцентризм» — может быть, единственный из «центристов», который ведет не к узости, но к широте. О ком бы исследователь ни писал, он пылливо ищет реминисценций и параллелей к пушкинским творениям. Идет ли ученый от Пушкина к писателям XVIII века или, наоборот, в последующие десятилетия русской литературы, он постоянно отмечает предвестия или, соответственно, наследование и развитие тех или других элементов пушкинского творчества, этого «начала всех начал», по известному определению Горького.

Характерна в этом смысле одна из последних работ Д. Благого, «Достоевский и

Пушкин», которая содержит не только обширный свод соответствующих реминисценций и параллелей, но ставит смелую задачу: найти пушкинское в Достоевском. И другую, еще более трудную: найти, хотя, «понятно, лишь в зерне, в зародыше, так сказать, «Достоевского в Пушкине».

«Действительно,— поясняет ученый эту мысль,— в ряде своих произведений, преимущественно последних лет жизни, начиная с болдинской осени 1830 года... автор «Евгения Онегина» непосредственно подходит к границам будущего художественного мира автора «Бедных людей», «Записок из подполья», «Преступления и наказания», «Подростка», «Братьев Карамазовых», а в некоторых из них и прямо заходит в его пределы».

Предвестие Достоевского у Пушкина исследователь видит в интересе к скрытым, «темным» сторонам внутренней жизни (интересе, который великий поэт в заметке о «Записках» парижского палача Самсона назвал характерной чертой человека XIX века), в изображении острых, противоречивых душевных состояний, каким является, например, «неведомое чувство» «скупого рыцаря» у двери своей сокровищницы или чувство Сальери, наслаждающегося музыкой отравленного им Моцарта. Однако, подчеркивает исследователь, Пушкин не доходил «до последнего предела», не спускал с «привязи» свою мысль и слово художника («...блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою» — строки из пушкинского «Домика в Коломне»). Начало гармонии и согласия и влекло к Пушкину Достоевского.

Я уже упоминал статью Д. Благого о Фете, и в заключение мне бы хотелось остановиться на ней специально, хотя она и не вошла в двухтомник (прибавлю в скобках: к сожалению, не вошла — ею вполне можно было бы заменить некоторые случайные статьи). Опубликованная в качестве послесловия к недавнему изданию «Вечерних огней» Фета (1971), эта работа занимает около полутора страниц мелкого шрифта и, по существу, является монографией.

Ничего не скрывая и не затушевывая — ни реакционных взглядов Фета, ни его враждебности и подчас агрессивности по отношению к революционным и либеральным кругам,— Д. Благой набрасывает замечательно яркий портрет великого поэта. А описание «идеи-страсти» Фета, который

еще юношей был лишен дворянского звания и лучшие годы жизни ценою лишений и труда добивался восстановления своего общественного положения, сообщает работе Д. Благого интерес, я бы сказал, романтический.

Этот интерес возрастает оттого, что постоянно ощущаешь диалектику взаимоотношений человека и художника в удивительной фетовской биографии: «Словно бы в подтверждение древнего изречения: «Дух дышит, где хочет», как в 50-е годы в «добродушном толстом офицере», так и теперь в этом орловском, курском и воронежском поместном дворянине, жестком и корыстном сельском хозяине, в этом Фамусове, кичащемся своим ретроградством, в этом давно дошедшем до безразличия добра и зла пессимисте, сухом и тщеславном камергере двора его императорского величества —

продолжал дышать дух поэта, и поэт истинного, одного из тончайших лириков мировой литературы».

Дух поэзии Фета запечатлен зримо, почти с художественным эффектом. Определение, которое дает исследователь фетовской поэзии, — «мир как красота» (в противовес известной формуле-названию «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, произведениями которого одно время увлекался поэт), оправдано множеством тонких разборов.

Нередко слова о молодости таланта к тем или другим солидным юбилейным датам произносятся с понятной комплиментарной условностью. Но автор работы о Фете доказал, что к нему эта условность отношения не имеет.

Ю. МАНН,

доктор филологических наук.



Политика и наука

НАУКА, ТЕХНИКА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС

Научно-техническая революция и социальный прогресс. М. Политиздат. 1972. 367 стр.

Проблема социальных последствий научно-технической революции сегодня волнует лучшие умы человечества. Различные ее аспекты постоянно вызывают острые дискуссии среди естественников, инженеров, философов. Позиции тех или иных участников этих дискуссий, как правило, строго определены их мировоззрением, политическими взглядами. И потому обсуждение социальных последствий НТР становится одним из важных участков идеологической борьбы.

В середине 60-х годов получил распространение «Манифест специального комитета тройственной революции», подписанный известными учеными и общественными деятелями США, Швеции и других стран (в их числе Л. Полинг, Г. Мюрдаль, П. Харрингтон). По мнению авторов «Манифеста», переживаемая нами эпоха характеризуется тремя революциями: кибернетической (развитие автоматизации производства), военно-технической (ракетное и термоядерное оружие) и революцией гражданских прав (борьба молодежи, негроз, студенческое движение и т. д.). Авторы

«Манифеста» признают, что автоматизация не может сочетаться с капиталистическим способом распределения материальных благ, но полагают: «кибернетизация» сама реорганизует экономическую и социальную систему общества и потому нет необходимости бороться за ее изменение.

Некоторые видные деятели социал-демократии предложили считать современную научно-техническую революцию новой промышленной революцией, основным содержанием которой являются сдвиги в производстве, ведущие к стабилизации капиталистического строя. Так, в программе СДПГ отмечается: «Вторая промышленная революция создает предпосылки поднять всеобщий жизненный уровень в большей мере, чем до сих пор... По мере автоматизации капиталистического производства совершается процесс нивелирования в области доходов, а потому исчезают и в ряде стран вовсе исчезли классовые противоречия, классовое сознание, классовая борьба». Такого рода мотивы (с терминологическими вариациями насчет «новой», «второй», «глобальной», «технократической» революций)

проникли в программы ряда политических партий Франции, Бельгии, Австрии, Италии, в резолюции международных социалистических конгрессов.

Ответом на многочисленные суждения такого рода служит большой и многоплановый труд группы советских деятелей науки — сборник «Научно-техническая революция и социальный прогресс». Среди авторов его статей видные ученые: Б. Кедров, Д. Гвишиани, С. Трапезников, С. Микулинский, Н. Иноземцев, В. Афанасьев, Г. Волков, В. Жамин, Д. Жимерин, А. Омаров и другие.

В сборнике глубоко исследованы такие проблемы, как воздействие научно-технической революции на экономику высокоразвитых капиталистических стран, проблемы научно-технического прогресса в развивающихся странах, проблемы своеобразия мирового революционного процесса в современных условиях.

Интересны материалы книги, посвященные «третьему миру». Естественно, что происходящая ныне научно-техническая революция вызывает крупные сдвиги не только в высокоразвитых странах, но и в развивающихся государствах Азии, Африки, Латинской Америки. Становление современной промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, рост национальных кадров стали характерными признаками социально-экономической жизни этих стран в 60—70-х годах.

На таком внешне благополучном фоне довольно неожиданным выглядит тот факт, что разрыв в уровнях экономического развития индустриальных и развивающихся стран не только не сокращается, но, наоборот, продолжает расти. Даже более быстрые темпы развития традиционных отраслей промышленности (пищевой, текстильной, кожевенной, нефтяной, металлургической) во многих государствах «третьего мира» почти не укрепили их позиций в мировой экономике. За шесть лет (1964—1969) доля этих стран в промышленном производстве капиталистических стран возросла лишь на две десятых процента — с 9,3 до 9,5 процента. Весь «третий мир» — десятки государств с сотнями миллионов населения — выпускает столько же промышленной продукции, сколько одна ФРГ.

Особую остроту в развивающихся странах приобрела продовольственная проблема. Доходы от экспорта своих монокультур в значительной мере «съедаются» расходами

на импорт продовольственных товаров. В результате того, что многие страны не накапливают, а «проедают» свои инвестиционные и золотые резервы, в Бразилии, Колумбии, Перу, АРЕ, Марокко и других странах золотые запасы в период 60-х годов сократились на 30—80 процентов.

Возникает некий заколдованный круг: предметы потребления, и прежде всего продовольствие, крайне необходимы молодым государствам. По данным ООН, 375 миллионов человек живут на грани голодной смерти, а 80 тысяч ежедневно погибают от недоедания. Поскольку многие развивающиеся страны не могут пока решить проблему питания своими силами, импорт продовольствия для них неизбежен. Но ввоз его идет в ущерб закупкам иностранного промышленного оборудования, а без этого большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки не может изменить структуру своей экономики, поднять ее до современного технического уровня.

Конечно, выход из этого, казалось бы, безнадежного тупика есть. Он заключается в последовательной мобилизации всех материальных, финансовых и людских ресурсов на самых решающих участках экономики. Речь идет о производстве сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок и переходе от экспорта сырья к экспорту готовой продукции. Насколько реальна такая переориентация для каждой из стран «третьего мира», зависит во многом от их политической структуры, наличия ресурсов, кадров, внешнеполитической ситуации.

Особую роль — и в судьбе развивающихся государств, и в социально-экономическом облике всех стран мира — играет соревнование в экономической и научно-технической областях между двумя мировыми системами — социализмом и капитализмом. Многие материалы книги посвящены анализу расстановки классовых сил на мировой арене, потенций каждой из сторон в современных условиях.

В своей глобальной стратегии, рассчитанной не только на «выживание», но и «омоложение» капитализма в борьбе двух систем, монополии делают ставку на развитие науки и техники. «Наша экономика теперь в большей степени основана не на естественных ресурсах, а на умах, на применении научного знания». Эти слова принадлежат президенту Национальной академии наук США Ф. Ханделеру. За три десятилетия расходы на научно-технические

исследования и разработки выросли в Соединенных Штатах в 25 раз.

Примечательно, что наибольший рост объема таких ассигнований приходится на период после 1957 года. В американской литературе принято деление послевоенного периода научно-технического развития на две фазы: до советского спутника и после него. Вслед за 4 октября 1957 года впервые в истории США была в спешном порядке принята широкая программа государственных мер, имеющих целью «ответ» на научно-технический вызов СССР. Была сформирована целая система высших государственных органов по науке и технике. «Именно запуск первого советского спутника,— отмечает американский исследователь К. Хаскинс,— вызвал в США ряд особенно значительных нововведений и усовершенствований в системе правительственного руководства научной деятельностью». После спутника был существенно повышен статус и увеличены оклады большинства научных работников и многих инженеров. «Большая часть гражданской космической программы, включая полеты людей в космос, исследование Луны и планет,— пишет Г. Йорк, руководивший научно-техническим отделом Пентагона,— все это прямое следствие спутника и нашей первой на него реакции».

Не без основания некоторые западные исследователи называют научно-техническую революцию «организованной революцией». «Никогда раньше,— подчеркивает американский экономист Э. Войтинская,— не было такой мощной концентрации знаний и мастерства, такого направления всех усилий и ресурсов промышленности и системы просвещения под руководством федерального правительства на выполнение задач первостепенной национальной важности». Суть этих задач — всемерно укрепить позиции государственно-монополистического капитализма, использовать в широких масштабах науку и технику как основное оружие в экономической, политической и военной борьбе двух мировых систем.

Острота этой борьбы, ее «перманентность» во многом предопределяют и направление и интенсивность тех усилий, которые должны прилагать социалистические страны в состязании за научно-техническое лидерство. Естественно, что проблемы наибольшей сложности, наибольшего масштаба приходится решать нашей стране: лишь она в силу своей мощи и ресурсов способ-

на продвигаться одновременно по всему фронту научно-технического прогресса. В этом отношении достижения Советского Союза бесспорны и общепризнанны.

Однако авторы книги отмечают: как бы велики ни были успехи советской науки и техники, как ни прочны ее позиции в ряде важнейших отраслей мировой науки, нашей стране еще предстоит решать чрезвычайно сложные и ответственные задачи. Сейчас требуется обеспечить не только высокие темпы научно-технического прогресса, но и его непрерывное ускорение. А для этого чрезвычайно важно, чтобы выдающиеся достижения советской науки как можно скорее внедрялись бы в практику. Связи в системе «наука — техника — производство» должны стать предельно тесными, путь от научных открытий до их реализации — минимально коротким.

Можно с уверенностью сказать, что вклад научно-технического прогресса в развитие общественного производства определяется не только ценностью полученных наукой результатов, но и масштабом их практической реализации. Важна не только (а иногда не столько) сумма новых знаний, добытых наукой, сколько та часть этой суммы, которая «впрыснута» в производственный организм.

Создание рациональных форм связи науки и производства стало велением времени. Практика неопровержимо свидетельствует, что самые высокие темпы научно-технического прогресса обеспечиваются тогда, когда в единую систему объединены институты, ведущие научные исследования, организации, занимающиеся конструкторскими и технологическими разработками, и промышленные предприятия. Плодотворные связи науки, техники и производства прошли испытание временем в таких крупных научно-производственных объединениях, как «Позитрон», Пластполимер, Пищепром-автоматика. Однако опыт этого рода общается и распространяется слабо. Немало трудностей вызывают процессы внедрения новой техники, принципы стимулирования научно-технического прогресса.

В книге приводится такой факт: освоение новой модели «Волги» Горьковским автомобильным заводом привело к уменьшению фондов экономического стимулирования на 8 миллионов рублей. Из них только 150 тысяч были компенсированы из премиальных фондов за внедрение новой техники. Подсчитано, что предприятия Министерства

электротехнической промышленности получают поощрений за выполнение плана по выпуску освоенных, нередко устаревших изделий, в 15 раз больше, чем за выполнение заданий по новой технике. Нетрудно понять, в выпуске какой продукции больше всего заинтересованы работники этих предприятий. До сих пор бытует практика, при которой львиная доля расходов на организацию производства новых образцов техники возлагается на сами заводы. В результате поборники технического прогресса остаются в накладе. Надо ли удивляться, что задания по науке и технике многие предприятия выполняют не полностью.

Ряд актуальных проблем ставит и развитие самой науки. О возрастании ее роли и значения, о превращении науки в непосредственную производительную силу написано и сказано немало. Однако уже сейчас ясно, что между затрачиваемыми на науку средствами и ее эффективностью не достигнуто еще оптимального соотношения. Наука стала занятием больших масс людей (в СССР в этой сфере работает свыше трех миллионов человек). Возникла сложная система различных по характеру научных учреждений. Усложнились и задачи управления наукой, планового руководства ее развитием.

В книге отмечается, что сложившаяся десятилетиями структура научных учреждений с трудом поддается перестройке. Бывает проще создать новый исследовательский институт, чем преобразовать старый, изменить профиль его работы, усовершенствовать структуру. Между тем эпоха научно-технической революции вызывает растущую дифференциацию и интеграцию научных знаний, широкое развитие комплексных исследований. Поэтому одно из требований к науке состоит в том, чтобы она стала более гибкой и подвижной.

Немало места в сборнике занимают социальные проблемы, связанные с развитием человека в условиях научно-технической революции. Новые формы общения и коллективной жизни, возрастающая социальная ответственность личности, новые возможности медицины и здравоохранения, создание среды обитания, наиболее соответствующей потребностям людей,— вот вопросы, научное решение которых чрезвычайно важно. Отсюда и повышенное внимание к проблеме «наука — техника — человек».

Лозунг о всестороннем развитии человеческой личности, конечно, не нов. Но теперь он получает, кроме своего «гуманитарного» содержания, еще и большой производственный смысл. Авторы сборника отмечают, что человечество вступает в такой период развития, когда функции обслуживания и управления производством в значительной мере передаются техническим средствам и системам. Решающую роль в материальном производстве начинают играть не мускульные и двигательные усилия человека, не затраты его физической энергии, а его способности решать сложные производственные задачи, искать и находить оптимальные варианты технологических процессов и организационных структур, управлять ими. Здесь требуются разнообразные технические и научные знания, умение творчески мыслить и действовать. Духовное развитие личности выступает теперь как фактор, который непосредственно и резко повышает производительность труда. Темпы научно-технического прогресса прямо зависят от «интеллектуальной оснащенности» его творцов на всех уровнях. И потому научные знания должны активно формировать внутренний мир личности, оттачивать творческие возможности человека, его способности к производству нового знания.

Вряд ли есть смысл останавливаться на всех проблемах, поднятых в книге. Их немало, и каждая по-своему значима, идет ли речь об острых вопросах жизни нашей страны или о проблемах международных.

Конечно, не все в книге удачно. Некоторые интересные темы (например, «Индустрия управления») изложены конспективно, без широкого выхода в социально-экономическую практику. В других случаях социально важные проблемы только заявлены либо очерчены довольно схематично.

Однако не эти частности определяют общее впечатление от книги, а тот большой потенциал научной информации, который в ней заложен. Круг рассматриваемых в сборнике вопросов настолько широк, что он дает интересующемуся читателю и ретроспективу и перспективу важнейших социальных проблем современной эпохи.

А. ПАРХОМЕНКО,

доцент, кандидат технических наук.

ФАБРИКАНТЫ ЛЖИ

И. Д. Бирюков. Под сенью монополий. М. Издательство политической литературы, 1972. 286 стр.

На прилавках наших книжных и газетных киосков можно видеть небольшого формата, хорошо оформленный журнал «Англия». Он одет в глянцевитую красочную обложку, и таким же глянцевитым, подлакированным выглядит и его содержание. Оно невинно и чисто, как только что вышавший белый снег. Советскому читателю преподносят нарядную, словно рождественская елка, Англию, где царит мир и в человецех благоволение.

Политика? О нет! Поговорите с издателями журнала, и они скажут: что вы, мы не занимаемся пропагандой! И правда, из журнала не узнаешь о миллионе безработных, о расстрелах мирных жителей Ольстера, о бешеном росте цен, о замораживании зарплаты и т. п. Зато мы узнаем, как красиво декорируют квартиры в Лондоне, как предприимчивая бедная женщина начала изготавливать красивые набивные ткани и теперь — счастливая владелица двух фабрик.

Если вы спросите издателей, почему же в условиях столь «сладкой жизни» в Англии в 1971 году в забастовках участвовали 15 миллионов рабочих, вам, наверное, скажут в ответ: рабочий класс? Но у нас в Англии постепенно исчезает понятие «класса», рабочие медленно, но верно сливаются со «средним» классом, представляющим мелкую буржуазию и интеллигенцию. Забастовки? Ну, это просто деятельность безответственных элементов и профсоюзов, не заинтересованных в сохранении гармонии труда и капитала...

Возникает вопрос: если в Англии все обстоит так благополучно, что даже размываются классовые межи и границы, то почему вся машина буржуазной пропаганды средств информации ведет такое бешеное наступление на идеологию рабочего класса, на марксистско-ленинское учение?

Ответ на этот вопрос частично дает только что вышедшая книга советского дипломата и журналиста И. Д. Бирюкова «Под сенью монополий. Буржуазная идеология — враг рабочего класса Британии». Автор поясняет, что его труд посвящен «принципиальному спору, разворачивающемуся в британском обществе между рабочим классом и правящим классом монополистической буржуазии относительно характера британского общества и его инсти-

тутов, относительно роли составляющих его классов и взаимоотношений между ними. Это спор о сегодняшнем дне и о будущем страны».

Правящий класс Британии любит повторять, что идеология — это нечто противоречащее науке, и хвалит ученых, которым якобы удалось «очистить» свою область знания от идеологии. Утверждают, что идеология несвойственна английскому обществу, что идеологическая пропаганда — это, мол, оружие марксистов, коммунистов. И. Д. Бирюков разоблачает в своей книге эти лживые утверждения и пишет, что «господствующий класс, государственно-монополистический капитализм не хочет и не может открыто сказать, что это его идеи исповедуют денно и нощно правительство, пресса и телевидение, церковь и школа, университеты и армия». В книге приводятся убедительные факты, доказывающие, что буржуазная идеологическая пропаганда ведет непрестанные атаки на идеи рабочего класса, на Советский Союз и другие социалистические страны, на международное рабочее и коммунистическое движение.

Ощущая свою неспособность решить социальные проблемы капиталистического общества и свою слабость перед широко распространяющимися идеями социализма и коммунизма, правящий класс обращается за помощью к ученым, могущим якобы дать ему какое-либо оружие для борьбы с идеологией рабочего класса. Автор рецензируемой книги приводит имена таких «ученых», работающих в Англии на нужды буржуазии: Карл Поппер, А. Тейлор, Дж. Р. Элтон, Эйза Бриггс и другие. Единным хором твердят они, что учение Маркса «устарело», что учение Ленина «было пригодно только для России». А затем, спускаясь с высот псевдофилософского олимпа, так же ретиво обрушиваются на Советский Союз, фальсифицируют историю и современность, и все для того, чтобы оттолкнуть рабочий класс, интеллигенцию, молодежь Англии от идей научного коммунизма.

И. Бирюков так же детально исследует вопрос об использовании правящим классом экономической науки, от которой ожидается теоретическое оправдание антирабочей политики всех английских правительств и обоснование неизбежности власти

монополистического капитала. Здесь и неокейнсианцы, защищающие государственное регулирование капиталистической экономики, и неоклассики, отвергающие такое вмешательство, и теоретики «динамической экономики» — и все они озабочены спасением капитализма. Такого рода экономисты рьяно отстаивают теории неизбежности и даже пользы безработицы, без которой, дескать, невозможен экономический рост. Авторы этих теорий расходятся лишь в вопросе о том, какой процент безработных «нормален» для экономики Англии.

Особое место в книге занимает разоблачение буржуазных теоретиков о «классовой мобильности или размывании границ между классами, в целом благоденствии, установлении классового мира». Эти теории распадаются как бы на две категории. Авторы одних утверждают, что в Англии нет больше правящего класса, что произошло решительное перераспределение богатства в сторону большего равенства. Другие — хотя, по сути дела, они не отличаются от первых — делают упор на то, что «классовая война кончилась», что рабочего класса больше нет или, во всяком случае, скоро не будет, так как он превращается в «новый средний класс». Эти теории используются буржуазией не только для попыток опровергнуть марксистское понятие класса и классовой борьбы, но и практически — для осуждения забастовочной борьбы и оправдания всех антирабочих, антипрофсоюзных законов, предусматривающих суровые наказания за забастовки.

Этой же цели служат многочисленные доктрины так называемого «участия» — участия рабочего класса в управлении производством и тем самым чуть ли не в решении государственных проблем. Таковы идеи правого реформиста А. Робенса, лорда Шоукросса, правого лейбориста Д. Джея и других, таковы и провалившиеся попытки создания фирм и предприятий, где рабочих пытались заинтересовать в процветании капиталистической промышленности, предложив им грошовой акции. Как пишет И. Д. Бирюков, «рабочему твердят об «общем пироге». Капиталистическое производство — будь то одно предприятие, целая отрасль или вся национальная экономика — изображается как дело общее».

Автор показывает конкретно и тех, кто на практике, в политической жизни Англии

пользуется подобной продукцией этой огромной фабрики идеологической лжи и дезинформации рабочего класса. Таковы английские консерваторы, особенно их правое крыло, которые пытаются приспособиться к меняющимся социальным условиям и охотно хватаются за идеологическое оружие, предлагаемое им лжеучеными. Таковы и правые лейбористы, жонглирующие термином «демократический социализм», а на деле выступающие апологетами капитализма и врагами рабочего класса. Деятельности этих политических сил посвящены две специальные главы.

В книге отмечается весьма характерный и важный штрих: все теоретики антирабочей идеологии, пытающиеся ревизовать марксизм и рядящиеся в тогу благожелателей рабочего класса, неизбежно скатываются на позиции антикоммунизма и антисоветизма. Автор приводит длинный перечень организаций правящего класса и видных политических деятелей и бизнесменов, которые не жалеют ни денег, ни сил для борьбы против идей марксизма-ленинизма, против Советского Союза.

«Идеологическая картина английского общества, — говорится в книге, — сложна. Часть народа пребывает в состоянии потребительской апатии. Часть приходит в отчаяние. Некоторые деморализованы до цинизма. Но все возрастающее количество людей активно ищет перемен. Капитализм неумолимо подталкивает народные массы к социальному протесту».

В связи с этим чрезвычайно ценно, что автор подробно остановился на активной деятельности Коммунистической партии Великобритании на идеологическом фронте. Вышло уже немало серьезных теоретических трудов английских марксистов, в которых развенчиваются антинародные, лживые теории и доктрины. Коммунисты Англии ведут неустанную борьбу против попыток буржуазных идеологов обмануть, ввести в заблуждение широкие народные массы и отвлечь их от неотложных задач нарастающей классовой борьбы.

«Чем больший политический опыт приобретает английский рабочий класс, — заключает свою книгу И. Д. Бирюков, — тем последовательнее в своем большинстве он обратится за руководством к Марксу и Ленину».

О. ОРЕСТОВ,



КОРОТКО О КНИГАХ



Е. ГЕРАСИМОВ. Весна в Дубках. Повести конца шестидесятых годов. М. «Советский писатель». 1972. 350 стр.

Четыре повести Евгения Герасимова, собранные сейчас в одной книге, появились в недавние годы одна вслед за другой. Теперь, когда мы видим их под одной обложкой, становится ясно, что перед нами своеобразный цикл повестей, написанных от первого лица, в одной повествовательной манере, объединенных единством основного сюжетного мотива и цельным замыслом. Замысел этот с виду весьма прост: человек ездит по России; избранные им для поездок места ничем выдающимся не отмечены — не какие-нибудь туристские достопримечательности, а мало кому известный Спас на Песках («Недалекое путешествие») или Черкассы на Днепре («Море в Черкассах»). Впрочем, одно из путешествий приводит рассказчика в Каргополь («Олонецкие дали»), знаменитый своими древностями, однако о них сказано мимоходом, хотя, видно, автор вовсе не равнодушен к их красоте. Но больше всего он захвачен живой плотью совершающегося вокруг, живой режью людей и их судьбами, бесконечной сложностью так называемой простой жизни. «Самая простая обыкновенная жизнь,— говорит он,— но тем-то она и интересна, что обыкновенная, повседневная, всем людям причастная. И писатель готов неторопливо рассматривать ее и столь же неторопливо рассказывать о ней. В повествовательной манере Е. Герасимова есть что-то от старинной традиции. Но удивительно естественная она в его современной по содержанию и мыслям повести, и в этом сочетании традиционных повествовательных ритмов, восходящих едва ли не к аксаковской хронике, со згучими интересами и проблемами нашего дня — своеобразии прозы Е. Герасимова.

Удачен образ рассказчика, человека немного лукавого, чуть простодушного (но только на первый взгляд), наделенного юмором, но склонного и к иронии, к сарказму. Когда-то молодым газетчиком он колесил по дорогам и проселкам крестьянской России, писал очерки и корреспонденции, воспевал успехи коллективизации. Е. Герасимов вложил в этот образ немало из собственного житейского опыта. Но это не мешало ему взглянуть на ту далекую пору

своей молодости как бы со стороны, с умудренностью человека, прожившего долгую жизнь.

В давние годы молодой человек пробежал мимо «тети Вари», многолетней матери-одиночки, ничего не увидев в ней, кроме «материала» на очерк. Теперь, возвратившись в те места, он ищет «тетю Варю», Варвару Дударь, и не находит — она умерла. В повести об этом («Недалекое путешествие») перед читателем постоянно два плана: «тетя Варя», увиденная глазами торопливого очеркиста,— не слишком понятное ему и далекое в своей крестьянской женской судьбе существо, и настоящая Варвара Дударь, образ, на расстоянии лет постигнутый смущенным чувством, совсем иная судьба, сложная, значительная, полная драматизма. Из мимолетних слов, из оброненных кем-то фраз постепенно возникает фигура сильная, жестко испытанная жизнью.

Столкновение прошлого с настоящим, диалог с прошлым составляют внутренний нерв повестей Е. Герасимова. В предпринятом им путешествии во времени и пространстве — потребность нашего современника истиннее понять минувшее и лучше рассмотреть нынешнюю сущую жизнь. Книга в целом отмечена хорошей писательской культурой, музыкальностью всего тона повествования.

Некогда — это было давно — я узнал Евгения Герасимова как автора литературных записей. Он был среди зачинателей этого жанра, особенно расцветшего в послевоенные годы, и написал много книг, на которые откликнулась критика: добрые слова приносились заслуженно, но никто не говорил по этому случаю о писательском таланте, да это, пожалуй, было бы лишним, поскольку писатель выступал тут в образе «бывалого человека», отнюдь не претендующего на звание художника. Первые вещи, в которых Е. Герасимов «звучал» в полную меру, появились уже в ту пору, когда он перешагнул пятидесятилетний рубеж,— это были книги «Городок на Дреме» и «Куда течет речка». От вещи к вещи он набирает силу и мастерство. Свидетельство тому — и его новая книга.

И. Крамов.



СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО. Зимнее солнце. М. «Советский писатель». 1972. 96 стр.

СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО. Избранная лирика. Составители О. Дмитриев и Н. Злотников. М. «Молодая гвардия». 1972. 32 стр.

«Книга. Первое звено. Сколько их до смерти будет?» — эти строки поэт написал после выхода своего первого сборника («Обращение к маю». «Советский писатель», 1966). Но случилось так, что тоненькая эта книжка осталась его единственной прижизненной книгой. Сергей Дрофенко умер совсем молодым. Товарищи по перу — и те, кто знал поэта близко, и те, кто просто один-два раза встречался с ним в журнале «Юность», где Дрофенко работал последние годы, — сохранили о нем самые добрые воспоминания. Красоту, обаяние этого человека невозможно не почувствовать и читая его стихи, многие из которых собраны в двух недавно изданных сборниках поэта.

Поэтическое мышление Дрофенко конкретно. Его влекли к себе «негромкие предметы: солнце, речка, шаткие мостки, первые весенние приметы, будущего робкие ростки». Свойственная стихам поэта, как он сам говорил, «пристальность прозы» органически сочетается с откровенностью лирической исповеди. Соединяясь, оба эти начала образуют картину напряженной духовной жизни — из многих стихов, напрашивающихся в подтверждение этого, упомяну «В январе», «Капель падет на подоконник...», «Ночью дождь в окно стучал...», «Как пленный дух, бушует лето...».

Уже по названиям и первым строчкам стихотворений видно, что многие поэтические медитации Дрофенко родились из общения с природой. «Затишья рощ и рек», «дубы широколистные и клены», «раскаты ледохода» дороги ему не как объекты для пейзажных зарисовок, не как предметы слепого поклонения, но как олицетворение всего живого, чистого и прекрасного, дающего нравственную силу.

Сказать о том, что для поэзии Дрофенко характерны естественность, доверительность и достоверность, значит назвать ее, если можно так выразиться, внешние качества. Суть же его творчества определяется повышенной нравственной чуткостью: «И чей-то беззащитный крик, и чьи-то слезы и упрёки, и неосуществленных книг предполагаемые строки — все это слышу я в себе...» Свобода, честь, долг, бескорыстие — столь дорогие поэту «прекрасные эти понятия» могут быть объединены одним словом — благородство, выражающим основной пафос его поэзии. Дрофенко был щедр к людям. И потому требователен к ним. «Наш век совершался при нас, и с нас же и спрошено будет». Но требовательным к другим может быть только тот, кто строго судит и себя, кто подходит к себе с еще более высокой мерой, чем к окружающим. Нравственные самооценки поэта были суровы и мужественны («Бумага для заметок», «Песенка об уходящем товарище»). В щемяще-трагическом «Голосе» автор даже

смерть свою осознает как вину перед людьми:

Прости, черновик. Ты остался
без главной строки.
Простите, наставники, юноши
и старики.
Вы были заботливы, Душу питомца
храня.
Простите меня. Если можно, простите
меня.

Не все в равной мере удалось в рассматриваемых сборниках. В «молодогвардейской» книжке, в целом очень добротной, все же недостает нескольких ранних стихов, без которых «Избранное» Дрофенко представить трудно, — например, без «Бескорыстия», «Зимы» («Держалась ясность несколько недель...»), «Элегии». В «Зимнем солнце» напротив, есть стихи, кажущиеся посторонними, — «Эскизы из истории», «Эстрада», они выпадают из общей стилистики книги. Довольно прямолинейна здесь и новая редакция «Детских рисунков» (в «Избранной лирике» помещена прежняя, более удачная). Торопливо и холодно вышолнено оформление этого сборника. Однако отмеченные частности не уменьшают чувства благодарности тем, кто готовил новую встречу поэта с читателем.

Л. Быков.

Свердловск.



НАИРИ ЗАРЬЯН. Давид Сасунский. Повесть по мотивам армянского эпоса. Перевод Николая Любимова. Предисловие Семёна Липкина. М. «Художественная литература». 1972. 264 стр.

Всеобщий интерес к фольклору, к устному творчеству вряд ли может быть назван парадоксальным во времена стремительно усложнения искусства. Вероятно, потребность понять и объяснить мир опосредованно, путем анализа рождает и другую потребность — взглянуть на мир не мудрствуя лукаво, непосредственно.

В основу своей книги Наири Зарьян положил сводный текст армянского эпоса «Сасна црер». Название это труднопереводимо; по-русски обычно пишут «Сасунские храбрецы», «Сасунские безумцы». Тысяча лет изустного бытования эпоса — тысяча лет восславления «безумства храбрых». Причем Зарьян нимало не затуманивает, не скрывает оттенка странности, что ли, своих героев. Скорее наоборот — подчеркивает. Как только их не именуют: и безумными, и шальными, и сумасбродами. Да могло ли быть иначе? «Песку морскому есть счет, — все время повторяет рассказчик, — звездам небесным есть счет, травмам полевым есть счет», и только врагам армян счету не было. Что, кроме безоглядной, безрассудной храбрости, могло принести победу, свободу, жизнь?

Историческая праоснова эпоса «Давид Сасунский» — нашествия на Армению

Арабского халифата в VII веке. Реальное его содержание — извечная борьба армян за свою самостоятельность. А еще труд и быт народа, изображенные замечательно точно.

Повесть Наири Зарьяна — это обработка эпоса, своеобразный его вариант (вариантов «Давида Сасунского», кстати сказать, насчитывают более семидесяти) Важно, что вмешательство писателя остается, в сущности, незаметным. А ведь Зарьян сделал немало: придал сюжету эпоса ясность и логичность, привнес во многих местах психологическую мотивировку (не убоимся здесь этих слов) поступков героев.

Может удивить, что поэт, взявшись пересказать поэтическое произведение, пересказал его прозой. Думаю, однако, в этом был смысл. Повесть со многими героями, сюжетными ответвлениями, драматическими ситуациями современному читателю легче, естественнее воспринимать в прозе. В прозе, если угодно, достовернее. Поэтичность же эпоса Зарьяном не утрачена. Книга поэтична. Она красива, и ее красота — красота народной песни, безыскусного сказания. И когда Зарьян вводит в прозаический текст стихотворные куски, они кажутся необходимыми. Они и впрямь необходимы. Герои начинают говорить стихами там, где по-иному и не скажешь.

Предки Давида, он сам и сын его Мгер Младший, — воины. Крови в книге льется много, но книга исполнена доброты.

Повесть Наири Зарьяна переведена Николаем Любимовым, — такой великолепный, пряный, такой истинно русский язык, а самый аромат речи — армянский. Особенно хочу отметить искусство, с каким Любимов воссоздал по-русски многочисленные армянские фразеологизмы и идиомы. Правда, здесь его работа может показаться излишне смелой. Но, с другой стороны, может ли смелость быть излишней? Ведь сомнения возникают только при дотошном и придирчиво-буквалистском сличении перевода и подлинника; по духу своему и по сути перевод Любимова точен.

Георгий Кубатьян.

Ереван.



ЛИТЕРАТУРА АНТИФАШИСТСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 1939—1945. Ответственный редактор Ф. Наркнрьер. М. «Наука». 1972. 595 стр.

Книга «Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы 1939—1945», монументальный коллективный труд восемнадцати авторов — специалистов по разным национальным литературам, является единственным пока в советском и мировом литературоведении обобщенным исследованием одного из самых трагических и героических периодов европейской литературной жизни. Она дает широкую карти-

ну того, как возникла, развивалась и распространялась литература Сопротивления в оккупированных фашизмом странах — в Чехословакии, в Польше, где в лагерях смерти многие тысячи людей были обращены в груды пепла, во Франции, стране маки, на Скандинавском полуострове, на берегах Средиземного моря. Главы, посвященные литературам Румынии, Венгрии, Италии, Германии, показывают, как одновременно с этим развивалась литература антифашистского протеста и внутри тех стран, которые принадлежали в те годы к фашистской военной коалиции.

В книге собран богатейший фактический материал. В значительной мере это не опубликованные до сего времени архивные документы, отражающие деятельность подпольных издательств в разных странах, патриотический подвиг отдельных писателей. Рядом с творчеством художников слова, которые сражались с фашистскими аггессорами открыто (А. де Сент-Экзюпери, Нурдаль Григ, К. Бачинский и другие) или уйдя в партизанское подполье, в книге представлено творчество узников лагерей смерти, по большей части трагически погибших. Здесь и героическая лирика Н. Вапцарова, и «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика, и «Дневник» девочки из Нидерландов Анны Франк.

Разнообразие и богатство литературы Сопротивления определялось конкретными национальными условиями и мировоззрением отдельных писателей. Наряду с марксистами в эту литературу входили экзистенциалисты и католики, рядом с теми, кто мечтал о социалистическом преобразовании своей родины после разгрома фашизма, — писатели умеренных взглядов, пределом мечтаний которых было возвращение к довоенному укладу. Поэзия развивалась одновременно с драматургией и повествовательной прозой, исторические и мифологические сюжеты — рядом с боевой публицистикой. И все же над всей этой пестротой жанров и форм выступает глубокое внутреннее единство: общая ненависть к фашизму, высокий гуманистический и патриотический пафос, противопоставленный фашистскому бесчеловечию и шовинизму.

Сборник, выпущенный издательством «Наука», — литературоведческое исследование и в то же время труд определенного политического значения. В нем показана на убедительных примерах ведущая роль коммунистов в Сопротивлении и высокий авторитет СССР и советской культуры для прогрессивных сил зарубежных стран.

Хорошим дополнением к сборнику является обширная библиография (составитель — В. Пироговская). Обогащают книгу и многочисленные иллюстрации: фотографии различных подпольных изданий и антифашистских спектаклей, рисунки Р. Гуттузо, Ф. Леже, Ф. Мазерееля, П. Пикассо и других художников-антифашистов.

М. Яхонтова.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. Предисловие Ф. Энгельса. Перевод И. И. Скворцова-Степанова. 907 стр. Цена 1 р. 74 к.

В. И. Ленин. Марксизм и ревизионизм. 16 стр. Цена 3 к.

Л. И. Брежнев. Об актуальных проблемах партийного строительства. 456 стр. Цена 74 к.

Визит Леонида Ильича Брежнева в Федеративную Республику Германии. 18—22 мая 1973 г. Речь и документы. 78 стр. Цена 11 к.

Большевизм и реформизм. Коллективная монография. 392 стр. Цена 1 р. 62 к.

А. Г. Зверев. Записки министра. 270 стр. Цена 1 р. 1 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Берце. За синей птицей. Роман и повести. Перевод с латышского С. Марковой. 559 стр. Цена 1 р. 24 к.

С. Гайсарьян. В стране поэзии. Очерки. Портреты. 280 стр. Цена 86 к.

И. Ибрагимов. Несостоявшийся смех. Юмористические рассказы. Перевод с кумыкского Э. Эдела. 183 стр. Цена 24 к.

В. Каверин. Собеседник. Воспоминания и портреты. 335 стр. Цена 97 к.

Р. Киреев. Продолжение. Роман. 295 стр. Цена 60 к.

А. Копыленко. Гордая земля. Рассказы. Перевод с украинского. 310 стр. Цена 64 к.

А. Ладинский. Когда пал Херсонес. — Анна Ярославна — королева Франции. — Последний путь Владимира Мономаха. Исторические романы. 854 стр. Цена 1 р. 88 к.

Литература созидания и борьбы. Социалистический реализм сегодня. Сборник статей. 360 стр. Цена 1 р. 1 к.

Г. Метельский. На шестьдесят восьмой параллели. Роман. 320 стр. Цена 62 к.

Е. Наумов. О спорном и бесспорном. Статьи. 350 стр. Цена 99 к.

Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сборник 10. 480 стр. Цена 1 р. 18 к.

В. Рослянов. Грустно-весело. Рассказы. 304 стр. Цена 49 к.

П. Сносырев. Стрелок из луна. Повести. 520 стр. Цена 92 к.

Л. Сулаберидзе. Большой снег. Стихи и поэмы. Перевод с грузинского. 96 стр. Цена 31 к.

В. Тельпугов. Все по местам! Повести и рассказы. 342 стр. Цена 64 к.

М. Чарный. Время и его герои. Встречи с писателями и книгами. 445 стр. Цена 1 р. 25 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Арагон. Богатые кварталы. Роман. Перевод с французского Эльзы Триоле. 480 стр. Цена 1 р. 64 к.

Я. Беллинский. Лирика. Вступительная статья Л. Озерова. 256 стр. Цена 84 к.

И. Вазов. Дед Йоцо смотрит... Рассказы. Перевод с болгарского. 385 стр. Цена 45 к.

С. Вильяверде. Сесидия Вальдес, или Холм Ангела. Роман. Перевод с испанского. 567 стр. Цена 1 р. 31 к.

И. Голенцев-Кутузов. Славянские литературы. Статьи и исследования. Составле-

ние и подготовка текста И. Голенцевой-Кутузовой. Вступительная статья Д. Лихачева. 480 стр. Цена 1 р. 41 к.

Д. Дидро. Монахиня. — Племянник Рамо. — Жан-фаталист и его хозяин. Перевод с французского. («Библиотека всемирной литературы») 495 стр. Цена 1 р. 75 к.

Как храбрый Монеле добыл для людей солнце. Сказки с реки Конго. Перевод с английского и французского Э. Львовой. Под редакцией И. Варламовой. 294 стр. Цена 60 к.

С. Крутилин. Липяги. Из записок сельского учителя. 671 стр. Цена 1 р. 33 к.

Ю. Марциннявичюс. Кровь и пепел. — Стена. — Миндаугас. Поэмы. Перевод с литовского А. Межирова. Предисловие В. Огнева. 350 стр. Цена 1 р. 65 к.

А. Михайлов. Ритмы времени. Этюды о русской советской поэзии наших дней. 528 стр. Цена 1 р. 48 к.

Пу Сун-Лин. Рассказы Ляо Чжяя о чудесах. Перевод с китайского и предисловие В. М. Алексеева. 573 стр. Цена 1 р. 19 к.

И. Снегова. И все, что ты любишь... Избранные стихотворения. 400 стр. Цена 1 р. 20 к.

Степные струны. Стихи каракалпакских поэтов. 411 стр. Цена 1 р. 32 к.

Е. Таратута. С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. 544 стр. Цена 2 р. 2 к.

Я. Ухсай. Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с чувашского. Вступительная статья В. Дмитриевой. 416 стр. Цена 1 р. 83 к.

Л. Фейхтвангер. Успех. Роман. Перевод с немецкого. Вступительная статья В. Сучкова. («Библиотека всемирной литературы») 751 стр. Цена 2 р. 26 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Я. Аним. Твой город. Стихи. 96 стр. Цена 26 к.

М. Белахова. Разлад. Повесть. Предисловие С. Михалкова. 96 стр. Цена 13 к.

Н. Зинovieв. Столкновение. Стихи. Предисловие С. Наровчатова. 31 стр. Цена 12 к.

А. Кучаев. Мозговая косточка. Рассказы. Предисловие А. Рекемчука. 159 стр. Цена 21 к.

Приключения. 1972—1973. Сборник повестей и рассказов. 575 стр. Цена 1 р. 17 к.

А. Прокофьев. Избранное. 293 стр. Цена 86 к.

В. Санин. Новичок в Антарктиде. Полярные были. 367 стр. Цена 1 р. 13 к.

Г. Семенихин. Жили два друга. Роман. 303 стр. Цена 73 к.

А. Тначенко. За семью ветрами. Повесть. 286 стр. Цена 39 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Арештейн. Ласточки грядущей весны. Повесть. 223 стр. Цена 44 к.

А. Варшавер. Тачанка с юга. Повесть. Предисловие В. Чикмарева. 127 стр. Цена 37 к.

О. Высотская. Разговор с весной. Стихи, сказки, пьеса. Предисловие Л. Озерова. 191 стр. Цена 49 к.

Ю. Ермолаев. Можете нас поздравить. Две повести. Предисловие М. Прилежаевой. 288 стр. Цена 57 к.

Э. Корпачев. Тройка запряженных кузнециков. Повести и рассказы. 126 стр. Цена 31 к.

А. Марнуша. Работа у нас такая. Рассказы и очерки. 206 стр. Цена 75 к.
В. Маяковский. Избранная лирика. Предисловие, подготовка текста и составление В. Перцова. 238 стр. Цена 63 к.

«СОВРЕМЕННОК»

П. Антокольский. Время. Стихи и поэмы. 207 стр. Цена 1 р. 26 к.
Н. Асеев. Маяковский начинается. Поэмы. 157 стр. Цена 91 к.
Критический ежегодник «Современника». 1971. Составитель С. Лисицкий. 478 стр. Цена 1 р. 41 к.
Д. Кугультинов. Бунт разума. Поэма. Перевод с калмыцкого Ю. Нейман. Предисловие А. Кулешова. 155 стр. Цена 96 к.
С. Порбю. Когда улетают журавли. Стихи и поэмы. Перевод с тувинского. 70 стр. Цена 38 к.
Н. Рубцов. Последний пароход. Стихи. Предисловие С. Викулова. 142 стр. Цена 26 к.
В. Солоухин. Олепские пруды. Рассказы. 351 стр. Цена 84 к.
М. Шолохов. Тихий Дон. Роман. В 4-х книгах. Книга 3, 415 стр. Цена 89 к. Книга 4, 479 стр. Цена 98 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Бабаевский. На хуторе Вербовом. Повести и рассказы. 302 стр. Цена 68 к.
Н. Вирта. Как это было и как это есть. («Писатель и время. Письма из деревни») 94 стр. Цена 14 к.
П. Железнов. Эстафета отваги. Стихи. 208 стр. Цена 92 к.
В. Харитонов. Суровая, доверчивая Русь. Стихи. 207 стр. Цена 44 к.

«ИСКУССТВО»

Антеры зарубежного кино. Выпуск 8. 190 стр. Цена 84 к.
В. Ванслов. Прогресс в искусстве. 255 стр. Цена 1 р. 32 к.
Современная итальянская пьеса. 1961 — 1966. Перевод с итальянского. Составитель Л. Вершинин. Послесловие Н. Томашевского и Г. Холодовой. 430 стр. Цена 1 р. 24 к.
И. Стоун. Ван Гог. Перевод с английского. («Жизнь в искусстве») 470 стр. Цена 2 р. 72 к.

«ПРОГРЕСС»

Из современной пакистанской поэзии. Перевод с урду и пушту. Составитель А. Сухочев. 311 стр. Цена 97 к.
Конституции зарубежных социалистических государств Европы. Редакция и вступительная статья Б. Топорина. 742 стр. Цена 2 р. 68 к.
Д. Стюарт. Круглая мозаика. Роман. Перевод с английского И. Гуровой. 256 стр. Цена 91 к.
Э. Сюллеро. История и социология женского труда. Перевод с французского. 237 стр. Цена 94 к.

Французские стихи в переводе русских поэтов XIX — XX вв. Составление и вступительная статья Е. Эткинда. 623 стр. Цена 95 к.

«НАУКА»

Л. Кессель. Гёте и «Западно-восточный диван». («Из истории мировой культуры») 119 стр. Цена 39 к.
Ленинизм, классы и классовая борьба в странах Востока. Сборник статей. 348 стр. Цена 1 р. 45 к.
Литературные памятники. Справочник. 115 стр. Цена 31 к.
Некрасовский сборник. Выпуск 5. Поэзия любви и гнева. 332 стр. Цена 2 р. 15 к.
З. Смирнова. Социальная философия А. И. Герцена. 291 стр. Цена 1 р. 45 к.
М. Строева. Режиссерские искания Станиславского. 1898 — 1917. 375 стр. Цена 2 р. 34 к.

«МЫСЛЬ»

В. Антюхина-Московченко. Марсель Кашен. 229 стр. Цена 79 к.
Диалектика познания и современная наука. Сборник статей. 247 стр. Цена 80 к.
Идейная борьба и вопросы литературы и искусства на современном этапе. Сборник статей. 326 стр. Цена 1 р. 24 к.
А. Круглов. В. И. Ленин и становление советской прессы. 238 стр. Цена 1 р. 44 к.
Ленинское учение о демократии и законности и его значение для современности. 208 стр. Цена 79 к.
Современный правый ревизионизм. Критический анализ. М. «Мысль». — Прага. «Свобода». 615 стр. Цена 2 р. 49 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Дипломатия социализма. Предисловие А. А. Громыко. 318 стр. Цена 1 р. 59 к.
А. Колодзин. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы. 232 стр. Цена 1 р. 32 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Гусев. Год как день. Повести и рассказы. Воронеж. Центральное-Черноземное книжное издательство. 150 стр. Цена 29 к.
Линии наших ладоней. Стихи негритянских поэтов. Перевод с французского. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Г. Гуляма. 86 стр. Цена 34 к.
Новые голоса. Стихи молодых ленинградских поэтов. Составитель В. Вахтин. Лениздат. 12 стр. Цена 51 к.
В. Ружина. Ревуня к Копернику... Любвиная лирика Маяковского конца 20-х годов. Кишинев. «Штинца». 54 стр. Цена 16 к.
С. Чилая. Екатерина Чавчавадзе. Роман-хроника. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани» 416 стр. Цена 88 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Ремзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин.**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 22/VIII. 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 9/X 1973 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
 А 02197. Тираж 170000 экз. Зак. 04156.

Комбинат печати издательства «Радянська Україна».
 Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.

Цена 70 коп.

70636